

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Федеральная
программа книгоиздания
России

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Собрание сочинений в трех томах

Москва
«Согласие»
1994

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Собрание сочинений в трех томах

Том второй

Проза

Москва
«Согласие»
1994

ББК 83. 3Р7
И 20

Составление, подготовка текста
Е. В. ВИТКОВСКОГО, В. П. КРЕЙДА

Комментарии
В. П. КРЕЙДА, Г. И. МОСЕШВИЛИ

Редактор
В. П. КОЧЕТОВ

Художник
Т. Н. РУДЕНКО

Руководитель программы «Согласие»
В. В. МИХАЛЬСКИЙ

И $\frac{4702010106—003}{8Д1(03)—93}$ Без объявления

ISBN 5-86884-024-0 (Т. 2)
ISBN 5-86884-022-4

РАСПАД АТОМА

Опустись же. Я мог бы сказать —
взвейся. Это одно и то же.

Фауст, вторая часть

Я дышу. Может быть, этот воздух отравлен? Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Я ощущаю то смутно, то с мучительной остротой различные вещи. Может быть, напрасно о них говорить? Но нужна или не нужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льет дождь? Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я еще дорожу, единственное, что еще отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства.

Я живу. Я иду по улице. Я захожу в кафе. Это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь. Я заказываю стакан пива и с удовольствием пью. За соседним столиком пожилой господин с розеткой. Этих благополучных старичков, по-моему, следует уничтожать.— Ты стар. Ты благоразумен. Ты отец семейства. У тебя жизненный опыт. А, собака! — Получай. У господина представительная наружность. Это ценится. Какая чепуха: представительная. Если бы красивая, жалкая, страшная, какая угодно. Нет, именно представительная. В Англии, говорят, даже существует профессия — лжесвидетелей с представительной наружностью, внушающей судьям доверие. И не только внушает доверие, сама неисчерпаемый источник самоуверенности. Одно из свойств мирового уродства — оно представительно.

* * *

В сущности, я счастливый человек. То есть человек, расположенный быть счастливым. Это встречается не так часто. Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен. Я хочу душевного покоя. Но душа, как взбаламученное помойное ведро — хвост селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя в мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся вперегонки. Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен — дыхание мирового уродства — преследует меня, как страх.

Я иду по улице. Я думаю о различных вещах. Салат, перчатки... Из людей, сидящих в кафе на углу, кто-то умрет первый, кто-то последний — каждый в свой точный, определенный до секунды срок. Пыльно, тепло. Эта женщина, конечно, красива, но мне не нравится. Она в нарядном платье и идет улыбаясь, но я представляю ее голой, лежащей на полу с черепом, раскроенным топором. Я думаю о сладострастии и отвращении, о садических убийствах, о том, что я тебя потерял навсегда, кончено. «Кончено» — жалкое слово. Как будто, если хорошенько вдуматься слухом, не все слова одинаково жалки и страшны? Жиденькое противоядие смысла, удивительно быстро перестающее действовать, и за ним глухонемая пустота одиночества. Но что они понимали в жалком и страшном — они, верившие в слова и смысл, мечтатели, дети, незаслуженные баловни судьбы!

Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль — частица Божьего существа. Значит, чем сильнее моя боль... Минута слабости, когда хочется произнести вслух — «Верю, Господи...» Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.

Я думаю о нательном кресте, который я носил с детства, как носят револьвер в кармане — в случае опасности он должен защитить, спасти. О фатальной неизбежной осечке. О сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровывавших мир. И о единственном достоверном чуде — том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого. Отблеске в каждое, особенно русское сознание.

* * *

Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки. Законы жизни, сросшиеся с законами сна. Жуткая метафизическая свобода и физические преграды на каждом шагу. Неисчерпаемый источник превосходства, слабости, гениальных неудач. Ох, странные разновидности наши, слоняющиеся по сей день неприкаянными тенями по свету: англоманы, толстовцы, снобы русские — самые гнусные снобы мира,— и разные русские мальчики, клейкие листочки, и заветный русский тип, рыцарь славного ордена интеллигенции, подлец с болезненно развитым чувством ответственности. Он всегда на страже, он, как ищейка, всюду чует несправедливость, куда угнаться за ним обыкновенному человеку! Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. «А как живо было дитятко...» Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда — жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, «Боже, Царя верни»...

* * *

Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. Я представляю себе, как она подмывается. Расставив

ноги, немного подогнув колени. Чулки сползают с колен, глаза где-то в самой глубине бархатно темнеют, выражение невинное, птичье. Я думаю о том, что средняя француженка, как правило, аккуратно подмывается, но редко моет ноги. К чему? Ведь всегда в чулках, очень часто не снимая туфелек. Я думаю о Франции вообще. О девятнадцатом веке, который задержался здесь. О фиалочках на Мадлен, булках, мокнущих в писсуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария. О дне перемирия в 1918 году. Париж бесился. Женщины спали с кем попало. Солдаты влезали на фонари, крича петухом. Все танцевали, все были пьяны. Никто не слышал, как голос нового века сказал: «Горе победителям».

Я думаю о войне. О том, что она — ускоренная, как в кинематографе, сгущенная в экстракт жизнь. Что в несчастьях, постигших мир, война, сама по себе, была ни при чем. Толчок, ускоривший неизбежное, больше ничего. Как опасно больному все опасно, так старый порядок пополз от первого толчка. Больной съел огурец и помер. Мировая война была этим огурцом. Я думаю о банальности таких размышлений и одновременно чувствую, как тепло или свет, умиротворяющую ласку банальности. Я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах. О двух основных разновидностях женщин: либо проститутки, либо гордые тем, что удержались от проституции. О бесчеловечной мировой прелести и одушевленном мировом уродстве. О природе, о том, как глупо описывают ее литературные классики. О всевозможных гадостях, которые люди делают друг другу. О жалости. О ребенке, просившем у рождественского деда новые глаза для слепой сестры. О том, как умирал Гоголь: как его брили, стращали страшным судом, ставили пиявки, насильно сажали в ванну. Я вспоминаю старую колыбельную: «У кота воркота была мачеха лиха». Я опять возвращаюсь к мысли, что я человек, расположенный быть счастливым. Я хотел самой обыкновенной вещи — любви.

С моей, мужской точки зрения... Впрочем, точка зрения может быть только мужская. Женской точки зрения не существует. Женщина, сама но себе, вообще не существует. Она тело и отраженный свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня.

Мы скользим пока по поверхности жизни. По периферии. По синим волнам океана. Видимость гармонии и порядка. Грязь, нежность, грусть. Сейчас мы нырнем. Дайте руку, неизвестный друг.

* * *

Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение. Все нереально, кроме нереального. все бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть, ставшая больше целого,— часть все, целое ничто. Догадка, что ясность и законченность мира — только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего. Догадка, что книги, искусство — все равно что описания подвигов и путешествий, предназначенные для тех, кто никогда никуда не поедет и никаких подвигов не совершит. Догадка, что огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый. Множество противоречивых догадок, как будто подтверждающих, на новый лад, вечную неосязаемую правду. Тайные мечты.— Скажи, о чем ты мечтаешь тайком, и я тебе скажу, кто ты.— Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня? Все гладко замуровано, на поверхности жизни не пробьется ни одного пузырька. Атом, точка, глухонемой гений и под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни,

каменный уголь перегнивших эпох. Мировой рекорд одиночества.—Так ответь, скажи, о чем ты мечтаешь тайком там, на самом дне твоего одиночества?

* * *

История моей души и история мира. Они переплетены, как жизнь и сон. Они срослись и проросли друг в друга. Как фон, как трагическая подмалевка, за ними современная жизнь. Обнявшись, слившись, переплетясь, они уносятся в пустоту со страшной скоростью тьмы, за которой лениво, даже не пытаясь ее догнать, движется свет.

Фанфары. Утро. Великолепный занавес. Никакого занавеса нет. Но желание прочности, плотности так властно, что я чувствую на ощупь его затканный толстый шелк. Его ткали с утра до вечера голубоглазые мастерицы. Одна была невестой... Его не ткали нигде. Мимо. Мимо.

Дохлая крыса лежит в помойном ведре, среди окурков, вытрясенных из пепельницы, рядом с ваткой, которой в последний раз подмылась невеста. Крыса была завернута в кусок газеты, но в ведре он, развернувшись, всплыл—можно еще прочесть обрывки позавчерашних новостей. Третьего дня они еще были новостями, окурок дымился во рту, крыса была жива, девственная плева была нетронутой. Теперь все это, мешаясь, обесцвечиваясь, исчезая, уничтожаясь, улетает в пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы, за которой, как черепаха, даже не пытаясь ее догнать, движется свет.

Лезвие от безопасной бритвы, зацепившись за разбухший окурок, отражает радужный, сквозь помои, солнечный луч и наводит его на морду крысы. Она оскалена, на острых зубах сукровица. Как могло случиться, что такая старая, опытная, осторожная, богобоязненная крыса—не убереглась, съела яд? Как мог

министр, подписавший версальский договор, на старости лет провороваться из-за девчонки? Представительная наружность, каменный крахмальный воротничок, командорский крест, «Германия должна платить» — и в подтверждение этой аксиомы твердый росчерк на историческом пергаменте, историческим золотым пером. И вдруг девчонка, чулки, коленки, теплое нежное дыхание, теплое розовое влагалище — и ни версальского договора, ни командорского креста,— опозоренный старик умирает на тюремной койке. Некрасивая, респектабельная вдова, кутаясь в креп, уезжает навсегда в провинцию, дети стыдятся имени отца, коллеги в сенате укоризненно-грустно качают плешивыми головами. Но виновник всей этой грязи и чепухи уже опередил ее, опередил давно, опередил еще в ту минуту, когда дверь спальни закрылась за ним, ключ щелкнул, прошлое исчезло, осталась девчонка на широкой кровати, подделанный вексель, блаженство, позор, смерть. Опередив судьбу, он летит теперь в ледяном пространстве, и вечная тьма шелестит фалдами его чопорного, старомодного сюртука. Впереди его летят окурки и исторические договоры, вычесанные волосы и отцветшие мировые идеи, сзади другие волосы, договоры, окурки, идеи, плевки. Если тьма донесет его в конце концов к подножью престола, он не скажет Богу: «Германия должна платить». «О ты, последняя любовь...» — растерянно пролепечет он.

* * *

Совокупление с мертвой девочкой. Тело было совсем мягко, только холодновато, как после купанья. С напряжением, с особенным наслаждением. Она лежала, как спящая. Я ей не сделал зла. Напротив, эти несколько судорожных минут жизнь еще продолжалась вокруг нее, если не для нее. Звезда бледнела в окне, жасмин доцветал. Семя вытекло обратно, я вытер его носовым платком. От толстой восковой свечи я закурил папиросу. Мимо. Мимо.

Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем, здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.

Я в лесу. Страшный, сказочный, снежный пейзаж ничего не понимающей, взволнованной, обреченной души. Банки с раковыми опухолями: кишечник, печень, горло, матка, грудь. Бледные выкидыши в зеленоватом спирту. В 1920 году в Петербурге этот спирт продавался для питья — его так и звали «младенцовка». Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. Человеческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра с запахом ножного пота.

Рождество на северном полюсе. Сиянье и снег. Чистейший саван зимы, заметающий жизнь.

* * *

Вечер. Июль. Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро проступят звезды. Звезды тридцатых годов двадцатого века. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот...

То, что удавалось вчера, стало сегодня невозможным, неосуществимым. Нельзя поверить в появление

нового Вертера, от которого вдруг по всей Европе начнут щелкать восторженные выстрелы очарованных, упоенных самоубийц. Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую современный человек смахнет проступившие сами собой слезы и посмотрит на небо, вот на такое же вечернее небо, с щемящей надеждой. Невозможно. Так невозможно, что не верится, что когда-то было возможным. Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством. Более того, эти — еще неясные, уже неотвратимые — бездушно справедливые законы, рождающиеся в новом мире или рождающие его, имеют обратную силу: не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним. Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они еще стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сиянье почти не достигает до нас. Так, чуть-чуть потускневшими косыми лучами — не то последний отблеск утраченного, не то подтверждение, что утрата непоправима. Скоро все навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение, не обязывающее себе верить и не внушающее больше веры. Вроде «Трех мушкетеров». То, что сам Толстой почувствовал раньше всех, неизбежная черта, граница, за которой — никакого утешения вымышленной красотой, ни одной слезы над вымышленной судьбой.

* * *

Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и еще сказать, что где бы ты ни была,

куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его, все равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет.

Яркий свет и толкотня кафе дают на минуту иллюзию свободы: ты увернулся, ты выскочил, гибель проплыла мимо. Не пожалев двадцати франков, можно пойти с бледной хорошенькой девчонкой, которая медленно проходит по тротуару и останавливается, встретив мужской взгляд. Если сейчас ей кивнуть — иллюзия уплотнится, окрепнет, порозовеет налетом жизни, как призрак, хлебнувший крови, растянется на десять, двенадцать, двадцать минут.

Женщина. Плоть. Инструмент, из которого извлекает человек ту единственную ноту из божественной гаммы, которую ему дано слышать. Лампочка горит под потолком. Лицо откинуто на подушке. Можно думать, что это моя невеста. Можно думать, что я подпоил девчонку и воровски, впопыхах, насилую ее. Можно ничего не думать, содрогаясь, вслушиваясь, слыша удивительные вещи, ожидая наступления минуты, когда горе и счастье, добро и зло, жизнь и смерть скрестятся как во время затмения на своих орбитах, готовые соединиться в одно, когда жуткий зеленоватый свет жизни-смерти, счастья-мученья хлынет из погибшего прошлого, из твоих погасших зрачков.

* * *

История моей души и история мира. Они сплелись и проросли друг в друга. Современность за ними, как трагический фон. Семя, которое не могло ничего

оплодотворить, вытекло обратно, я вытер его носовым платком. Все-таки тут, пока это длилось, еще трепетала жизнь.

История моей души. Я хочу ее воплотить, но умею только развоплощать. Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сровнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой и воображением, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх — преображены гармонией искусства.

Я знаю этому цену и все-таки завидую им: они блаженны. Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи — мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского и сам Стравинский. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны. Уходя, уже уйдя из жизни, они уносят с собой огромное воображаемое богатство. С чем останемся мы?

С уверенностью, что старуха бесконечно важней Рембрандта. С недоумением, что нам с этой старухой делать. С мучительным желанием ее спасти и утешить. С ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя. С чувством, что только сквозь хаос про-

тиворечий можно пробиться к правде. Что приближение возможно только через искажение. Что на саму реальность нельзя опереться: фотография лжет и всяческий документ заведомо подложен. Что все среднее, классическое, умиротворенное немыслимо, невозможно. Что чувство меры, как угорь, ускользает из рук того, кто силится его поймать, и что эта неуловимость — последнее из его сохранившихся творческих свойств. Что когда, наконец, оно поймано — поймавший держит в руках пошлость. «В руках его мертвый младенец лежал.» Что у всех кругом на руках эти мертвые младенцы. Что тому, кто хочет пробраться сквозь хаос противоречий к вечной правде, хотя бы к бледному отблеску ее, остается один-единственный путь: пройти над жизнью, как акробат по канату, по неприглядной, растрепанной, противоречивой стенограмме жизни.

* * *

Фотография лжет. Человеческий документ подложен. Заблудившись в здании берлинского иолицейпрезидиума, я случайно попал в этот коридор. Стены были увешаны фотографиями. Их было несколько десятков, все они изображали одно. Так этих самоубийц или жертв преступлений застала полиция. Молодой немец висит на подтяжках, башмаки, снятые для удобства, лежат рядом с перевернутым стулом. Старуха: большое пятно на груди, формой напоминающее петуха,— сгусток крови из перерезанного горла. Толстая, голая проститутка с распоротым животом. Художник, застрелившийся с голоду или несчастной любви, или от того и другого вместе. Под развороченным черепом пышный артистический бант, рядом на мольберте какие-то ветки и облака, неоконченная пачкотня святого искусства. Вытаращенные глаза, закушенные языки, гнусные позы, отвратительные раны — и все вместе взятое однообразно, академично, нестрашно. Ни один завиток кишки, вылезший из распоротого живота, ни одна гримаса, ни один кровоподтек не ускользнул от

фотографического объектива, но главное ускользнуло, главного нет. Я смотрю и не вижу ничего, что бы взволновало меня, заставило душу содрогнуться. Я делаю над собой усилие — ничего. И вдруг мысль о том, что ты дышишь здесь на земле, вдруг в памяти, как живое, твое прелестное, бессердечное лицо.

И я сразу вижу и слышу все — все горе, всю муку, все напрасные мольбы, все предсмертные слова. Как хрипела с перерезанным горлом старуха, как, путаясь в кишках, отбивалась от садиста проститутка, как — точно это был я сам — умирал бездарный, голодный художник. Как лампа горела. Как рассвет светлел. Как будильник стучал. Как стрелка приближалась к пяти. Как, не решаясь, решившись, он облизнул губы. Как в неловкой, потной руке он сжал револьвер. Как ледяное дуло коснулось пылавшего рта. Как он ненавидел их, остающихся жить, и как он завидовал им.

Я хотел бы выйти на берег моря, лечь на песок, закрыть глаза, ощутить дыханье Бога на своем лице. Я хотел бы начать издалека — с синего платья, с размолвки, с зимнего туманного дня. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — такими приблизительно словами я хотел бы говорить с жизнью.

Жизнь больше не понимает этого языка. Душа еще не научилась другому. Так болезненно отмирает в душе гармония. Может быть, когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно-легко. Но переход медлен и мучителен. Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим отсыхает все, что ее животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычит, как глухонемая, делает безобразные гримасы. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И, с отвращением, похожим на наслаждение, бормочет матерную брань с метафизического забора, какое-то «дыр бу щыл убещур».

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Тысяча других платьев, размолвок, дней. Тысяча ощущений, безотчетно пробегающих в душе каждого человека. Немногие, получившие права гражданства, вошедшие в литературу, в обиход, в разговор. И остальные, бесчисленные, еще не нашедшие литературного выражения, не отделившиеся еще от утробного заумного ядра. Но от этого ничуть не менее плоские: тысячи невоплощенных банальностей, терпеливо ждущих своего Толстого. Догадка, что искусство, творчество в общепринятом смысле, не что иное, как охота за все новыми и новыми банальностями. Догадка, что гармония, к которой стремится оно, не что иное, как некая верховная банальность. Догадка, что истинная дорога души вьется где-то в стороне — штопором, штопором — сквозь мировое уродство.

Я хочу говорить о своей душе простыми, убедительными словами. Я знаю, что таких слов нет. Я хочу рассказать, как я тебя любил, как я умирал, как я умер, как над моей могилой был поставлен крест и как время и черви превратили этот крест в труху. Я хочу собрать горсточку этой трухи, посмотреть на небо в последний раз и с облегчением дунуть на ладонь. Я хочу разных, одинаково неосуществимых вещей — опять вдохнуть запах твоих волос на затылке и еще извлечь из хаоса ритмов тот единственный ритм, от которого, как скала от детонации, должно рухнуть мировое уродство. Я хочу рассказать о человеке, лежавшем на разрытой кровати, думавшем, думавшем, думавшем,— как спастись, как поправить,— не придумавшем ничего. О том, как он задремал, как он проснулся, как все сразу вспомнил, как вслух, точно о постороннем, сказал: «Он не был Цезарем. Была у него только эта любовь. Но в ней заключалось все — власть, корона, бессмертие. И вот рухнуло, отнята честь, сорвали погоны». Я хочу объяснить простыми убедительными словами множество волшебных, неповторимых вещей — о синем платье, о размолвке, о зимнем туманном дне. И еще я хочу предостеречь мир от страшного

врага, жалости. Я хочу крикнуть так, чтобы все слышали: люди, братья, возьмитесь крепко за руки и поклянитесь быть безжалостными друг к другу. Иначе она — главный враг порядка — бросится и разорвет вас.

Я хочу в последний раз вызвать из пустоты твое лицо, твое тело, твою нежность, твою бессердечность, собрать перемешанное, истлевшее твое и мое, как горсточку праха на ладони, и с облегчением дунуть на нее. Но жалость снова все путает, снова мешает мне. Я опять вижу туман чужого города. Нищий вертит ручку шарманки, обезьянка, дрожа от холода, с блюдечком обходит зевак. Те под зонтиками хмурые, нехотя бросают медяки. Хватит ли на ночлег, чтобы укрыться, обнявшись до утра...

Мне представилось это средь шумного бала — под шампанское, музыку, смех, шелест шелка, запах духов. Это был один из твоих самых счастливых дней. Ты сияла молодостью, прелестью, бессердечностью. Ты веселилась, ты торжествовала над жизнью. Я взглянул на тебя, улыбающуюся, окруженную людьми. И увидел: обезьянка, туман, зонтики, одиночество, нищета. И от едкой жалости, как от невыносимого блеска, я опустил глаза.

* * *

Содрогание, которое вызывает жалость. Содрогание, переходящее обязательно в чувство мести. За глухого ребенка, за бессмысленную жизнь, за унижения, за дырявые подошвы. Отомстить благополучному миру — повод безразличен. «В ком сердце есть», знает это. Этот почти механический переход от растерянной жалости — к «ужо погодите» — другой форме бессилия. Даже зверьки волновались, шептались, долго сочиняли: «Памфлет-протест» — «Вы, которые котов мучаете». Просили, нельзя ли напечатать в газетах, чтобы всякий прочел.

Зверьки были с нами неразлучны. Они ели из наших тарелок и спали в нашей кровати. Главными из них были два Размахайчика.

Размахайчик Зеленые Глазки был добродушный, ласковый, никому не делавший зла. Серые Глазки, когда подрос, оказался с характером. Он при случае мог и укусить. Их нашли под скамейкой метро, в коробке от фиников. К коробке была приколота записка: «Размахайчики, иначе Размахаи, иначе Размахайцы. Австралийского происхождения. Просят любить, кормить и водить на прогулку в Булонский лес».

Были и другие зверьки: Голубчик, Жухла, Фрыштик, Китайчик, глупый Цутик, отвечавший на все вопросы одно и то же — «Цутик и есть». Была старая, грубоватая наружно, но нежнейшая в душе Хамка с куцым рыбьим хвостом. Где-то в стороне, не принимаемый в компанию, наводящий неприязнь и страх, водился мрачный фон Клоп.

У зверьков был свой быт, свои привычки, своя философия, своя честь, свои взгляды на жизнь. Была у них собственная звериная страна, границы которой, как океан, омывал сон. Страна была обширная и не до конца обследованная. Известно было, что на юге живут верблюды, их по пятницам приходит мыть и стричь белая лошадь. На крайнем севере всегда горела елка и стояло вечное Рождество.

Зверьки объяснялись на смешанном языке. Были в нем собственные австралийские слова, переделанные из обыкновенных на австралийский лад. Так, в письмах они обращались друг к другу «ногоуважаемый» и на конверте писали «его высокоподбородию». Они любили танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники, именины. Они так и смотрели на жизнь: Из чего состоит год? — Из трехсот шестидесяти пяти праздничков. — А месяц? — Из тридцати именин.

Они были славными зверьками. Они, как могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженого, когда знали, что нет денег. Даже когда им было очень грустно, они танцевали и праздновали именины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что-нибудь плохое. «Зверьки, зверьки,— нашептывал им по вечерам из щели страшный фон Клоп,— жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, вы замерзнете, вы умрете, зверьки,— вы, которые так любите жизнь». Но они прижимались тесней друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством, отвечали — «Это нас не кусается».

* * *

Человек бродит по улицам, думает разные вещи, заглядывает в чужие окна. Его воображение работает помимо него. Он не замечает его работы. Он сидит в кафе, пьет пиво и читает газету. Прения в палате депутатов. Автомобили в рассрочку. Он дремлет, ему снится чепуха. Чернило пролилось на скатерть. Рыба проплыла — чернило исчезло. Надо закрыть дверь, но ключ не лезет в скважину. Общественное мнение Англии. Циклон. Оказывается, рыба и есть ключ, оттого-то он и не подходил. Спящий вдруг просыпается. Ни рыбы, ни общественного мнения.

Сидеть в кафе, слоняться по лицам, заглядывать в чужие окна все-таки лучшее утешение, чем Анна Каренина или какая-нибудь мадам Бовари. Следить за влюбленными, которые сидят, прижавшись, за невыпитым кофе, потом плутают по улицам, наконец, оглянувшись, входят в дешевую гостиницу, то же, если не большее, чем самые совершенные стихи о любви. «Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой». Вот она, маленькая ножка, стучит по асфальту монмартрского тротуара, вот мелькнул и скрылся золотой локон за стеклянной дверью отеля. Это сегодняшний день, это трепещущее улетающее мгновение моей неповторимой

жизни — конечно, разве можно сравнивать,— это выше всех вместе взятых стихов. Топот ножки замолк, локон мелькнул и исчез за дверью. Постоим, подождем. Вот окно зажглось в первом этаже. Вот задернулась портьера.

Лакей получил франк на чай и оставил их одних. Лампочка под потолком, пестрые обои, белое эмалевое биде. Может быть, это в первый раз. Может быть, это блаженнейшая в мире любовь. Может быть, Наполеон воевал и Титаник тонул только для того, чтобы сегодня вечером эти двое рядом легли на кровать. Поверх одеяла, поверх каменно-застланной простыни торопливое, неловкое, бессмертное объятие. Колени в сползающих чулках широко разворочены; волосы растрепаны на подушке, лицо прелестно искажено. О, подольше, подольше. Скорей, скорей.

— Погоди. Знаешь ли ты, что это? Это наша неповторимая жизнь. Когда-нибудь, через сто лет, о нас напишут поэму, но там будут только звонкие рифмы и ложь. Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновение. Никто не раздвигал твоих коленей, и вот я на ярком свету, на белой выутюженной простыне, бесцеремонно раздвигаю их. Тебе стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входит полным весом в мое беспамятное торжество.

Кто они, эти двое? О, не все ли равно. Их сейчас нет. Есть только сияние, трепещущее вовне, пока это длится. Только напряжение, вращение, сгорание, блаженное перерождение сокровенного смысла жизни. Ледяная вершина мировой прелести, освещенная беглым огнем. Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы... ы... ы... Единственная нота, доступная человеку, ее жуткий звон. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Последние судороги. Горячее семя, стекающее к сокращающейся, вибрирующей матке. Желанье описало полный круг по спирали, закинутой

глубоко в вечность, и вернулось назад, в пустоту. «Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью»,— записывает после брачной ночи молодой Толстой.

* * *

В кафе сидит человек. Обыкновенный человечек, ноль. Один из тех, о которых пишут после катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директор треста, не изобретатель, не Линдберг, не Чаплин, не Монтерлан. Он прочел газету и знает теперь, как настроено общественное мнение Англии. Он допил кофе и зовет гарсона, чтобы расплатиться. Он рассеянно думает, что ему дальше делать — пойти в кинематограф или отложить деньги на лотерейный билет. Он спокоен, он мирно настроен, он спит, ему снится чепуха. И вдруг, внезапно он видит перед собой черную дыру своего одиночества. Сердце перестает биться, легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение.

Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацепить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лед. Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру.

Человек, человечек, ноль растерянно смотрит перед собой. Он видит черную пустоту, и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни. Тысяча безымянных, безответных вопросов, на мгновение освещаемых беглым огнем и сейчас же поглощаемых тьмой.

Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвеча-

ет на них. Любовь ставит... Бог поставил человеку — человеком — вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что. Вечный синоним неудачи — ответ. Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира, и что за ответы были на них даны...

Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества. Два миллиарда обитателей земного шара — два миллиарда исключений из правила. Но в то же время и правило. Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять. Брат мой Гёте, брат мой консьерж, оба вы не знаете, что творите и что творит с вами жизнь.

Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они ее расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самум мутными струйками закрутился в пустыне. Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах — Париж, улица, время, твой образ, моя любовь.

Человек, человечек, ноль сидит с остановившимся взглядом. Подходит лакей, сдает сдачу. Человек переводит дыхание, встает. Он закуривает папиросу, он идет по улице. Его сердце еще не разорвалось — вот оно по-прежнему бьется в груди. Мировое уродство не рухнуло — вот оно, как скала, по-прежнему подпирает мир.

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Желание говорить, стремленье петь — о своей любви, о своей душе. Изойти, захлебнуться простыми, убедительными словами, словами, которых нет...

Как началась наша любовь? Банально, банально. Как все прекрасное, началась банально. Вероятно, гармония и есть банальность. Вероятно, на это бессмысленно роптать. Вероятно, для всех был и есть один-единственный путь — как акробат по канату, пройти над жизнью по мучительному ощущению жизни. Неуловимому ощущению, которое возникает в последней физической близости, последней недоступности, в нежности, разрывающей душу, в потере всего этого навсегда, навсегда. Рассвет за окном. Желанье описало полный путь и ушло в землю. Ребенок зачат. Зачем нужен ребенок? Бессмертия нет. Не может не быть бессмертья. Зачем мне нужно бессмертье, если я так одинок?

Рассвет за окном. На смятой простыне в моих руках вся невинная прелесть мира и недоуменный вопрос, что делали с ней. Она божественна, она бесчеловечна. Что же делать человеку с ее бесчеловечным сиянием? Человек — это морщины, мешки под глазами, известь в душе и крови, человек — это прежде всего сомнение в своем божественном праве делать зло. «Человек начинается с горя», как сказал какой-то поэт. Кто же спорит. Человек начинается с горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадает в Каспийское море. Дыр бу щыл убещур.

* * *

Этот день, этот час, эта ускользающая минута. Тысячи таких же дней и минут, одинаковых, неповторимых. Этот перистый парижский закат, тускнеющий у меня на глазах. Тысячи таких же закатов, над современностью, над будущим, над погибшими веками. Тысячи глаз, глядящих с той же надеждой в ту же сияющую пустоту. Вечный вздох мировой прелести: я отцветаю, я гасну, меня больше нет. «На холмы Грузии легла ночная мгла.» И вот она так же ложится на холм Монмартра. На крыши, на перекресток, на

вывеску кафе, на полукруг писсуара, где с тревожным шумом, совсем как в Арагве, шумит вода.

Напротив писсуара скамейка. На скамейке старик в лохмотьях. Он курит подобранный на панели окурок. У него безразличный дремлющий вид. Но это притворство. Насторожившись, он следит за входящими в то отделение писсуара, где на клочке газеты лежит кусок хлеба, набухший от мочи. Вот рабочий с толстой шеей на ходу расстегивает штаны. Широко расставив ноги, он мочится над булкой. Блаженная судорога в душе вшивого старикашки. Сейчас, оглянувшись, торопливо подвернув промокшую газету, на которой еще можно прочесть обрывки вчерашних новостей, он унесет эту булку домой. Сейчас, сейчас,—чавкая, запивая красным вином, представляя до последних мелочей рабочего с толстой шеей, мальчишку в желтых башмаках, всех, всех пропитавших своей терпкой, теплой мочой эти полкило gros pain[1]. Сейчас, сейчас. Мука, похожая на восхищение, блаженная судорога. Уходя, он что-то бормочет на ходу. Может быть, его глухонемая душа силится промычать на свой лад—«На холмы Грузии...»

Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтем в снег и в его лицо хлещет красный закат. Закат в мертвецкой, в операционной, над океаном, над Альпами, в дощатом лагерном нужнике: все оттенки желтого и коричневого, запятые на стенках, сложная вонь, перебиваемая свежестью, сквозящей в щели. Новобранец, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспешно онанирует другой. Задохнувшись, заглушенно вскрикнув, он кончает. С полстакана, заливая пальцы липким теплом, спугнув мух, шлепается в коричневое месиво. Лицо парня сереет. Он вяло подтягивает штаны. Так и не удалось

[1] Хлеб из муки грубого помола *(фр.)*.

вообразить оставленную в деревне невесту. Конечно, его убьют на войне, может быть, еще в этом году.

Закат над Тамплем. Закат над Лубянкой. Закат в день объявления войны и в день перемирия: все танцевали, все были пьяны, никто не слышал, как голос сказал — «Горе победителям». Закат в комнате, где когда-то мы жили с тобой: синее платье лежало на этом стуле.

* * *

Петербургский ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице, перед чужим окном, и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую пульсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась без следа в перистом вечернем небе? Или он только предчувствует встречу с ней? Не все ли равно.

Закат давно погас. Служба давно кончилась. На чердаке у Обухова моста булькает теплое пиво, клубится табачный дым. «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь»,— вкрадчиво, нежно, бархатно вздыхает гитара. Расцветает чердачный канцелярский миф, миф — самозащита и противовес ледяному мифу пушкинской ясности. Миф — серная кислота, тайная мечта,— который эту ясность обезобразит, разъест, растлит.

Акакий Акакиевич получает жалование, переписывает бумаги, копит деньги на шинель, обедает и пьет чай. Но все это только поверхность, сон, чепуха, бесконечно далекая от сути вещей. Точка, душа, неподвижна и так мала, что ее не разглядеть и в самый сильный микроскоп. Но внутри, под непроницаемым

ядром одиночества, бесконечная нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота. Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост. Но если пошевелить его, зацепить, расщепить...

Генеральская дочка, Психея, ангельчик вбегает, вся в кисее, в кабинет его превосходительства, и чернильная крыса, человечек, ноль, раболепная тень в сюртуке с чужого плеча отвешивает ей низкий поклон. Только и всего. Психея пролепечет: bonjour, papa[1], поцелует румяную генеральскую щеку, блеснет улыбкой, прошелестит кисеей и упорхнет. И никто не знает, никто не догадывается, какая это видимость, сон, суета...

С головой, отуманенной скукой жизни и пивом, под вкрадчивый рокот гитары, Акакий Акакиевич оставляет суету и поверхность и опускается в суть вещей. Тайные мечты обволакивают образ Психеи, и мало-помалу его жадная мысль превращается в ее желанную плоть. Преграды, такие непреодолимые днем,— падают сами собой. Он неслышно скользит по пустому спящему городу, не замеченный никем входит в темные покои его превосходительства, бесшумной тенью, между статуй и зеркал, по паркетам и коврам пробирается к самой спальне ангельчика. Открывает дверь, останавливается на пороге, видит «рай, какого и на небесах нет». Видит ее разбросанное на кресле бельецо, видит ее сонное личико на подушке, видит ту скамеечку, на которую она ставит по утрам ножку, надевая на эту ножку белый, как снег, чулочек. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот... Ничего, ничего, молчание.

Под рокот гитары, отуманенный тайными мечтами, настойчивым, воспаленным, направленным долгие часы, долгие годы в одну точку воображением, он материализует Психею, заставляет ее самое прийти на

[1] здравствуй, папа *(фр.)*.

его чердак, лечь на его кровать. И она приходит, ложится, поднимает кисейный подол, раздвигает голые атласистые коленки. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он при встрече раболепно кланялся ей, не смея поднять глаз от своих залатанных сапог. И вот, широко расставив коленки, улыбаясь невинной улыбкой ангельчика, она покорно ждет, чтобы он всласть, вдребезги, вдребезги натешился ей.

* * *

«Красуйся, град Петров, и стой»,— задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин, и в донжуанском списке кого только нет. «Ничего, ничего, молчание»,— бормочет Гоголь, закатив глаза в пустоту, онанируя под холодной простыней.

«Красуйся и стой.» На поверхности жизни, в ясных, хотя бы и закатных лучах, как будто и так. Вот Париж же стоит до сих пор. Этим теплым летним вечером он прекрасен. Каштаны, автомобили, мидинетки в летних платьицах. Волшебство вспыхнувших фонарей вокруг безобразнейших в мире статуй. Россыпь цветов на лотках. Сакре Кёр на темнеющем небе. Несмотря на предчувствие, душа тянется к жизни. Вот она в легких перистых облаках.— «Я увядаю, я гасну, меня больше нет.» И совсем как в Арагве, торжественно, грустно, глухо в писсуаре шумит вода.

Но закат быстро темнеет, и ночная мгла еще быстрей овладевает человеком. Она уводит его за собой в такую глубину, что, вернувшись на поверхность, он уже не узнает ее. Но он и не вернется. В черном счастьи, куда все глубже — штопором, штопором — завинчивается душа, зачем ей эта давно поколебленная неколебимость и ее давно обезображенная краса? Петра выпотрошат из гроба и с окурком в зубах прислонят к стенке Петропавловского собора под хохот красноармейцев, и ничего, не провалится Петропавлов-

ский собор. Дантес убьет Пушкина, а Иван Сергеевич Тургенев вежливенько пожмет руку Дантесу, и ничего, не отсохнет его рука. И какое нам дело до всего этого, здесь, на самом дне наших душ. Наши одинаковые, разные, глухонемые души — почуяли общую цель и — штопором, штопором — сквозь видимость и поверхность завинчиваются к ней. Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу.

Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги. Немного припухшие от горячей воды, с коротко подстриженными ноготками, наивные, непривычные к тому, чтобы кто-нибудь на них смотрел, целовал, прижимался к ним горячим лбом,—ноги уличной девчонки обернутся в ножки Психеи.

* * *

Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Белоснежный чулочек снят с ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колено, щиколотка, нежная детская пятка — пролетали годы. Вечность прошла, пока показались пальчики... И вот — исполнилось все. Больше нечего ждать, не о чем мечтать, не для чего жить. Ничего больше нет. Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель — Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот, вот...

Простыня холодная, как лед. Ночь мутно просвечивает в окно. Острый птичий профиль запрокинут в подушках. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Все достигнуто, но душа еще не насытилась до конца и дрожит, что не успеет насытиться. Пока еще есть время, пока длится ночь, пока не пропел петух и атом,

дрогнув, не разорвался на мириады частиц — что еще можно сделать? Как еще глубже проникнуть в свое торжество, в суть вещей, чем еще ее ковырнуть, зацепить, расщепить? Погоди, Психея, постой, голубка. Ты думаешь, это все? Высшая точка, конец, предел? Нет, не обманешь.

Тишина и ночь. Голые детские пальчики прижаты к окостеневшим губам. Они пахнут невинностью, нежностью, розовой водой. Но нет, нет — не обманешь. Штопором, штопором вьется жадная страсть, сквозь видимость и поверхность, упоенно стремясь распознать в ангельской плоти мечты свою кровную стыдную суть.— Ты скажи, сквозь невинность и розовую воду, чем твои белые ножки пахнут, Психея? В самой сути вещей чем они пахнут, ответь? Тем же, что мои, ангельчик, тем же, что мои, голубка. Не обманешь, нет!

И Психея знает: нельзя обмануть. Ее ножки трепещут в цепких жадных ладонях и, трепеща, отдают последнее, что у ней есть,— самое сокровенное, самое дорогое, потому что самое стыдное: легчайший, эфемерный и все-таки не уничтожимый никакой прелестью, никакой невинностью, никаким социальным неравенством запах. Тот же, что от меня, голубка, тот же, что от моих плебейских ног, институточка, ангельчик, белая кость. Значит, нет между нами ни в чем разницы и гнушаться тебе мною нечего; я твои барские ножки целовал, я душу отдал за них, так и ты нагнись, носочки мои протухлые поцелуй. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь...» Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя? Все равно — ведь и мертвая теперь ты придешь ко мне.

По чужому городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его. Он не противится ей. Уходя, он бормочет про себя — Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?

* * *

Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь. Мысль, что все навсегда кончается, переполняет человека тихим торжеством. Он предчувствует, он наверняка знает, что это не так. Но пока длится эта секунда, он не хочет противиться ей. Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой — он позволяет себя баюкать, как музыке или морскому прибою, смутной певучей лжи.

Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой... На самой грани. Он раскачивается на паутинке. Вся тяжесть мира висит на нем, но он знает — пока длится эта секунда, паутинка не оборвется, выдержит все. Он смотрит в одну точку, бесконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена там. Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества.

...Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало все: окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногти, грязь из-под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая за них, кровь убийства и совокупления, геморроидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черемуха, звезды, невинность, фановые трубы, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег. Министр, подписавший версальский договор, пролетел, напевая «Германия должна платить», — на его острых зубах застыла сукровица, в желудке просвечивал крысиный яд. Догоняя шинель, промчался Акакий Акакиевич, с птичьим профилем, в холщовых подштанниках, измазанных семенем онаниста. Все надежды, все судороги, вся жалость, вся безжалостность, вся телесная влага, вся пахучая мякоть, все глухонемое торжество... И тысячи других вещей. Теннис в белой рубашке и купанье в Крыму, снящиеся человеку, которого в Соловках заедают вши. Разновидности вшей: платяные, головные и особенные,

подкожные, выводимые одной политанью. Политань, пилюли от ожиренья, шарики против беременности, ледоход на Неве, закат на Лидо и все описания закатов и ледоходов — в бесполезных книгах литературных классиков. В непрерывном пестром потоке промелькнули синее платье, размолвка, зимний туманный день. Спираль была закинута глубоко в вечность. Разбитое вдребезги, расплавленное мировое уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Там, на самой грани, у цели, все опять сливалось в одно. Сквозь вращенье, трепет и блеск, понемногу проясняясь, проступали черты. Смысл жизни? Бог? Нет, все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо.

Если бы зверьки могли знать, в каком важном официальном письме я пользуюсь их австралийским языком, они, конечно, были бы очень горды. Я был бы уже давно мертв, а они бы все еще веселились, приплясывали и хлопали в свои маленькие ладошки.

«Ногоуважаемый господин комиссар. Добровольно, в не особенно трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. Сам частица мирового уродства,— я не вижу смысла его обвинять. Я хотел бы прибавить еще, перефразируя слова новобрачного Толстого: «Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью». С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но,— опять переходя на австралийский язык,— это вашего высокоподбородия не кусается.»

ТРЕТИЙ РИМ

...Подумай — на руках у матерей
Все это были розовые дети.

Иннокентий Анненский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Было начало октября 1916 года. Желтый циферблат на думской каланче в холодном ночном воздухе напоминал луну. Стрелки показывали половину одиннадцатого, когда мимо этой каланчи пролетел по Невскому рысак под голубой сеткой и кучер крикнул кому-то: «Берегись!»

В санях сидел молодой человек. Звали его Юрьев, Борис Николаевич...

...С детства для Юрьева понятие «Россия» целиком покрывалось понятием «Петербург».

Изредка щурясь сквозь окно вагона на унылые ландшафты «с березками», кривые станции, скирды в поле, трусцой плетущиеся куда-то телеги — он вспоминал вдруг, что это и есть Россия, его страна. Мысль эта вызывала в нем смешанные чувства.

Прежде всего чувство досады, что он при всей своей благовоспитанности и тонком понимании новейшей музыки — все-таки русский, т. е. не совсем то, что настоящий европеец, француз или англичанин, все-таки какой-то второй сорт европейца. Это ощущение сейчас же являлось у Юрьева в присутствии каждого иностранца, и особенно неприятным было сознание, что и иностранец догадывается о нем и разделяет его. Кто был иностранец, барин или лакей, особенной роли не играло — тайное почтение ощущалось и к лакею. В любезности какого-нибудь атташе посольства и в болтовне бреющего его у Молле француза-парикмахера Юрьеву одинаково чудился оттенок снисходительности первого сорта ко второму. И теперь, когда

началась война, любезность иностранцев утроилась, и эту Россию с березками и телегами они иначе, как «le pays merveilleux» [1], не называли, и за утроенной любезностью Юрьеву слышалось то же самое: merveilleux-то merveilleux, а сорт все-таки второй.

Но была и другая сторона в том, что русский, приятная. Прожить до двадцати шести лет, не имея ни денег, ни серьезных связей, ни громкого имени, ничего не делая, не умея и не желая делать, причем прожить как-то недурно — это относилось к положительной стороне того, что он родился русским. Единственное, что Юрьев получил от отца, глуховатого, важного и, должно быть, очень глупого тайного советника (тот сорок лет попечительствовал над какими-то приютами и оставил после себя пенсию и три выигрышных билета),— единственное, чем отец помог сыну,— это определив его в училище Правоведения. Тут Юрьев отдавал должное памяти презираемого им глуховатого тайного советника — услуга была действительно важной. При одной мысли, что его могли, вместо Правоведения, отдать в гимназию, Юрьев ежился. Конечно, он бы не пропал. При полной неспособности что-нибудь «делать», как-нибудь, в общепринятом смысле, «работать» — дар цепкости, приспособляемости, уменья устроиться, легко и изящно соскочив с одной «шеи», «сесть» на другую, был развит в нем чрезвычайно. Но Юрьев отлично понимал, насколько ему труднее жилось бы без права говорить: «Когда я был в Правоведении... Мой товарищ по училищу... У нас...»

То, что учение в Правоведении так подымало его (как раз в глазах нужных ему людей) над другими, учившимися в гимназиях и реальных училищах,— тоже относилось к приятным сторонам России...

Извозчик завернул на Французскую набережную. Юрьев остановил его. «Приедешь за мной,— он

[1] «чудесная страна» *(фр.)*.

наморщил лоб,— к часу, нет — к четверти второго. Рассчитаюсь, брат, рассчитаюсь»,— недовольно проговорил он на улыбочку рыжебородого Якова — дать «хоть полсотни, за овес надо платить, зарез».— «На той неделе отдам, пристал, как татарин. Так к четверти второго...»

Юрьев, последнее время, против воли, взял с Яковом неприятный для себя, какой-то слишком фамильярный тон: помимо долга за езду он перебрал у лихача десятками и двадцатипятирублевками больше четырехсот рублей и все не мог отдать. «Хамеет,— думал он раздраженно, звоня у белых, свежеотлакированных ворот особняка.— Как только получу, пошлю его к черту, возьму у Петра — у того и выезд пошикарней».

Особняк принадлежал Ванечке Савельеву, эстету, поэту, композитору, недавно получившему после папеньки-мукомола многомиллионное наследство и переселившемуся из постылой Самары в столицу, для занятия искусствами и светской жизни.

Лакей распахнул дверь. В лицо Юрьеву ударил очень яркий свет и пахнуло душистым жаром оранжереи: Ванечка вычитал в английском руководстве хорошего тона, очень авторитетном, что изысканное жилище должно быть ярко освещено и полно цветов. По контрасту с темноватыми самарскими покоями, увешанными портретами архиереев и царей, в которых так долго изнывала его эстетическая душа,— этот совет пришелся Ванечке особенно по вкусу. Он им и злоупотреблял теперь, ослепляя и одурманивая собиравшееся в его доме пестрое общество.

В груде шуб, развешенных и разложенных по всем углам сияющей люстрами и олеандрами швейцарской,— знакомого sortie de bal[1] на белой, расшитой золотом подкладке не было видно.— Еще не приехала? Впрочем, рано — ведь у ней обед с этими дурацкими москвичами... А вдруг совсем не приедет, беспокой-

[1] Накидка, надеваемая поверх бального платья *(фр.)*.

но подумал Юрьев, ладонями поправляя пробор и сам удивляясь остроте этого внезапного беспокойства.

В самом деле, казалось бы,— о чем беспокоиться? Вера Александровна Золотова была дамой из богемы, актрисой, нигде не играющей, женой без мужа. Если бы она и не приехала, застряв в «Аквариуме» или в «Вилле Родэ» в веселой и денежной компании, никакого труда не составляло увидеть ее завтра, даже сегодня, пожалуй,— позвонить по телефону и приехать «на огонек», если только удастся поймать время между ее возвращением домой и минутой, когда с телефонного аппарата на ночь снимается трубка (довольно, впрочем, продолжительное время, пока Вера Александровна бродит, вздыхая или рассеянно улыбаясь, по комнатам, или варит себе чай на спиртовке, или читает с конца глупый, уже не раз перечитанный роман).

Десятки других женщин, нравившихся Юрьеву до Золотовой, нравились ему одна сильней, другая меньше, но, в основе, его чувство к каждой из них было одинаковым. Юрьев очень любил женщин. Среди лошадей, балетных спектаклей, шелкового белья, галстуков, французской кухни и других отличных вещей, составляющих приятность жизни и (следовательно) смысл ее,— женщины по праву занимали первое место. Но все-таки это было место в одном ряду с другими развлечениями, и возможность потерять из-за женщины голову всегда казалась Юрьеву такой же дикой, как возможность потерять голову из-за галстука или хорошего ужина.

Так смотрел на женщин он, так смотрели все его друзья, так уже, вероятно, придумал Бог, когда создавал мир, Петербург, женщин, шампанское, училище Правоведения и самого Юрьева. И вот, встретившись с Золотовой, Юрьев, впервые в жизни, с неприятным удивлением чувствовал, что начинает терять голову.

Они познакомились две недели тому назад. Золотова была ветрена, мила, безразлична. К ней можно было ездить когда угодно, говорить о чем угодно, можно было трогать ее за колени или протягивать ей

в двери ванной халат. Но дальше... дальше шла глупая путаница. Впервые в жизни он, как мальчишка, робел, заливался то нежностью, то раздражением и не знал, что делать. И Золотова, как мальчишку (так он с раздражением думал), водила его за нос.

Это было дико, непонятно; это было похоже на чувства влюбленного, как они описываются в романах. Чувства, которые Юрьев искренно считал вымышленными и, читая, всегда пропускал вместе с описаниями природы.

— Ну и не приедет, увижу завтра. Что за сантименты,—думал Юрьев, как от мухи отмахиваясь от назойливого ощущения тревоги. Кланяясь и целуя ручки дамам, он стал пробираться через толпу гостей в угол залы, где стоял хозяин, розовый молодой человек в жилетке персикового цвета и в визитке. Ванечка тоже заметил Юрьева и двинулся ему навстречу, глядя в золотую лорнетку (с простыми стеклами—зрение у Ванечки было отличное) и улыбаясь приятной, несколько телячьей улыбкой.

II

Гостей было много—человек сорок. Большинство толпилось в овальной зале, где был на заграничный манер устроен буфет с сандвичами и сладостями и бритый, лысый, слегка косой и поэтому напоминавший китайца дворецкий разливал шампанское.

Общество, толпившееся на фоне желтых атласистых стен, выглядело совершенно так же, как выглядит в любой стране, на любом приеме изящное и благовоспитанное общество.

Это был мир, который люди, стоящие или считающие себя стоящими выше него, называли богемой, и богема, та богема, которой с выигранных в железку или перехваченных «до завтра» сотенных перепадали иногда трехрублевки: «не стесняйтесь, мой дорогой, очень рад»,—считала светским, особым миром, оказа-

вшимся бы, пожалуй, центральным на карте петербургского общества, если бы кто-нибудь вздумал ее нарисовать.

В самом деле, от Зимнего дворца — до «двенадцати лет с лишением всех прав», от редакторского стола могущественной газеты, веленевый экземпляр которой разворачивает утром сам Император,— до крапленой колоды в ласковых пухлявых ловких пальцах; от вершин успеха до кокаина, ночлежки, смерти под забором — можно было бы где зигзагами, где и по линейке провести воображаемые линии. Здесь они как раз перекрещивались. До дворца и до каторги, до собиновских триумфов и до ночлежки здесь было, приблизительно, одинаковое расстояние.

Молодые люди в изящных жакетах и смокингах, господа постарше бюрократического вида, дамы, несколько гвардейцев, два-три благосклонных или насупленных старца, сдержанные улыбки, учтивый говор, дым египетских папирос — все, словом, гости и обстановка, ничем не отличались от тех собраний, к которым вечера Ванечки относились, как подражание относится к оригиналу. Пожалуй, подражание выглядело даже блестящей, чем следовало. Пожалуй, набивший глаз наблюдатель (им мог быть и был, должно быть, похожий на китайца дворецкий, недавно переманенный Ванечкой из одного чрезвычайно «хорошего» дома), не зная, кто эти люди, не заглядывая ни в их карманы, ни в их мысли,— заподозрил бы подлинность картины, именно вследствие ее блеска: в нем было что-то ненатуральное. И если дворецкий действительно занимался наблюдениями, он припоминал, вероятно, что гости его прежнего хозяина неуклюжей кланялись, громче сморкались, костюмы на них сидели мешковатей и проборы были приглажены хуже.

Не все, конечно, из гостей Ванечки (он искренно считал, что собирает у себя самые «сливки») были вполне мошенниками. Напротив, таких можно было пересчитать по пальцам. Седоватый господин, породистого и высокомерного вида, с рубцом на лбу, чистивший грушу, был матерым шулером: рубец, похожий

на след от сабли, был следом от подсвечника. Старичок в очках, похожий на сенатора, пивший мелкими глотками чай, за много лет практики достиг редкого опыта в сводничестве. Еще два-три персонажа были того же приблизительно полета. Несколько больше, чем жуликов, находилось здесь людей вполне порядочных, но тоже немного. Большинство же было вроде Юрьева: чем станет любой из них лет через десять — вице-губернатором или арестантом,— зависело целиком от случая.

Дам было меньше, тип их однообразнее. Все они были как-то на одно лицо. Некоторые были красивы, иные почти уродины. Уроды, впрочем, все держались под красавиц, и эта манера, у иных очень искусная, действительно не то что уменьшала, но как-то отодвигала на второй план, делала несущественным уродство. Почти все были одеты с причудливостью, на которой тоже был налет однообразия, несмотря на различие туалетов и их цен. И дорогое, впервые надетое платье, и подозрительное, видавшее виды, купленное ношеным, не бывшее даже в чистке, пахнувшее еще чужими духами и чужой кожей, выглядели как-то одинаково, может быть, потому, что в каждой, одетой сегодня у Бризак, чувствовалось, как она вчера, пока еще ей не посчастливилось, рылась в лавке старьевщика, в душно пахнувшем ворохе, отыскивая такие же чужие тряпки, и так же надевала их, не испытывая ни стыда, ни отвращения, только досаду, что «вот везет же другим».

Общее у этих молодых и полумолодых женщин было и еще «что-то» в выражении лица, манерах, походке, что-то неуловимое, но явное, что роднило их всех между собой и, напротив, должно было (также неуловимо и явно) отличать каждую в театре, в уличной толпе, в любом нейтральном человеческом сборище. Иные были (или назывались) актрисами или ученицами балетных студий. О некоторых, если спросить, говорилось: «Эта? Это королева бриллиантов».

Юрьев допил вино и, пробравшись через толпу, вошел в голубую гостиную, за которой начинался ряд

других, розовых, зеленых, китайских, убранных со всевозможной затейливостью и тоже сверх меры уставленных цветами и освещенных. Юрьев был недоволен собой. Неожиданно на него нашло вдохновение. Денег не было, деньги были ужасно нужны. Глядя на розовую телячью улыбку Ванечки, он вдруг придумал спросить у него тысячу рублей (благоразумие говорило, что тысяча слишком много и вернее спросить пятьсот, но пятисот не хватало даже, чтобы расплатиться с Яковом). Теперь по той легкости, даже торопливости, с которой Ванечка, услышав просьбу, увел его в кабинет и, извиняясь, что нет наличными, выписал чек,— было видно, что он дал бы и полторы, пожалуй, даже две, и деньги эти Юрьев проворонил. К раздражению, что спросил мало, примешивалось все то же беспокойство, связанное с Золотовой, запахом ее духов, ее коленями, тем, что она не приехала. Первый час — не стоит и ждать. Ну и черт с ней. Деньги есть, завтра повезу ее ужинать и... Хватит валять дурака — рассуждал Юрьев, нарочно, с удовольствием думая о Золотовой самыми грубыми мужицкими словами.

В зеленой гостиной пудрилась какая-то «королева бриллиантов». Юрьев вошел в розовую. Там было пусто. В соседней китайской слышны были два голоса — мягкий, чуть шепелявый, хорошо Юрьеву знакомый, и другой, отрывистый, произносивший русские слова как-то по-иностранному. Юрьев заглянул за портьеру. Разговаривали Снетков, его сослуживец по элегантной канцелярии (тоже сюда за чеками лазит, устрица, подумал Юрьев. Снетков действительно чем-то напоминал устрицу), и важный барин, дипломат,— светлейший князь Вельский.

Удобный случай — подойти, попросить Снеткова представить, мелькнуло в голове у Юрьева. Он давно хотел познакомиться с Вельским. Но каким образом князь тут, в этом ералаше?..

— Все-таки, князь, у меня нет уверенности в победе Германии. Доблесть немцев, согласен, неслыханная. Однако могущество союзников,— тихо говорил Снетков.

— Жалкое могущество,— перебил отрывистый голос Вельского.— Они торгаши и плуты. Один император Вильгельм истинный рыцарь, истинный апостол церкви, может...

«Королева бриллиантов», кончив пудриться, прошла, волоча мех, мимо Юрьева в китайскую комнату. Разговаривавшие замолчали.

«Подойти? Неудобно, пожалуй. И потом здесь, в доме Савельева...— соображал Юрьев.— Лучше пусть в среду в посольстве меня Снетков представит. Я и не знал, что он хорош с князем,— всюду вотрется. Непременно пусть познакомит — этот Вельский может в два счета выхлопотать камер-юнкера. И о чем это они толковали,— думал Юрьев, идя обратно в залу.— Вильгельм... Апостол церкви... баобабы какие-то». «Баобабами» он про себя называл все отвлеченное, не имеющее отношения к реальной жизни, т. е. к шампанскому, женщинам, лихачам и способам раздобыть на это деньги.

Мысли о Вельском, о Снеткове, о камер-юнкерстве развлекли Юрьева. Ему захотелось есть. Он наклонился над блюдом, выбирая сандвич.

— Ох, злость моя,— вдруг услышал он за спиной любимую фразу Золотовой.

III

Она стояла у входа в зал, розовая от холода, возбуждения и выпитого вина. Она только что приехала — в левой руке она еще держала расшитый блестками капор, накидка была полуспущена с плеч, и лакей ждал сзади, чтобы подхватить накидку. Но она медлила сделать это легкое движение. Прислонясь к стене, улыбаясь, она глядела на гостей, на Юрьева с таким выражением, точно всматривалась в темноту.

Рассеянно улыбаясь накрашенными губами, она глядела на гостей, на Юрьева — так, точно не видела

никого. И, должно быть, от холода, возбуждения, вина, глаза ее казались сейчас больше, синей, блестящей, чем были на самом деле. Какой-то холодный свет шел сейчас (Юрьев на секунду физически ощутил это) от ее головы, рук, улыбки, от выреза ее узкого, голубого, напоминающего лед платья.

— Ох, злость моя,— повторила она, протягивая Юрьеву холодные надушенные пальцы.— Ну? Ох, мне весело. Вы что же, давно здесь? Ох, что за сброд,— кивнула она на гостей.— Скоро взломщики сюда станут ходить. Ведите меня куда-нибудь в угол, где тихо, и принесите шампанского. Только не бокал — целую бутылку тащите. И едем потом кататься. Ох, мне весело, Юрьев. Вы думаете, я пьяна?

Со второго этажа слышался рояль и томные вопли модного мелодекламатора. Нижние комнаты понемногу пустели — гости подымались наверх, привлекаемые не столько концертом, сколько хотя и холодным, но очень обильным и изысканным ужином, сервированным à la fourchette[1] в парадной, с зимним садом, столовой. Усадив Золотову, Юрьев пошел распорядиться насчет шампанского. Возвращаясь, он встретил Вельского. Тот шел к прихожей — ужин его, должно быть, не соблазнял. На полплеча сзади князя, почтительно что-то бормоча, шел Снетков.— Bonsoir, Boris[2],— помахал Снетков ручкой Юрьеву, блеснув моноклем и преждевременной лысиной. Темные, холодноватые глаза Вельского мимолетно-внимательно задержались на Юрьеве, и ему показалось, что, пройдя, Вельский тихо спросил у Снеткова о нем.

Золотова разом выпила бокал.

— Пейте, Юрьев! Мне весело, а вы кислый. Что? Соскучились, ожидая? Так ведь я приехала же... Господи, и он тут — я говорю, скоро будут ходить взломщики... Здравствуйте, граф,— улыбнулась она очень любезно господину со следом от подсвечника, изящно изогнувшему стан в ее сторону. (Шулер был действи-

[1] а-ля фуршетт *(фр.)*.
[2] Добрый вечер. Борис *(фр.)*.

тельно польским графом, фамилия его была двойная — Пшисецкий-Пшипецкий.)

От гиацинтов на низком столике шел сильный, сладкий запах, немного похожий на запах хлороформа. Наверху вопли мелодекламатора прекратились, теперь оттуда слышалась только негромкая музыка, сопровождаемая стуком ножей о тарелки и говором закусывающих. Золотова закрыла глаза и молчала, опустив голову. Юрьев внимательно смотрел на нее.

Он уже знал ее свойство быстро меняться, вдруг молодеть и стареть на глазах, переходить неожиданно от оживления к равнодушной усталости. Но на этот раз перемена все-таки была поразительна. Такой он ее еще никогда не видел.

Она сидела, закрыв глаза, подперев руками голову. Щеки побледнели, углы рта опустились. Всего несколько минут назад, стоя в дверях, она казалась почти девочкой — и вот теперь, сколько ей было лет? Двадцать девять, как она говорит? Да, пожалуй,— двадцать девять, женские двадцать девять лет, тянущиеся столько, сколько их можно тянуть, пока это не станет окончательно жалким и окончательно смешным. Значит, сколько же на самом деле? Тридцать четыре? Тридцать шесть?

Она сидела не двигаясь, как будто не дыша. Юрьев слышал, как от нее пахнет вином, сигаретами, рестораном. Платье помято, прическа растрепана... Москвичи ее напоили. Откуда взялись эти москвичи? Откуда она сама взялась, эта женщина, немолодая, почти стареющая? Актриса без театра, жена без мужа... Откуда она, о чем она сейчас думает, какую жизнь она прожила?

Юрьев знал, что вот это парижское платье только что куплено и стоило четыреста рублей. Откуда взялись эти четыреста рублей? Москвичи? Дело было, конечно, не в платье и не в москвичах. В чем было дело, Юрьев сам не совсем понимал. Может быть, в том, что впервые в жизни он глядел на женщину и думал не о том, как ее увлечь или как от нее отделаться,— а вот о таких вещах. И мысли эти поче-

му-то вызывали в нем острую нежность и еще более острую жалость.

Где-то рядом зазвонил телефон. Лакей пробежал мимо, громко о чем-то переспрашивал, ушел, вернулся доложить, что «их нет, изволили уехать». Золотова сидела все так же, не двигаясь. Может быть, она заснула? Или умерла, может быть? Если бы оказалось, что она умерла, кажется, Юрьев не удивился бы — так безжизненны были ее лицо, руки, ее измятое парижское платье.

«Господи, я и не знал, что она так некрасива...» — подумал Юрьев стихами какого-то поэта, с все возрастающей, непонятной нежностью глядя в это лицо, действительно некрасивое, почти старое, почти мертвое.

— Борис Николаевич,— вдруг громко сказала Золотова, открыв глаза и выпрямившись. Она вдруг переменилась, вся, сразу. Снова ей было двадцать лет, не больше. Глаза сияли, щеки розовели. Жизнь и прелесть вдруг точно брызнули вокруг нее.

— Борис Николаевич,— сказала она громким, молодым, веселым голосом.— Знаете что? Ведь я — погибла.

IV

Воспоминания этой ночи путались в памяти. Конечно, в церковь они приехали под утро. Юрьев запомнил синий отблеск рассвета на спине отъезжающего Якова. Яков отъезжал шагом — лошадь была совсем замучена сумасшедшей гонкой по островам.

Да, в церковь они приехали уже под утро, после всего. Но почему-то воспоминания начинались с церкви: Золотова стояла на коленях, по ее совершенно белому лицу медленно текли слезы. Это была Знаменская церковь. Какие-то старушонки шептались, глядя на них: вид у них был, должно быть, странный и, должно быть, от них еще сильно пахло эфиром.

Когда Золотова придавила его лицо холодной, тяжелой, пропитанной эфиром ватой — Юрьеву показалось, что он умирает. Он мотнул головой, стараясь сбросить мерзкую маску, но рука крепко ее прижимала и свистящий голос шептал на ухо: «Дыши, дыши». Он глубоко вздохнул, желая перевести дыхание,— и все сразу перестало существовать.

Больше не было ни комнаты, ни кровати, ни их тел, лежащих рядом. Сознание Юрьева было совершенно ясным. Он отлично знал свой возраст, знал, сколько должен Якову или какого цвета платье Золотовой, брошенное тут же на полу. Но ни возраста, ни Якова, ни цвета платья больше не существовало. Было только ледяное, сияющее пространство, в котором неслись куда-то их души.

— Я люблю тебя. Это рай...— сказала ее душа, и голос ее души был таким же льдом и сияньем, как то, в чем они неслись.— Все-таки — я погибла,— дохнула она сияньем и льдом и опять повторила: «Рай».

Все время, пока в большой плетеной бутыли был эфир (иногда приходилось вынырнуть изо льда и звезд, чтобы плеснуть еще эфиру на высыхающую вату,— тогда, на мгновенье, все кругом тяжелело, проступали смутные очертания комнаты, сладкий во рту вкус и томительный звон в ушах),— все время этого полета в ледяном пространстве сознание Юрьева было совершенно ясным. Он хорошо помнил Якова, себя, цвет платья, помнил все, что ему раньше, еще на островах, рассказала Золотова. Какие-то бумаги (она говорила так сбивчиво, что он не понял какие), от которых зависела ее судьба, честь, жизнь, были в руках одного человека, и тот требовал за них десять тысяч. Человека звали Адам Адамович Штейер. Десять тысяч надо было достать...

Может быть, воспоминания этой ночи потому и начинались с церкви, что там, перед образом, Юрьев обещал Золотовой достать деньги.

Эта ночь прошла. Поздно, с головной болью, со звоном в ушах, Юрьев вышел на улицу. Он шел к Штальбергу, своему другу. Штальберг был ему очень нужен. Штальберг мог...

Штальберг, конечно, мог, если бы захотел, дать Юрьеву эти десять тысяч. Он мог заложить драгоценности своей матери. Его мать по месяцам не жила в Петербурге. Вещи лежали в шифоньерке. К шифоньерке легко было подобрать ключ.

Штальберг сам говорил как-то об этом. В том, что он захочет это сделать, никакой уверенности у Юрьева не было. Впрочем, сейчас у него не было уверенности ни в чем, даже в том, что эта ночь прошла. Может быть, она все еще продолжается. И все — Фурштадтская, фонари, снег, он сам — только проступило на мгновенье, пока на вату, обжигая холодом пальцы, льется эфир.

Штальберг зажег папиросу. Штальберг налил в желтоватую узкую рюмку мадеры. Штальберг слушал и улыбался, немного насмешливо, немного грустно. Потом он сам говорил, что, конечно, ключ легко подобрать, но что так огорчить бедную maman — нет, он не может так ее огорчить. Потом Штальберг молча смотрел в камин — молча смотрел в камин и Юрьев. Угли были ярко-красные, медь вокруг них утомительно-ярко блестела. Потом Штальберг сказал, что Пшисецкий-Пшипецкий вряд ли сам согласится (он очень осторожен теперь, ведь он почти миллионер — и в голосе Штальберга звучало уважение), но наверно не откажется дать совет. Потом в телефонной книге искали телефон...

— Едем, он нас ждет,— сказал Штальберг, вставая. Юрьев тоже встал. Машинально он допил свою мадеру. В мадере не было решительно никакого вкуса — ни сладости, ни горечи, ни холода, ни тепла. Нисколько не удивляясь этому, Юрьев это заметил.

V

Назар Назарович Соловей сидел дома в своей квартире из трех комнат, с цинковой ванной и большим трехстворчатым окном-«фонарем» в столовой. Квартира

была в пятом этаже, и из «фонаря» открывался широкий, «веселый», как говорил Назар Назарович, вид на всю Петербургскую Сторону. За веселый вид, да еще за ванну (Назар Назарович был чрезвычайно чистоплотен), он и соблазнился три года тому назад, когда квартир в городе еще было сколько угодно, нанять эту, о чем теперь сожалел. Для теперешнего его благополучия квартира оказалась тесновата.

Конечно, время было военное, и посещавшие его новые, благородные знакомые: о. диакон, генеральша Крымова, Вейс — биржевой маклер, разные «интеллигентные барышни» — понимали и кивали сочувственно на жалобы Назара Назаровича, что «вот как приходится жить — кошка ляжет, хвостом покроет». — «Купил, представьте, по случаю, шикарную гостиную, в стиле Людовиков, обивка двойного шелка — и приходится гноить на складе — негде поставить.»

О гостиной Назар Назарович не врал, гостиная действительно была. Да и что же гостиная: почти каждый день Назар Назарович привозил на извозчике (случалось и на ломовике) что-нибудь новенькое, купленное по случаю. То пару кожаных кресел «министерских», то «настоящего Маковского», то мраморные часы, фирмы Буре, недельный завод. От вещей в квартире мало-помалу становилось действительно не повернуться, и предметы попроще, например, недавно еще доставлявший столько удовольствия декадентский зеркальный шкап, переезжали на кухню — благо кухня была не нужна. Холостяк, Назар Назарович придерживался и холостяцких обычаев, дома закусывал холодным: ветчиной, икоркой, жареной курочкой, обедал же или по соседству в трактире первого разряда с музыкой — Лувен, или в городе в чистых ресторанах — у Лейнера, у Черепенникова, в польской кухмистерской.

Назар Назарович Соловей сидел дома. Ему было приятно, но скучновато.

Было три часа дня, идти было некуда, делать было нечего. Все новые покупочки уже были заново любовно осмотрены. С часов стерта пыль, забытая приходя-

щей стряпухой-уборщицей (своей прислуги Назар Назарович не держал — к чему, только обворовывать будет). Кресла передвинуты. Шелковый коврик над тахтой осторожно пощупан короткими пальцами: *удивительная* работа. При взгляде на Маковского в животе сосало: а вдруг надули? Но сейчас же и отлегло — белозубая, румяная боярыня была как живая: разве так подделаешь? Да и Вейс, понимающий человек, сразу определил — музейная вещь. Теперь вам, коллега, сказал Вейс (почему-то он называл Назара Назаровича коллегой, что и льстило и чуть-чуть обижало), под пару Айвазовского необходимо, какой-нибудь там «Штиль» или «Шквал». Назар Назарович сам чувствовал, что голая стена над пианолой так и просит Айвазовского (картинку «Олени на водопое», висевшую там прежде, он давно убрал как чересчур простую). Да, хорошо было бы — средней величины, в фигурной раме... Но на Айвазовского цены были прямо бешеные, не подступиться, а из частных рук все не представлялось случая.

Все уже было осмотрено, пощупано, передвинуто, где надо потерто чистой тряпочкой, где надо — замшей. Канарейкам задано корму, попугаю тоже. И бриллиант уже доставался из заветного места и рассматривался на свет и в лупу. Сколько раз уже рассматривал Назар Назарович свой бриллиант, и всякий раз сердце падало: вдруг обнаружится не замеченный раньше брак — трещина, перышко... Но брака не было: камень сиял всеми своими шестью каратами, как божий ангел.

Назар Назарович взялся было за газеты, но сейчас же отложил их. И в «Петербургской» и в «Листке» писали только про войну, а о войне читать было неприятно. «Рвут людям руки, ноги, бьют людей — какой же тут интерес, один страх и жалость»,— думал Назар Назарович. Он был очень добрым, жалостливым человеком (даже блох не любил давить, когда можно, выпускал в форточку) и войну ненавидел. Ненавидел исключительно по доброте сердца — лично ему на войну не приходилось жаловаться. Как раз благодаря затянувшейся войне у многих заводились

шалые, легкие, несчитанные деньги, и почти каждый вечер у Вейса, у о. диакона, у генеральши Крымовой шла шалая, крупная игра в двадцать одно или железку.

Зевая, Назар Назарович подошел к буфету, налил полстопки, выпил. От настойки сразу повеселело на душе и захотелось музыки. Назар Назарович сел на круглый табурет и робко, широко расставляя пальцы, тронул клавиши. В пианоле забурчало, потом плавно полилось «На сопках Маньчжурии». Как всегда, играть было и приятно и жутковато — то, что машина слушается его, отдавало слегка чертовщинкой. На грустную музыку из чулана вылез толстый кот Турок и, горбя спину, щурился на хозяина. Назар Назарович вдруг вспомнил рассказ о том, как коты шалеют от валерьянки. Не попробовать ли на Турке? Эта мысль Назару Назаровичу понравилась. Бросив играть, он стал пристегивать воротничок, чтобы идти на угол в аптеку за валерьяновыми каплями. Говорят, прямо до потолка прыгают, как черти, надо осторожно — чтобы не испортил чего, соображал он, с интересом поглядывая на кота. В это время на парадной позвонили.

Удивляясь, кто бы это мог быть, и, как всегда, слегка труся (вдруг бандиты, полиция...), Назар Назарович пошел открывать. В дверях стоял Юрьев.

— Господин Соловей? — спросил Юрьев, краснея и отводя глаза от круглого недоумевающего лица Назара Назаровича.— Я к вам... Меня прислал... граф...— Юрьев вдруг почувствовал, что начисто забыл проклятую двойную фамилию приславшего его Пшисецкого-Пшипецкого.— Граф,— снова запнулся он, совсем теряясь.

Но в фамилии не было никакой надобности. Услышав «граф», Назар Назарович сейчас же снял цепочку, лицо его из недоумевающего стало любезным и даже каким-то игривым.

— Заходите, заходите,— заторопился он.— Позвольте пальтишко. Сюда прошу...— говорил он, впуская Юрьева.

Услышав «граф», Назар Назарович сразу, совершенно точно, сообразил в чем дело. Граф, знакомый ему, был только один на свете. Поручения от него были только одного рода, по их общей специальности. И этот робеющий, шикарно одетый молодой человек мог прийти только с одной-единственной целью.

— Сюда прошу,— повторил он, не переставая улыбаться и пропуская Юрьева в гостиную.— Желаете кофейку? Или, может, водочки с мороза? Тесновато у меня, извиняюсь,— кошка ляжет, хвостом покроет...

— У вас что же, хорошая компания намечается?— перешел он прямо к делу (с человеком, присланным графом, нечего было разводить церемонии).— Главное, чтобы картишки были мои...

VI

Стрелка редкостных ампирных часов, изображающих «Торжество Цереры» (в выражении лица Цереры, как давно заметил князь Вельский, было что-то общее с выражением лица незабвенного Петра Аркадьевича Столыпина), доползла до девяти. Князь Вельский проснулся. Он всегда спал при открытой форточке, всегда на правом боку и просыпался всегда ровно в девять, как бы поздно ему ни пришлось лечь.

Светлейший князь Ипполит Степанович Вельский, проснувшись, обыкновенно не сразу понимал, кто он и где находится. Чтобы прийти в полное сознание, ему нужны были несколько секунд. Эти несколько секунд он проводил совершенно неподвижно, глядя перед собой чуть щурясь. В голове в это время, бледнея, путаясь и теряя остатки смысла, проносились: чернильница, пролитая на зелень министерского стола — какая огромная лужа и нечем вытереть, странный гусь, имеющий только половину туловища — полклюва, одну лапку, одно крыло — с надписью: отдается внаймы, император Вильгельм в кивере с развевающимися перьями... Потом князь Вельский откашливался, брался за папиросу и звонил.

Ничего особенного не было заметно. Ничего особенного и не происходило. Но все-таки, именно потому, что князь знал это свое свойство не сразу приходить в себя, он приучился просыпаться сам, и слугам было строго запрещено входить в спальню без зова. Вельский учитывал, поступая так, тысячную долю возможности сказать в неполном сознании что-то, чего говорить не следует, что-то открыть о себе, чего не следует открывать, хотя бы в обрывке полусонной фразы, хотя бы перед глуховатым, глупым, преданным камердинером.

Стрелка на циферблате, поддерживаемом Церерой, тронула цифру девять — Вельский проснулся. Вошедший на звонок слуга отдернул портьеры, поставил у кровати чашку чая и два поджаренных сухарика (князь, боясь располнеть, был крайне умерен в еде) и доложил, что «почты нет». Это значило, что среди груды писем и пакетов, приходивших каждое утро на частный адрес князя, его личный секретарь не нашел ничего такого, что следовало (по известным ему одному соображениям) подать князю, едва тот проснется. Остальное секретарь, встававший в половине седьмого, распечатывал и разбирал сам. Приблизительно треть он оставлял разложенной в величайшем порядке на письменном столе в кабинете. Газеты «Новое время», «Речь» и «Таймс» (очень неаккуратно начавший приходить во время войны) князь просматривал в ванной.

Выпив чашку крепкого, почти черного чая и раскрошив полсухарика, князь надел халат, чтобы идти в ванную комнату. Он проводил в ней каждое утро не меньше часу, никогда не пользуясь для мытья, бритья,, одеванья ничьими услугами.

Он делал это отчасти по давней, твердо усвоенной когда-то в Оксфорде привычке, отчасти по той же скрытности. Может быть, безотчетно все его существо противилось тому, что кто-то, хотя бы слуга, увидит его, блестящего князя Вельского, самого элегантного человека в Петербурге, самого умного человека в России, — всклокоченного, голого, с короткими, не совсем

прямыми ногами, с цепочкой образков на покрытой шерстью впалой груди.

Больше всего, пожалуй, князя смущали именно эти образки. Их было целое ожерелье, около десятка крестиков, иконок, ладанок (была даже какая-то шотландская заговоренная пуля). Каждый был связан с каким-нибудь случаем жизни, каждому приписывалась та или иная удача или предотвращение неудачи. И не то что потерять, просто снять это ожерелье на минуту князь счел бы несчастьем: довольно равнодушный к религии (помимо официального, обязательного для человека его круга и положения благочестия) — Вельский был очень суеверен.

Он боялся сглаза, пятницы, вставанья с левой ноги, горбунов, закуриванья третьим, солдат с разноцветными глазами, шталмейстера государыни Марии Федоровны, Шервашидзе, известного петербургского «джетаторе», при встрече с которым обязательно надо было, прежде чем поздороваться, про себя трижды скороговоркой повторить навыворот его фамилию (получалось: ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь)...

Голова светлейшего князя Ипполита Степановича Вельского с детства была полна противоречий.

В Вельском было достаточно чувства иронии, чтобы видеть слабые, смешные, лицемерные стороны тех (семейных, государственных, религиозных) традиций, в которых он был воспитан, и недостаточно характера, чтобы отказаться от них: он предпочитал, презирая их, им следовать. Вельский был умен, но той «статической» разновидностью ума, которая есть не столько сила, сколько изощренная способность ощущать чужое бессилие. Это с детства приучило его к постоянной иллюзии собственного превосходства. Между тем, в обстоятельствах, где от ума требуется большее, чем насмешливая наблюдательность, где надо, например, из двух возможных решений выбрать одно — правильное, князь Вельский часто терялся и не знал, как поступить.

Он испытывал при этом чувство «скользкой» пустоты внутри и извне себя,— неприятное чувство, вроде головокружения или тошноты.

Все еще усложняла давняя привычка давать себе (или пытаться давать) отчет в каждом душевном движении, проверять природу и качество каждого своего поступка. И к сорока пяти годам своей жизни (третьему году России в войну) князь Вельский вполне понимал, какой хаос, несмотря на все стремление к дисциплине и стройности, представляет то, что называлось его «я», и все чаще испытывал неприятное «скользкое» чувство пустоты. К сорока пяти годам в характере князя Вельского вполне определились две основные его черты: честолюбие и скрытность. И параллельно, как бы являясь продолжением или отражением этих черт,— циническое презрение к людям и страх смерти.

Презрение к людям было не злое, скорей насмешливо-снисходительное. Все более укрепляясь, с годами оно становилось все более снисходительным, почти добродушным.

Человеческая глупость, конечно, порой раздражала, но князь знал, что раздражаться на глупость не следовало, раз именно она была тем основанием, на котором от века строились все великие и малые честолюбия. В этом князь Вельский, любивший во всем быть непохожим на других, допускал для себя исключение. Он слишком хорошо понимал, что честолюбцу опираться на «дураков», на «стадо» — такой же вечный закон, как родиться, есть, дышать, спать или умереть.

О необходимости умереть князь Вельский уже давно запретил себе думать. Он и перестал думать — ему всегда удавалось то, что он твердо решил. Но, конечно, это искусственное равнодушие к смерти было для его «я» тем же, что платье безукоризненного покроя для его некрасивого, плохо сложенного тела. Платье скрывало телесные недостатки, равнодушие к смерти — страх перед ней. Но под шедевром английского портного оставались, как были, кривоватые ноги и впалая грудь. И в душе, как был, оставался вечный, леденящий страх.

Из спальни одностворчатая дверка красного дерева вела в ванную. Спальня князя была когда-то спальней его матери, и Вельский, открывая дверь, всегда

представлял (мимолетно — он не любил воспоминаний), как он, маленьким мальчиком, приходя по утрам к матери, тянулся и не мог достать до дверной ручки — золоченого кольца в зубах длиннорогого и тонкомордого барана. Вельский не любил воспоминаний, и в комнатах для него было все переделано, но вот дверь осталась и каждый раз напоминала о том же — о кольце, до которого не дотянуться, о плеске воды за дверью и запахе «Royal Houbigant», которым душилась мать... Кажется, он очень любил когда-то свою мать, но теперь в памяти о ней все было начисто стерто, кроме вот этого случайного, связанного с дверью воспоминания.

В уборной, светлой квадратной комнате, стены были уставлены раздвижными шкапами с платьем, обувью, галстуками, бельем — всего было очень много и все очень хорошее, шитое и сработанное самыми дорогими и изысканными лондонскими поставщиками. Раздвижные, белые, сияющие стеклом и лаком шкапы тоже были из Лондона, как и большой туалетный стол, и все вещи этой комнаты вплоть до похожего на скрипку никелированного ящика, где на пару́ подогревались четыре одинаковых, плоских, с редким жестким волосом щетки, необходимые для приглаживания пробора. На туалетном столе были приготовлены бритвы, слабо бурлила на притушенной спиртовке вода, и стояло несколько срезанных роз на очень длинных стеблях (зная пристрастие князя, у Эйлерса отбирали для него самые длинные). Розы были и около ванны, на низком табурете, рядом с переносным телефонным аппаратом, пачкой газет и коробкой папирос.

Сидя в ванне, растираясь подогретой лохматой простыней, намыливая щеки для бритья или полируя ногти — князь Вельский не торопился.

Час, час с четвертью, проводимые Вельским за одеваньем, были единственными в течение дня, когда он свободно, со свежей головой, ничем не отвлекаемый, мог обдумать то, что ему необходимо было обдумать. Его всегда приятно успокаивала давно и до мелочей выработанная, медленно-сложная система

«обрядностей туалета», и мысль о цвете галстука, возникая одновременно с мыслью о последней ноте румынского посланника, нисколько не мешали друг другу.

В это утро мысли князя Вельского были приподнято-тревожны. Ему предстояло сделать шаг, от которого зависела вся его судьба. Необходимость этого шага не была для князя неожиданной. Напротив, уже больше года, как перед Вельским была совершенно ясная цель. Письмо, полученное вчера из Швеции, было удачным результатом его долгих, осторожно-настойчивых усилий к этой цели приблизиться. Отступать теперь было бы и недостойно и непоследовательно. И все-таки Вельский колебался.

Он всегда колебался в решительную минуту. Впрочем, на этот раз вопрос, который предстояло решить, был слишком важен. Письмо из Швеции было от одного господина. Господин этот был голландцем, фамилия его была Фрей. В своем письме он просил предоставить ему место инженера на принадлежащих князю приисках. Письмо было написано по-английски и составлено в преувеличенно почтительном тоне низшего к недосягаемо высшему, испещрено ссылками на прежние места, дипломы и рекомендации. Но Вельский хорошо знал, что Фрей — доверенное лицо германского канцлера и что предстоящий с ним разговор будет не о разработке марганца, а о сепаратном мире.

«Виза у Фрея есть... Жаль, что нельзя телеграфировать. Все равно — в пятницу, самое позднее в субботу... То, что я делаю, есть чистейшая государственная измена,— думал Вельский, проводя горячей жесткой щеткой по голове.— Тайные переговоры с неприятелем, отягчаемые... Ну, а Меттерних, а Талейран?» Лисье лицо Отенского епископа, на секунду возникнув в памяти, хитро и любезно улыбнулось. «Да, не нарубивши дров, не... как это там? Но все-таки измена...»

Эта мысль, нисколько не испугав, неприятно удивляла его: впервые в жизни с его именем с неотразимой очевидностью сопоставлялось одно из низких, гадких, нечистоплотных понятий, понятий из того словаря,

который, казалось бы, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог быть примененным к безукоризненному имени светлейшего князя Вельского.

Зазвонил телефон. «Да, измена... Надо заехать в посольство... Надену синий костюм, чтобы было пононшалантней — неофициальный визит и совершенно частная просьба... Виза у Фрея есть, и в контрразведке о нем знать не могут».— Слушаю,— сказал он строгим голосом и по привычке делая холодное лицо, как будто звонивший мог его увидеть.

— А, это вы, Павлик?..— голос князя вдруг стал мягким, слегка покровительственным.— Ничего, милый, ничего. Да, занят страшно. Ну конечно, буду очень рад, приезжайте прямо к обеду... Кстати — вам известен некто Юрьев, служащий у ...? Нетрудно узнать? Узнайте, узнайте, голубчик... Так до вечера.

Кончив одеваться, Вельский позвонил. Камердинер распахнул дверь и стал у нее навытяжку, не входя. Вельский, высоко неся голову и как-то особенно держа плечи (он перенял эту понравившуюся ему манеру у одной царствующей особы), быстро прошел через парадные комнаты к швейцарской, где швейцар уже держал наготове шубу и за стеклами подъезда у дверей двухместной кареты ждал, без шапки, выездной лакей.

VII

Вечер решено было устроить у Штальберга. Родители его как раз жили в деревне. Квартира была подходящая — барская и внушительная. Медная доска на обитых красным сукном дверях бельэтажа, на Сергиевской, «Барон Александр Карлович Штальберг» была лишней гарантией, что если, не дай Бог, вечер пройдет не так гладко, как рассчитывали его устроители, подозрение вряд ли коснется сына и добрых знакомых видного петербургского бюрократа. Впрочем, опасаться неприятностей, кажется, не было оснований. Работа Назара Назаровича, в самом деле, была гениальна. Во

время одного из совещаний (совещаний было несколько: надо было все обдумать, распределить роли, выработать список приглашенных, тщательно обсудить за и против каждой кандидатуры — вообще, подготовиться) Назара Назаровича уговорили «показать игру». Он не любил этого делать — и по лени и еще по тому чувству, по которому музыкант не любит играть перед концертом или оратор говорить на тему своей завтрашней речи. В работе Назара Назаровича, кроме выучки, был тоже элемент «вдохновения», и вдохновение это он оберегал. Но на последнем «распорядительном собрании» у Юрьева Назара Назаровича подпоили бенедиктином, и он, расплывшись, как кот на сало (при улыбке все его круглое, гладкое лицо вдруг покрывалось тысячью мелких морщинок, тотчас же исчезавших, едва он улыбаться переставал), — лениво взялся за карты.

Юрьев уже во всех подробностях знал, в чем заключалась шулерская работа, которую тот на его глазах производил. Колода была крапленая, и, сдавая, Назар Назарович, глядя на крап, выдергивал из середины колоды нужную карту — тройку для прикупа к сданной себе пятерке или «жир» к двойке партнера. Но отлично зная это и всматриваясь в каждое движение Назара Назаровича, внимательно, как мог (чтобы лучше было видно — зажгли лампу с рефлектором), Юрьев решительно ничего не замечал. Назар Назарович белыми, пухлыми (на ночь он мазал руки глицерином «Велюр» и спал в перчатках), короткими пальцами сдавал карты. Его гладкое лицо расплывалось в тысяче морщинок: видно было, что дело свое он делает с удовольствием. На обрез карт, на крап, он, казалось, и не смотрел вовсе — с добродушной улыбкой он глядел на партнера. Не было, разумеется, никакого сомнения, что он не сдавал карты, как они лежали, а дергал их из середины: посмеиваясь, он выигрывал, как машина. Из любопытства ему заказывали: «сдайте жир и девять» или «прикупите к семи», и Назар Назарович сейчас же с точностью исполнял. Но каким образом он это делал, разглядеть было невоз-

можно. Конечно, заказная девятка появлялась из середины колоды, но, как ни вглядываться, впечатление было такое, что Назар Назарович, небрежно и не торопясь, берет ее с самого верха. То же и крап: как ни рассматривали колоду, поднося ее к самой лампе, никто не мог разглядеть крапа.

Польщенный общим удивлением и еще выпив, Назар Назарович раскраснелся, развеселился, стал делать карточные фокусы и рассказывать глупые, похабные анекдоты.

Вечер предполагался музыкально-литературный и, главное, с хорошим ужином. Нужные люди так и приглашались на него, т. е. на ужин, законным предлогом к которому послужит пение довольно известной артистки, чья-то музыка и чтение поэмы начинающей входить в моду поэтессы Рыбацкой. Подразумевалось, что пения и стихов можно не слушать, шампанского же будет вдоволь, ну и Мартель и свежая икра. О картах если кой-кому и говорилось, то неопределенно: «Может быть... Если соберется компания...»

Восемнадцать человек приглашенных образовывали несколько неравных, казалось, вполне самостоятельных групп. Однако каждая их этих групп была тщательно пригнанной частью одного механизма, предназначение которого было известно только устроителям вечера. Поэтесса Рыбацкая шла, чтобы читать поэму. Музыкант шел играть. Лицеист Курдюмов — поесть, выпить и, при случае, перехватить двадцать пять рублей. Товарищ прокурора Павлов — поесть, выпить и, при случае, завести любовную интрижку. Каждый собирался на вечер к Штальбергу с вполне ясной для себя целью и каждый, не подозревая этого, шел тем или иным образом способствовать тому, чтобы после стихов и музыки, шампанского и икры все так само собой сложилось, чтобы богач Ванечка Савельев сел играть в макао или железку с Назаром Назаровичем.

В квартире барона Штальберга, темноватой, просторной и несколько нежилой, такой именно, какой и полагалось быть квартире старомодного

петербургского чиновника, делались последние приготовления к приему гостей. В зале расставлялись золоченые стулья, в столовой наводился последний лоск на стол с закусками, в китайском будуаре баронессы (здесь, по выбору Назара Назаровича, по высшим соображениям распределения света и тени, должна была состояться игра) Юрьев поправлял цветы в вазах, рассыпал по египетским стаканчикам египетские папиросы и думал, сказать или не сказать Назару Назаровичу, чтобы тот переменил галстук. Галстук был ярко-голубой с замысловатым узором, и нельзя сказать, чтобы подходил, на петербургский вкус, к черному жакету да и вообще к зимнему времени. К тому же Назар Назарович воткнул в него бриллиантовую булавку (другой бриллиант сиял на коротком белом пальце его правой руки). Конечно, Назар Назарович должен был изображать случайно попавшего на вечер сибирского купца, миллионера и покровителя искусств, но галстук был слишком лазоревым даже для сибирского миллионера. «Хоть булавку уговорить его спрятать.» Юрьев двинулся было к Назару Назаровичу, но раздумал: Назар Назарович и так заметно нервничал перед игрой, как артист перед выходом на сцену.

Пробило девять. Через полчаса могли начать съезжаться приглашенные. Юрьев напомнил Назару Назаровичу, что ему пора уйти во внутренние комнаты, чтобы появиться так, как будто он только что приехал, когда соберется несколько человек. Назар Назарович покорно улыбнулся (он был сильно припудрен, и, должно быть, от пудры в морщинах, разбежавшихся по его лицу, на этот раз проглянуло что-то гнусное) и покорно пошел за Юрьевым по коридору в дальний кабинет. Тут он улегся под увешанной оружием стеной на жесткий кожаный диван (на этом диванчике ежедневно, в течение тридцати лет, старик Штальберг после обеда дремал или размышлял о судьбах России). Оставшись один, Назар Назарович вынул зубочистку и поковырял в зубах; потом, достав пилку для ногтей, подпилил ногти. Когда с зубами и ногтями было кон-

чено, он вытащил из кармана пачку неприличных открыток и стал их внимательно рассматривать. Это занятие всегда наилучшим образом действовало на его нервы, когда он был взволнован.

Как ни тщательно, во всех подробностях, был обдуман план вечера, как все заранее ни было взвешено и предусмотрено, когда вечер начался, оказалось, что на практике все выходит не так или не совсем так, как выходило в теории. Назар Назарович хоть и не пил, как обещал, но в обществе стал неожиданно и досадно развязным, начал ухаживать за дамами, хвастая своим бриллиантом и намекая, что при случае не прочь такой же бриллиант подарить. Музыкант, некстати оказавшийся сибиряком, завел с Назаром Назаровичем разговор о Сибири, и тот, никогда в Сибири не бывавший, начал врать и путать. К счастью, остальные знали о «русской Америке», как называл свою родину музыкант, еще меньше Назара Назаровича, и странности, что сибирский купец не слыхал о существовании Омска, никто не заметил, кроме музыканта, птицы неважной, которая могла, конечно, думать, что ей угодно, без вреда для вечера. Глупой оплошностью было и то, что по немецкой экономии Штальберга часть шампанского было русское «Абрау-Дюрсо», и, как назло, дурак лакей налил его Ванечке Савельеву. Тот глотнул, поморщился, выпил (в английском руководстве хорошего тона, которому Ванечка во всем следовал, говорилось, что не допить вино — невежливо), но от второго бокала отказался, хотя наливали ему уже не «Дюрсо», а «Кордон Руж». Это и разные другие промахи взвинчивали и без того взвинченные нервы Юрьева. Впрочем, понемногу все уладилось. Назара Назаровича отсадили от музыканта. Ванечку удалось уговорить попробовать портвейн, тот попробовал, одобрил и стал быстро хмелеть, что от него и требовалось. Таким образом, первоначальная «стройность замысла» понемногу восстанавливалась, и Юрьев вздохнул свободнее. О главной же допущенной оплошности он не подозревал,

да и не мог подозревать. Главная оплошность заключалась в том, что на вечер была приглашена поэтесса Рыбацкая.

Дело было, конечно, не в самой Рыбацкой. Ни она, довольно хорошенькая женщина с «испуганными» глазами и старомодным черепаховым гребнем в высокой прическе, ни ее стихи о «Самофракийской победе» (во время чтения самый любознательный из слушателей шепотом осведомился у соседа, на каком фронте была одержана эта победа — сосед не знал) никакой опасности в себе не заключали. Но у Рыбацкой был муж, какой-то мобилизованный инженер. Никто его не звал на вечер, мало кто знал, что он вообще существует. Но муж был и как раз недавно приехал в Петербург с фронта.

В первом часу, в начале ужина, позвонили, и лакей доложил, что это «за госпожой Рыбацкой». Со стороны хозяина — Штальберга — было жестом обыкновенной вежливости выйти в прихожую и просить инженера не увозить так рано «очаровательную, доставившую всем нам столько наслаждения», и, кстати, посидеть самому. Инженер, крупный, обветренный, в походной форме, несколько стесняясь непривычной обстановки и своего френча, уступил с намерением через десять минут уехать. Но, осмотревшись, он это намерение переменил. Причиной, заставившей инженера остаться ужинать в неприятном ему обществе, было то, что в столовой среди незнакомых лиц «аристократических хлыщей» он с удивлением заметил знакомое круглое лицо Назара Назаровича.

Назар Назарович не узнал инженера. Да ему и трудно было бы его узнать. Во время их единственной встречи года четыре тому назад на волжском пароходе позиция инженера Рыбацкого была более удобной для того, чтобы наблюдать и запоминать. Он спокойно сидел в стороне, ел раков и пил вино в то самое время, когда Назара Назаровича, пойманного с поличным, били бутылками, салфетками, стулом и чем попало.

Садясь за карты, Юрьев в первую минуту испытал блаженную смесь страха и смелости, неуверенности и надежды, которую испытывает каждый игрок, и в особенности игрок, для которого вопрос выигрыша не ограничен спортивным удовлетворением или неудачей, а имеет еще острый насущный смысл — потери или приобретения «до зарезу» нужных денег. Вскоре ощущение это сменилось чувством тупой скуки. В самом деле, выиграет он или проиграет, никакого значения не имело: его обязанности соучастника в шулерской игре были несложны; играть широко, подавая пример остальным, охотно «крыть» и «отвечать»; продавать банк, когда Назар Назарович возьмется за брелок, или покупать, когда тот почешет ухо... Получалось что-то нудное, вроде ожидания пересадки на глухой провинциальной станции. Но с течением игры Юрьева понемногу все сильнее стала мучить мысль, что вечер неминуемо должен кончиться провалом.

«Техника» Назара Назаровича была по-прежнему выше похвал. Но «психологическая сторона» его игры казалась Юрьеву чем дальше, тем ужаснее, по неосторожной и хамской («хамской», именно так со злобой думал Юрьев) грубости. Юрьев не мог себя упрекнуть в том, что не предусматривал заранее этой стороны дела. Он с самого начала, как мог, старался внушить Назару Назаровичу, что общество, которое ему предстоит обыграть («взять на карту», как выражался Назар Назарович),— несколько иное, чем общество пьяных купцов на Нижегородской ярмарке, и что обращение с ним требуется тоже несколько иное. Назар Назарович соглашался: «Известно, что купцы — серость, иной толстосум, миллионщик, а поскреби...» Юрьев настаивал, чтобы денег для оборота было достаточно (принести деньги входило в обязанности Назара Назаровича), чтобы игра велась «по-джентльменски» — проектировалось даже проиграть в конце ее часть наигранного, чтобы получилось впечатление «переменного счастья». Назар Назарович соглашался и с этим: «Чего проще — буду перевод делать. Чтобы не было видно, будто я один загребаю.

Выиграю и спущу вам, а вы барону, а барон опять мне, а я опять вам. У кого деньги останутся, когда кончим, у того и ладно. Ведь компания своя, друг друга не обманем»,— прибавлял он с хитрой улыбочкой, и чувствовалось при этом, что он уж обязательно так устроит, чтобы надуть «свою компанию» при дележе.

И вот, по мере игры, Юрьев с беспокойством и злобой убеждался, что все обещания Назара Назаровича забыты. Он бил подряд пятнадцать карт, снова покупал тот же банк и бил еще десять. С дурацким притворством удивляясь — «Опять девяточка, скажите пожалуйста?» — он кричал изящному эстету Ванечке Савельеву: «Теперь твои деньги, отдаю, крой, борода!» — и вновь открывал девятку.

И все остальное было так же грубо, безобразно, ужасно. Денег Назар Назарович принес мало, и те, что принес, держал при себе (так же, как и выигранные,— никаких «переводов» он и не думал делать). Сообщников своих он ставил этим в невозможное положение — надо было «поддерживать игру», «крыть» и «отвечать», а денег не было. Заметив, что Юрьеву или Штальбергу вовсе нечем играть, Назар Назарович, наконец, выручал их, но делал это тоже с удручающей бесцеремонностью. «Получите должок»,— швырял он им, не считая, пачку двадцатипятирублевок, не заботясь о том, что игра велась на наличные, и всякий мог заметить странность таких передач.

Были минуты, когда Юрьеву казалось: «Кончено! Все понимают». Но никто ничего не понимал.

Полковник генерального штаба, которого пригласили больше «для декорации», оказавшийся страстным игроком и при больших деньгах, проиграл все, что с ним было, и теперь играл на запись с довольно нелюбезного (хам, опять злился Юрьев) согласия Назара Назаровича, считавшего игру на запись напрасной потерей времени — «все равно не отдаст». Ванечка, сильно пьяный, подписал два чека на восемь и на четыре тысячи и, не унывая, собирался подписы-

вать третий, бормоча: «Malheureux au jeu — heureux en amour»[1].

Игра длилась уже несколько часов и должна была скоро кончиться сама собой: ни у кого не оставалось больше денег — деньги из всех бумажников грудой лежали перед Назаром Назаровичем. Но никто ничего не замечал.

Юрьев, много раз дававший себе слово, что никогда в жизни не повторит сегодняшнего опыта, теперь, успокоившись, готов был взять это слово обратно. «Конечно, мерзко, грубо... но в конце концов... Раз люди так глупы... Завтра же отнести ей столько денег!.. Жаль, что Штальберг в компании, если бы делить пополам...»

Чувство обычной веселой самоуверенности возвращалось, к нему примешивалось чувство победы: сказал, что достану, и достал! Еще одна такая игра... Тысяч по пяти на человека, не меньше, подсчитывал он. Как бы только этот Назар не обокрал.

Тут Юрьев почувствовал на себе взгляд мужа поэтессы Рыбацкой, инженера. Инженер, «проставив» в самом начале несколько сот рублей, не играл больше. Теперь он сидел неподалеку от Назара Назаровича, курил толстую папиросу и спокойным, неприятно пристальным взглядом смотрел на Юрьева.

VIII

Инженер Рыбацкий, выйдя от Штальберга, домой на Офицерскую пошел пешком. Было часов пять утра. Инженер был взволнован и недоволен собой и нарочно пошел пешком и кружным путем по набережной (жену он отвез сейчас же после ужина, она ни о чем не знала и, конечно, теперь спокойно спала) — чтобы обдумать и разобраться в том, что произошло.

То, что произошло, было отвратительно. Попав случайно на карточную игру в незнакомый дом, он

[1] Несчастлив в картах — счастлив в любви *(фр.)*.

заметил, что игра производилась нечисто. Заметил также (человек бывалый, подолгу живший среди мастеровых, мелких купцов, вообще простонародья, Рыбацкий не впервые сталкивался с такими вещами), что профессиональный шулер работал не один. С ним заодно были — (наверное) хлыщеватый молодой человек Юрьев, приятель хозяина, и, кажется (тут у Рыбацкого было легкое колебание), хозяин — женоподобный титулованный мальчишка.

И вот теперь, идя по пустой подмерзшей набережной, Рыбацкий перебирал в уме подробности происшедшего и спрашивал себя, правильно ли он поступил, вмешавшись в это чужое, отвратительное и грязное дело.

Дело было чужим не только потому, что Рыбацкий не знал никого из принимавших участие в игре. Чужим оно было еще (и главным образом) потому, что все они, и обыгрывающие, и обыгрываемые, были людьми того круга, интересов, образа жизни, которые всегда (а особенно теперь, во время войны) возбуждали в Рыбацком враждебное и презрительное недоумение.

Увидев в чинной столовой барона Штальберга круглое, крепко битое когда-то в его присутствии лицо Назара Назаровича, Рыбацкий очень удивился. Но теперь, шагая домой, куря папиросу за папиросой, он думал, что удивляться, в сущности, было нечего. В сущности, ничего странного не было в том, что нуждающиеся в деньгах хлыщи, бездельники, тунеядцы отнимали при помощи шулера деньги у тунеядцев и хлыщей богатых. Странным было бы, напротив, предполагать почему-то, что они на это не способны. «Во времена Александра Первого даже, кажется, молодечеством считалось передергивать среди гвардейской молодежи, у Толстого что-то есть об этом...— с усмешкой думал Рыбацкий.— Так что, в своем роде, воскрешение славных традиций. «Дней Александровых прекрасное начало»,— вспомнил он неизвестно чью, неизвестно откуда запомнившуюся строчку, снова усмехнувшись. — И при чем я тут, зачем мне было ввязываться!»

Он возражал себе: если в трамвае вор лезет в чужой карман — естественно вмешаться, хотя и вор и тот, чей кошелек он тянет, ему незнакомы, безразличны и, может статься, вор лучше, честней, заслуживает большего сочувствия, чем владелец кошелька. В чем же разница?

Разницы как будто действительно не было. Но как ни желал Рыбацкий убедить себя, что, отведя Юрьева в сторону и сказав ему то, что им было сказано, он поступил правильно, поступил так, как на его месте поступил бы всякий разумный и порядочный человек,— все-таки мысль, что лучше было бы не вмешиваться, не покидала Рыбацкого.

Лучше было бы не вмешиваться потому, что, не вмешавшись в грязное дело, касающееся чужих ему и все равно отпетых людей, он мог бы просто заставить себя забыть о нем (как можно заставить себя забыть о случайно встреченном мерзком и отвратительном — ну, о падали, попавшейся на дороге под ноги). Теперь же, вмешавшись, он волей-неволей должен был продолжать начатое и тратить без смысла нервы и силы, которых и так недоставало для мучительно трудной жизни на фронте и мучительно трудной работы там. И, кроме того...

Инженер-технолог Николай Николаевич Рыбацкий был одним из тех людей, которых уважают окружающие, ценят друзья и начальство, которые держат слово, никогда не поступаются с детства твердо усвоенными понятиями о долге — словом, одним из тех, на кого от века опираются порядок, законность и уважение к человеческому достоинству. Люди такого склада, по большей части, по-настоящему честны, по-настоящему добры, несколько ограничены и вполне лишены воображения.

Николай Николаевич Рыбацкий, должно быть, имел этот недостаток, путающий людям жизнь и сбивающий их с толку. Он старался и не мог, никак не мог забыть бледное перекошенное лицо Юрьева, не мог, шагая по подмерзшей набережной, отделаться от мысли, что, может быть, этот чужой и неприятный ему человек теперь отравится или застрелится.

IX

Снотворное действовало. Юрьев спал крепко и долго. Когда он проснулся, в комнате было уже совсем темно и в щель между портьерами тянулся по столу, ковру и краю кровати узкий луч уличного фонаря.

Юрьев открыл глаза с чувством человека, которого мучил кошмар и который, проснувшись, облегченно думает: это был сон. Он потянулся к ночному столику за папиросой и тут сразу вспомнил все: игру, Назара Назаровича, инженера... Он откинулся на подушку и слабо застонал от сверлящего, как зубная боль, ощущения позора и непоправимости того, что случилось.

Когда Юрьев в конце игры почувствовал на себе взгляд инженера Рыбацкого и, подняв голову от карт, встретился с ним глазами, он в одно мгновение понял значение этого пристального, неприятно-спокойного взгляда.

Ничего особенного во взгляде Рыбацкого не было. Встретившись с глазами Юрьева и задержавшись на них безо всякого вызова или подозрения, инженер медленно и равнодушно перевел взгляд на пепельницу, стоявшую перед ним, и больше на Юрьева не смотрел. Но с той минуты, как их глаза встретились, Юрьев с неумолимой ясностью знал, что Рыбацкий все видел и все понял.

Последние десять дней прошли для Юрьева как в тумане. Он завтракал и обедал, заходил в канцелярию и болтал там со Снетковым; одеваясь, тщательно, как всегда, подбирал галстук под полоску рубашки и носки под цвет галстука; совещался со Штальбергом, делал с Назаром Назаровичем репетиции и приглашал на игру гостей — но все это делалось почти механически, не вызывая отчета и не оставляя следа в сознании. Единственное, чем и для чего он жил, — были ночи с Золотовой.

И только теперь, впервые за эти десять дней, Юрьев ощутил себя отдельно от страсти к Золотовой, от эфира, блаженства, головокружений — отдельно от

той мутной блаженной волны, которая, подхватив, несла его вплоть до этой минуты.

Волна принесла его к невозможному и непоправимому — он вдруг это понял. Невозможное и непоправимое в образе инженера Рыбацкого сидело перед ним, куря толстую папиросу и уставившись пристально, неприятно-спокойным взглядом на пепельницу. Пепельница изображала гондолу, которой правил серебряный гондольер. И пепельница, и гондольер, и пухлые пальцы Назара Назаровича, собирающие наигранные деньги, были тоже тем же, что Рыбацкий,— образом невозможного и непоправимого.

Игра кончилась. Назар Назарович собрал деньги и, позевывая и игриво улыбаясь, встал. Штальберг приглашал остаться пить кофе. Кое-кто оставался, большинство благодарили и прощались. Юрьев стоял у стены, безучастно на все это глядя. Лакей открыл форточку — в ней обозначился бледный квадрат светающего зимнего неба, и, должно быть, от холодного воздуха Юрьева слегка зазнобило... Уговаривая остаться, Штальберг подошел и к Рыбацкому. «Если он уйдет...» — подумал Юрьев с внезапной (бессмысленной, он сам это знал) надеждой.

Но инженер, по-военному щелкнув каблуками, ответил Штальбергу, что с удовольствием выпьет кофе. Идя в столовую, он будто бы мимоходом спросил Юрьева: «Вы тоже остаетесь?» и, немного тише, прибавил: «Мне надо с вами поговорить...»

Лежа в кровати и с невыносимой, сверлящей, как зубная боль, тоской глядя на зеленую полоску от фонаря («...И я горю, как горел, и мир тот же, и эта комната, и все, а ты — погиб, погиб...» — говорил ему этот узкий, холодный, обыкновенный луч), Юрьев думал, что об исполнении первого условия, поставленного Рыбацким — возвратить всем проигравшим деньги (несколько сот рублей, проигранных лично им, Рыбацкий взять не захотел),— не стоит и заботиться, раз второе условие все равно неисполнимо. Вторым условием Рыбацкого было не позже завтрашнего дня

записаться добровольцем, и непременно в часть, отправляющуюся на фронт.

Назар Назарович, услышав о требовании инженера, свою часть, около четырех тысяч (по самому грубому подсчету было видно, что он по крайней мере столько же припрятал), возвратить наотрез отказался, так яростно при этом брызгая слюной и ругаясь: «Знаем эти штучки, не на таковского напали, а еще благородные...» — что оставалось только прогнать его, пригрозив, что если не уйдет сам, то выведут силой. Штальберг, совершенно растерянный, умолял Юрьева ехать сейчас же к инженеру и хоть на коленях уговорить его не делать скандала. Недостающие деньги он обещал завтра же пополнить, заложив те самые бриллианты, вместо которых предложил недавно обратиться за помощью к Пшисецкому. Штальберг, узнав, что Рыбацкий пока обвинял только Юрьева, был готов сделать что угодно, только бы остаться в стороне. Его красное лицо было обезображено страхом, когда он, весь дрожа, уговаривал Юрьева не выдавать его: «Тебе это не может помочь... а я... а мне...»

Юрьев взял часть Штальберга. Но к инженеру денег он не отвез. Часть Штальберга, вместе со своей, он отвез в то же утро к Золотовой. Тогда еще ему казалось, что он любит ее.

Входя в то утро в ее спальню, отдавая ей деньги, ложась к ней в кровать, Юрьев еще думал, что любит ее. Но в кровати рядом с ним лежала чужая, стареющая, безразличная ему женщина. И не было больше никаких звезд и никакого льда — просто кусок холодной ваты мерзко и пронзительно пахнул аптекой.

Днем Юрьев все-таки поехал к инженеру. Потом был у Штальберга. Штальберг уже взломал шифоньерку (где тут было подбирать ключ) и сидел, все такой же растерянный, над грудой старомодных колец и брошек. Юрьев успокоил его — вещи закладывать незачем, ничего ему не грозит. Рыбацкий прямо обвинял только одного Юрьева, и неисполнимое, ужасное требование ехать на фронт относилось к нему одному...

Юрьев зажег электричество, надел халат, подошел к умывальнику. Из крана побежала горячая вода, и ему было странно, что вот умывальник на месте и вода бежит, как всегда, такая же горячая, и что вот он сам, как всегда, будет мыться, бриться, одеваться — как будто нужно мыться и одеваться человеку, жизнь которого кончена. А жизнь, в том виде, в каком она представляла смысл и интерес, разумеется, была кончена.

На фронт он не пойдет. Идти на фронт было не то что тяжело или страшно,— было просто физически неисполнимо, все равно что подняться на воздух или дышать под водой. На вшивый, грязный, пропитанный кровью и хамством фронт, почти на верную смерть, идти было притом просто глупо: выпить цианистого калия было и легче и проще. Но Юрьев сознавал, что и цианистого калия он никогда не решится выпить. Что же тогда? Завтра, самое позднее послезавтра, Рыбацкий навсегда его обесчестит. Как Рыбацкий сделает это? Заявит в полицию? Напечатает в газетах? Не все ли равно как.

Или все-таки пойти на фронт? Говорят, война скоро кончится, можно пристроиться как-нибудь? Или бросить все, уехать из Петербурга, ну, в Сибирь или Бухару. Но чем жить там? И для чего жить? Жить стоило только в Петербурге, в Москве на худой конец... Но ни в Петербурге, ни в Москве жить было нельзя.

Ожидая, пока подадут кофе, Юрьев взял со стола серую тетрадь «Аполлона». Книжка была сентябрьская. «Когда этот номер вышел, я был еще свободен и счастлив,— подумал Юрьев,— это было всего месяц тому назад. И я мог бы быть так же свободен и счастлив и сегодня и завтра...» Он стиснул зубы от внезапного, острого прилива отчаянья.

Горничная принесла кофе. «Барин, давеча, пока вы спали...» — начала она. Юрьев махнул рукой: «Оставьте меня в покое, Маша». Горничная ушла. Но через минуту она снова постучала:

— Вас спрашивают... Незнакомый господин. Говорят, по важному делу.

«Что еще ему нужно,— со злостью думал Юрьев, идя в прихожую.— Еще какие-нибудь условия? С лестницы бы его спустить, сволочь...» В том, что ожидающий был Рыбацкий, Юрьев почему-то не сомневался.

В передней стоял князь Вельский. На широких бобрах его николаевской шинели блестел снег...

— Позвольте представиться,— отрывисто сказал Вельский, не протягивая руки.— Простите, что не имею чести... Но дело касается вас. Я все знаю,— пояснил он, улыбнувшись одними концами губ.— Инженер Рыбацкий будет выслан, и эта...— Вельский запнулся, подыскивая слово,— эта неприятность забыта. Но Золотовой вы больше не должны видеть. И вы перейдете на службу ко мне. Мой секретарь предупрежден, явитесь завтра к нему — его зовут Адам Адамович Штейер.

X

Одна из портьер в большой неосвещенной комнате была не задернута, и сквозь широкое зеркальное стекло видны были петербургские сумерки и красноватое небо над Летним садом. У окна этого, охватив колени и уставясь куда-то вдаль грустным и злым взглядом, сидел человек.

Личный секретарь князя Вельского, правая рука князя, перед которым, зная его влияние, заискивали очень многие, Адам Адамович Штейер — это он сидел у окна — был похож на птицу, точнее, на дятла.

Сейчас сходство было особенно заметно. Золоченое екатерининское кресло, в котором он сидел, было слишком пышно и поместительно для его щуплой фигуры. На малиновом шелке обивки покатые плечи Адама Адамовича выглядели совсем крылышками, и длинный, тонкий нос был так повернут к окну, точно собираясь долбить стекло. Он сидел не шевелясь (уже долго, должно быть, больше часу), охватив колени и очень сильно задумавшись.

Если бы кто-нибудь из знавших Адама Адамовича увидел его сейчас, он сделал бы неожиданное открытие: у секретаря князя Вельского, оказывается, были глаза. У глаз этих было выражение — злое и грустное, очень грустное и очень злое. Но заметить это можно было только вот так, когда Адам Адамович сидел один, в полутемной комнате, зная, что никто на него не смотрит. На людях наружность его сразу стушевывалась, отступала на второй план — даже сходство с дятлом как-то бледнело. На первый план появлялись усердие, исполнительность, портфель, набитый бумагами, манера бесшумно входить, бесшумно кланяться, бесшумно садиться на кончик стула. И если бы князя Вельского спросили, каков из себя его секретарь, которого вот уже третий год он видит изо дня в день, он бы, вероятно, ответил, что как будто Адам Адамович лыс, кажется, небольшого роста и, пожалуй, сутуловат. Да и это еще сделало бы честь наблюдательности князя — другой на его месте не вспомнил бы ничего.

Как всякий сильно задумавшийся человек — Адам Адамович, глядя не мигая в одну точку где-то над Летним садом, думал сразу о многом. Мысли его были невеселы. Он ясно понимал, что три года напряженной и опасной работы потрачены даром, или почти даром, и в его мыслях мучительно переплетались — грусть, злость, презрение, желание во что бы то ни стало исправить допущенные ошибки и боязнь, что исправлять их, пожалуй, поздно.

Ошибок было несколько. Главной из них была, разумеется, та, что три года были потрачены, чтобы войти в доверие к князю, и что в великом деле решительная ставка была сделана на этого пустого, чванного, самовлюбленного, нерешительного и глупого человека.

Адам Адамович признавал свою вину лишь в части допущенной ошибки — другая была непроизвольной. Когда в 1913 году он с блестящими рекомендациями явился к князю Вельскому, князь произвел на него совсем не то впечатление, которое Адам Адамович позже о нем составил. Во-вторых, выбора все равно не

было — не всякий день русскому вельможе, близкому к важнейшим государственным тайнам, требуется секретарь и не для каждого такого вельможи рекомендация атташе иностранной державы, хотя бы и самая горячая, является достаточной, чтобы с первых же месяцев службы секретарь этот был посвящен решительно во все, что знал в государственных делах сам князь. В-третьих, тогда, в 1913 году, он, Адам Адамович, был слишком маленьким винтиком в священном и великом механизме, и роль его была ничтожной (хотя и важной — все было важно в деле, которому он служил). Потом уже поле его деятельности сильно расширилось и само собой, благодаря начавшейся войне и благодаря той изобретательности, настойчивости, терпению и смелости, которые Адам Адамович проявил, чтобы понемногу, незаметно для него, превратить важного русского дипломата, родовитого барина, богатого и, следовательно, неподкупного человека в то, чем князь Вельский в настоящее время был — в союзника Германии и врага России.

Превращение это было результатом трудной, долгой, тонкой работы, и вот теперь, добившись своего, Адам Адамович с грустью и злобой думал о князе, как художник думает о своем создании, которое должно было стать шедевром и оказалось неудачей.

Неудача была налицо. Да, в результате его долгих усилий в лице князя у России был враг, у Германии был союзник. Но это был слабый враг и ненадежный, очень ненадежный союзник. Теперь, когда пришло время действовать, он, капризный и слабый, нерешительный и упрямый, мог каждую минуту по глупости или капризу погубить все с таким трудом налаженное дело.

Который раз за эти дни, после того как выяснился приезд Фрея и намерения князя действовать самостоятельно — самонадеянно и опрометчиво,— Адам Адамович перебирал в памяти все это, ища способов исправить что можно и спрашивая себя, как могло случиться, что такой умный человек, как он, Адам Адамович, не разгадал князя раньше и допустил, чтобы вся инициатива, все нити из Берлина в Петербург

и обратно, ведущие к заветной цели сепаратного мира, сосредоточились в его слабых и капризных руках.

Но как можно было предусмотреть! В этой стране, которую он с детства научился презирать и ненавидеть, все было шиворот-навыворот и ни на что нельзя было положиться. Казалось, все здесь — и люди, и природа, и события — существовали наперекор здравому смыслу, наперекор Богу и судьбе, существовали, повинуясь каким-то своим, особым, неправдоподобным законам, таким же рыхлым и лживым, хитрым и слабым, каким был князь, все окружающие, вся Россия.

Он с детства научился презирать и ненавидеть Россию. Сперва противопоставляя свою бедность, грустную жизнь, жалкую наружность — чужому богатству, веселью, здоровью, которые он видел в других и которые привык ощущать как незаслуженные, несправедливые, словно украденные у себя. Потом (тут ему открылся смысл жизни) противопоставляя эту Россию — Германии.

О, как он любил Германию. Там тоже жили богатые и здоровые, непохожие на него люди, но они были счастливы по праву — они были первым народом мира. Как он любил Германию! Он никогда не был в ней, но знал ее всю, наизусть, до каждого камня на дороге, каждого листика в шварцвальдских лесах, каждой серебряной рыбки в заколдованных волнах Рейна. Он глядел на зеленоватый участок на карте, проводил пальцем по городам, рекам, горным хребтам, и с куска бумаги вставали перед ним эти реки, города, горы, вставала благословенная, великая, единственная в мире страна, которой он никогда не видел, но сыном которой он был.

Адам Адамович провел рукой по холодному, чуть влажному лбу, потеплевшие было глаза его стали снова грустными и злыми. «Мечты... Zauberträume...[1] — прошептал он, улыбнувшись неприятной, горькой

[1] Волшебные мечты *(нем.)*.

улыбкой, которой улыбался, когда был один.— Zauberträume! А реальность... Непременно надо все сказать Фрею и предупредить, чтобы он требовал, категорически требовал...— Он снова горько улыбнулся, представив трудный и неприятный для своего самолюбия разговор.— А девчонка ведет двойную игру,— вдруг с неменьшей злобой, чем о Вельском, подумал он, вспомнив Золотову.— Ну, это просто опасно — просто жадная тварь, хочет еще денег. Можно ей бросить кусок и дело с концом — *там* ей вряд ли больше дадут,— соображал он.— Но какая тварь, какие твари!..»

Совсем стемнело. Адам Адамович чиркнул спичкой. Оставалось еще полтора часа до прибытия поезда, с которым приезжал из Финляндии Фрей. Сейчас должен был вернуться князь и дать последние указания, что сказать Фрею и как осветить перед ним положение дел. «Непременно все, все объяснить, не щадя себя, даже преувеличить надо,— повторил с решимостью Адам Адамович и встал с кресла.— И чтобы Фрей требовал...»

Прислушавшись, он повернул выключатель. Свет большой люстры ослепительно залил комнату. Внизу у подъезда скрипнули полозья, топнули осаженные лошади, стукнула дверь. Узкие плечи Адама Адамовича сразу еще больше съежились, руки опустились по швам, глаза стали маленькими, тусклыми, ничего не выражающими. Мягко ступая по скользкому сияющему паркету, он вышел из комнаты и стал спускаться навстречу князю, осторожно, точно хрупкую драгоценность, прижимая к боку свой коричневый потертый портфель.

XI

Если бы князю Вельскому сказали о любом человеке, знакомом ему или незнакомом, старом или молодом, занимающем одинаковое с ним общественное положение, или высшее, или бесконечно низшее,— словом,

сказали безразлично о ком, что этот человек ему враг,— Вельский не удивился бы. Не то чтобы он считал себя как-нибудь особенно располагающим других к злым чувствам. Просто с молодости он привык относиться к людям с недоверием и в каждом новом человеческом лице за маской любезности, дружбы или подобострастия искать (и находить), в разных формах и с разными оттенками, подтверждение того, что «человек человеку волк». С годами это ощущение перешло в уверенность, стало казаться чем-то несомненным, твердо усвоенным раз навсегда, вроде представления о форме земного шара или таблицы умножения. Жизненный опыт говорил, что люди злы, фальшивы, жадны и неблагодарны,— это было правилом, редкие исключения из которого не меняли дела. Да и исключения эти...

Вельскому искренне казалось, что такими исключениями были некоторые близкие ему люди, например, его покойная мать или лицейский товарищ Долгоруков, рано и романтически погибший. Нарочно, проверяя себя, он искал в образе матери или Долгорукова вульгарных и низменных черт, свойственных остальным людям,— и видел ясно: в них этих черт не было. Но тут же в голову приходила простая мысль, что вот почти каждый из числа тех именно вульгарных и низменных *остальных* людей считает свою мать святой, почти каждый имеет друга, или дочь, или любовницу и приписывает им особые, возвышающие их над другими свойства... При всей простоте этой мысли, из нее нельзя было сделать никакого вывода — она, как и всякая попытка заглянуть к себе в душу, вызывала лишь скользкое чувство одиночества и пустоты. Это было не только неприятно, это было хуже — бесплодно; было одним из кончиков того клубка, все перепутанные нити которого ведут к одному — к сознанию бессмысленности жизни и неизбежности смерти. Спокойнее всего в таких случаях было — меланхолично улыбнуться, закурить папиросу и перевести мысли на службу или балет. Так и поступал неизменно светлейший князь Вельский.

Да, люди были злы, корыстны, неблагодарны и враждебны — это было правилом. Но исключения все-таки были. Одним из них Вельский считал Адама Адамовича. В собачьей преданности, в слепом обожании этого грустного, смирного, забитого человека (мой Акакий Акакиевич, говорил о нем Вельский) он давно уже не сомневался. Это, правда, не имело особенной цены — но все-таки это было приятно.

— Ну-с,— сказал Вельский, входя в кабинет, с шумом отодвигая кресло и встряхивая носовым платком, распространившим сладкий и душный запах Folarôme'а.— Ну-с, давайте прорепетируем еще раз. Итак, вы ему скажете... Сколько раз я вас просил, милый мой, садиться без спроса. Что за чинопочитание — мы не в министерстве,— перебил он сам себя, с мягкой улыбкой показывая Адаму Адамовичу на стул.— И курите, пожалуйста. Итак, прежде всего...

Говоря с Адамом Адамовичем, улыбаясь ему, предлагая ему папиросу или диктуя письмо, Вельский всегда немного рисовался перед своим секретарем. Это выходило само собой, было бессознательным кокетством в ответ на то чувство обожания, которое — Вельский знал — питает к нему Адам Адамович.

XII

Поезд медленно подошел к затоптанному перрону. Пассажиров было немного. Адам Адамович сразу узнал Фрея: на нем было широкое верблюжье пальто, за ремнями его желтого чемодана торчала сложенная углом газета — условный знак.

— Monsieur l'ingénieur?[1] — подходя и неловко снимая шляпу, начал Адам Адамович, очень странно выговаривая — он изучил французский язык сам, без учителя, по книжке с фонетической транскрипцией.

[1] Господин инженер? *(фр.)*.

— Jawohl![1] — тихо ответил приезжий, блеснув из-под коротких усов очень белыми зубами. И сейчас же, точно сам осуждая свое озорство, прибавил громко и важно:

— Счастлив прибыть в вашу великую страну.

Эта фраза тоже была условной. Адам Адамович еще раз приподнял шляпу. Сердце его сильно стучало. Фонетическая транскрипция его подвела — он не находил слов.

— Прошу,— с трудом пробормотал он, пропуская Фрея перед собой к выходу, дохнувшему на них сыростью оттепели и тьмой Выборгской стороны.

В номере Северной гостиницы, занятом голландским подданным Фреем, кипел на столе самовар, стояли закуски, ром, коробка сигар. Внизу, на площади, дребезжали трамваи, редкий, рыхлый снег падал на шапку Александра Третьего и на толстый зад его коня. Следя за снежинками, Фрей, не перебивая, слушал Адама Адамовича. Тот говорил по-немецки, очень тихо и очень быстро. По мере того как он говорил, румяное лицо Фрея все больше и больше темнело.

XIII

Штальберга опять не было дома. Юрьев взглянул на часы. «Буду ждать до семи в «Астории»,— приписал он в конце записки, перечитывая ее и подчеркивая слова «очень нужно» и «приезжай». «На Исаакиевскую»,— сказал он кучеру, запахивая полость.

Штальберга он искал с утра. Штальберг — Юрьев сознавал это — был умней его и, главное, проницательней. И предсказания Штальберга, кажется, начинали сбываться. Вчерашние слова князя, во всяком случае, были многозначительны. «Вы привыкли ко мне? — неожиданно спросил князь, прощаясь после ужина,— как странно он посмотрел при этом.— Это хорошо,

[1] Так точно! *(нем.)*.

и я к вам привык. Это хорошо,—повторил он и. помолчав, прибавил,—мы как-нибудь... скоро... поговорим».

Вельский очень странно смотрел, говоря это,—пристально и как будто растерянно. И если сопоставить эти слова с обрывком подслушанного на днях разговора («Как умно было, что я подошел к двери,—мелькнуло в голове Юрьева,—как ловко...»), пожалуй, выходило, что Штальберг прав. «У тебя под ногами золотое дно, а ты тряпки покупаешь и счастлив»,—вспомнил Юрьев насмешливый голос Штальберга и улыбнулся. «Что ж, тряпки не мешают, но если в самом деле золотое дно—не надо быть дураком. И не буду»,—с веселой самоуверенностью подумал он, подымая воротник (было очень холодно) своего нового щегольского пальто.

Пальто было новое, все на котиковом меху, такое именно, как Юрьеву давно хотелось иметь. За последнее время он завел много разных дорогих нужных и ненужных вещей и вообще жил широко. Времена, когда хотелось купить шляпу и было нельзя, портной отказывался шить в долг и даже вежеталь приходилось порой экономить, теперь изменились. С удовольствием и удивлением (к ним понемногу начало примешиваться смутное беспокойство) Юрьев чувствовал себя в положении человека, которому незачем ломать голову над тем, где достать денег. Деньги у него теперь были.

Деньги у него были, долги были заплачены, дело с инженером замято, к январю он ждал камер-юнкера. И деньги, и уплата долгов, и высылка инженера, и обещанное камер-юнкерство, все это—шло от князя Вельского.

Все это с того памятного вечера, когда князь приехал к нему, шло и устраивалось само собой, устраивалось так незаметно, гладко, естественно и прилично, что при встречах с князем Юрьев почти забывал, что Вельский все-таки не богатый дядюшка, балующий племянника, а совершенно чужой ему человек, для чего-то нашедший нужным вмешиваться в его судьбу.

Князь держался с Юрьевым именно добрым дядюшкой: возил его завтракать, звал к себе, болтал с ним то о поэзии, то об охоте, то о фасоне воротников — и это было все. Но при всем своем легкомыслии Юрьев понимал, что долгов не платят и из грязных историй не вытаскивают из одной, неизвестно откуда взявшейся, симпатии. Чтобы возиться с ним, у князя должны были быть какие-то важные основания. Но какие — на это Юрьев никак не мог подыскать разумного ответа, и понемногу это все сильней начинало его беспокоить.

На обрывок разговора, подслушанный случайно у дверей библиотеки, Юрьев не обратил особенного внимания. Но после вчерашних слов князя разговор этот приобретал какой-то (какой — было по-прежнему неясно, поэтому Юрьев и искал Штальберга) новый смысл.

Дело было так. Юрьев заехал к князю. Князь был занят — Юрьева попросили подождать в библиотеке, комнате, смежной с кабинетом. Из кабинета слышались голоса, но слов из-за тяжелых портьер не было слышно. Лакей, проводив Юрьева, ушел, никого кругом не было. Подойдя к шкапу, стоявшему около двери в кабинет, Юрьев, делая вид, что рассматривает корешки книг, прислушался. Но и здесь слов нельзя было разобрать. Тогда, оглянувшись, Юрьев осторожно отодвинул портьеру и приложил ухо к двери.

Страх быть застигнутым помешал ему дослушать до конца. Кроме того, разговор шел по-немецки (уже одно это было странно) — а по-немецки Юрьев плохо понимал. Но и то немногое, что он понял,— было тоже странно и удивительно. Князь говорил о желании видеть или иметь какую-то вещь, а собеседник возражал что-то о снеге и трудности перехода границы... «Да, да, у меня есть человек, на которого я могу положиться»,— была последняя фраза Вельского, которую Юрьев понял,— она была сказана в ответ на слова, смысл которых он не разобрал. Где-то сзади, через несколько комнат, послышались шаги — Юрьев быстро опустил портьеру и отошел в другой угол комнаты.

Да, пожалуй, Штальберг был прав: князь вел какую-то интригу, в этой интриге он, Юрьев, на что-то был ему нужен. «Вы привыкли ко мне? Это хорошо... Мы скоро поговорим...» И этот разговор по-немецки о снеге, о границе... Да, что-то за всем этим было, все это было неспроста. Где-то тут заключалось объяснение и денег, и инженера, и камер-юнкерства, и всего. Но где, какое? И если действительно открываются большие возможности, золотое дно, как сделать, чтобы возможностей этих не пропустить? Чтобы посоветоваться обо всем этом, Юрьев и ехал в «Асторию», где от пяти до семи, на чае, Штальберг часто бывал.

Швейцар повернул стеклянную дверь-вертушку и, улыбаясь, поклонился Юрьеву — его здесь хорошо знали. Спросив, здесь ли барон, и с неудовольствием услышав, что «еще не были-с», Юрьев, решив подождать — было около шести, и Штальберг, конечно, мог еще приехать,— прошел направо, в ту часть большого, устланного пестрыми восточными коврами холла, где в углу, в тесноте, за низкими модернизированными столиками пили чай, стояли, вежливо толкаясь, дымили египетскими папиросами, обменивались французскими фразами и недавно пущенными в ход остротами обычные посетители и посетительницы этого своеобразного места.

И в углу, где пили чай, и кругом шло всегдашнее оживление. С тех пор, как «Астория», большая, роскошная, недавно отстроенная гостиница была реквизирована и объявлена военной, в ее холле, салонах, ресторане, во всех ее шести этажах с утра до поздней ночи шла приподнятая, полувоенная, полукосмополитическая жизнь особого, несколько странного пошиба.

Гостиница была военной, и, само собой, в толпе, наполнявшей ее огромное здание, преобладали русские и союзные офицеры, военные чиновники, врачи, жены этих военных — вообще люди, так или иначе связанные с войной, приехавшие с фронта или отправляющиеся туда. Однако совсем не это обилие френчей защитного цвета, погон, шпор, разных значков, не разговоры о войне, упоминания участков фронта и воинских частей, слы-

шавшиеся кругом, придавали холлу, салонам, всем шести этажам «Астории» особое, только ей присущее своеобразие.

И на Невском, и в театрах, и в ресторанах теперь, на третьем году войны, было полно русских и союзных офицеров, сестер милосердия, военных чиновников, офицерских жен. В помещении другой, не меньше, чем «Астория», военной гостиницы в здании Армии и Флота была та же военная толпа, мелькало столько же френчей и погон — но картина выглядела совсем иначе. Самый воздух там был другой.

И в здании Армии и Флота, и на Невском, и в театрах — встречались *разные* офицеры, *разные* сестры, *разные* союзники. Но всех штабных героев, щеголяющих золотым оружием, всех чиновников интендантства с бумажниками, набитыми несчитанными пятисотрублевками, всех подкрашенных, томных, строящих глазки купчихам румынских лейтенантов, всех шансонетных певиц, надевших косынку, всех девок, выдающих себя за жен прапорщиков и ротмистров, и всех жен ротмистров и прапорщиков, похожих на девок,— словно по какому-то естественному подбору привлекала «Астория». Конечно, не из одних этих людей была составлена шумная, блестящая, повсюду снующая толпа, редеющая и утихающая только к ночи,— но они в ней преобладали, окрашивали ее собой, своими взглядами, манерами, говором — всем своим особым оперением, как всегда, более ярким у хищников. Прогретый калориферами воздух «Астории» пахнул как-то томительно. Это была тонкая смесь, где было всего понемногу: Н. Герлен, и дух контрразведок, и египетский табак, и кровь...

Разумеется, особенность этого воздуха заметна была только постороннему человеку. Но «habitués»[1], вроде Штальберга, Юрьева, вроде всех тех, кто в углу холла, в тесноте, пил за низкими модернизированными столиками чай, болтал, острил или устраивал свои дела,— находили, что все кругом пахнет, выглядит,

[1] «завсегдатаи» *(фр.)*.

устроено именно так, как должно пахнуть, выглядеть и быть устроено в приятном и модном месте, где собираются изящные и благовоспитанные люди.

Раскланиваясь со знакомыми (почти все здесь были ему знакомы), где целуя ручку, где небрежно помахивая — как поживаешь, mon sher[1], извиняясь перед кем-то, что давно не бывал, кого-то приглашая на среду завтракать, Юрьев прошел в читальню, где было меньше народу, велел принести себе нарзану и развернул «Фигаро». Он не успел дочитать какой-то скучный пассаж о войне (теперь даже в прелестных, не похожих на наши, французских газетах писали почти исключительно об этой всем надоевшей войне), как Штальберг, розовый с холода и улыбающийся, тронул его за плечо.

XIV

Кофе, вскипев, хлынул в стеклянный купол машинки. Штальберг потушил ее и взглянул на Юрьева.

— Видишь ли...— протянул он нерешительно, точно сомневаясь, стоит ли договаривать.

У Альбера, куда они зашли, было, как всегда вечером, пустовато. Ни нарумяненная немолодая дама, похожая на актрису, обедавшая через несколько столиков, ни бледнолицая барышня за стойкой, увлеченная «Ключами счастья», ни лакеи, от нечего делать поправляющие пустые приборы и то подающие, то уменьшающие электричества в разных концах зала, не мешали им спокойно разговаривать. Но теперь, к концу обеда, разговаривать, в сущности, было не о чем. Штальберг разочаровал Юрьева. Проницательность его, оказывалось, шла не так уж далеко — не дальше уже не новых советов не пропускать пресловутого «дна». Штальберг тоже находил многозначительными вчерашние слова князя и считал, что между ними и подслушанным разговором, пожалуй, есть связь —

[1] мой дорогой *(фр.)*.

но где, какая — от полуторачасового сидения с ним Юрьеву не стало ясней. Чтобы скрасить неважный обед и настроение, ставшее кислым, Юрьев к кофе заказал коньяку — но и коньяк (крепкий и тоже неважный) что-то не подымал настроения.

— Видишь ли,— помолчав, повторил Штальберг,— предположим на минутку, что мы не друзья, не товарищи по училищу, не люди одного круга. Мы только что встретились и не связаны между собой ничем, кроме одной вещи. А вещь эта такая. У тебя есть, скажем, права — ну, на клад, на наследство, а у меня план или завещание, словом, нечто, без чего этот клад или наследство нельзя получить. Каждый знает о каждом, что один без другого ничего не добьется, каждый владеет половинкой целого. Спрашивается — как разумней всего нам обоим поступить?

— Сложить обе половинки. Но к чему ты это ведешь?

— Постой. Сложить половинки? Отлично. А еще что?

— И вырыть клад.

— А тебе не приходит в голову, что вместо того, чтобы рыть вдвоем и делиться, умней мне зарезать тебя, взять твой план и вырыть клад одному?

— Налей мне кофе, философ, прежде чем меня резать.

— С удовольствием. И еще минутку терпения. Ответь мне, ты знаешь, что такое сентиментальность?

Юрьев пожал плечами.

— Знаешь? Тогда определи точно.

— Ты серьезно? Какой вздор... Ну, немки сентиментальны... Любовь к животным... Карамзин: «о щастливые, щастливые швейцары...» Кто же этого не знает?

— Хорошо. А я, по-твоему, сентиментален?

Юрьев усмехнулся.

— Не думаю. Хотя ты и из немцев, но над мотыльком вряд ли всплакнешь.

— Ошибаешься, дорогой, всплакну.— Штальберг поднял руку.— И еще как всплакну... не хуже Карамзина. Не хуже любого холодного, бессердечного, никого не любящего и при этом обязательно, как

правило, сентиментального человека. Всплакну над мотыльком и зарежу... хотя бы тебя.

— Чтобы отнять клад?

— Чтобы отнять этот галстук, если он мне понадобится.

— Мило! — усмехнулся Юрьев.— Буду теперь тебя остерегаться, ты так хвалил мою новую шубу. Что же, однако, спросим счет?

— Нет, зарезать — никогда,— проговорил 〈Штальберг〉[1] задумчиво.— Зарезать? Значит, своими руками — вот этими? — Он взглянул на свои худые, красивые руки.— Значит, кровь, хрипенье, искаженное лицо, труп, мерзость. Нет. Зарезать бы я никого не мог. Но сидеть с тобой вот так, болтать, вспоминать экзамены, подливать тебе вина (он подлил себе и Юрьеву коньяку и залпом выпил свой) — и знать, что, когда ты уйдешь, на улице тебя убьют и принесут мне твой галстук — это другое дело... Ты бы уходил, а я слушал твои шаги по лестнице и думал — что вот еще не поздно, еще я могу тебя остановить, вернуть... И плакал бы, поверь мне, не хуже Карамзина.

— Но не остановил бы?

— Как же — а галстук?

— Приятно слышать. Хорошо, что галстуки мои тебе не нужны, а большего у меня нет — так что я пока в безопасности.

Штальберг постучал папиросой о крышку портсигара, поднял на Юрьева светлые, холодные глаза и с расстановкой сказал:

— Ты не в безопасности.

XV

Марья Львовна Палицына кончала обедать, когда ее позвали к телефону. Звонил Вельский. И хотя в том, что он звонил, не было ничего неожиданного, снимая трубку и слыша немного измененный в телефон от-

[1] В тексте Г. Иванова — «он».

рывистый голос, она и сегодня, как всегда, почувствовала знакомый толчок где-то в груди над сердцем, который чувствовала, встречая князя, говоря с ним по телефону или надрывая большой серый конверт с гербом, надписанный его острым, неразборчивым почерком.

Это ощущение сохранилось от тех, уже далеких, времен, когда началось их знакомство. Равнодушная к людям и уверенная в себе — в своем уме, житейском опыте, уменьи держаться как надо с любым человеком, Марья Львовна, при первых встречах с князем, сама удивляясь этому, почувствовала легкое, несвойственное ей волнение, распространявшееся одинаково и на то, как она ответила Вельскому на его замечание о Шекспире, и на то, хорошо ли поджарены любимые князем к чаю toast'ы. Теперь князь давно был ее самым близким и дорогим другом, и она знала, что и он, не меньше ее, дорожит отношениями, сложившимися за несколько лет их знакомства. Она знала, как высоко ставит Вельский ее ум, независимость мнений, характер, знала, что она единственный в мире человек, с которым Вельский во всем и до конца откровенен. Больше того — с годами Марья Львовна понемногу пришла к убеждению, что в их «умственном союзе», как любил называть их отношения князь, превосходство принадлежит ей. И все-таки и теперь она в обществе князя по-прежнему слегка терялась, по-прежнему испытывала тот самый толчок в грудь, который испытала впервые, когда в чьей-то гостиной ей представили: «Ипполит Степанович Вельский», и гладкий, слегка розовеющий пробор мелькнул над ее рукой.

Князь говорил, что Фрей, по его мнению, вполне приличен и что, пока не приедет наш друг (на слове «друг» князь сделал ударение, и Марья Львовна кивнула понимающе в трубку), пусть Фрей сидит с остальными гостями. «Потом вы устроите так, чтобы нам троим было удобно — кто же устроит лучше вас. Ну, целую ручки, дорогая, — идите кушать, простите, что задержал. Да, кстати, я привезу сегодня того молодого человека... вы ничего не имеете против?»

Марья Львовна вдруг почувствовала новый тупой и сладкий толчок в грудь. (Ей показалось, что это от усталости.)

— Вы ничего не имеете против? — повторил князь, не получая ответа.

— Непременно привезите,— торопливо ответила Марья Львовна,— непременно — я буду ждать. Как его зовут? — переспросила она и, отогнув висячий блокнот, записала: «Борис Николаевич Юрьев».

Теперь, когда Марье Львовне Палицыной было уже близко к пятидесяти, она почти с полным равнодушием думала о своей наружности. Но как плакала она когда-то по ночам, как кусала подушку! То, что она родилась наследницей всех палицынских богатств и старого, знатного имени, казалось ей тогда только лишней обидой, лишней насмешкой судьбы. «К чему, к чему мне это, лучше бы я прачкой была»,— всхлипывала и сморкалась она в одиночестве пышной спальни, и обшитый валансьенами платочек вздрагивал, как пойманная бабочка, в ее красном, большом кулаке.

Но это было давно. В неуклюжем теле текла здоровая двадцатилетняя женская кровь, вальсы и полонезы сладко кружили бедную голову с модной прической, похожей на гофрированный конский хвост, и гладкие французские стихи вкрадчиво твердили о любви. Теперь Марья Львовна не плакала больше по ночам. Она читала Бергсона или Розанова или какую-нибудь политическую брошюру, потом тушила свет и тотчас же крепко засыпала. Иногда ей снилось, что произошла революция (о революции, как о чем-то неизбежном, часто говорилось в ее доме), а она не успела перевести денег в Англию. Это был только сон — деньги, и очень большие, в Англии на всякий случай давно лежали, но сон неприятный, вгонявший в сердцебиение и страх. Времена, когда Марья Львовна считала насмешкой судьбы доставшиеся ей миллионы, тоже давно прошли. Она давно по достоинству оценила все преимущества того, что она, Палицына, очень богата, пользуется железным (тоже наследствен-

ным) здоровьем и что при всем этом Бог (в Бога, впрочем, она не верила) не дал ей сделать самой непоправимой глупости, которую она могла бы сделать,— выйти замуж.

К пятидесяти годам ничто в Марье Львовне не напоминало той, двадцатилетней, «рыхлой дуры», как она сама о себе говорила. Та вздыхала над Альфредом де Виньи, эта интересовалась Эрфуртской программой. Та не находила себе места в мире от тоски и возвышенных чувств — эта свое место нашла и считала, что в сравнении с другими человеческими местами оно не так уж дурно. Та, не задумываясь, дала бы сто тысяч, если бы кто-нибудь, особенно какой-нибудь униженный и оскорбленный, догадался их у нее попросить,— эта, как все пожилые богатые люди, была искренно убеждена, что подать нищему рубль безнравственно, раз его можно пожертвовать на больницу, в которой этот нищий, может быть, когда-нибудь умрет. Кое-что от той Палицыной в этой все же осталось. Князю Вельскому, например, она не отказала бы и в миллионе. Впрочем, когда порой Марья Львовна размышляла о таких вещах, к приятному сознанию готовности принести какую угодно жертву для своего самого близкого, самого дорогого друга незаметно примешивалось другое, такое же приятное — что князь сам богат и денег у нее не попросит.

Марья Львовна кончила обедать. Допив кофе и закурив папиросу, она подошла к окну и открыла одну из пестро застекленных створок. Створка эта никогда не заделывалась на зиму, нарочно для того, чтобы можно было вот так подышать воздухом после обеда. Марья Львовна кушала плотно и тонко, приправляя еду острыми заграничными соусами, выпивая стакан, а то и два, густого бургундского вина и чашку очень крепкого кофе, и после всего этого любила постоять на холоде, чтоб от лица отлила кровь. Простуды она не боялась.

Окно выходило в сад. Свет из столовой упал на кусты, сугробы, черную пасть бронзового тритона,

широко раскрытую, словно глотающую холод и снег. Одно из чугунных садовых кресел со вчерашнего дня лежало перевернутым в снегу. «Ничего не смотрит Андрей — упало. так и валяется, лень ему поднять,— с неудовольствием подумала Марья Львовна.— Надо будет ему сказать...»

Что надо будет сказать садовнику, она не успела подумать. Из окна вдруг повеяло на нее чем-то таким свежим, грустным и сладким, что дыханье замерло, и кресло, Андрей, выговор, который ему придется сделать, сразу пропали, точно их и не было никогда. Легкий гул, вроде гула телефонной проволоки, летел по ее телу, крови, коже, и, с замершим дыханьем, она слушала этот гул. Он был одновременно и блаженством и безнадежностью, он заполнял все. Потом в глазах потемнело, стало совсем душно. Князь Вельский в придворном мундире — такой, как всего раз или два в жизни она его видела,— холодно улыбаясь, промелькнул сквозь это. Две звезды на его груди, ярко блеснув, исчезли. «Так умирают от удара... так умер отец, так умру я»,— вспомнила Марья Львовна совсем без страха.

— Да, зажигай,— слабым голосом ответила она, открывая глаза и не сразу поняв, о чем говорит ей дворецкий. Тот спрашивал, не пора ли освещать парадные комнаты к приему гостей.— Зажигай...— повторила Марья Львовна более уверенно.— Вот, полюбуйся, со вчерашнего дня как упало, так и лежит. Пришли ко мне завтра Андрея,— прибавила она уже своим обыкновенным, строгим голосом и пошла переодеваться.

XVI

Юрьев вошел в широкий мрачный подъезд палицынского дома с тем чувством, с которым в детстве входил в развалины или спускался в подвал: смесь страха и любопытства — дом этот внушал ему робость.

Он знал, что Палицына принадлежит к тому узкому слою высшей петербургской знати, к которому у Ванечки Савельева многие искренне причисляли его самого, но о котором на самом деле он ничего не знал, кроме двух-трех шапочных знакомств и доходивших через пятые руки перевранных сплетен.

В гостиных Ванечки Савельева Юрьев и сам себя чувствовал тем, чем его считали окружавшие, и не только от сознания превосходства своих манер, уменья носить костюм. На воображаемой карте петербургского общества, где все линии перекрещиваются, он, конечно, стоял ближе к Палицыной, ее отцу, знаменитому царедворцу, ее брату, другу покойного государя, чем хотя бы к мучным лабазам Ванечки. Юрьев не был кавалергардом, было очень мало шансов, что женится на фрейлине и богачке, но сложись обстоятельства иначе — это могло бы и быть. Мысль же о том, что он, его отец или родственник мог торговать крупчаткой и получать от губернатора к празднику, как швейцар, медали, была так же странна, неестественна, невозможна, как мысль, что он мог быть негром. Большинство же людей, среди которых он вращался, были в положении как раз обратном. Для изящного эстета Ванечки слова «генерал» или «князь» были полны первоначального, девственного блеска. При всем своем парижском воспитании, о том, что есть разные генералы и разные князья, он еще не догадывался.

Если бы понятия Юрьева на этот счет были так же несложны, он бы, вероятно, отправляясь к Палицыной, не чувствовал никакой робости. В самом деле — он сам был сыном «штатского генерала» (как выражались у Ванечки), учился в Правоведении, был вот-вот представлен к камер-юнкеру — чего же еще? Но, к своему неудобству, Юрьев знал не только, что генералы и князья бывают разные, он знал, что среди людей, казалось бы, вполне равных по имени, влиянию, близости ко двору, существуют оттенки и полутона, почти неуловимые и как раз определяющие удельный вес каждого. Он знал, что чем выше подыматься по той

общественной лестнице, у самого низа которой он стоял,— тем неуловимей эти оттенки, тем трудней они поддаются объяснению и тем большее значение имеют. Разница между ним и Вельским была проста, общепонятна, очевидна. Но почему тот же Вельский, при всей своей «несомненности», был все-таки «не то», «ниже сортом», чем старуха Палицына, почему знакомство с ней было большой честью — объяснить Юрьев бы затруднился, хотя знал, что не ошибается.

Тут же обнаруживалась неопределенность, условность понятий о так называемом хорошем воспитании. Если бы он был одного круга с Палицыной и равными ей людьми, ему ничего не пришлось бы менять в своих манерах, уменьи пить чай, целовать руку или поддерживать разговор — он это знал. Но оттого, что он был неизмеримо ниже этих людей — все его уменье рядом с ними пропадало, теряло цену, и любой из них, беря пальцами сахар или катая за столом хлебные шарики, был и оставался изящней, безукоризненней, благовоспитанней его, Юрьева. Это тоже нельзя было объяснить, и тоже это было так.

Поправляясь перед огромным, мрачным трюмо, пока лакей ходил докладывать Вельскому о его приезде (так они позавчера условились), Юрьев думал, что вычурные бра по бокам зеркала, вероятно, мельцеровские (нравилось же когда-то такое безобразие — все хвостики, амурчики!), и свечи в них потому так желты и мутны, что, должно быть, лет десять не менялись. Разглядывая бра и усмехаясь мельцеровскому рококо, он в то же время беспокойно соображал, как поступить, если швейцар ошибся и князя еще нет? Идти и представляться самому было, разумеется, невозможно, уезжать и возвращаться — тоже выходило глупо.

Однако лакей, появившись из-за красных драпировок (от желтого блеска старых лампочек лицо лакея было похоже на лицо покойника, да и все кругом выглядело как-то мертво), доложил, что «их светлость изволят ждать наверху», и Юрьев, последний раз проведя по волосам ладонью, стал с неожиданно забившимся сердцем подниматься по широкой лестнице,

повторяя про себя, как следует поклониться Палицыной и что ей сказать.

Теперь со времени его приезда прошло уже около часу, и Юрьев, предоставленный самому себе, с усмешкой думал о своем недавнем волнении и с недоумением — о том, как непохоже то, что он видит, на то, что он себе представлял.

В доме Марьи Львовны в разные дни можно было встретить самых разных людей. За чайным столом, где вчера откровенничал, щурился и, произнося имя «Никки», скорбно пожимал плечами либеральный великий князь, завтра сидел господин в очках, цитирующий Маркса или Плеханова и иногда, позабыв, где он, обращавшийся к собеседнице «товарищ», а послезавтра, там же, лепетала по-английски птица в скромном парижском тайере, залетевшая из того мира, которым Марья Львовна откровенно пренебрегала и звала камарильей, но с которым у нее оставались очень прочные, в любую минуту могущие быть приведенными в действие связи, и, слушая птичью болтовню, Марья Львовна думала, что гостью пора как-нибудь вежливо выпроводить: сейчас должен был явиться один «мистический анархист» — человек очень умный, но производивший непрерывно сухой стук — он носил целлулоидовые манжеты.

Все эти разные люди каждый по-разному были приятны Марье Львовне: все они были ей одинаково безразличны. Как всякий деятельный по природе человек, осужденный на праздность, она «убивала время» способом наиболее верным в ее положении: читала разные книги и встречалась с разными людьми. Кроме убивания времени, в последнем она находила еще одно развлечение — старое как мир и безошибочное — отыскивать в других собственные слабости и (в зависимости от склада ума) посмеиваться над ними или осуждать их. В характере Марьи Львовны было мало желчи — она больше посмеивалась.

Общество, собиравшееся в палицынском особняке по пятницам, отчасти было синтезом этого пестрого

и обширного знакомства. Но только отчасти. По пятницам гости приглашались по особому подбору. Подбор этот делал князь Вельский.

О пятницах этих не бывавшие на них говорили разное. Одни толковали об афинских ночах, другие о хлыстовских бдениях, третьи намекали, что есть вещи, за которые во время войны следует вешать, и что вещи эти не чужды иных великосветских гостиных. Как это часто бывает, самыми неопределенными сведениями о сути дела располагали как раз люди, стоящие к нему ближе других, т. е. сами участники пятниц. Если у князя Вельского и была система, по которой он подбирал приглашенных, если в этом подборе и была какая-нибудь особая цель — о ней можно было лишь строить неопределенные догадки. Ничего особенного на пятницах не происходило. Собирались разные люди, разговаривали и пили чай. Несколько странным могло показаться, что люди эти были как будто чересчур уж разные, да еще в их разговорах сквозило иногда не совсем обычное в стране, ведущей войну, отношение к этой войне как к злому, глупому и неправому делу.

Юрьеву было скучно. Он прохаживался по комнатам, рассматривал гостей, прислушивался к разговорам, и все одинаково ему не нравилось.

Старомодные люстры сотнями желтых свечей освещали штофные стены и китайские вазы по углам, может быть, и очень редкие, но на вид совершенно такие же, как в чайных магазинах. От этой вылинявшей роскоши веяло унынием и холодом (холодно было и в прямом смысле — особенно от окон заметно дуло). Гости были скучные, и все они выглядели так же уныло и холодно, как комнаты, в которых они прогуливались и сидели. Некоторых Юрьев знал в лицо — это были люди с именем, связями и деньгами,— но наметанным глазом он отлично видел, что все они из той породы, к которой не стоит и прислушиваться — все равно не попользуешься ничем. По его определению, все это были «крючки» или «масоны», что в пере-

воде на обыкновенный язык обозначало людей черствых, уравновешенных, расчетливых, склонных к высоким материям и неизменно отказывающих, когда у них (как бы грациозно это ни делалось) просят в долг двадцать пять рублей. Вели они себя соответственно. В одной из унылых гостиных человек пятнадцать, собравшись кружком около какого-то хама в поддевке и высоких сапогах, внимательно слушали его болтовню о Книге Голубиной, Новом Иерусалиме и еще черт знает о чем. То, что люди с деньгами и именем не только не сторонились этого юродивого (и как он попал сюда — вот тебе и великосветский дом), но, напротив, глядя ему в рот, его слушают,— подтверждало полностью мнение Юрьева, что все это скряги и крючки. В другой комнате сама Палицына вела общий разговор — это тоже был разговорчик! Когда Юрьева ей представили, она усадила его по соседству с собой, и, пока не вышел счастливый случай уступить место какой-то даме, он чувствовал себя точно на уроке китайской грамоты. Хозяйка сыпала: «ревизионизм», «эмпириокритицизм», «эксплоатация»,— гости приятно поддакивали: «прибавочная стоимость».

И повсюду было приблизительно то же. Где кружком рассуждали о разных баобабах, где по двое, по трое шептались, должно быть, о том же, попивая чай, который на серебряных безобразных подносах разносили лакеи (лакеев было действительно много, точно на приеме в посольстве) вместе с пастилой, орехами, булочками, вообще разной дрянью. В довершение всего этого буфетчик в столовой так прямо и спрашивал — «какого изволите?» и, смотря по вкусу, разливал по желтым с гербами бокалам сухарный или клюквенный квас.

Юрьеву становилось все скучней. Он начинал злиться. Даже князь куда-то исчез. Юрьев рассчитывал уехать вместе с князем — это означало (он уже привык к этому) ужин у Донона, шампанское, сигары, сторублевку, а то и две, сунутые в жилетный карман с милой дружественностью дядюшки, балующего племянника, и теперь еще — возможность разговора, который все

объяснит. Но князь исчез, от окон дуло, скука была адская, буфетчик спрашивал «какого изволите?» и от себя рекомендовал сухарный. «И зачем князю понадобилось тащить меня сюда?» — с возрастающим раздражением думал Юрьев, беря от нечего делать с подноса тянучку.

Мысль, что князю это все-таки зачем-то понадобилось, ничего не объясняя, только усиливала нудность других таких же, на все лады уже передуманных мыслей, и Юрьев от нее отмахнулся. «Но все-таки как глупо, что князь исчез. Впрочем, черт с ним — не сегодня, так завтра. Что же, удирать по-английски, что ли? Подожду еще полчаса — и марш,— решил он, заглядывая в длинную, плоскую, похожую на гроб витрину.— Неужели все настоящее? — Со вспыхнувшей вдруг жадностью наклонился он ниже к стеклу, за которым на бархате лежали камни, табакерки, миниатюры, неоправленные драгоценные камни.— Неужели все?.. Тысяч на пятьдесят, если не больше. Надавить стекло и...» — мелькнуло в голове тревожно и отчетливо, вместе с таким же тревожным и отчетливым сознанием, что сделать это немыслимо.

— Любуешься? — услышал Юрьев знакомый, сюсюкающий, протяжный голос и быстро обернулся, покраснев, точно пойманный на чем-то.— Прелестные вещи, первоклассные... вот этот рубин принадлежал... а это...— подавая мягкую, точно без костей руку, шепелявил Снетков.— Какая встреча — в политическом салоне! — улыбнулся он, внимательно оглядывая жакет Юрьева и переводя взгляд на его туфли.

XVII

Юрьев ошибался, думая, что Вельский уехал. Подведя Юрьева к Палицыной и представив ей «своего молодого друга» (при этих словах Палицына быстро подняла глаза на князя и какой-то свет промелькнул и погас в них), Вельский вспомнил, что надо позвонить по

телефону, и вышел на лестницу. Сделав несколько шагов, он остановился, держась за перила: тоскливое, скользкое чувство пустоты вдруг его охватило. Он не раз испытывал это чувство в важные минуты жизни, но все-таки сила и неожиданность его поразила Вельского. «Надо взять себя в руки — так нельзя»,— думал он, выливая на платок одеколон из карманного флакончика и медленно, с наслаждением проводя по лбу душистым, влажным батистом. «Так нельзя»,— внушал он себе, говоря по телефону со Штейером (ничего нового не было, все было в порядке) и потом ложась отдохнуть в рабочем кабинете Марьи Львовны и закрывая глаза.

Вельский лежал в неярко освещенной комнате с закрытыми глазами. Коньяк с лимоном и льдом, который ему принесли, приятным, ласковым теплом расплывался по крови. Лежать на мягком, широком кресле было очень удобно. Тоскливое чувство пустоты ослабело, отступило, совсем исчезло. Собрав всю свою волю, Вельский старался не думать, и это ему удавалось. Из памяти постепенно пропадали вещи и люди, заботы и тайные мысли, то, что было десять лет назад, и то, что должно было произойти сегодня. Словно кто-то проводил по памяти, как губкой по грифельной доске, чем-то успокоительным и мягким — и все стиралось одно за другим. Губка медленно двигалась взад и вперед, черная зеркальная поверхность становилась все шире и чище... Потом из темноты проступило бледное, желанное лицо с серыми, немного наглыми глазами... Вельский слабо вздохнул во сне.

— Дорогой друг, мне так жалко вас будить,— сказала Палицына,— но уже одиннадцать — он должен сейчас приехать.

Юрьев не любил Снеткова, но, встретив его у Палицыной, очень обрадовался ему. Снетков, хотя и был глуп, скуп, душился, как швейка, и в своих высоких воротничках выглядел настоящей устрицей,— все-таки был своим человеком, с ним можно было поболтать на

привычные темы, похвастаться перед ним запонками или портсигаром. В здешней унылой обстановке встреча со Снетковым была прямо находкой.

Сейчас же выяснилось, что Снетков бывает на пятницах давно и ему известны маленькие домашние секреты. Кроме кваса и пастилы, оказывается, здесь в задних комнатах давали портвейн и даже коньяк. «Для избранных»,— пояснил в нос Снетков, сделав важную, глупую мину, и, действительно, через какие-то салоны и кабинетики привел Юрьева в просторную библиотеку, устланную коврами и уставленную мягкой «клубной» мебелью. «Monsieur désire?» [1] — балаганя под метр д'отеля, расшаркался он у столика с рюмками, бутылками и блюдом поджаренных фисташек.

Еще по дороге в библиотеку Юрьеву пришла в голову понравившаяся ему мысль: Снетков был глуп, болтлив, любил поважничать. И он часто бывает у Палицыной, с Вельским тоже давно знаком... Юрьев нарочно старался не думать о Вельском, обо всей путанице, которая его окружала,— чувствуя себя, как перед отвесной стеной, на которую все равно не влезть. Но с помощью Снеткова на отвесной стене — как знать — могли отыскаться и ступеньки. Первая из них, пожалуй, была под ногами: политический салон,— сказал Снетков. Так это в политический салон ввел его зачем-то князь!..

Юрьев отпил липкого, жгучего шартрезу. Снетков рассказал, брызгая слюной, очередную придворную сплетню — ...et puis la colonelle pique une crise de nerfs... [2] (звать государыню «полковницей» только что вошло в моду — в шике блеснуть новинкой и заключалась суть дурацкого, неправдоподобного рассказа). Потом поболтали «о своем, о женском», как, хихикая, называл Снетков толки о картах и портных. Юрьев ждал, чтобы Снетков сам как-нибудь свернул на ин-

[1] «Что господин желает?» *(фр.)*.
[2] ...тут полковница впадает в истерику... *(фр.)*.

тересную ему тему, но тот все не сворачивал. Тогда, зевнув, Юрьев будто невзначай спросил: «А ты тоже интересуешься политикой?» Снетков удивленно прищурился: «Тоже?»

— Ну да — ведь мы в политическом салоне?

— А, вот ты о чем,— засмеялся Снетков.— В той же степени, что и ты,— прибавил он двусмысленным тоном.

— В той же степени, что я?..

— Я хотел сказать, в той же области,— поправился Снетков и захохотал, точно сказав что-то крайне остроумное.

— Чему ты смеешься? — пожал плечами Юрьев.

— Дорогой,— возразил Снетков, хитро и сладко на него глядя.— Дорогой, нехорошо скрытничать с друзьями. Ты думаешь, я не слышал...— Он сделал паузу.— Думаешь, я не знаю, кто будет камер-юнкером в январе? — как-то выпалил он.

— Что ты мелешь, устрица,— рассердился Юрьев.— При чем тут мое камер-юнкерство? Что за чушь ты несешь!..

В хитрых глазах Снеткова мелькнуло странное выражение:

— Не сердись,— вдруг быстро зашепелявил он, точно испугавшись чего-то.— Я пошутил, не сердись... Что ты... камер-юнкером... так я читал списки. Вольф тоже представлен — удивительная пролаза этот Вольф. Кстати, ты будешь поражен: его сестра...

«Он ничего не знает... какая была бы гаффа — князь бы мне не простил»,— прочел бы Юрьев, если бы он умел читать мысли, то, что беспокойно проносилось в голове Снеткова, пока он, меняя разговор, болтал что-то наспех сочиненное о сестре Вольфа. Но мыслей Юрьев читать не умел. Он только почувствовал разочарование: глупая устрица оказалась еще глупее, чем он предполагал. Ничего она не знала, ничего рассказать не могла...

Разочарование ждало Юрьева и в парадных комнатах, когда он туда вернулся: Вельского по-прежнему нигде не было.

XVIII

Присутствие на вечере какого-то Фрея, голландского подданного, никого из посетителей пятниц не могло удивить. Иностранцы (разные мистики, пацифисты, проповедники слияния церквей и т. п.) бывали здесь часто. Фрея же вообще мало кто заметил. Приехал он поздно, когда собралось уже много народу, скромно посидел около хозяйки, скромно выпил чаю, скромно побродил по комнатам. Даже вынув сигару, он повертел ее в пальцах и, спрятав, закурил папиросу: сигар кругом никто не курил, сигара все-таки привлекала к себе внимание...

Вельский предупредил Фрея, что придется подождать, и Фрей ждал. С тех пор, как он сделался Фреем и голландским подданным, ожиданье стало для него чем-то вроде профессии. Ждать приходилось повсюду: в Стокгольме, на границе, в номере Северной гостиницы, здесь у Палицыной. Здесь ждать было даже не особенно скучно.

Побродив по комнатам, выпив чаю, выкурив папиросу, он так же скромно, не привлекая к себе ничьего внимания, сидел теперь в стороне, со спокойным любопытством заезжего туриста наблюдая за кружком, от которого недавно со скукой и недоумением отошел Юрьев. Несколько дам и пожилых господ сановного вида слушали немолодого коренастого человека, который что-то им говорил, подпевая и временами даже приплясывая. То, что он говорил, очевидно, очень нравилось окружающим, судя по их внимательному виду, одобрительным кивкам и словам «charmant»[1] и «délicieux»[2], которые слышались, когда он на время читать и приплясывать переставал. Судя по внешности, человек, которого так внимательно слушали эти важные дамы и господа, был простым русским мужиком.

И поддевка, и косоворотка, и гребешок у пояса — все это было хорошо, еще с детства знакомо Фрею по

[1] «мило» *(фр.)*.
[2] «очаровательно» *(фр.)*.

таблицам в этнографических атласах, изображавшим «великоросса». Сходство с картинкой из атласа усиливалось тем, что мужик этот — Фрей ясно видел — был подрумянен и напудрен, глаза его были подведены, волосы напомажены. «Значит, есть такие именно мужики, как в атласах,— думал Фрей с некоторым удивлением: другие русские мужики, которых ему приходилось встречать, выглядели совсем иначе.— Или это артист, оттого он и нарумянен?..»

— ...Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится,— читал нараспев мужик или артист, и Фрей, вслушиваясь в непонятную варварскую музыку витиеватой скороговорки, думал о том, какие странные глаза у чтеца. Они были маленькие, серые, почти бесцветные — выражение их было одновременно хитрое, и наивное, и равнодушное. Человек с такими глазами, конечно, мог быть негодяем, но мог быть и подвижником, святым. Кто он на самом деле, нельзя было догадаться, и впечатление было такое (это и было удивительно), что и сам он об этом не догадывался.

«...Русское, лживое, иррациональное...» — вдруг вспомнился Фрею предостерегающий, тоскливый шепот Адама Адамовича, и ему почудилось, что не у одного нарумяненного мужика такой взгляд. Вот седоватый господин вынул портсигар и закурил. Вот немолодая, еще красивая дама в черном платье и жемчугах подняла лорнетку. Кто-то кашлянул; кто-то, наклонившись к соседу, что-то шепнул, и сосед в ответ улыбнулся. Все в этих людях было совершенно таким, как бывает всюду: в Берлине, в Лондоне, где угодно. Все в них, в их платье, манерах, улыбках, выраженьи лиц было изящно-обыкновенно, европейски-нейтрально. И в тô же время... Из-под седоватых бровей сановника, из-за стекол лорнета, который грациозно подняла дама, плыло (Фрею вдруг это почудилось) то же самое, томительное, беспокойно-равнодушное, наивно-хитрое, русское, то самое, что

светилось в глазах паясничающего, нарумяненного мужика, то самое, о чем со злобою и отвращением говорил Штейер...

Фрей вздрогнул.

— Слушаете?—улыбаясь, спрашивал Вельский, наклоняясь над ним.—Это наш известный поэт, большой талант, притом, как видите, самородок—un vrai paysan[1]. А я пришел показать вам здешние медали, ведь вы нумизмат?

В рабочем кабинете Марьи Львовны, где полчаса назад Вельский спал, было уже все готово. Горел камин, удобные кресла были подвинуты к огню, столик с вином, фруктами и сластями (очень много сластей и вино, тоже все сладкое и крепкое: мадера, малага, крымский айданиль) был тут же под рукой. Под рукой была и развернутая карта Европы. Перед образом, в углу, ярко светилась малиновая «архиерейская» лампадка—ее только что нарочно зажгли.

Когда князь с Фреем вошли, Марья Львовна молча кивнула им, не отходя от окна. Вельский потушил верхний свет и, усадив Фрея, тихо и наставительно что-то ему говорил. Марья Львовна, стоя у окна, всматривалась в черную точку в конце мутно освещенной улицы. Улица была совсем пуста, черная точка медленно приближалась. Она была еще очень далеко—ни извозчика, ни седока еще нельзя было рассмотреть, но Марья Львовна уже наверное знала, что это *тот самый* извозчик, *тот самый* седок... Она всматривалась и ждала. Вот, наконец, в свете фонаря мелькнула лысая морда лошади, вот сани, миновав главный подъезд, завернули к садовой калитке. Марья Львовна смотрела, немного скосив глаза, как из саней, не торопясь, выходил человек в шубе и боярской шапке, как навстречу ему бежал поджидавший его лакей, как лакей поспешно открывал калитку и низко, несколько раз поклонился. Марья Львовна смотрела на лакея, на лошадь, на боярскую шапку приехавшего,

[1] настоящий крестьянин *(фр.)*.

с необыкновенной ясностью понимая, что все они значат. И как это раньше не пришло ей в голову, раз все было так необыкновенно, так потрясающе ясно!

И лакей, и шапка, и лысая морда лошади значили одно — гибель России. И она, Палицына, должна в этой гибели участвовать из слепой, огромной и вполне безнадежной любви к человеку, тихий и отрывистый голос которого слышится сейчас за спиной...

— Приехал,— почти крикнула Марья Львовна и торопливо вышла.

Вельский, замолчав, встал. Лицо его сделалось каким-то торжественным. Встал и Фрей. Дверь отворилась. Придерживая ее, Марья Львовна почтительно пропустила перед собой приехавшего.

Фрей глядел с удивлением. В комнату входил мужик из атласа, в поддевке и сапогах, совсем как тот, которого он только что слушал. Этот был выше ростом; рубашка на нем была ярко-голубая...

Мужик вошел не спеша. Не здороваясь, он долго, истово крестился на образ, потом, охнув, медленно, словно нехотя, обернулся. Медленно, словно нехотя, по бородатому лицу расплылась улыбочка — грешная и детская. И Фрей с отвращением и холодком в сердце опять подумал: Россия!

〈ОТРЫВКИ ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ РОМАНА〉

I

Вельский проснулся ровно в девять, как всегда. Как всегда, камердинер принес чай. Душистая вода так же дымилась в ванне, и на низком столике по-прежнему стояли розы. Вельский отдернул занавеску над ванной на уровне своей головы: за окном было обыкновенное небо, обыкновенная Фонтанка, обыкновенное петербургское утро. Но все это было только тенью. Тенью знакомых вещей, тенью когда-то сложившихся привычек, тенью прежней жизни. Просыпаясь, Вельский прежде всего вспомнил (равнодушно — за несколько недель он уже привык к этому), что все, или почти все, в его жизни — зачеркнуто, кончено и никогда не повторится.

От этого сознания все окружающее теперь казалось ему удивительным — удивительным именно в своей обыкновенности. Все было, как всегда. Лакей, услышав звонок, нес чай, и звонок звонил оттого, конечно, что пуговка, нажатая пальцем (тем же, что всегда, холеным, слегка подагрическим, с розоватым подпиленным ногтем, указательным пальцем правой руки светлейшего князя Ипполита Степановича Вельского),— кнопка эта что-то там замыкала, соединяла, и по проволоке бежала искра... Но все — и палец, и чай, и звонок, как во сне, были лишены реальной основы — звонок звонил, и лакей нес чай, но совершенно так же от прикосновения к звонку могла заиграть музыка, или произойти взрыв, или вместо осторожно ступающего, старого, глупого, преданного камердинера мог въехать в комнату паровоз или вбежать та самая черная гончая, которая, удрав с привязи, унесла со стола приготовленное к завтраку масло вместе с масленкой.

Это, то есть случай с маслом, было давно, очень давно — лет сорок тому назад, в Тверской губернии, летом.

В сущности, из всего окружающего это ощущение нереальности было достовернее всего — достовернее, во всяком случае, чем чай, палец или Фонтанка там, за

окном. В сущности, недостоверно было все и всегда. Только раньше он не понимал этого, а теперь, вот, понял. Вот и все. Да, так было всегда: и сорок лет назад, и день, и год. Стеклянная масленка блестела в траве, начисто вылизанная жадным собачьим языком, Фрей приехал из Германии, Распутина убили, светлейший князь Вельский, свесив кривоватые ноги, держал простыню и думал о том, что все недостоверно, даже эти ноги, его ноги, голые, покрытые жидкой шерстью и капельками душистой воды, и все это вместе взятое было только видимостью, чепухой, тонкой пленкой, сквозь которую все явственней с каждым днем просвечивала бездушная, холодная пустота.

Пустота эта была нестрашной — напротив, она, скорее, успокаивала. Сознание, что все неважно и все одинаково не имеет цены, смягчало остроту других мыслей, например, мысли о том, что Адам Адамович ушел из дому неизвестно зачем и куда, ушел и больше не возвращался.

То, что Адам Адамович исчез, было чрезвычайно странно, обстановка его ухода была еще странней. Из опроса слуг выяснилось, что он очень долго, должно быть, до утра, сидел наверху, в кабинете,— свет там все время горел. В камине осталась груда пепла — Адам Адамович жег какие-то бумаги. Какие, впрочем, Вельскому было совершенно ясно: тайник, где хранилось все, касающееся переговоров с Фреем, был пуст. Что же — сжечь было самое правильное, бумаги эти не годились больше ни на что, разве только чтобы послать светлейшего князя Вельского в крепость, попадись он в руки кому надо. Да, конечно, так и следовало — сжечь. Но как решился на это Адам Адамович сам, по собственной воле — было непостижимо. И почему решился?! Почему, уничтожив бумаги, он на другой день, с такой поспешностью, никого не предупредив, убежал из дому? Дворник из соседнего дома видел Адама Адамовича бежавшим в сторону Инженерного замка. Шапка у него была набоку, весь вид растерзанный и необыкновенный. Очень удивленный, он пошел узнать, что такое случилось в особняке

князя — налет? пожар? Но не было ни налета, ни пожара, все было спокойно, даже по телефону никто не звонил. И вышел Адам Адамович, должно быть, черным ходом — никто не видел, как он выходил.

Как всегда, Вельский, растираясь неторопливо мохнатой простыней, намыливая щеки или поливая голову золотистым, сильно пахнущим ромом лосьоном, обдумывал, взвешивал и припоминал разное, касающееся войны, политики, происшедших и происходящих в России событий: бунта или революции? (Вельский до сих пор затруднялся в выборе одного из этих определений. Переворот сделала Дума; во главе стояли цензовые либералы, профессора, общественные деятели, люди с крупными, известными даже в Европе именами; о революционной законности повторялось повсюду и на все лады — все это было так; с другой стороны, от всего вместе взятого неуловимо попахивало Пугачевым), но, думая о положении на фронте или с усмешкой перебирая в памяти странные и противоречащие одно другому распоряжения нового демократического министра, он делал это почти механически, скорее, следуя старой привычке обдумывать вот так, в одиночестве, со свежей головой, все, о чем не будет времени подумать в течение занятого дня,— чем потому, что война, Дума или революция действительно его интересовали. Да, на фронте положение было грозное. Да, скорее, все-таки бунт... И нам ли толковать о престиже в такой обстановке, с такими людьми!.. Все это, одно за другим, проносилось в голове князя Вельского, пока он расчесывал пробор или тщательно, как всегда, повязывал галстук,— и все это было одинаково неинтересно. Одинаково холодная пустота, одинаковая скучная недостоверность просачивалась и сквозь это.

Зато к этим утренним мыслям теперь начало примешиваться что-то новое, и на это новое окружающее безразличие и пустота не распространялись. Сегодня князь Вельский с особенной ясностью чувствовал присутствие этого нового «чего-то». Ощущение было по-прежнему безотчетным, по-прежнему нельзя было да-

же приблизительно сказать, в чем оно заключается, только одно было ясно — оно есть, оно существует, оно растет, и именно в нем, смутном, новом, никак не определимом, заключается самое важное в жизни, самая суть ее.

Самое важное в жизни, самая суть ее (сегодня он с особенной остротой чувствовал это), было где-то тут, совсем близко, рядом. Надо было сделать только одно последнее усилие, может быть, совсем легкое, пустяшное, чтобы поймать его. Оно было тут. Вельский закрыл глаза и чувствовал — как тепло или свет — его присутствие. Он ходил по комнатам, считая свои шаги, и ему казалось, что, досчитав до какого-то числа, он вдруг поймет все. Он всматривался в рисунок ковра, и где-то там, среди бесчисленных завитушек, ему мерещился сияющий волосок, тонкая шелковинка, запутанная в тысяче других, которая все объяснит, стоит только ее найти. И ночью ему снилось, что он смотрит на часы или открывает стол и вдруг сразу понимает все.

Это началось недавно — Вельский знал, когда это началось. Сельтерская вода неожиданно, с размаху, плеснула ему в лицо колючим холодком, и Вельский закрыл глаза от неожиданности и позора. Вода еще стекала по его лицу за рубашку и на костюм, пузырьки газа, покалывая кожу и чуть уловимо потрескивая, еще лопались на его лице и шее,— когда он снова открыл их. Все было по-прежнему. Красные кресла отдельного кабинета стояли на своих местах, люстра под потолком сияла, из-за стены слышалась все та же глухая развеселая музыка. И рука, плеснувшая ему в лицо водой, еще держала пустой, нестерпимо сияющий стакан. Стакан, кисть руки и рукав пиджака до локтя выделялись поразительно ясно — остальное было как в тумане. «Прощайте, князь»,— сказал из тумана голос Юрьева, обыкновенный, нисколько не взволнованный голос. «Прощайте!» — повторил за ним Вельский.

Да, «это» началось именно тогда. Было очень холодно, сани со свистом летели по пустым улицам, и Вельскому казалось, что это не мороз щиплет ему

лицо, а проклятые пузырьки сельтерской все еще лопаются и трещат. Он вынимал платок и вытирал старательно лоб, щеки, шею и за воротником. Сани мчались по льду через Неву — Вельский велел кучеру ехать, куда знает,— берега казались черными и высокими, небо было все в звездах. Куранты с крепости жалобно заиграли вслед — сани выехали на Каменноостровский. Вельский опять вытер лицо, но ничего стереть было нельзя... Сани летели уже через какой-то новый мост, совсем черный, в сугробах. «Вот тут, ваша светлость, как раз нашли Григория Ефимовича»,— сказал кучер и снял шапку.

. . . .

. . . .

Вечер был тихий и теплый, прохожих было немного. С первых же дней переворота центр Невского переместился. Чем ближе к Литейному, тем было оживленнее, уже у городской Думы толпа заметно редела, здесь же, на еще недавно людном перекрестке, было совсем пустынно.

«У Снеткова, должно быть, уже все в сборе — одиннадцатый час. Может быть, все-таки не ходить,— пронеслась (который раз за сегодняшний день) в голове Вельского все та же беспокойная мысль.— Может быть, все-таки?..» Он замедлил шаги и остановился в нерешительности у витрины издательства Главного штаба. Витрина была не освещена, только на край ее падал свет с улицы, и была видна выставленная там учебная картинка. «Топор большой, возимый»,— прочел Вельский подпись. «Топор малый, носимый.» Тут же были изображены и самые топоры: возимый везла лошадь с такими глазами, как у черкешенок на иллюстрациях к Лермонтову; носимый, как ему и полагалось, нес молодцеватый сапер.

«Возимый, носимый...— чепуха какая, канцелярщина,— подумал Вельский.— Может быть, все-таки не идти к Снеткову?.. То-пор»,— перечел он по складам, рассеянно-внимательно, как бы пробуя на вес каждую букву. Вдруг, на секунду, эти «т», «о», «п» и «р»,

предназначенные от века вызывать своим сочетанием привычное представление о топоре, точно переключившись куда-то, дрогнули каким-то подспудным, глухим и угрожающим смыслом. Справа налево из тех же букв неожиданно составилось «ропот», и Вельскому вдруг почудились фигуры каких-то бородатых людей, блеск железа и гул голосов. «Идут мужики и несут топоры...— вспомнил он.— Кто это там пророчествовал?— вот, сбывается...»

«Да, не ходить было бы благоразумнее... И чего я, в сущности, там не видел? Неудобно, Снетков ждет, да и развлечение все-таки. Посмотрим, так ли он действительно хорош — Снетков без ума, ну да ему одной формы достаточно. И в самом деле, какая удивительная форма — всякий в ней красив. Марья Львовна, и та была бы ничего.» Вельский улыбнулся, представив себе Палицыну в матросской куртке и бескозырке с ленточками.

Он свернул на площадь. Автомобиль с красным флажком, обогнав его, на сумасшедшем ходу промчался на Миллионную, хрипло протрубив какой-то метнувшейся в его огнях фигуре. Черная громада дворца, почти нигде не освещенная, казалась торжественней и выше, чем днем. «В пышности русского дворца есть что-то бутафорское,— вспомнил Вельский слова одного иностранца, знавшего толк и в пышности и в дворцах.— Что ж, пожалуй, потому так и поползло, все, сразу... Бутафорская мощь, бутафорская власть... Государь подписал отречение, точно ресторанный счет, и просится в Крым — разводить розы. Несчастный государь!..— Вельский вздохнул.— Да, бутафория. Этот матрос, который будет у Снеткова, мне важней и интересней, чем судьба России,— вдруг подумал он.— Ведь так? Важнее России матрос?»

Мысль об этом мелькнула отчетливо, мгновенно и неожиданно, и Вельскому показалось, что яркий мертвый свет мгновенно и неожиданно осветил все кругом. Ему стало отвратительно и страшно.

Свет, как магний, вспыхнул и погас, и все так же мгновенно смешалось. Сердце быстро и тревожно

стучало, голова кружилась, и уже ничего нельзя было понять: слева направо читалось «топор», справа налево читалось «ропот», слева направо была Россия, справа налево был матрос. Леденящий страх смерти покрывал все.

Потом, как на экране, проступило бледное желанное лицо с серьгами, немного наглыми глазами, и все — матрос, Россия, государь, разводящий розы,— побледнело, отошло на задний план, растворилось в чувстве полной безнадежности, прохладной, похожей на лунный свет, скорее приятной. Бледное желанное лицо с серыми глазами глядело на Вельского, улыбалось ему, и, как фон у портрета — прохладный лунный фон,— вырисовывалась за ним тщетность всего: жизни и желаний, разочарований и надежд. И тут же, совсем близко, физически ощутимо, веяло главное, самое важное в жизни, самая суть ее... Вельский стоял на мосту, глядя на черную воду,— сейчас он все поймет, все поймет! Собственно, он уже понял, только ему страшно признаться в этом, сладко и страшно, как перед тем, как броситься в воду с высоты — вот в такую воду, с такой высоты. Может быть, в самом деле, броситься сейчас, зажмурившись, в эту черную воду — может быть, это и есть то последнее движение, которое надо сделать?

«Если действительно я...— начало складываться в уме что-то такое, чего Вельский, сделав над собой усилие, недодумал.— Тра-ла-ла-ла,— забарабанил он пальцами по перилам моста, повторяя вслух первое попавшееся, чтобы прогнать, не дать сложиться какому-то невероятному, немыслимому слову.— Тра-ла-ла-ла,— барабанил он.— Ла донна мобиле. Тигр и Евфрат. Тигр и Евфрат. Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду...»

Нереида улыбнулась ему и плеснула чешуйчатым хвостом — по воде пошли круги. Вельский внимательно глядел, как они ширились, поблескивали, исчезали. Это было приятно и успокоительно.

— Леший, держи концы! — успокоительно крикнул из темноты ленивый голос. Под мостом прошел бук-

сир, зеленый фонарь успокоительно качнулся на его корме.

Бросив потухшую папиросу, Вельский пошел дальше. Неврастения,— думал он.

Квартира Снеткова была в третьем этаже. Раздевшись по петербургскому обычаю в швейцарской, гости поднимались по устланной красным ковром лестнице — лифта не было, дом был очень старый. Снимая с Вельского пальто, беря его палку и котелок, швейцар, признавший в нем по вещам и виду «настоящего» барина (в лицо Вельского он не знал), сказал как-то таинственно: «Без номерка будет, я к себе уберу — как бы не обменили»,— и Вельский, уже начав подниматься наверх, вдруг покраснел, поняв смысл сказанного швейцаром. Очевидно, общество, куда он шел, было такое, где могли обменять пальто или вытащить бумажник; очевидно, такие случаи уже бывали, и швейцар говорил по опыту. Знал он, вероятно, и то, зачем в такое общество ходят солидные, хорошо одетые люди, вроде него, Вельского, и, зная это, должно быть, теперь смотрел ему вслед с равнодушным мужицким осуждением. Конечно, что бы ни думал швейцар, никакого значения не имело, и все-таки Вельскому стало немного не по себе: так или иначе, во всем этом была грязь, так или иначе, подымаясь сейчас к Снеткову, к этой грязи становился причастен и он.

Вельский впервые шел к Снеткову на вот такую вечеринку. Вечеринки эти начались давно, еще до войны, и, разумеется, Вельский знал во всех подробностях то, что на них происходит, как знал и многих завсегдатаев их. Он с интересом выслушивал на другой день отчет об этих собраниях, улыбаясь забавным или циническим подробностям, давая советы устроить то-то, пригласить того-то,— болтая обо всем этом в интимном кругу людей одинаковых с ним вкусов. Но идти самому? Правда, Снетков показал себя отличным организатором — ни разу за время существования вечеринок не было ни серьезного скандала, ни шантажа

или чего-нибудь подобного; правда, иные люди того же круга и возраста, что Вельский, на вечеринках этих бывали, и это им вполне благополучно сходило с рук, но Вельский всегда был слишком осторожен, слишком дорожил своим покоем и репутацией, чтобы до революции позволить себе риск, пусть не особенно вероятный, но все-таки возможный, огласки того обстоятельства, что он, светлейший князь Вельский, посещает запросто сборища петербургских педерастов.

Кроме этих соображений осторожности, Вельского останавливало и другое. Он, например, не был уверен в том, найдет ли он, оказавшись в большом разношерстном обществе (у Снеткова собиралось человек по пятьдесят, по шестьдесят), обществе людей, объединенных только по одному специфическому признаку,— правильную манеру держаться. И он несколько раз терялся при мысли, что вот он окажется вдруг в разношерстной незнакомой ему толпе, отличающейся при этом от всякой другой толпы тем, что каждый в этой толпе, благодаря одному его, Вельского, присутствию в ней, заранее знает о его самом интимном, самом тщательно оберегаемом и, зная это, имеет на него, на его душу, на самое интимное, самое тщательно оберегаемое в ней какие-то права, похожие на права родства или дружбы.

В последнем была (в теории) большая доля приятного. Было волнующее представление о простоте, братской близости людей, считающих, так же как он, прекрасным и естественным то, что другим — огромному враждебному большинству — кажется отталкивающим и позорным; волнующее представление о свободе, хоть на несколько часов, быть тем, что он есть, не притворяться и не играть роль, наконец, надежда на встречу, та надежда на ослепительную блаженную встречу, которая заложена Богом в душу каждого и которая — одинаково несбыточная для всех — в представлении слепого, или каторжника, или педераста возрастает во столько раз в своей невозможности, во сколько их одиночество в мире страшней и шире одиночества обыкновенных людей.

Вельский, конечно, знал, что нигде действительность не расходится с воображением так резко, как в этой области. Конечно, эти его «братья по духу» (и на вечеринках у Снеткова и всюду) были тем, чем они были... Смешливые, сюсюкающие, чувствительные, все как один скаредно-расчетливые, все как один поверхностно одаренные к искусству (особенно к музыке), не способные ни на что серьезное, но мелко, по-бабьи, восприимчивые ко всему, как на подбор глупые, как на подбор очень хитрые, робкие (и с налетом подловатости), под преувеличенной, приторной вежливостью скрывающие необыкновенно развитой, жестокий, ледяной эгоизм — «полулюди» или «четвертьлюди» — все они, за редкими исключениями, были одинаковы.

Вельский вообще не любил людей, не верил людям и презирал их, но ясно видел, что если сравнивать, то люди просто, толпа, человеческая пыль, все-таки выигрывают в сравнении с этими (сверху донесся визг, похожий на женский, дверь хлопнула), которые там, в квартире Снеткова, хлопают дверями и визжат. И в то же время... И в то же время между ним, князем Вельским, и этими людьми существовала кровная связь. Кровная, нерасторжимая, неодолимая — и связь эта (Вельский ясно видел) шла гораздо глубже и дальше того обстоятельства, что и ему, как им, встреченный на улице матрос или кавалергардский солдат внушает те же чувства, которые обыкновенному человеку внушает встреча с хорошенькой женщиной. Ах, нет! Гораздо глубже шла эта связь, и там, в глубине, куда она уводила (Вельский твердо знал это), в глубине, где уже не было ни кавалергардских солдат, ни женщин, ни разницы между ними,— оставалась, как была, разница между всем миром и этими людьми, между всем миром и князем Вельским, блистательным, щедрым, умным, великодушным, совсем, казалось бы, непохожим на них, и все-таки в чем-то не определимом словами, но самом важном — единственно важном,— таким же, как они, жалкие и смешные, чувствительные и бессердечные, пустоголовые,

скупые, напудренные, сюсюкающие — полулюди или четвертьлюди...

Сверху донесся визг, похожий на женский. Дверь хлопнула, скрипучая музыка заиграла тустеп. Вельский вдруг почувствовал слабость, стыд, неуверенность, счастье — желание убежать и одновременно желание поскорей смешаться с толпой этих людей (пустоголовых, смешных и таких же, как он, таких же, как он), которые там, в квартире Снеткова, танцуют под граммофон, пристают к солдатам, паясничают и визжат. Он стал быстро подыматься по лестнице, испытывая необыкновенное удовольствие от легкости своей походки, своей элегантности, свежести своего шелкового белья и ловкости костюма, от сознания, что он еще не стар и выкупан в душистой ванне, что там, куда он сейчас войдет, его ждут как желанного, дорогого гостя. «Как Китти на бал,— мельком подумал он.— Как правильно Толстой подметил все, как удивительно верно!»

Дверь сейчас же распахнулась, яркий свет, музыка, толчея оглушили Вельского. «Князенька»,— тонко, как комар, запищал Снетков, бросаясь к нему навстречу. Снетков был в расшитом блестками платье, в парике и с подкладным бюстом. Кто-то бросил Вельскому в лицо горсть конфетти, кто-то сунул ему бокал и, наливая шампанское, облил и обшлаг и руку. Дыша на него вином и шепча с налету какую-то чепуху, Снетков поволок Вельского через толпу в угол около рояля, где на тахте, окруженный со всех сторон, сидел уже полупьяный, но не потерявший еще смущенного вида молодой матрос, «гвоздь вечера», действительно очень красивый, а за роялем известный поэт, подыгрывая сам себе, пел:

Меж женщиной и молодым мужчиной
Я разницы большой не нахожу —
Все только мелочи, все только мелочи...

картавя, пришепетывая и взглядывая после каждой фразы с какой-то наставительной нежностью в голубые, немного чухонские, глаза матроса.

II

Адам Адамович свернул с набережной Екатерининского канала и медленно побрел по темному и пустому Демидову переулку.

Ему было холодно. Ноги ныли от долгой ходьбы. Подтаявшая за день грязь (теперь ее некому было убирать) замерзла, и калоши скользили — несколько раз Адам Адамович спотыкался.

Он ушел из дому еще днем — и вот, теперь который был час? Адам Адамович стянул с руки вязаную перчатку и, оглянувшись, точно делая что-то запретное, достал часы.

Было четверть первого. Значит, уже восемь или девять часов он бродил так по городу? Да, значит... Но хотя это было совершенно ясно, правильно, точно — в то же время эта правильная и простая мысль никак не укладывалась в его голове и, собственно, при всей своей правильности, не значила ровно ничего.

Да — тогда был день, а теперь была ночь. Теперь было четверть первого. Часы Адама Адамовича отставали на три минуты. Следовательно, было восемнадцать минут первого... Да, действительно, он ходил по городу все это время. Только все — часы, город, день и ночь — стали вдруг какими-то отвлеченными, механическими понятиями, какими-то номерками, по привычке выскакивающими еще в памяти, но не значащими уже ровно ничего.

Восемь или девять часов? В сознании эти слова обозначали кусок времени, равный другому, такому же куску времени,— половине любого дня его жизни. Какая чепуха! Адам Адамович тихо рассмеялся. Половина обыкновенного дня — с перепиской бумаг, докладом князю, обедом, трубкой, которую он, Адам Адамович, курил у окна перед тем, как лечь спать. Какая чепуха! А город? Что же? Или то страшное, ледяное, враждебное, где он пробродил без цели эти несколько часов, то страшное, ледяное, враждебное, что его кружило и несло, как океан кружит и уносит щепку, что же — или это был тот самый Петербург,

на сады и крыши которого, куря свою трубку, он смотрел в окно по вечерам?

...Калитка была открыта, никто ее не сторожил. Не рассуждая, еще не веря своей удаче, Адам Адамович быстро пошел в сторону Невского. Бежать было опасно, но все-таки, отойдя от дома шагов пятьдесят, он побежал. Вечернее солнце блеснуло ему в лицо сквозь ветки Летнего сада, и он, на бегу, глотнул этот свет, как воду,— ртом. Перебежав мост, он остановился. Все было в порядке, никто его не преследовал. Тогда, поправив шапку, съехавшую на затылок, и стараясь так дышать, чтобы успокоилось мучительное сердцебиение, он свернул под деревья у Инженерного замка.

На Невском слышалась Марсельеза, мелькали флаги, с грузовиков разбрасывались какие-то летучки, и лица людей сияли одинаковой, бессмысленной, делавшей их похожими одно на другое, радостью. Дойдя до Невского и смешавшись с этой густой, возбужденной, поющей Марсельезу толпой, Адам Адамович понял, что здесь никто его не найдет, да и не будет искать, и, почувствовав, что спасся от опасности, которая только что ему угрожала, он тут же понял, что все-таки, все равно, окончательно — он погиб.

Адам Адамович всю ночь работал — разбирал бумаги и жег их, и когда пришли с обыском, спал. Топот солдатских ног в швейцарской и чужие грубые голоса, приказывающие кому-то не выходить и кого-то куда-то вести, разбудили его. Сквозь блаженное желание не просыпаться, не менять удобной позы, не отрывать от валика дивана сладко разогревшейся щеки, вдруг мелькнуло сознание смертельной опасности — не для себя (о себе он не успел подумать) — для дела, для пачки бумаг, которые он не сжег, которых нельзя было сжечь, бумаг, где было все самое важное, относившееся к переговорам о сепаратном мире, оборвавшимся после убийства Распутина и недавно опять, с каторжным трудом, с постоянной опасностью провала, ареста, виселицы, начинавшим понемногу налаживаться,— небольшой пачки, которая, наспех завернутая в кусок газеты, лежала сейчас в боковом кармане его

пальто. Адам Адамович, снова оглянувшись, пощупал карман.

Надевая пальто и калоши, заворачивая документы и пряча их, взвешивая подробности мгновенно сложившегося плана, как скрыться от пришедших за ним солдат, Адам Адамович еще помнил обрывки чего-то, что только что ему снилось. И, спускаясь осторожно по черной лестнице, пробираясь вдоль стены к калитке и дальше, на бегу, сквозь одышку, сердцебиение и мысль, что вот сейчас, сейчас его схватят, он еще помнил ощущение удивительной новизны, необыкновенного второго смысла, заключавшегося в каком-то уже исчезнувшем из памяти слове, и еще безотчетно удивлялся гениальной простоте этого открытия...

В конце улицы блеснул свет, донесся какой-то шум. Адам Адамович прислушался. Сквозь людские голоса слышалась хриплая музыка: граммофон играл «китаяночку». Адам Адамович подошел ближе; над стеклянной дверью висел желтый фонарь, освещая грубо намалеванное блюдо с пирожками и надписью: «Закуски разные». Это была ночная чайная.

Чай отдавал тряпкой, мелко наколотый сахар был серого цвета. Но это было не важно. Даже напротив, скорее это было приятно. И все окружающее скорее было приятно Адаму Адамовичу.

Чайная была полна простонародья, извозчиков, солдат, поденщиков с Сенной. Больше всего было солдат. Дверь на блоке поминутно открывалась, и входили все новые люди. От табаку, дыхания, пара, от начищенной медной кипятилки в воздухе стоял жирный туман, напоминавший баню, и, как в бане, было тепло, очень тепло, размаривающе тепло.

Адам Адамович сидел за длинным столом, в самом углу. Когда он сюда пришел, там уже пили чай два солидных, пожилых, неразговорчивых извозчика. Вскоре к ним подсел третий, помоложе, рябой.

— Со своим, со своим, милый,— тонким голосом пояснил он половому, и Адам Адамович с любопытством стал наблюдать, с чем это, со своим, будет

извозчик пить чай. Оказалось, гость пришел со своим хлебом. Тогда внимание Адама Адамовича занял портрет царицы, вынутый из рамы (рама с короной осталась висеть на стене) и прислоненный к стене, должно быть, для потехи. Сквозь наполнявший чайную мутный пар лицо царицы рисовалось неясно, и только огромные черные глаза глядели в упор, как живые. Адам Адамович долго, с недоумением всматривался в портрет, не понимая, почему так огромны эти глаза и почему же они черные? Кто-то, проходя мимо, качнул искусственную пальму, стоявшую рядом: яркий свет упал на лицо, и тогда Адам Адамович понял, что это не глаза, а две круглые штыковые дыры. Какой-то мучительный холодок пробежал по телу Адама Адамовича, какое-то воспоминание или предчувствие, и он быстро отвернулся от этих глаз-дыр. Но сейчас же, едва он отвернулся, смутное мучительное ощущение растворилось без остатка в чувстве покоя и тепла. Тут Адам Адамович заметил золотой цветочек.

В первое мгновение он показался Адаму Адамовичу простой завитушкой на дне чашки, грубой завитушкой, уже наполовину смытой бесчисленными порциями крутого кипятку. Но сейчас же он понял, что это первое впечатление было ошибкой.

Золотой цветочек был чудом. Он был живой, он дышал. То распускаясь, то свертываясь, он сиял таинственным, прекрасным и жалобным светом. Разумеется, он был чудом. И то, что он был тут, перед глазами, было невероятно и в то же время ошеломляюще, гениально просто. «Я уже знаю это... Откуда? Ну, да, во сне, когда они пришли»,— смутно и радостно вспомнилось Адаму Адамовичу. Вместе с обрывками сна, переплетаясь с ними, промелькнули голоса в швейцарской, топот сапог и разогретый шелк дивана, от которого так не хотелось отрывать щеки. «Значит, правда, все правда»,— так же радостно и смутно отозвалось где-то далеко, на самом дне.

Золотой цветочек, сияя прекрасным и жалобным светом, плыл над тихим морем и островами. Над самым большим островом он остановился. Очертания

острова напоминали «Апеннинский сапог», только он был у́же и на каблуке вилась тонкая, вычурная шпора. «Боеспособность итальянской армии, вообще невысокая, к концу истекшего года...» Это было из докладной записки Фрея, которую он ночью жег; все сгорело, кроме этого обрывка, и Адам Адамович подтолкнул его кочергой...

А остров был розового цвета, отличаясь этим от остальных — пепельных и желтоватых. Это от борща, догадался Адам Адамович, еще ниже наклоняясь над скатертью. Ему вдруг очень захотелось сейчас же спросить себе борща — горячего, жирного, розового... Но золотой цветочек неожиданно рванулся с места, и Адам Адамович за ним. «Это тебе не вакса»,— донеслось им вдогонку откуда-то с самого дна.

— Это тебе не вакса! — сказал Егоров и окинул соседей веселыми, немного выкаченными глазами, ища поддержки разговору.

Егоров, молодой солдат из подмастерьев, всего неделю назад пригнанный из Липецка на Фонтанку, в проходные казармы, целый день шлялся по улицам, был возбужден, весел и радостно озабочен. Он сильно промерз на холоду, сильно проголодался и, придя в чайную, первое время только отогревался и ел, но теперь, закусив и согревшись, испытывал сильное желание поговорить с кем-нибудь по душам, завести дружбу, обсудить происходящие необыкновенные дела и еще — этого ему хотелось больше всего, хотя этого он стыдился,— узнать, где тут имеются хорошие девочки.

Егоров был не прочь и угостить хорошего человека, если такой подвернется. Он был при деньгах. Нерушимая двадцатипятирублевка, хранившаяся до сегодняшнего дня в ладанке на груди, сегодня была разменена. Двадцатипятирублевку эту Егоров берег, чтобы иметь деньги, когда попадет в плен. Но теперь было и дураку ясно, что ни воевать, ни сдаваться в плен не придется: царю дали по шапке, и война была кончена.

Попасть в плен Егоров твердо решил с той самой минуты, как его забрили. Серьезные люди в Липецке уже давно поговаривали, что хотя в плену, конечно, тоже не сладко, но все-таки лучше сидеть в плену, чем кормить вшей на позициях, ожидая, пока тебя убьют.

— Тебе, малый, особенный расчет,— объяснял Иван Иванович, хозяин сапожной мастерской, где Егоров работал.— Только объявись, что сапожник — моментально тебе облегчение выйдет. И немцы тоже люди,— пояснял он, вертя, как фокусник, шилом.— И у немцев подметки снашиваются.

— Это тебе не вакса,— повторил Егоров, вызывая соседей на разговор. Но соседи в разговор не вступали. Извозчики пили чай. Адам Адамович сидел, не шевелясь, закрыв глаза и втянув голову в узкие плечи. «Чухна,— решил Егоров, осмотрев его с головы до ног.— Финн или еще карел, по штиблетам видать — штиблеты, не иначе, выборгские».

Егоров зевнул. Ни с чухной, ни с извозчиками разговору было не завести; так сидеть было скучно. Зевнув еще раз и прищелкнув пальцами катыш хлеба так, что тот, пролетев всю чайную, как пуля ударил в зеркало и распластался на нем, Егоров собрался уже встать и перейти в другой угол, где какой-то флотский громко рассуждал о политике, когда к столу подошла и села как раз напротив какая-то интересная барышня. Полушалок на ней был весь в снегу,— барышня сняла полушалок, стряхнула снег и оказалась рыженькой — рыженькие Егорову всегда нравились. Потом рыженькая барышня вынула из сумки платок и, посмотрев в зеркальце, вытерла лицо. Лицо было чистое, городское, именно такие лица Егоров любил. Вытерев лицо, она подняла глаза от зеркальца, поглядела на Егорова внимательно и слегка усмехнулась. И глаза были именно такие, как надо,— спокойные, серые, чуть-чуть с прозеленью, как стоячая вода. Половой принес заказанный барышней чай. Отпив, она снова подняла глаза на Егорова и усмехнулась снова. Егоров тоже усмехнулся, сам не зная чему, и с досадой почувствовал, что, как дурак, краснеет. «Беда с этими спичками — опять

забыла»,— вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказала барышня, вынимая шикарные, пажеские папиросы и надламывая длинный мундштук как раз посередине.

Это Рейн, понял Адам Адамович и засмеялся от счастья. Собрав все силы, он ударил руками, как крыльями, по воздуху, плотному, сияющему и голубому. Чашка опрокинулась, блюдце со звоном покатилось на пол.

— Бей мельче, собирать легче,— весело, скороговоркой крикнул в его сторону Егоров. Адам Адамович огляделся с недоумением. В чайной все было по-прежнему. Только портрет царицы был теперь совсем близко, рядом, за тем же столом. Две круглых штыковых дыры на его бледном лице светились теперь серозеленым светом и совсем не казались страшными. Молодой солдат, крикнувший только что «бей мельче», перегнувшись через стол, любезничал с ним.

— Так-с. Так и запишем,— говорил Егоров, улыбаясь и блестя зубами.— Ваша воля — наша доля. Но в котором случае, позвольте спросить,— а тюльпан чем же не хорош?

И портрет отвечал:

— Не пахнет.

Совсем очнувшись, Адам Адамович подозвал полового и спросил, есть ли у них что-нибудь горячее. Горячее было: рубец и яичница из обрезков. Заказав яичницу, Адам Адамович внимательно оглядел женщину, которая со сна показалась ему портретом царицы. Женщина была совсем молода, миловидна, рот у нее был очень красный и слегка припухший. Заметив, что Адам Адамович смотрит на нее, женщина тоже на него поглядела — сперва мельком, потом, скользнув по его каракулевому воротнику и часовой цепочке,— пристально и внимательно. Неожиданно Адам Адамович представил, какое должно быть у этой женщины твердое тело и какая белая горячая кожа. Разумеется, она была проституткой, разумеется, не было ничего легче, если бы он захотел, пойти сейчас с ней. Да, это

было просто и легко. Да, наверное, у нее была белая горячая кожа, и тело твердое и гладкое. Сам удивляясь своему спокойствию, Адам Адамович слегка улыбнулся женщине и показал глазами на дверь. Она поняла и встала. Любезничавший с ней солдат хотел удержать ее за рукав, но она выдернула руку и, покачав головой, пошла к двери. Адам Адамович расплатился. Прежде одна мысль об «этом» заливала ему душу сладким, тягучим, непреодолимым ужасом, и вот он расплачивался, повязывал шарф, надевал шубу и был совершенно спокоен. Прежде... Впрочем, то, что было прежде, теперь и не касалось его: жалкие, мертвые остатки прежнего плыли теперь где-то далеко, по волнам тихого моря, мимо сияющих островов...

Женщина ждала на улице. Адам Адамович нерешительно подошел к ней, не зная, с чего начать разговор. Но разговора и не пришлось начинать. Она сама тронула его за рукав и просто сказала: «За угол, вот сюда. Я с подругой живу».

Они пошли молча. Потеплело, ветер дул в лицо, подряд два раза стукнули где-то выстрелы. Женщина, держа под руку Адама Адамовича, шла, тесно, должно быть, по привычке, прижимаясь к нему, и это Адаму Адамовичу было очень приятно. На ходу она немного переваливалась и бедром толкала Адама Адамовича — это тоже было приятно. Заметив, что идет не в ногу, он ногу переменил, слегка подпрыгнув на ходу, и женщина, откинув набок голову, посмотрела на него и улыбнулась. Как раз они проходили мимо фонаря — свет упал ей прямо в лицо — и лицо ее показалось Адаму Адамовичу белым, как бумага, печальным и детским. Не останавливаясь и не замедляя шага, он притянул к себе это детское печальное лицо и быстро, жадно поцеловал.

Губы пахли снегом и ванилью. Голова Адама Адамовича вдруг блаженно помутнела. Ветер, налетев сильнее, закрутил сухими снежинками вокруг его помутневшей головы.

— Тебе не холодно, чертенок? — не отнимая губ, сказала женщина нежно.

Сквозь штору просвечивало утро. Женщина рядом сонно дышала, отвернувшись к стене. Комната, должно быть, выходила на двор — кругом было удивительно тихо.

Наступало утро — возвращалась реальная жизнь. Она оборвалась вчера, когда пришли с обыском, и вот — с синеватым утренним светом — она возвращалась. Хотелось курить; натертая нога немного ныла; бумаги, которых нельзя было сжечь и которые некому было передать, лежали вот тут, в кармане пиджака, на стуле, вместе с деньгами. Денег было около ста рублей — десять надо было оставить Маше.

То, что женщину, лежавшую рядом, зовут Маша — было еще «оттуда», из вчерашнего, и за этим именем «Маша» тянулось еще в синеватом свете наступающего дня что-то страшное, жалобное, сладкое... Но это было вчера — теперь с этим было кончено. И о женщине, лежавшей рядом, Адам Адамович думал именно так, как теперь следовало думать: лучше уйти, пока проститутка не проснулась; десять рублей за проведенную с ней ночь можно положить на видное место — ну, на ночной столик.

Надо было вставать и уходить. Адам Адамович осторожно взялся за платье. Половица скрипнула, когда он ступил на ковер, и он обернулся испуганно, но женщина спала по-прежнему, тихо, сонно дыша. Лицо ее на серой наволочке казалось по-прежнему бледным и детским, и что-то шевельнулось в душе Адама Адамовича, что-то жалобное и нежное, при взгляде на это сонное, бледное лицо. «Маша»,— произнес он беззвучно, одними губами, стоя босыми ногами на коврике и глядя на нее. «Маша»,— повторил он беззвучно еще раз, и вдруг ему почудилось, что если сказать громко, разбудить ее, то, может быть, может быть...

Вчерашнее — страшное, жалобное, сладкое, вырвавшись откуда-то, залило на мгновение все — комнату, кровать, душу. Носки, которые Адам Адамович держал, упали на пол из его разжавшихся пальцев. «Маша.» Что же, может быть, сказать Маше? Может быть, сказать громко, так, чтобы проснулась?..

Это длилось только одну минуту, может быть, одну секунду. Это была последняя тень вчерашнего, сейчас же растаявшая без следа. Реальная жизнь вернулась. Адам Адамович поднял с пола носки и осторожно, стараясь не шуметь, стал одеваться.

Флотский, ораторствовавший о политике в другом углу чайной, оказался человеком компанейским; компанейскими ребятами были и его слушатели: в чайниках у них был спирт, оттого они так и шумели. Спирт, оказывается, отпускали тут же в чайной — разумеется, надежным людям и по случаю бескровной революции. Выпив полчашки угощенья и узнав, что можно достать еще, Егоров, не жалея, вынул десятирублевку.

С первой же полчашки в голове сильно зашумело и стало очень весело — тут Егоров и поставил от себя спирту. Но теперь, выпив еще и еще, он чувствовал, что поступил глупо: веселье прошло, мутило, очень хотелось спать и было все сильнее жаль зря потраченных береженых денег.

К жалости о деньгах примешивалась и злость на рыженькую барышню, не пошедшую с ним и спавшую теперь с чухной где-нибудь под тепленьким одеялом. Обругать последними словами рыженькую барышню? Разбить ей морду? Узнать ее адрес, жениться, гулять с ней под ручку в Липецке в Дворянском саду? Егоров сам не знал, чего ему, собственно, хотелось — может быть, и того, и другого, и третьего. Но ни разбить морду рыженькой, ни жениться на ней было нельзя — можно было идти в холодные казармы спать (спать очень хотелось) или сидеть тут и пить спирт. Спать очень хотелось, но проходные казармы были далеко, на улице была ночь, голова сильно кружилась. Пить было противно, но спирт был тут, и за спирт было заплачено его, Егорова, кровными, бережеными деньгами...

Адам Адамович осторожно вышел из комнаты. Кухня была рядом, никого в ней не было. В двери на

лестницу торчал ключ. Адам Адамович осторожно его повернул и снял с двери цепочку. С лестницы потянуло сырым холодом. Адам Адамович поднял руку, чтобы запахнуть воротник, и замер, не донеся до воротника руки: над его головой в сыром сумраке лестницы, тихо сияя, плыл золотой цветочек.

В одно мгновение Адам Адамович понял все. Даже сердце его не успело забиться сильней — так мгновенно он все понял. Все было удивительно, необыкновенно, гениально просто. Ни одиночества, ни страха, ни холода больше не существовало — золотой цветочек, сияя прекрасным и жалобным светом, плыл перед ним, и надо было только его слушаться...

Хочешь — не хочешь, приходилось уходить: чайную закрывали. Покачиваясь, вслед за остальными Егоров вышел на улицу. Первое ощущение от внезапного холода и блеска было совершенно такое, точно кто-то неожиданно, с плеча закатил ему звонкую, бодрящую оплеуху. Егоров даже отшатнулся, как отшатывался на ученьи от кулаков взводного. Некоторое время он простоял на улице, тупо глядя перед собой и плохо соображая, что и как. Потом, после духоты чайной, его быстро — и все быстрей и быстрей — начало развозить. Мысли, что война кончена и взводный больше не смеет драться, что деньги — дело наживное, что рыженькая спит теперь с чухной и ее не найти,— разные, и веселые, и щемящие, мысли, перемешавшись в одно, подкатили под ложечку — захотелось побежать, крикнуть, броситься куда-то вниз головой, сделать что-то необыкновенное, еще неизвестно что — но сейчас же, немедленно, во что бы то ни стало...

— Свобода! — неожиданно для себя самого крикнул Егоров громко, на всю улицу, и, усмехнувшись, качнул в синем блестящем воздухе синим блестящим стволом винтовки.

Золотой цветочек тихо плыл, задевая грязные ребра лестницы,— надо было только его слушаться. Закинув голову, не отрывая от него глаз, не отставая от

него и не перегоняя, Адам Адамович медленно, ступенька за ступенькой, спускался вниз. Надо было только слушаться, только слушаться... У самого выхода цветочек остановился. Остановился и Адам Адамович, тяжело дыша, держась за дверную ручку. Над дверью было небольшое окошко. Неожиданно цветочек качнулся в его сторону, коснулся стекла и исчез, пройдя сквозь стекло, как сквозь воздух. В страшном возбуждении, Адам Адамович выбежал на улицу, чтобы догнать его, схватить, накрыть, как бабочку, шапкой...

Как раз в ту секунду, когда он выбежал, Егоров, крикнув еще раз от полноты чувств «Свобода!», приложил винтовку к плечу и щелкнул затвором. И как раз на пути вылетевшей из синего блестящего ствола пули оказалась голова Адама Адамовича — остроносая измученная голова, запрокинутая на бегу в сторону исчезнувшего где-то над крышами прекрасного и жалобного сияния.

III

Назар Назарович Соловей стасовал, причмокнув, мельком, с игривой улыбочкой, оглядел партнеров (партнеры были воображаемые — Назар Назарович сидел один. Лампа под оранжевым абажуром бросала на него приятный свет; дверь из предосторожности была заперта на ключ) и, щелкнув колодой, начал сдавать карты. Сдавая, он приговаривал: «Наше было ваше — ваше будет наше — цоп-топ по болоту — шел поп на охоту. Банко! — произнес он потом внушительно и открыл свои. Точас игривая улыбочка на его круглом лице превратилась в разочарованную.— Опять не вышел проклятый волчок. Как же так? Скажите, пожалуйста, что за невезенье!»

С некоторых пор Назар Назарович, оставаясь один, не предавался больше приятному ничегонеделанью. С некоторых пор он даже несколько похудел. Теперь, оставаясь дома, хотя и хотелось порой при-

лечь, помечтать, повозиться с котом, побренчать на гитаре (недавно Назар Назарович приобрел по случаю великолепную гитару — приобрел прямо за бесценок, один перламутр в инкрустациях стоил дороже), Назар Назарович сейчас же шел в кабинет, запирал дверь и принимался практиковаться. Мечтать и забавляться теперь у него не было времени — надо было изучать высшие науки, а науки эти Назару Назаровичу не особенно давались.

Высшие науки Назар Назарович начал изучать по совету и под руководством своего друга и покровителя Ивана Нестеровича, с которым он недавно познакомился у графа и для которого решил на графа начихать. Начихать на графа, как выяснилось, была прямая выгода: Иван Нестерович в ближайшее время собирался в турне в Харьков, в Крым, на Кавказ — на миллионные дела, обещая взять с собою Назара Назаровича, если тот подучится чему надо. И Назар Назарович учился.

— Цоп-топ по болоту, шел поп на охоту,— разложил Назар Назарович карты снова, сдавая медленно, с расстановкой, что-то высчитывая в уме и заглядывая в лежащую рядом бумажку с цифрами. «Где дама виней? — заволновался он.— Ага, тут. К даме виней идет туз трефей — так, запишем. Желаете карточку? — игриво улыбнулся он воображаемому партнеру.— Извольте — даю заветную — теперь денежки ваши. Цоп-топ по болоту... Там четыре, здесь одно очко; у них тройка при своих! — произнес он озабоченно, открывая шестерку.— Неужели не вышло? Неужели опять ошибка?»

Но на этот раз, слава Богу, ошибки не было,— волчок получился аккуратный, по всем правилам. «Теперь пойдешь у меня, одолел,— с облегчением думал Назар Назарович, слегка потея от удовольствия.— Ну-с, проверим,— взялся он снова за карты.— Цоп-топ по болоту...»

Иван Нестерович, новый его друг и покровитель, объехавший, по слухам, весь свет, говоривший на

языках, игравший в тысячную игру с первейшими банкирами и даже с генералитетом, при первом же знакомстве произвел очень сильное впечатление на Назара Назаровича. Внешностью он, без преувеличения, был орел, голос — труба, манеры, работал же так, что даже уму непостижимо. Глядя на игру Ивана Нестеровича, Назар Назарович в первую минуту подумал, уж не нечистая ли тут сила (мало ли что бывает — он даже тихонько перекрестился под столом),— такая это была работа.

У графа, где они познакомились, все были свои, опытные, понимающие люди, и все только охали и качали головами, когда Иван Нестерович с завязанными глазами бил всех в лежку или в момент, одной левой рукой, делал такую накладку, какую не подберешь и в час, сидя у себя дома. Да, это был человек — Назар Назарович впервые видал такого,— это был орел, не то что граф. Граф перед Иваном Нестеровичем, собственно говоря, просто был сопляком.

— Цоп-топ по болоту, шел поп на охоту,— продолжал Назар Назарович практиковаться, чувствуя приятное умиление при мысли, что такой человек обратил на него внимание, пригласил к себе и обласкал.

Иван Нестерович жил в гостинице «Регина», в шикарнейшем номере с картинами во всю стену, телефоном и отдельным ватером. Он сидел в атласном халате за роскошным письменным столом, на руке его сиял голубой бриллиант, каратов в одиннадцать, в зубах дымилась сигара, должно быть, сумасшедшей стоимости.

— Добро, добро пожаловать,— воскликнул он весело, как труба, вставая и протягивая обе руки робко входящему в номер Назару Назаровичу, и с еще большей силой Назар Назарович оценил и понял, с каким человеком свела его судьба.

Сразу же выпили какого-то необыкновенного коньяку, закусили икрой и опять выпили. Хоть коньяк был мягкий, как масло, и казался совсем не хмельным, после четвертой рюмки (правда, рюмки были

большие, граненые, чистого хрусталя) в голове Назара Назаровича приятно зашумело, и сердце еще сильней залило сладкое умиление от роскошного номера и сигары, от бриллианта и собственного ватера, от сознания счастливой судьбы, сведшей его с таким человеком, и от слов этого человека, летевших сквозь окружающий туман, весело, как труба, прямо в сердце Назара Назаровича.

— У тебя талант,— говорил ему этот человек, знаменитость, игравший с генералитетом, загребавший сотни тысяч.— Ты, брат, Богом меченный, вот что. Ты, если тебя отполировать, Шаляпиным в нашем деле будешь, Короленкой, Шекспиром. Искорка в тебе есть. Но,— строго подымал Иван Нестерович палец, и солитер на пальце переливался так, что больно было смотреть,— но, если не будешь учиться, заруби на носу — пропадешь! В наш век пара и электричества мало одного таланта, нужна наука.

Красный ковер лестницы мягко проваливался под ногами, швейцар, открывая дверь, поклонился и раскололся надвое. Назар Назарович дал ему на радостях трехрублевку, и швейцар, поклонившись снова, раскололся еще раз: усаживая Назара Назаровича в сани, застегивая полость, желая счастливо оставаться, вокруг саней хлопотали уже четыре швейцара, и Назар Назарович, вспомнив, что дал на чай только одному, порылся в кармане и сунул какую-то мелочь и остальным троим.

— Трогай! — крикнул весело, как труба, Иван Нестерович и обнял Назара Назаровича по-приятельски за талию.

Это было уже после обеда у Палкина, шикарнейшего обеда с массой закусок и шампанских вин — так Назар Назарович еще никогда не обедал. О существовании некоторых блюд он прямо не подозревал: например, бляманже было из рыбы, даже, без сомнения, из севрюжки; потом эти... какие-то рябчиковые корешки... Нет, так он еще не обедал в жизни. Теперь они катили в «Аквариум». «Кутить так кутить»,—

повторял все время, как труба, Иван Нестерович и платил за все один.

Умиление заливало сердце Назара Назаровича, ему было необыкновенно хорошо. Снег скрипел, голова кружилась, нежно, как зефир, отрыгалось севрюжье бляманже. «Я сразу заметил, как ты дергаешь,— говорил ему Иван Нестерович, прижимая его к себе и дыша на него,— этому не научишься, это от Бога. Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил,— басом, на всю улицу, продекламировал он.— Знаешь, про кого это сказано? То-то и оно-то, ничего ты не знаешь — серость твоя тебя губит, неинтеллигентность твоя. В наш век пара и электричества хороший исполнитель все должен знать: и кто такой Державин, и что такое альтернатива. Ну, это потом наверстаешь, а пока чтобы выучил назубок американку, слышишь, чтобы назубок к следующему разу, а не то морду разобью — у меня это просто. Обними меня, друг сердечный»,— неожиданно прибавил Иван Нестерович, размякнув на морозе, и они крепко расцеловались.

В этот чудный вечер произошло еще одно необыкновенное обстоятельство. В «Аквариуме» была масса народу, масса хорошеньких дамочек, и у Назара Назаровича, большого любителя на этот счет, прямо разбегались глаза. Но разбегались они, только пока он не заметил дамочку, сидевшую около зеркала, направо. Увидев эту дамочку, глаза Назара Назаровича остановились. Музыка играла, но Назар Назарович больше не слушал музыки. Иван Нестерович рассказывал армянский анекдот — но Назар Назарович не слушал армянского анекдота. Он глядел на дамочку, сидевшую у зеркала, и чувствовал страх, восторг, удивление. Она была вся одета в какие-то белые перья и сама была похожа на белое легонькое перо: подуешь — улетит. Сквозь шум и музыку Назар Назарович слышал, как она смеялась легоньким серебристым смехом, и смех этот хватал Назара Назаровича прямо за сердце. Сквозь радужный туман, застилавший воздух, ясно были видны только ее легонькие бровки над белым, как у куклы, личиком, и эти бровки и личико до боли

хватали Назара Назаровича за сердце. Назар Назарович глядел на дамочку у зеркала, ошалев, не отрываясь. Вдруг ему стало не по себе, томно, грустно. Таких женщин он еще не видал, такие женщины не встречались на улицах, не ходили по Невскому, по Пассажу или по Большой Морской. Они жили на набережной, в дворцах с оранжереями, ездили ко двору и питались блюдами вроде рыбного бляманже, только еще непонятней. Завести знакомство с ними было для него, Назара Назаровича, невозможно, было все равно, как слетать на луну. Даже если он заработает миллион и превзойдет Ивана Нестеровича в тройном вольте, все-таки было невозможно. Дамочка у зеркала смеялась серебряным тоненьким смехом, перья на ней покачивались, она подымала тоненькие бровки, смотрелась в зеркало, охорашиваясь, и Назару Назаровичу становилось все грустней, безнадежней, хотелось плакать.

Тут произошло самое необыкновенное в этом необыкновенном, чудном вечере. Кавалер дамочки в перьях, сидевший к Назару Назаровичу спиной, подозвал лакея и, говоря ему что-то, повернулся в профиль. Кавалер этот был не великий князь или сенатор, как можно было предположить. Кавалер этот — Назар Назарович сейчас же его узнал — был Борис Николаевич Юрьев, свой человек, наводчик, прощелыга, желавший (не на такого напал) надуть его у Штальберга при дележке.

. . . .

. . . .

Через коридор, из ванной, время от времени слышался легкий глухой звук: из плохо завинченного крана капала вода. Этот легкий изводящий звук мешал Юрьеву спать. Он поворачивался с боку на бок, закрывал голову подушкой, но и сквозь подушку слышалось проклятое капанье. Отвратительнее всего была его равномерность. В промежутке между двумя каплями было ровно сорок четыре удара — сорок четыре удара

сердца, отдававшихся в левом ухе четко, как тиканье часов.

Юрьев сквозь дремоту понимал, что надо встать и завинтить кран, и мучение прекратится, но это представлялось ему таким сложным, громоздким, трудно выполнимым делом, что он все откладывал его. Может быть, удастся уснуть и так, не вставая, не зажигая света, не выходя в коридор. Может быть, капля, только что звякнувшая, была последней. Ах, не надо прислушиваться, не надо считать, надо думать о другом, воображать что-нибудь...

Юрьев старался представить Петергоф, где он жил летом: вот Заячий Ремиз, вот пруд. Я иду мимо дачи Шуваловых и сворачиваю к Розовому Павильону... Но сердце продолжало отстукивать удары, и на сорок четвертом по-прежнему с глухим звяканьем обрывалась капля. И голова, точно нарочно, отказывалась представить то, о чем Юрьев думал,— ни пруда, ни дачи никак нельзя было вообразить, и вместо Розового Павильона расплывалось и беспомощно таяло бесформенное, даже и не розовое пятно. Зато, неизвестно откуда взявшись, вдруг мелькал лакированный прилавок Фейка: красно-золотые сигарные пояски, плоские ящики, усы и мундиры южноамериканских генералов, тут же рассыпавшиеся на войско живчиков — серых, рыжих, бесцветных. Они мчались куда-то с невероятной быстротой, их были тысячи, миллионы, миллиарды... Потом пропадали и они, и Юрьев видел все то же, все то же. Это был кусок земли, обыкновенный кусок пустыря или поля. На нем росла трава и какие-то кустики, он был неярко освещен серым холодным светом, светом сумерек или раннего утра. Этот серый свет проникал и в толщу земли. Так же холодно, ровно и неярко он освещал чахлые корни кустов, расползающиеся в почве, извилистый лабиринт, прорытый кротом, какие-то камни, комья... Серый, ровный, холодный, он проходил и сквозь доски гроба. Доски, должно быть, все-таки задерживали его. Надо было долго, пристально вглядываться, чтобы в расползающихся, как на испорченной фотографии, чертах лежащей в гробу узнать черты Золотовой.

РАССКАЗЫ

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПОКОЙНИКИ

1

Косые лучи утреннего июльского солнца, проникая в окна столовой, играли на старинной мебели карельской березы и на свежевыкрашенном полу. «Пан маршалк» — т. е. становой пристав, тучный и лысый, в синем офицерском, без погон, сюртуке — шагал по комнате, прихлебывая из стеклянной кружки золотистый мед. Вид у него был самый благодушный. Вдруг в открытые окна, откуда до сих пор доносились лишь шум листвы и птичье чириканье, полились дробные удары костельного колокола. Пристав остановился, побагровел и жирным, несколько охриплым голосом сердито закричал:

— Михайлов!

Тотчас послышался топот подкованных солдатских сапог, дверь отворилась и — руки по швам — застыл на пороге рослый молодой солдат с лихо закрученными усами:

— Чего изволите-с?

— «Чего изволите», «чего изволите» — попугай, эфиоп, рожа неумытая,— раскричался становой.— Не знаешь будто, чего изволю! Что они, с ума посходили — каждый день хоронят и хоронят. Так у меня в полгода весь уезд вымрет. А ты тоже хорош — мои приказания исполнил? На базаре был? Деревни объезжал? Небось, окажется у нас эпидемия какая-нибудь? Не с тебя, с пристава спрашивать будут, пристав, скажут, недосмотрел. Ну что стоишь, глазами хлопаешь — по-русски спрашиваю — отвечай — узнал что?

Переведя взор с начальника на часы с кукушкой, висевшие на стене, и кашлянув, Семен заговорил:

— Так что, ваше благородие, были мы с Сидорчуком в Мишканцах, в Леляканцах, Алотонке,— посыпал

он названиями деревень и местечек,— совсем не видно, чтобы много народу умирало. Записано у меня,— он вытащил из-за голенища обрывок синей засаленной бумажки,— с весны в Еленишках умерли пастух Ясь, жена работника и трактирщика сын маленький, круп схватил. В Гавришках...

— Да убирайся ты со своими Гавришками,— прервал его пристав, залпом выпив полкружки доброго польского меда,— что мне толку в твоем пастухе. Есть эмидемия? Говори!

— Эпидемии по всем видимым причинам никак нет,— ответствовал урядник.

Пристав грузно сел в кресло, потом поднялся и тяжелым шагом прошелся к окну, что-то бормоча. Отогнувшаяся фалда сюртука обнажила желтый ремешок брюк и какую-то тесемочку, свисавшую из приставского кармана. Задумчиво он провел несколько раз пальцем по стеклу и вдруг, топнув ногой, так что фалда сразу приняла надлежащее положение, повернулся на каблуках.

— Как ты себе, братец, хочешь,— загрохотал бас «пана маршалка»,— но должен я досконально знать, почему столь неумеренно мрут люди вверенного мне уезда. Я тебя в урядники вывел, я тебя и разжаловать могу — так смотри.— И, помолчав, добавил: — Ступай — завтра обо всем доложишь.

2

Дверь ксендзовского дома отворилась, и из нее выбежала миловидная девушка в крестьянском платье с раскрасневшимся лицом и слезами на глазах. За ней показалась толстая ксендзовская экономка в руках с разбитым графином. «Ото шельма, ото паскуда!» — шепелявила она, брызгая слюнями. И видя, что девушку ей не догнать, она в сердцах запустила в нее разбитым графином и скрылась обратно в доме, хлопнув дверью.

Девушка же, плача, опустилась на садовую скамейку.

В это время в кабинете ксендза происходило какое-то совещание. В кресле спиной к окну сидел приехавший недавно гость — граф Яглонский. Сам ксендз шагал из угла в угол, изредка останавливаясь около письменного стола и читая вслух какие-то записки. Разговор шел вполголоса, шторы были предусмотрительно опущены, двери плотно закрыты. Совещавшиеся и не подозревали, что пара зорких глаз следит за ними из соседней комнаты и уши «москаля», да еще полицейского, внимательно ловят каждое их слово. Наконец граф встал и простился с ксендзом. Оба пошли к выходу. «Так, значит, есть что хоронить», — сказал с усмешкой Яглонский, поворачиваясь на пороге. «Як же, як же, — отвечал ксендз, — но скоро уже и воскресение помаленьку начнется». И оба засмеялись.

Как же попал ретивый урядник Михайлов в ксендзовскую кладовую и почему так внимательно прислушивался он к тихому разговору ксендза и его гостя?

А вот что произошло. Когда плачущая Марина очутилась лицом к лицу с Михайловым, шедшим к костельному органисту («Может, у него узнаю, от какой хвори люди мрут», — думал он), первым желанием Марины было убежать. Но тотчас иное решение мелькнуло в ее русой головке, и, быстро смахнув слезы, она улыбнулась уряднику. Тот, считавший себя большим сердцеедом, лихо закрутил усы и хотел было щипнуть благосклонную красавицу, но Марина наклонилась к нему и, быстро-быстро что-то шепча, потащила его в ксендзовский сад, оглядываясь и оживленно жестикулируя.

Злая на экономку, сестру пробоща, в сердцах запустившую в нее графином, который она, Марина, нечаянно разбила, девушка выболтала уряднику обо всех подозрительных вещах, заметить которые ей удалось за год службы в ксендзовском доме. Михайлов узнал, что к ксендзу почти каждый день ездят разные «паны» и запираются с ним подолгу в кабинете. По ночам он

часто уходит пешком куда-то и возвращается лишь под утро.

Марина божилась, что, заглянув однажды в скважину ксендзовского кабинета, она видела, как ксендз считал деньги, много денег, может быть, на миллион «злотых». В заключение она предложила Михайлову провести его с заднего хода в смежную с кабинетом каморку. Пусть сам посмотрит и увидит, что она не лжет.

Урядник колебался, верить ли словам обозленной девчонки (еще на историю нарвешься!), но любопытство взяло верх, и то, что услышал и увидел он, сидя в своей засаде, показалось ему подозрительным. Правда, никакого золота ксендз не считал и сабли («огромнейшей», описывала ее Марина) из комода не вытаскивал, но таинственность обстановки и многие фразы, долетавшие до его ушей, смутили урядника. Когда он тем же ходом выбрался обратно на двор, его лицо (насколько позволяла эта широкая «сияющая» физиономия) выражало крайнюю озабоченность. Наказав Марине никому не болтать, он быстрым шагом направился к становой квартире.

3

День кончился для Марины как обыкновенно. Подавала ужин, доила коров и, наконец, часу в двенадцатом улеглась на своем узком тюфяке в людской.

Заснула она сейчас же, но сны, посетившие ее, были не похожи на обычные. Казалось девушке, что идет она по сжатому полю. Больно босым ногам, и свет ослепительный жжет и мучит. И вдруг — темно, как осенней ночью, стоит она по грудь в воде. Плещут волны, все выше подымаются, сейчас смоют Марину и захлебнется она в холодной зыбучей влаге. И сразу как-то не стало ни волн, ни шума — тихо, как на рассвете, полилось сияние синее — и увидела Марина перед собой Богоматерь. Святая дева была,как на иконе,

в синем плаще и белой одежде, в раскрытой груди пылало красное сердце, только глаза у нее были не спокойные, как рисуют, а скорбные и бездонные. Девушка упала ниц и слышала над собой голос — ласковый и печальный.

— Марина, Марина, что ты сделала, погубила ты «и себя и Польшу».

Тут затрубили трубы жалобные-жалобные, детские голоса запели реквием, и неведомая сила подняла с земли Марину. Богоматери уже не было. В небе чернела виселица, и в висельнике узнала она покойного своего отца. Дико закричала девушка и проснулась. Розовая заря сияла в окошко — Марина проспала рассвет. Ксендз, уже чисто выбритый и надушенный, несмотря на ранний час, снисходительно согласился выслушать исповедь девушки. Неслышным шагом вошел он в исповедальню. Следом за ним вошла Марина.

Несколько минут спустя ксендз выбежал из костела с лицом искаженным и бледным. «Лошадей!» — только и мог сказать он и упал в кресло в изнеможении. Опомнившись, он сказал, что лошадей запрягать не нужно, велел затопить печку. Разбитой походкой прошел к себе в кабинет и стал бросать в огонь какие-то бумаги. Потом, словно обо всем позабыв, вышел без шляпы в сад, машинально поднял совсем зеленое упавшее яблоко и стал его жевать. Мало-помалу лицо его стало принимать выражение твердой решимости. Отшвырнув яблоко, он вышел на двор и крикнул кучера.

Как стрела летел нарочный от ксендза в имение графа Яглонского. Граф еще лежал в постели, когда ему подали большой пакет с церковной печатью. Через полчаса граф с зеленым изменившимся лицом и небрежно, против обыкновения, одетый мчался уже на своей четверке — в местечко.

В середине костела стоял большой черный гроб. Свечи сияли в большой люстре. Редкие прихожане следили по молитвенникам за словами панихиды.

Граф Яглонский тоже глядел в сафьянный с золотым обрезом томик, сохраняя спокойный вид. Только жила, бившаяся у него на виске, выдавала его волнение. Замолк орган. Ксендз взошел на кафедру... Вдруг в костеле появились неожиданные посетители — пристав, урядник и солдаты.

Пристав потребовал открыть гроб. Ксендз протестовал. Тогда пристав махнул рукой, и солдаты бросились снимать крышку. Несколько ударов саблями — и она отскочила. Покойника в гробу не было — он был весь до краев полон черной землистой массой.

— Порох! — крикнул пристав.

Все шарахнулись. Мгновение длилось молчание, лишь ксендз рыдал, уронив голову на амвон. Вдруг граф Яглонский захохотал дико и хрипло. В протянутой руке он держал пистолет и целился прямо в середину гроба. Солдаты и пристав бросились к нему — но тотчас грянул выстрел, на который ответил громовой рев взрыва.

Следственная комиссия, приехавшая делать расследование, открыла на кладбище целый арсенал ружей, сабель, пороха — все это в гробах переносилось и складывалось в одной из каплиц. Следствие длилось недолго: главные виновники — ксендз и граф Яглонский — погибли под сводами костела вместе с приставом, урядником и шестью солдатами.

⟨1914⟩

МОНАСТЫРСКАЯ ЛИПА

I

Богослужение не начиналось, хотя церковь давно уже была полна. Время от времени румяный служка выбегал на паперть и, приложив ладони к глазам в защиту от солнца, глядел на далеко видную, березами обсаженную дорогу. Постояв минуту, он уходил, немного спустя возвращался снова.

Лейб-гвардии поручику, восемнадцатилетнему Алеше Кожевникову — только позавчера с разрешения государя Николая Павловича приехавшему на побывку в родные края,— ясно было, что кого-то ждут. Но кого? Хотя Алеша не был в родной Смоленской губернии почти шесть лет, память у него была хорошая, а в уезде мало что за это время изменилось. Все именитые дворяне были налицо. Вот в синем фраке и со звездой старик, тайный советник Сицкий. Вот герой Парижа генерал Андрианов в уланском с красной грудью мундире, с деревяшкой вместо ноги и на костыле. И Коншины, и Зобовы, и Иванницкие — все были на месте. «Неужели Балясного ждут,— подумал Алеша,— велика, подумаешь, персона!» Самое простое, разумеется, было спросить, кого ждут, но вышедший на паперть подышать Алеша стоял далеко от «благородного» места, а любопытствовать у мужика было дворянину неловко и неприлично. «Вот придет — так и узнаю»,— решил он. Действительно, вскоре маленький служка сорвался со своего наблюдательного пункта и с криком: «Едут, едут!» — бросился расталкивать мужиков. Те расступились, образуя широкий проход, очевидно, для знатного молельщика, чья карета четверней легко катилась по большой дороге. Карета быстро приближалась; уже видна была богатая сбруя, красные колеса и развевающиеся по ветру баки выезд-

ного лакея. Наконец резвые лошади остановились, лакей, соскочив с запяток, открыл дверцу с гербами и на ступеньках показалась прелестная красавица, совершенно незнакомая Алеше. Вслед за ней вышел пожилой высокий мужчина, вида сурового и надменного, с грубыми чертами не лишенного какой-то красоты лица. Он был одет по-кавказски — в черкеске и папахе. Шелестя шелком, красавица медленно прошла к притвору. Спутник ее, грузно ступая, последовал за ней, бросив слуге перчатки и казацкую нагайку, бывшую у него в руках.

— Кто это? — не утерпев, спросил Алеша, очарованный красотой дамы. Пожилой мужик, удивленно взглянув на офицера, не знавшего таких важных господ, с поклоном ответил:

— Курганов, милостивец. Князь Андрей Ильич и супруга ихняя — Марья Дмитриевна.

Алеша пожал плечами. «Ну, у отца расспрошу, какие Кургановы и откуда. А она чудо как хороша»,— думал он, идя вслед за высоким князем к «дворянскому», устланному ковром месту. Молящиеся за ними сомкнулись. Тотчас появился дьякон, и служба началась.

II

В цветном бухарском халате, с парчовой шапочкой на лысой макушке, Самсон Петрович Кожевников нисколько не выглядел больным и умирающим. «На одре дней моих нахожусь, чую мрак и хлад могильный, хочу пред тем обнять любезного нашего сына...» — так писал в Петербург Алеше старик отец.

Алексей Самсонович собрался тотчас (отца он крепко любил), гнал почтовых вовсю, думал, только бы застать батюшку в живых,— и приехал, а тот сидит на балконе, трубку курит да чай с вареньем пьет.

С Самсоном Петровичем, оказалось, точно приключился припадок, вроде удара — отеки на ногах до

сих пор еще не пропадали... Но живой старик, чуть полегчало, выбросил в окошко банки да мази, прогнал домашнего лекаря из опочивальни, взял ружье и отправился на охоту. Тем и кончились «одр и хлад могильный».

— Да,— восклицал тонко, как, бывало, командовал в Гатчине при императоре Павле, Самсон Петрович.— Да, Кургановы по богатству не нам с тобой чета. Пять тысяч душ, а угодья... И не сосчитаешь, угодьев-то. Говорят,— старик понизил голос,— конечно, не всякому слуху верь, только говорят, что он, Курганов, богатство свое украл. Где украл, как украл — неизвестно, а только — украл. Да и глядя на него, веришь — рожа у него, видел, какая разбойничья?

— Я, батюшка, признаться, не разглядел князя. Вот супруга его, та очень хороша.

Старик засвистал.

— Да, брат, женщина первый сорт. Только будь уверен — амуров с нею не заведешь. Строг Андрей Ильич, строг — и поделом.

Старик даже ногой топнул.

— Не суйся к чужой жене. Полгода нет, как Кургановы Бестужевку купили да здесь поселились, а влюбленных в нее, в Марью-то Дмитриевну,— сколько у нас молодых кобелей, столько и влюбленных. Теперь, как одного молодца — Синюхиной сына, знаешь, отстегал Андрей Ильич на конюшне,— пылу у них посбавилось, а до той поры все в освободители лезли. Вырвем, мол, голубку из лап Кащея — хи-хи,— засмеялся-заскрипел Самсон Петрович.— Вырвали, как бы не так! А и то сказать — вырвать и следовало бы от этакого мужа. Подлинно Кащеем он с ней обходится.

— Он дурно обходится с княгиней? — Алеша вспыхнул.— Как же?

— А по-разному. В погреб сажает, голодом морит, бьет нагайкой.

— Ее! Ее! Батюшка, не может этого быть!

Отец поглядел на него с усмешкой.

— Коли я, сударь, говорю, значит, так и есть. А ты, дружок, кипятиться на этот счет не думай. Мы

люди маленькие. Господин Курганов князь и богач — власти здешние перед ним мальчишки. Пойдем лучше в поле, поищем зайца,— прервал он сам себя и круто повернулся на каблуках к двери.

III

Не спокойным отдыхом на сельском лоне была неделя, проведенная Алексеем Самсоновичем в родной, с детства милой усадьбе, а бессменной тревогой и горячкой. Батюшка жаловался: «Что это, брат, приехал к отцу на побывку и вечно тебя дома нет. Куда только тебя верхом по вечерам носит! А сидишь дома, точно влюбленный — не слышишь, не видишь, брусничный квас в водочную рюмку льешь. Уж не влюбился ли в Марью Дмитриевну, не освобождать ли ее собрался?»

Старик шутил, но шуточная догадка была справедлива. Алеша без памяти влюбился в княгиню, только о ней и думал и точно — собирался ее освободить.

Две восковые свечи бросали из-под красных колпачков тусклый свет на овальное, с нежным румянцем, безусое Алешино лицо и на смуглую его руку, более привычную держать непокорный повод, чем гусиное перо, как теперь. Морща иногда лоб, останавливаясь, задумываясь и снова принимаясь за работу, Алеша писал:

«...ты видишь, любезный друг Борис, каких усилий стоило склонить проклятую девку быть мне помощницей в этом деле. Но, слава Богу, наконец она согласилась. Письмо, где всем красноречием и пылкостью, на которое способно неумелое перо мое, я заклинаю Марью Дмитриевну дать мне свидание, будет завтра доставлено ею ее госпоже. Сердце мое вдвойне трепещет — ужель откажет, ужель согласится. Отказа, мнится, я не переживу. При мысли о свидании обмираю и холодею, хотя с женщинами не новичок, чему

и ты свидетель. Прощай пока, друг Борис, от души тебя обнимаю. Как вскоре что случится, немедля тебе отпишу. А ты пиши, не было ли полку замечания от государя, какая у вас стоит погода (здесь благодать) и кто за какие провинности в отсутствие мое на гауптвахте сидел. Остаюсь твой

Алексей Кожевников».

IV

Духи «Королевский локон», которыми Алеша душил письмо не к товарищу, а другое, заветное, заадресованное: «Ее Сиятельству Марии Дмитриевне княгине Кургановой в собственные руки»,— излюбленные Алешины духи капнули и размазали чернила, так что пламенную цидулку пришлось переписывать вновь. Наконец трудная эта работа была кончена, Алеша бережно спрятал переписанное, запачканное письмо, скомкав, сунул в карман и, вскочив на полчаса тому назад оседланного Рыжика, поехал в Бестужевский лес. Здесь, у старой липы, звавшейся почему-то «монастырской», условлена была встреча с дворовой девкой Маланьей, взявшейся передать письмо княгине. Маланья его ждала.

— За ответом, сударь, пожалуйте сюда завтра вечерком в часу десятом. Будет ли вам от их сиятельства письмо или нет, а я свое дело сделаю и вам как и что доложу. Только вы, барин, не забудьте, что обещали.

— Ладно, ладно — вот тебе не в счет, чтобы старалась.— И Алеша бросил бабе целковый. Та, схватив монету, ловко поцеловала барскую руку и исчезла.

Обратно Алексей Самсонович нарочно поехал в объезд, чтобы проскакать мимо Кургановской усадьбы. С пригорка открылся ему огромный белый с колоннами дом, оранжерея и службы, столетние тополя и пышные цветники на берегу пруда, где черные и белые лебеди плескались и плавали в золотых отблесках заходящего солнца. «Здесь живет она»,— вздохнул

Алеша, и сердце его сладостно защемило. Помедлив минуту, он дал шпоры Рыжику и, не оборачиваясь, поскакал домой.

V

Круглая желтая, как дыня, луна отыскала в ставне множество щелей. Струйки света, точно медь, растекались по всем углам Алешиной комнаты и мешали спать. Поворочавшись с боку на бок, он наконец поднялся, зажег свечи и стал читать.

Охотником до чтения он никогда не был, но попавшийся ему роман, неизвестно чей (первый лист книги был вырван), заинтересовал Алешу. Неожиданно для себя он увлекся приключениями гордой Луизы и влюбленного в нее молодого Генриха и не заметил, как луна закатилась, звезды померкли, оплыли свечи и розовая заря позолотила стекла. Алеша поднял глаза, прищурился и удивленно улыбнулся. Впервые он проводил бессонную ночь так мечтательно и необычно. Поглядел на часы — было четыре. Не ложиться же обратно в постель. Вышел на двор, разбудил мужика и велел оседлать Рыжика.

Долго катался Алеша; когда вернулся, солнце, успевшее подняться высоко, ясно озаряло балкон, где за медным самоваром, в ватном халате и ермолке, благодушествовал уже Самсон Петрович.

— Раненько изволили встать, сударь,— встретил Алешу знакомый тонкий «гатчинский» басок.— Что, не спалось? Чай, блохи замучили? Ась?

Стадо пропылило по большой дороге; солнце зашло. Заветный час приближался. Алеша поторопился — не было еще и девяти, а он уже привязывал лошадь к одной из толстых, низко свисавших веток монастырской липы.

В лесу было совсем темно, сладко пахло смолой и влажным мохом. Чуть краснели, легко шурша, верхушки деревьев.

От нечего делать Алеша лег под липу. Слушая ровное биение своего сердца, незаметно он задремал.

Когда рука Маланьи коснулась его плеча и громкий шепот: «Барин, барин»,— заставил его проснуться, была ночь и луна ярко и пламенно заливала траву и ветки. Хитро улыбаясь, Маланья говорила:

— Пожалуйте, сударь, что обещали, а Марья Дмитриевна вас ждут — оне под липой...

Алеша быстро оглянулся, и точно — закутанная женская фигура светлела в тени дерева на фоне широкого черного ствола. Вскрикнув от радости, он бросил Маланье приготовленный кошелек и кинулся к молодой княгине. Сквозь густые ветки золото месяца озаряло нежные плечи Марьи Дмитриевны, тонкие, заметно дрожавшие ее руки и китайскую желтую шаль.

— Ужели правда вы тут, вы пришли? — шептал Алеша, покрывая холодные княгинины пальчики бесcчетными мелкими поцелуями.— Ужели все, о чем я мечтал, сбылось — Марья Дмитриевна, значит, вы согласны бежать со мной.

Молодая дама покачала головой.

— Нет, милый, безрассудство это. Супруга я не могу покинуть.

Алеша отшатнулся даже.

— Как, Марья Дмитриевна! Зачем же, если не хотите мне довериться, вы сюда пришли?

Княгиня повернула голову. Ровное сияние месяца залило бывшее дотоле в тени прекрасное ее лицо. Тихо она проговорила:

— Я не бежать с вами пришла, Алексей Самсонович. Я пришла сказать, что люблю вас.

Голова Алеши закружилась. Чтобы не упасть, он прислонился к дереву. Лицо княгини теперь было совсем близко. И вдруг легкие руки обвили его шею, горячие и чуть влажные полураскрытые губы прижались к его губам. «Милый, желанный,— шептала красавица,— хоть раз, хоть раз в жизни...»

— Барин, барин,— будила Алексея Самсоновича Маланья.

Тот привстал, недоумевая.

— Чего тебе?

Потерев глаза, Алеша все вспомнил, ухмыльнулся весело и стал искать глазами княгиню. Марьи Дмитриевны не было.

«Ах я, невежа,— подумал он, догадавшись, что заснул и княгиня выскользнула из его объятий, не желая будить.— Ну, что ж делать,— мелькнуло в сонном сознании,— завтра извинюсь». И, повернувшись, Алеша опять закрыл глаза, собираясь спать.

Тут Маланья снова стала его дергать.

— Барин, времени у меня нет, каждую минуту хватиться могут. Пожалуйте письмецо-то.

— Какое письмецо?

— Господи Боже, барин, нешто вы обеспамятовали. От княгини Кургановой, от их сиятельства.

— А княгиня где?

— Известно где — дома. Что это вы, сударь, чудное спрашиваете. Уж простите, что опоздала. Заминка у нас вышла. Вот письмо-то,— повторила она, протягивая Алеше вчетверо сложенную записку. И, помявшись, прибавила: — Должок с вашей милости получить позвольте.

Думая, что девка просит на чай, Алеша сунул руку за пояс и, к удивлению, кроме своего бисерного, нащупал другой кошелек, грубой кожи, с нарочно приготовленными десятью рублями. Он помнил отлично, что отдал этот кошелек Маланье. На поверку, однако, выходило иначе.

— Уразуметь не могу, разве,— обратился он к девке,— я не отдал тебе денег при княгине?

Маланья вдруг захныкала:

— Грех вам, барин, обижать меня, сироту казанскую.

— Да не реви ты!

Алеша бросил ей кошелек. Та мигом успокоилась.

— И с чего мне представилось,— отвечая на свои мысли, продолжал Алеша,— что я отдал его тебе при княгине?

Маланья глупо фыркнула и поцеловала, точно клюнула, барскую руку.

— Шутник барин. Да когда же вы меня при ее сиятельстве видели? Шутник барин! — И еще раз клюнув руку Алексею Самсоновичу, она убежала, сверкая голыми пятками при луне, оставив его с письмом в руках, полусонного и недоумевающего.

VI

«Государь милостивый, Алексей Самсонович, из уважения к почтенному Вашему батюшке и уверена будучи, что дерзость Ваша более от легкомыслия, чем от злого умысла происходит, не сообщаю о ней супругу моему. Покорно Вас прошу более тем меня не тревожить и к особе моей излишний интерес прекратить. А, не угодно Вам, так я как велят мне совесть и супружеский долг поступить вольна и супругу моему сообщить обо всем не замедлю...»

Вот что писала княгиня. Алеша ворошил русые свои волосы, бегал по горнице взад и вперед. Выходило, что встреча в лесу, признанье, объятья, все, что было, — привиделось Алеше во сне. Но еще губы его, словно чуть обожженные, хранили вкус ее поцелуев, еще от Алешиного мундира чуть слышно благоухало нежными и сладостными духами княгини. Тысячи мелочей предстали в его памяти, укрепляя уверенность, что не сон это, а прелестная явь. Но что же значило письмо княгини? Хитрость? Нежелание продолжать свиданья? Или что еще? Ну, а кошелек с десятью рублями, брошенными Маланье и оказавшийся потом за поясом! Но разве сновидения бывают так отчетливы и ясны? Впрочем, Алеше как-то и не хотелось разбираться во всем этом. Знакомое чувство, всегда овладевавшее им после легкой победы, было и теперь... Весь романтизм прошел, судьба несчастного Генриха сразу перестала интересовать. Думая об охоте, смотрах, будущих и бывших пирушках, чувствуя, как слав-

но и крепко сейчас он заснет, с удивлением вспоминал Алеша недавние свои мечтательные тревоги. Он задул свечку, закутался с головой и заснул тотчас же.

Когда на другое утро тряский, работы собственных рессорщиков, фаэтон завернул за горку и открылись белая церковь, кладбище и толкавшийся, по-воскресному одетый народ, странное чувство наполнило душу Алексея Самсоновича. Давно ли он пламенел и таял, рвался совершать подвиги и преодолевать опасности, теперь же ехал в церковь, движимый простым любопытством — еще раз взглянуть на княгиню. «По лицу увижу»,— думал он. Впрочем, в том, что княгиня приходила на свиданье, а письмо хитрость, Алеша не сомневался. Слава Богу, не мальчик! Гвардейскому ли поручику обмануться на этом деле. К обедне Алеша опоздал — когда фаэтон его подкатил к церкви, молящиеся только что начали расходиться. Хлынувшие широкой волной мужики раздались, уступая дорогу помещикам. Вслед за расталкивавшим народ служкой первыми шли Кургановы. При виде княгини прежнее волнение овладело Алешей. Она медленно шла, глядя вниз. Пристальным взглядом он следил, ища на лице княгини утомление или тревогу. Но нет. Ни тени у глаз, ни бледности не было на нем, прекрасном и свежем. И вдруг, словно почувствовав Алешин взгляд, Марья Дмитриевна подняла ресницы и закраснелась. «А, голубушка, выдала себя»,— подумал Алеша и тотчас же почувствовал на своем плече тяжелую чью-то руку. Отчетливо и глухо старый князь говорил:

— Полагаю, как дворянин вы не станете марать себя ложью и отказываться, что цидуля эта, найденная на дороге около моей усадьбы, писана вами. Не будем на пустые разговоры тратиться — завтра поутру будут у вас мои секунданты.

Князь возвысил голос:

— Марью Дмитриевну спасать вздумал! Мальчишка,— закричал он,— безусый!

Но тотчас же он сдержался. И совсем уже спокойно, надменно кивнул Алексею Самсоновичу,

прихрамывая ревматическою ногою, быстро пошел к своей карете.

Ошеломленный стоял Алеша, глядя ему вслед, комкая в руках измятую бумажку, где среди мелких с завитушками строк, расплывшись зеленоватым кружком, темнело пятнышко, сделанное попавшими на записку духами «Королевский локон».

VII

«...Ты знаешь, друг любезный, я не трус, рука моя не дрогнула бы, голова не закружилась. Перед поединком был я спокоен, спал отлично, встал поутру бодрый. Но едучи к месту сатисфакции, вдруг представил я свет событий, сплетенных вокруг моей судьбы. Представил и ужаснулся. И точно, с одной стороны, удача, препятствия мною одолеваются, красавица, в которую я влюбляюсь, снисходит на мои мольбы. С другой — все ложь, любовь — обман, ласки — сновидения. Письмо с объяснениями счастливо доходит по адресу, а измятый его черновик я теряю, и он попадает к супругу княгини! Ребячество, скажешь ты, но, когда я приехал и услышал от княжеского секунданта, что драться будем мы у «монастырской липы», именно там, где, бывшая или нет, произошла моя единственная с Марьей Дмитриевной встреча, мне ясно стало, что буду убит. Предчувствия бывают обманны, гласит мудрость, предчувствие меня обмануло. Я не убит, ранен лишь, в левую руку, через неделю, говорит лекарь, буду здоров. О княгине я стараюсь не думать. Казалось, я вовсе излечился от этой страсти и вот опять с томлением горьким и сладостным вспоминаю о ней. Но нет — это не возвратится! Как только оправлюсь, тотчас же уеду в любезную невскую столицу. Боюсь только, чтобы Государь не проведал о моей дуэли — а то нагорит...»

Устав писать, Алексей Самсонович встал и подошел к окну.

За последние дни он побледнел немного, у глаз были легкие круги, рука висела на черной перевязи. За окном ясный осенний день клонился к закату. Распахнув створки, Алеша жадно вдохнул свежего, пахнущего сеном воздуха и подумал: «Через неделю я уеду...»

⟨1915⟩

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

1

Третий раз Аграфена Марковна, известная до губернского города и дальше гадалка, раскладывала карты, и все выходило — Алексею Владимировичу потеря, Машеньке Орловой хлопоты, а Лизаньке — дальняя дорога.

Правда, время было к осени, но Иван Ильич Королев — Лизанькин отец — крепко-накрепко объявил дочери и племяннице, что в Москву этой зимой они не поедут.

Слава Богу — два года мотались в Москве, а что толку? Жениха где сыскала, на тамошних балах, что ли?

При упоминании о женихе Лизанька каждый раз потуплялась и краснела. Всего третий месяц была она обручена с Алешей Званцевым, имя невесты все еще было ей внове. И радостно, и стыдно было, и страшно чего-то. Со Званцевым познакомилась она год назад на балу у предводителя и не обратила на него внимания, а теперь он, светлоглазый, с коротко подстриженными русыми волосами и свежим, как у девушки, румянцем, был таким родным и желанным. Алексей Владимирович служил в гвардии, но «на предмет устроения домашних дел» находился уже третий месяц в отпуску, хотя дела, если и устраивал, то разве сердечные, постоянно покидая родное сельцо для милого его сердцу десятиверстного соседства.

2

Восковая свеча под колпачком цвета «Трех Императоров» (каковой был так назван сорок лет назад в честь

славных победителей славного корсиканца) — бросала свой голубовато-желтый отблеск на красную, с тоненькой полоской меди крышку откидного бюро, на розовый с голубком листок бумаги и Лизанькину слабую и по-детски тонкую руку. Пока не позовут к ужину, Лизанька торопилась дописать ответ самой верной и любимой своей подруге, смолянке княжне Полине.

Задумается на минуту, вздохнет, перечтет написанное и с новым жаром принимается Лизанька за письмо.

«...ты видишь, ангел Полина, что вряд ли придется нам до свадьбы свидеться. Батюшка добр, но если что заберет в голову — никак и ничем его не переспоришь. Спасибо за книжки. «Послания к молодой девушке» исполнены чувствительной прелести, но всего больше понравился мне Байронов Чайльд-Гарольд. Вот в кого можно бы влюбиться. Но что я пишу, глупая,— мой Алеша (вот ты увидишь, увидишь) всех краше и всех милее. Ах, Полина, друг мой, как бы мне хотелось тебя обнять, поцеловать крепко, рассказать обо всем, чего в письме не скажешь. Подумай ведь, я теперь невеста, на святки приеду в Москву домой, буду делать что захочу: что захочу... А помнишь Петю Колесникова, пажа,— какой смешной был. Я его в гости к себе позову...»

— Ужинать, барышня, пожалуйте,— просунулась в дверь «буфетная» Таня.

Нечего делать — придется письмо отложить. Лизанька захлопнула бюро, задула одну свечу, вдруг — передумала, снова зажгла и переставила обе на туалет, где овальное зеркало красного дерева важно поддерживали два жирных с длинными гривами и закрученными хвостами льва.

Нельзя было дать восемнадцать лет, назвать взрослой барышней и невестой черноглазую и черноволосую девочку, в желтом с синими цветочками, легком и широком кисейном платье, отраженную важным и тусклым старинным зеркалом. Лизанька поправила волосы, обдернула рукава, сделала сама себе книксен и побежала в столовую, откуда далеко

слышные неслись уже голоса споривших о сельском хозяйстве управляющего и Ивана Ильича.

«Быстро катится восхитительное колесо жизни, одним несет оно счастье, другим скорбь, иным — сон могильный. Мнишь — злаченая Купидонова стрела летит к тебе в сердце, улыбается смертный, а уж коса жестокой веет над твоей головой. Наша жизнь не тлен ли, не земной ли прах наша радость.»

Лизанька подняла глаза от маленькой, пухлой, в кожу переплетенной книжки, поглядела в окно, вздохнула. Книжка старая, глупая, а ведь правда, разве знаем мы, что нас ожидает?

В окне, за палисадником в желтых и красных поздних розах, виднелась дорога, дальше пруд, тополя, стадо на том берегу. И такое веселое солнце светило над всем этим, что сразу прошла грусть, счастье пронзило сердце. И вдруг забилось оно быстро, сладко затрепетало.

— Лизанька! — звал Алеша из сада,— а, Лизанька... Поедем верхом кататься.

3

Алешин Рыжий шел ровной небыстрой рысью, только иногда оглядываясь и поводя ушами, точно говоря: «Дай мне волю — как стрела помчу...» Но Алеша воли не давал — Лизанька ездить была не мастерица и порядочно трусила даже на смирном, маленьком своем Чингис-Хане. От сжатых полей веяло сладким покоем, чуть желтел придорожный, вторично выкошенный, дерн, клены, едва начавшие багроветь, казались редко усеянными красными и золочеными цветами.

— Слушайте, Лизанька.

— Да?

— Вот,— Алексей Владимирович словно собирался с мыслями,— простите, но одно иногда меня смущает. Я люблю вас, любим вами, мы молоды оба, здоровы, все нам сулит счастье. Но представьте себе, что

объявили войну и меня ранят, оторвут ногу или вот я сейчас упаду с лошади и меня искалечит. Или я ослепну. Лизанька, будете ли вы меня любить?

— Не надо, милый, стыдно так говорить, мне страшно.

— Так ведь того ничего нет, Лиза, что ж бояться?

— Мне страшно. Но, Алеша, конечно, буду, что бы с вами ни случилось, всю жизнь.

Он обнял ее и поцеловал в губы.

— Девочка моя милая, правда, будешь?! А уж я-то тебя никогда не брошу.

Лизанька высвободилась чуть-чуть.

— Но скажи, ты ведь это так, тебе ничего не грозит?

Он только крепче прижал ее к себе, такой сильный, молодой, родной, что сразу, точно от налетевшего ветра, разлетелись все Лизанькины опасения.

4

Управляющий Созонт
Подпирает горизонт,
Он конюшни очищал,
Нам салату обещал.

Пели — Лизанька, Машенька, Алеша, даже Иван Ильич, даже старая тетя Аглая. Созонт Созонтович, добродушный толстяк, был прозван очистителем авгиевых конюшен за не особенную свою чистоплотность. Куплеты, сложенные о нем сообща всеми обитателями Волынкиной усадьбы, были не слишком складны, зато исполнены злободневной остроты. В них вспоминались, кроме сгнившего в парниках салата, и лошадь, которая понесла Созонта, и пугавшие его до смерти летучие мыши, даже бабушка его с материнской стороны, носившая странное имя Иулитты Поликарповны. Нисколько не смутившись песней, которой встретило его собравшееся для обеда на террасе общество, Созонт Созонтович крякнул, отер лоб и загудел раскатисто: хма-а!

— Хма-а, матушки мои, поработали б вы, как Созонт работает, мозоли б понатерли. Прямо не управишься — и тут глаз нужен и там. Народ нынче вороватый и бестолковый пошел — беда. Прихожу я это вчера в амбар — вижу, складывают молодцы наши мешки. Спрашиваю, сколько мешков сложили — только глазами хлопают, незнамо. Складывают, а счесть забыли — полдня — к черту...

Уже обносили сладкое, когда не устававший есть и болтливый Созонт Созонтович вдруг хлопнул себя по лбу: «Батюшки светы, едва не забыл. От предводителя малый приезжал — вам, Иван Ильич, письмецо».

Медленно глава семейства надел очки, разорвал толстый с гербом конверт. Когда же он огласил содержание письма, Лизанька, Машенька и Алексей Владимирович радостно захлопали.

Бал у предводителя большое событие в уезде, а это было приглашение именно на такой бал. И, не кончив сладкого (а был воздушный пирог со сливками), кузины побежали разбирать свой гардероб и советоваться с домашней портнихой.

5

О ясные вечера, светлые, как янтарь, теплые, еще веющие запахом меда и хлеба. Но уже в сладкий запах полей вошел неслышно аромат сентября, поздних цветов, сырых туманов, холодеющего солнца.

Давно отужинали, и ночной сторож уже успел уснуть, обходя усадьбу, и не стучал больше, когда Лизанька, кутаясь в белый пуховый платок, вышла на крыльцо поглядеть на косую, ядовито-желтую луну и помечтать.

Тихо было. Старые липы шуршали едва-едва, и, казалось, слышно было, как плывет месяц темно-голубой пустыней. Долго ли сидела так Лизанька — но вдруг почувствовала, что не одна она на балконе. Оглянулась — рядом с ней стоял Вася, ее брат, семи-

летний мальчик. Испугалась Лизанька — и сама не знает, чего ей страшно и зачем братик в одной рубашке стоит и смотрит на нее так долго и грустно. Надо что-то вспомнить — да что? Сердце холодеет, луна плывет низко-низко желтая, ясная. А братик все глядит молча, в тонкой детской рубашке до колен и ножки босые, желтые, прозрачные, и словно насквозь через них луна светит. И вдруг потемнело словно Васино лицо, очи-свечечки потухли, вытянулся братик, уж не он это, а страшный прадед, чей портрет висит в проходной. Седые усы, синий мундир, анненская звезда на груди. Глазами (словно уголья в жарко закрытой печке) ворочает и словно смеется гадкой мертвой улыбкой. Вскрикнула Лизанька, отшатнулась — ан сидит она на балконе, кругом никого нет, только луна плывет да листья шепчут. Тут вспомнила она, чего не могла вспомнить во сне,— десять лет прошло, как похоронили Васю, умершего где-то далеко от странной и таинственной болезни. «Это от луны»,— подумала Лизанька и нарочно спокойно, чтобы не распускаться, пошла в комнаты, не оглядываясь. Но ей чудилось, что с балкона, прижавшись лицом к стеклянной двери, смотрит ей вслед мертвый братик, и луна просвечивает через его восковое тело.

6

Лизанька была последние дни смутна как-то — не весела, не печальна, побледнела немного, иногда беспричинно вздыхала, сама не зная, что ее томит, тем не менее хлопотала она усердно над платьем — предводительский бал был не за горами. И платье вышло чудесное.

Когда вся в белом, в тяжелом желтоватом старинном кружеве работы крепостных искусниц, с серой жемчужной ниткой на шее выбежала она в диванную, сознающая свою прелесть, улыбающаяся и розовая, и притворно-разочарованно сказала: «А платье вышло

совсем не так, как я хотела»,— все домашние только улыбнулись, а Алеша почувствовал, как забилось его сердце быстро и сладко и так знакомо.

Наконец наступил и долгожданный день предводительского бала. С семи вечера коляска и карета стояли у крыльца — в половине десятого, наконец, все уселись. Езды до предводительской усадьбы хорошими лошадьми было не более часу.

7

Вид на «Золотые пруды», усадьбу Хмыровых, открывался еще за три версты. И в начинающем тускнеть прозрачном воздухе казалось пышным дворцом белое двухэтажное здание с круглой колоннадой, парком, тремя светлыми пятнами прудов и стеклами оранжерей. И над всем этим пламенело сладостно и тревожно янтарно-красно-лиловое закатное небо.

Легко катилась коляска по укатанной дороге, чуть шурша, чуть качая. Все Лизанькины спутники, точно сговорившись, молчали, и ей казалось, что она не простая дворяночка, а принцесса, едущая с женихом на блестящий королевский бал.

Кучер повернул лошадей в обсаженную пирамидальными тополями аллею, ведущую к дому Хмыровых.

Съезд уже давно начался. Более двух десятков экипажей стояло, подкатывало и отъезжало у высокого крыльца, где два лакея в фантастических сине-серых ливреях держали фонари и гостеприимно улыбался сам хозяин, розовый, толстый, гладко выбритый господин.

8

Гулкая военная музыка, звяк шпор, шум, гул, томные взгляды в упор залихватских военных и штатских щеголей, сладкий запах модного тогда пачули — нежно

кружили голову. Танцевали кадриль, польский, лянсье, еще и еще что-то. Лизанька кружилась без устали. Последним ее кавалером был толстый и неуклюжий студент-медик, круглолицый и смешной, сын богатого помещика Незванова. Фрак на нем сидел, что седло на корове, брыжжи топырились, пахло от него как-то невкусно, вовсе уж не пачули,— не то потом, не то дегтем. Лизаньке он очень не нравился, тем более, что при совершенной скромности на слова и движения (талию Лизаньки он держал одним пальцем, так что ей приходилось самой удерживать равновесие, чтобы не выскользнуть из объятий неловкого кавалера, к тому же молчаливого донельзя), он не стеснялся бесцеремонно заглядывать Лизаньке за декольте, очень ее смущая. Наконец утомленная танцами Лизанька захотела отдохнуть. Неуклюжий кавалер повел ее к креслу.

— Ах, я устала,— воскликнула она, садясь.— Как жарко! и хочется пить.

— Да, жарко,— согласился студент.

«Вот увалень»,— подумала Лизанька и потом, улыбнувшись, как она думала, очень язвительно и тонко, обратилась к нему:

— Может быть, вы принесете мне что-нибудь выпить?

Спохватившись, студент вскочил и побежал в буфетную. Когда он пять минут спустя вернулся в сопровождении лакея, несшего на подносе фрукты, мороженое, вино, конфеты, лимонад, словом все, что было в буфете, Лизанька уже весело болтала с Костей Анненковым, молодым гвардейцем, довольная, что отделалась от скучного и нелепого кавалера. Предложив принесенные сласти и получив холодное «мерси», последний ретировался. Но, болтая с корнетом, Лизанька вдруг заметила, что толстый Незванов стоит сзади и пристально смотрит ей за вырез платья. Краска залила ей лицо, негодуя, она встала и быстро перешла в другой конец зала.

Быстро, вся в слезах, Лизанька жаловалась отцу и жениху:

— Я не знаю, что нужно этому нахалу. Я ушла от него, обернулась, он опять стоит сзади и смотрит! Это уже гадость, гадость! Скажите ему, как он смеет!

Алексей Владимирович, очень резко потребовавший от толстого студента объяснения, был изумлен, когда тот обрадовался этому.

— Пойдемте в боковую гостиную,— сказал он,— я сам бы хотел с вами поговорить.

Объяснение было довольно долгим. Через лакея был вызван в боковую гостиную и Иван Ильич.

Вышли все трое из нее мирно. Старый Королев, подойдя к Лизаньке, криво как-то улыбаясь, сказал, что все происшедшее — недоразумение, что Незванов скромный молодой человек, он косит, и благодаря этому Лизаньке все показалось.

Алексей же Владимирович, спешно с нею простившись, сказал, что у него есть спешное дело, про которое он совсем позабыл, и уехал с бала.

Вскоре Лизанька успокоилась. Она танцевала без устали. Ей только жалко было, что Алеши нет, но все кругом были такие милые, веселые, блестящие... Толстый Незванов перестал попадаться ей на глаза, словно совсем исчез куда-то...

9

— У тебя дурной вид, Лизанька, я вчера еще на балу это заметил.

— Что вы, папа, я совсем здорова.

— Нет, нет, вон и бледна ты, и под глазами круги, если ничего нет, тем лучше, а все-таки сегодня Алексей из города доктора привезет.

Лизанька надула губки.

— И пусть привозит доктора, пусть, пусть, пусть... А я этому доктору язык покажу и дураком его выбраню.

Но когда подкатила к подъезду коляска и старый морщинистый бритый доктор в сопровождении Алеши вошел в комнату и прогнусавил важно:

— А ну-ка, барышня, позвольте вас поглядеть,— Лизанька не только не показала языка, но почувствовала, как сжалось ее сердце от стыда и страха.

10

Третий раз слуга докладывал «лошади поданы», уже более получаса ожидала у ворот почтовая тройка, чтобы, звеня бубенцами, умчать Алексея Владимировича вдаль по большой дороге, а он все сидел, не в силах оторваться от серого газетного листа.

«Можно себе представить,— так кончалась заметка,— ужас жениха, отца, самой невесты, когда медицина произнесла над ней свой неумолимый приговор.

Как известно, проказа неизлечима. По-видимому, мы имеем здесь дело со страшным наследственным предрасположением: прадед несчастной девушки и ее рано умерший брат страдали этой болезнью.

Студент Н., обративший внимание родных на едва заметные следы проказы, специально занимался ею и написал о ней ученую диссертацию...»

Алеша читал, и ему казалось, что это сон, страшный кошмар, стоит проснуться — и ничего не станет. Но явственно чернели газетные строки, шумели деревья за окном, позвякивали бубенцы переступавших с ноги на ногу лошадей. И синее в легких облаках небо было ясным и светлым, как тогда, весной, когда впервые он посмел поцеловать Лизаньку в свежие, покорные, полураскрытые губы.

⟨*1916*⟩

ЧЕРНАЯ КАРЕТА

1

Неужели все кончено, Маша?

Он был жалок в своей запыленной визитке, измятой рубашке, галстуке, съехавшем набок. Еще минуту назад она не верила, что это — правда. Он целовал руки Марьи Сергеевны, ее колени, ее хрустящее, пахнущее ирисом платье. Но случайно заглянув в ее лицо, он вдруг понял все. Брезгливая жалость и скука были в этом лице, улыбавшемся когда-то ему с нежностью и любовью. Валентину Валентиновичу стало стыдно своей слабости. Он неловко встал, поправил волосы, попробовал улыбнуться.

— Ну, сядьте, милый, ну, успокойтесь,— говорила Марья Сергеевна, положив ему руки на плечи и с безграничной ласковостью заглядывая в глаза.— Чего вы от меня требуете, посудите сами. Разве я не любила вас? И разве вам было худо со мной, ну хотя бы в Павловске, летом... (Валентин Валентинович только вздрогнул при этих словах.) Но теперь, я не знаю почему — разве в любви мы что-нибудь, когда-нибудь знаем,— я больше не хочу этого. Я вас по-прежнему ценю, милый, но...

«Зачем, зачем она говорит все это»,— думал тоскливо Лаленков, не слушая больше ласково-беспощадной ее болтовни. А женщина продолжала говорить вкрадчиво и тихо; чуть слышно пахли белые туберозы в узком бокале бакарра, и треугольник вечернего солнца медленно тускнел на затянутом светло-синим сукном полу.

2

Валентин Лаленков был поэт не очень плохой — не очень хороший. Двадцати лет он «подавал надежды» — теперь, двадцати четырех, писал не хуже и не лучше, чем четыре года назад. Хотя он не любил разные атрибуты «вдохновенных натур» — длинные волосы, бархатные куртки, житье на седьмом этаже,— но как-то сама собой его наружность имела некий поэтический пошиб, несмотря на пробор, жакет и цилиндр, а может быть, и благодаря им. И жил он хотя всего только на четвертом этаже, но в два окна его комнаты видны были крыши и трубы, шныряющие коты и над всем этим чахлые петроградские облака. Комната была холодная, и он с утра зябнул над керосиновой печкой в калошах и в летнем пальто. У Лаленкова никаких доходов, кроме скудных гонораров, не было, и часто ему приходилось обедать через день в кухмистерской, зато от него всегда пахло отличными английскими духами, всегда на нем было безукоризненно свежее белье. Но на башмаках нередко красовались заплаты и визитка давно порыжела по краям. На это не хватало денег.

С Марьей Сергеевной он познакомился весной на вечере у знаменитого писателя. Наполовину актриса, наполовину светская женщина — Борисова очаровала его. Этот длившийся полгода роман казался серьезным Марье Сергеевне, но мало-помалу она начала им тяготиться. Лаленков, конечно, был красив, был умен и тонок, но его слабость, неврастения, нытье, старая визитка — незаметные сначала — мало-помалу стали Марье Сергеевне несносны. Но, видя его все возраставшую страсть и любовь, она все откладывала свои объяснения. Наконец решилась.

Это был страшный удар — неожиданный и невозможный!

Конечно, надо было быть мужчиной, взять себя в руки, попробовать влюбиться в какую-нибудь хорошенькую модистку, и все бы прошло. Но

Лаленков ничего этого не сделал. Он третий день не выходил из дому, писал нелепые стихи, рвал их и жадно курил папиросу за папиросой.

Синие клубы дыма густо плавали по комнате, печка попыхивала и все сильней начинала пахнуть гарью — это значило, что дневная порция керосина приходит к концу. Лаленков бросил папиросу, откинулся на стуле и поглядел на часы. Было половина четвертого.

Он медленно встал, пристегнул воротник и повязал галстук. Раскрыл бумажник. Три рублевых грязных бумажки лежали там и новенькая сторублевка. Лаленков взял ее в руки и горько улыбнулся. Еще одно воспоминание о Марье Сергеевне!

Это была поддельная сторублевка, отпечатанная только с одной стороны. На другой красовался прейскурант известной шоколадной фабрики. Сторублевка эта была приклеена к безвкусной бонбоньерке, изображавшей несгораемую шкатулку. Это было одно из «павловских» воспоминаний. Порвать ее? Нет, пусть лежит!

Лаленков захлопнул бумажник и надел пальто. Через минуту он был на улице. Странно было идти ночью по невскому льду. Днем была декабрьская оттепель, и легкий, чуть морозный ветер напоминал весну. Выходя из дому, Валентин Валентинович не знал, куда идти. Теперь он вспомнил, что открыты ночные чайные, где извозчики и сенные торговцы, разные беспаспортные и мелкие жулики при свете газа пьют пахнущий содой и мылом чай из пестро раскрашенных кузнецовских чашек.

«Хорошо бы взять извозчика, до Сенной далеко. Нет, денег жалко!..»

Куранты тихо и жалобно играли четыре.

3

«Ягода» состояла из трех комнат. Первая, полукруглая, с буфетом, где среди опрокинутых чашек, наваленных грудой булок и двух синих, одна с лимонами, другая с папиросами, ваз глядело плутоватое лицо хозяина-ярославца; вторая — проходная и неуютная; и третья, называвшаяся «занавеской». Эта и была самою главною.

В первых двух комнатах сидели люди солидные — зеленщики, извозчики, старикашки какие-то, пившие чай с блюдечка до седьмого пота и после долго крестившиеся на запыленные, мерцавшие в углу образа. В «занавеске» образа не было и шапок снимать не полагалось. Народ, толпившийся в ней, был самый непутевый.

Тускло мерцал газ, делая лица мертвенно-зелеными; дым от дрянных папирос был так густ, что трудно было дышать. Лаленков вошел, отыскал место в углу и заказал чаю.

Платить надо было вперед. Раскрыв бумажник, он озябшими пальцами не сразу вытащил измятую рублевку. Бледнолицый и заспанный мальчишка-половой пристально как-то поглядел на Лаленкова. Но Лаленков этого не заметил.

Орган играл «На сопках Маньчжурии», дребезжа и фальшивя; Лаленков слушал, прихлебывая противный чай, и сердце его слабо щемило. Какие-то девицы в больших шляпках визжали уличную песенку. «Точно все это было,— думал Лаленков,— выдумано каким-нибудь художником, фантастом или поэтом... Ах, Маша...»

— Что, сударь, один сидишь? — проговорил голос хриплый, но приятный, и пристально глянули на Лаленкова светло-серые, дерзкие глаза. Говорившему было на вид лет двадцать; из-под мятого картуза

выбивались белокурые волосы. Одет он был в серое, очень потрепанное, пальто.

Валентин Валентинович смотрел на незнакомца, так неожиданно подсевшего к нему и вступившего в разговор, не зная, что отвечать. Тот, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Если вам, сударь, наше общество не по вкусу, как желаете — неволить не будем, а только видим мы, что сидите вы, господин, скучный, словно у вас горе или зазноба. Может, хотите размыкать и думаете — нечем? Так мы на этот самый счет... Или не желаете?

Лаленкову понравилось неожиданное и чуть-чуть жуткое предложение отправиться в какую-то еще неведомую ему чайную на Обводном, где вместо этого баловства (парень презрительно кивнул на чай) найдется кое-что получше. «А ведь я никогда не пробовал их напитков»,— думал Лаленков, знакомясь с троими какими-то и вовсе уж подозрительными товарищами нового своего приятеля. «Только, должно быть, гадость... А, все равно!»

На улице к рассвету похолодало. Шли пешком, говорили мало. Спутники Лаленкова точно стеснялись, словно жалели, что взяли его с собой. А он и хотел бы заговорить с ними, да не знал, как и о чем.

— Далеко еще?

— Да, порядочно. Чайная-то за вокзалом.

— Сейчас, должно быть, часов пять.

— Больше, шестой.

И снова мирные, не в ногу, шаги по обмерзшему тротуару.

4

Первое впечатление было то же, что в «Ягоде». Только точно вошедшие сразу попали в «занавеску». Степенной публики здесь вовсе не было. Галдеж, дым, ругань и хриплая музыка странно поражали после предрассветного холода пустых улиц. Хозяин чайной встретил спутников Лаленкова по-приятельски, но на него покосился и чуть слышно спросил:

— А это что за птица?

— Катенька в гнездышке,— отвечал тот самый, светлоглазый, что первый заговорил с Лаленковым. И хозяин сразу заулыбался, распахивая перед ними красную потрепанную портьеру. «Пароль, должно быть, ихний воровской,— подумал Валентин Валентинович и, оглядев комнату, усмехнулся: — Ну и местечко!»

Мебели всего и было, что ломберный стол да несколько облезлых венских стульев. Стены залитые, грязные, все в надписях и рисунках. И у стены, занимая добрую половину комнаты, стоял рояль. Лаленков взял аккорд. Рояль был расстроен донельзя.

Но уже, дребезжа стаканами, звероподобный хозяин вносил поднос, где в двух больших чайниках плескалась темно-красная, остро пахнущая жидкость.

Погиб я, мальчишка,
Погиб — навсегда.
В чужбине год за годом
Пройдут мои года.
Последний денечек
Гуляю с вами тут.
В черной карете
Меня увезут...

Звонко и чисто пел какой-то оборванец, хрипло и нестройно вторила ему вся компания.

Первый глоток дурманящего напитка был ужасен. Но сразу как-то затуманилось сознание, действительность и выдумка слились в одно. Как очутилась на коленях у Лаленкова рябая какая-то девица, как он налил себе второй стакан отвратительной смеси?! Серый туман стал желтым, синим, лиловым, расплылся в узоры, завитушки, пятна, точно китайские ширмы.

Рыжеволосый хозяин сквозь туман глядел вызывающе и лукаво. Его лицо то скрывалось, то вновь становилось поразительно ясным и похожим на лицо фавна.

— Ты фавн,— сказал Лаленков, удивленно улыбаясь.— Первый раз тебя вижу. Ты хочешь денег — вот, бери!

Вытащив бумажник, достал две последние свои рублевки и протянул мужику. Но тот не брал и глядел в руки Лаленкову.

— Что ж, барин, скупеньки больно, сотенную разве разменять не прикажете?

Лаленкову вдруг стало весело. Этот фавн думает, что сторублевка настоящая. Что ж, пусть думает. Но сторублевки он не отдаст, ведь она Машина. Маша, Маша... слезы вдруг брызнули из глаз Валентина Валентиновича. «Зачем я здесь, среди них, ведь это оскорбление ее, солнечной, звездной, чудной!»

— Прочь,— крикнул он вдруг громко, так, что все обернулись.— Прочь! Сторублевка, да не для тебя, Машина она, неразменная.— И, криво надев цилиндр, качаясь, но гордо, ни на кого не глядя, он пошел к двери.

Плиты на тротуаре не гладко лежали, как всегда, а громоздились и пятились. Косые фонари качались по ветру; дома вдруг сдвигались, и надо было поворачиваться и обходить за версту. Мысли путались: «Маша... ах, Боже, бросила, погубила, стихи... Какие

стихи?.. Почему в чайной дурманящие напитки продают фавны?.. Ах, обман, все обман... Черная карета!» Лаленков остановился и вздрогнул. Черная карета! Он прислушался. Легкий, легкий топот копыт становился все громче, и Лаленкову вдруг стало невыразимо страшно.

Сознание сразу просветлело — ну да, это Дворцовая площадь! Александровская колонна темнела на светающем небе. Синие облака, четко клубясь, плыли за ней, и ангел с крестом точно не благословлял, а грозил ему, Лаленкову. А там, над красной аркой, летели черные вздыбленные кони...

С треском упал и покатился цилиндр.

— Скорей, скорей, на лед, через лед!

Проскрипели деревянные ступени мостков. Лаленков оглянулся. Нет, поздно! Черная карета уже мчалась по набережной. Пламя вырывалось из ноздрей вороной четверки, пламя светило из окон. На козлах сидел рыжий фавн, улыбаясь хитро и хищно. Лаленков, как птица, отчаянно взмахнул руками и свернул с перехода, побежал вдоль по обледенелому снегу. Нет, поздно! Жаркое дыхание коней обдало его и больно ударило в бок тяжелое копыто.

5

Арестованный на месте убийства Андреев, после недолгого запирательства, рассказал, что он завлек убитого в чайную-притон, надеясь, напоив, выманить у него сторублевку. По словам Андреева, убийство произошло случайно. «Проследив убитого, он решил напасть на него на льду и обобрать, последний же оказал отчаянное сопротивление и защищался; грабитель, будто бы нечаянно, произвел убийство. При покойном найдена паспортная книжка на

имя сына коллежского советника Лаленкова, бумажник с бонбоньерочной сторублевкой и письмами некоей Марии Борисовой, а также шестнадцать копеек медью.»

Лиловая с белым английская чашка со звоном упала, обливая горячим шоколадом синее сукно пола и свежий лист только что развернутой газеты. Вошедшая на шум горничная всплеснула руками и с криком: «Марии Сергеевне дурно»,—выбежала из комнаты.

⟨*1916*⟩

ТРОСТЬ БИРОНА

Может быть, я и раньше встречал его на улицах Петрограда, но его старомодный облик впервые бросился мне в глаза на набережной около Зимнего дворца туманным и серым весенним вечером.

Гуляющих было мало. Солнце, заходя, еще тускло румянило волны, бледно озаряло Петропавловский шпиль и лица редких прохожих, шедших мне навстречу. Он сидел на гранитной скамье, глядя на воду, задумчиво чертя по граниту своей тяжелой тростью.

Он был одет в светло-шоколадное пальто клошем, какие носили лет десять назад, и выгоревшую мягкую шляпу такого же цвета, надвинутую на лоб. Лицо его было бы очень обыкновенным для петербуржца, бледное с мелкими чертами, если бы не странная складка у концов рта, дававшая ему неопределенное, но странное выражение. Большие светло-голубые глаза равнодушно глядели на воду прямо перед собой.

«Должно быть, какой-нибудь чудак»,— подумал я, проходя мимо. Когда я возвращался назад минут через десять, гранитная скамейка была пуста.

Я люблю старину! Хотя мои средства очень ограниченны, я ухитряюсь все-таки собирать старинные вещи. Конечно, редкости, которые я покупаю на аукционах или у невежественных уличных торговцев, заставили бы заправского коллекционера презрительно улыбнуться, но мне они доставляют большое счастье.

Что с того, если чайник с поломанной ручкой, который я целую неделю высматривал, бродя по шумной галерее Александровского рынка, и, наконец, купил,— заурядная вещь. Но десять рублей, заплаченные за него, занимают место в моем скромном бюджете.

Из-за этого осколка милой старины мне придется испытать в чем-нибудь другом маленькое лишение, и, неся домой какую-нибудь безделицу, гравюру или акварель, наконец купленную мною, мне кажется — я бываю счастливее многих богачей, лениво осматривающих сокровища дорогого антиквара, с сознанием, что все — к их услугам.

И вот однажды я рылся в папке с эстампами в пыльной полутемной лавчонке. Вдруг кто-то вошел в лавку и заговорил с хозяйкой. Она протянула ему руку и в то же мгновение трость коричнево-золотистого дерева с резной костяной ручкой упала на мой эстамп. Я поднял ее и, обернувшись, протянул говорившему. Передо мной стоял господин в шоколадном пальто, встреченный на набережной недели две тому назад. Он извинился очень вежливо и поблагодарил меня. Из лавки мы вышли вместе и между нами завязался разговор — о старине, о торговцах, о ценах. Так началось мое знакомство с этим странным человеком.

Прощаясь, мы обменялись адресами и телефонами; дня через три он позвонил ко мне и спросил разрешения прийти. Мы провели очень интересный вечер; мой новый знакомый оказался удивительным собеседником; познания его в разных отраслях искусства были неистощимы.

Он отлично говорил по-русски, хотя и носил английское имя — Симон Брайтс. О себе, о своем прошлом он ничего не рассказывал. Я понял только, что он нигде не служит, по-видимому, богат и занимается исключительно коллекционированием изысканных редких вещей. Мое мнение подтвердилось, когда я посетил его жилище.

Симон Брайтс жил на углу Тучковой набережной и одного из многочисленных узких переулков, где, по словам поэта, «окна сторожит глухая старина» (он занимал странное помещение в подвальном этаже из двух больших сводчатых комнат, с окнами на Неву) — дворец Бирона и снасти парусных барок. Прислуги у него не было, все нужное делала жена швейцара с парадной лестницы (у Симона Брайтса был отдельный вход). Обе комнаты подвала были обставлены с изумительной роскошью.

Ковры, шелка, венецианские драгоценные вышивки, гобелены, редчайший фарфор всего мира, дивные картины, чудесные гравюры — все это переполняло сводчатые комнаты очень просторного, по-видимому, подвала. Полки были завалены книгами на всех языках. Итальянские, арабские, древнегреческие, персидские манускрипты возбудили мое удивление. «Разве вы знаете все эти языки?» — спросил я. «О нет, очень немногие из них,— отвечал он, улыбаясь,— но мне нравится, что все эти книги принадлежат мне».

Мы стали видеться — не слишком часто, но каждое свидание укрепляло наше знакомство, незаметно переходившее в дружбу. Мне нравились тихие разговоры с этим чудаком-эстетом в тишине его фантастического жилища, по вечерам, когда дымно-красное солнце тускнело в окне за лесом мачт и косой его луч скользил по пестрым коврам, китайским вазам, хрусталю и, бледнея, гаснул в углу на вышитой подушке пышного кресла. И я часто досадовал, когда стрелка приближалась к полуночи и надо было уходить, так как Симон предупредил меня при первом же приглашении, что его привычка — в полночь уже лежать в постели, и, если я забывал о ней, он неизменно очень вежливо и тонко намекал мне об этом.

Так прошло около года.

Однажды Симон пришел ко мне в необычное время, днем, не предупредив меня по телефону. Он оказался сильно расстроенным, руки дрожали. Он попросил дать ему вина. Когда я исполнил это и спросил, что с ним, мой друг печально улыбнулся.

— Уверяю вас, ничего. Нет, нет, не думайте, что я боюсь, мне попросту хотелось видеть вас, и я пришел сюда...

Я не расспрашивал больше, хотя любопытство мое было сильно возбуждено. Я никогда не видал его таким взволнованным. Он стал что-то говорить об офортах Домье, которые он надеялся приобрести, но вдруг прервал сам себя.

— Друг мой,—сказал он торжественно и нежно,— друг мой, ведь я могу назвать вас так?

— Дорогой Симон, зачем вы спрашиваете? Я всегда готов доказать это.

Но он, казалось, не слушал меня.

— Друг мой,—продолжал он,—сегодня 27 сентября. Для вас это обыкновенный осенний день и ночь на 28-е тоже простая ночь. Ну, вот я просил вас не приезжать ко мне эти две недели—до завтрашнего числа, пока у меня ремонт. Теперь он кончен, или, верней, его никогда не было. Вы честный, простой человек, кажется, хорошо ко мне относитесь, вы верите в Бога. Скажите, ведь вы носите на себе крест?

Я удивился этому неожиданному вопросу и отвечал, что, разумеется, ношу.

— Крестильный? Ну вот, видите, как хорошо. Так вот что, вы можете мне помочь, очень помочь, дорогой друг, если согласитесь провести сегодняшний вечер дома и, когда я позвоню вам по телефону, сейчас же приехать ко мне. Хорошо?

— Хорошо, Симон. Я буду сидеть дома и приеду к вам, но, может быть, вы объясните мне, к чему это и что значит?

Он схватил мои руки и крепко сжал.

— Вы все узнаете, дорогой друг, все, все—я позабочусь об этом. Но не сегодня, не теперь...—Он встал, залпом выпил стакан вина и пошел в переднюю. На пороге он вдруг обнял меня и поцеловал. Потом быстро выбежал, хлопнув дверью.

Я был изумлен и встревожен этим посещением. До вечера было много времени, но я как-то не мог ничем заняться. Брал книгу и бросал, садился работать—не клеилось. Пообедав без аппетита, я стал ждать. Пробило десять, одиннадцать, половина двенадцатого,—я решил, что Симон не позвонит, и стал подумывать о сне. Пробило полночь, и вдруг резко в этот неурочный час задребезжал телефон.

— Алло, это вы?—говорил Брайтс.—Я боялся, что вы уже заснули. Право, мне совестно, что я так вас

беспокою. Значит, вы будете у меня минут через пятнадцать?

Вдруг голос моего друга странно изменился. Он стал хриплым и очень тихим.

— Крест, не забудьте крест!..— И тотчас раздался металлический легкий звон, словно лопнула пружина. Я отчаянно забарабанил по кнопкам. Сонная барышня ответила мне, что у Симона Брайтса снята трубка.

Встревоженный и недоумевающий, я выбежал из дому. С пятой линии, где я живу, до Брайтса было езды не больше 10 минут. Но, как на зло, не было ни одного извозчика. Шел мелкий холодный дождь. Осенний ветер дул прямо в лицо, сырой и пронзительный. Шлепая по грязи, я добрался, наконец, до набережной, тускло освещенной мигающим газом. Вот и переулок. Сонный дворник открыл мне ворота. Обитая клеенкой дверь подвала была открыта настежь. Удивленный, я вошел в квартиру Симона. Большая комната была озарена только зыбким светом уличного фонаря — я с изумлением увидел, что от роскошной обстановки не было и следа. Голые стены веяли сыростью и запустением. Не понимая, что это значит, я подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, спальню Брайтса, и, заглянув в нее, едва не вскрикнул.

Посредине комнаты стоял стол, за которым сидели двое мужчин в странном платье екатерининских или елизаветинских времен. Один из них перелистывал большую тяжелую книгу. Три свечи едва мерцали синевато-зеленым блеском. Огромный камин в углу слегка дымился тоже зеленым, каким-то болотным огнем, озаряя неверно и мутно своды. В углу копошился кто-то третий — я не мог его разглядеть. Порою слышался лязг железа и какое-то шипенье.

Я стоял оцепенелый, хотел двинуться и не мог, крикнуть — язык мне не повиновался. «Где же Симон?» — подумал я. Подумал и тотчас же заметил еще одного, стоявшего у окна. Это был Брайтс.

Он был одет в свое обычное платье, приложив руку ко лбу, он пристально глядел в окно; зыбкий луч уличного фонаря играл на его бледном лице.

Я не знаю, сколько длилось это молчание, прерываемое лишь тихим лязгом из угла да зловещим шелестом книги. Вдруг в воздухе задрожал нежный и чистый слабый звук, словно одной натянутой до крайности струны.

Симон, я видел, вздрогнул, как-то затрепетал, глаза его шире раскрылись, вспыхнули и погасли. Он отвернулся от окна и громко произнес:

— Близок великий герцог...

И мне почудилось, что в окне набережная и дворец Бирона на секунду вспыхнули тем же болотным отблеском, что камин и свечи, тотчас все в комнате зашумело, точно ветер взметнул и закружил желтые листья. Зеленое пламя в камине заколыхалось сильнее. Из дальнего угла вышел человек со зверским лицом, схватил Симона и поволок в угол. Сидевшие за столом встали, протягивая руки, что-то говоря, но голоса их были невнятны и слабы, я не мог разобрать их слов. Голова моя закружилась, и я едва не упал. Когда эта минутная слабость прошла, я увидел, что посредине комнаты, странно подвязанный за руки и за ноги, полуобнаженный, висит Симон. Человек со зверским и грубым лицом, в переднике, повернул какое-то колесо, и все члены моего друга неестественно вытянулись, я услышал, как хрустнули суставы. Его глаза встретились с моими, губы его слабо дрогнули.

— Крест! Крест!..— скорее догадался, чем услышал, я. Дрожащей рукой я достал крестильный крестик, и тотчас же палач снова повернул страшное колесо.

— Поздно, поздно!..— крикнул уже громко, со страшной силой Симон.— Прощай, прощай.— Кровь брызнула из его тела, словно из тысячи ран, все в комнате зашумело, зашелестело, закружилось.

Сырой холод дохнул мне в лицо.

Я очнулся у себя дома. Электричество горело. Я сидел в кресле около телефона. Значит, я спал? Но мое пальто, брошенное тут же, было все обрызгано липкой, еще не засохшей грязью. В правой руке я держал крестильный крестик. Потом в моей памяти все

путается. Утром прислуга нашла меня в сильном жару, бредящим, сидя в кресле. Три недели я лежал в сильной горячке.

Доктор, меня лечивший, сказал, что, должно быть, я вышел уже больной. Мой швейцар подтвердил, что я вернулся со своей прогулки в ночь на 28-е в очень растерзанном виде. Он думал, что барин пьян.

Я позвонил Симону Брайтсу. Трубка была снята. Я послал горничную с письмом к нему на квартиру. Она вернулась обратно с ним. «Этот господин уехал уже больше месяца назад»,—сказала она. Я ничего не понимал. Наконец, я выздоровел и мог выйти. Разумеется, первая моя прогулка была на Тучкову набережную. На стене дома висело объявление о сдаче подвала, того самого, что занимал Брайтс. Я вызвал швейцариху. Она меня узнала и, спросив меня, не господин ли я—она назвала мою фамилию,—подала письмо, мне адресованное. Адрес был написан рукой Симона.

— Это,—пояснила она,—господин Брайтс, уезжая, оставили—наказывали непременно вам передать.

Вот что было написано на большом листе тонкой английской бумаги рукою Брайтса:

«Была темная и глухая ночь, когда бездомный юноша, называвшийся Симоном Брайтсом, приехал в Россию искать счастья и, в поисках его потративший последнюю копейку, шел по Дворцовой набережной. Ему не хотелось возвращаться в свою гостиницу, где его ждала холодная постель и неоплаченный счет хозяина. Он устал и сел отдохнуть на гранитную скамейку. Вдруг его рука почувствовала что-то твердое. Это была трость, тяжелая, с резным набалдашником.

Он с любопытством разглядывал свою находку, когда чья-то рука опустилась ему на плечо.

— Вы, должно быть, владелец этой вещи?—спросил юноша у пожилого господина, стоявшего перед ним. Но тот отрицательно покачал головой.

— Нет,— сказал он странно и глухо.— Но я хотел бы поговорить с вами, Веселый Симон.

Юноша очень удивился — незнакомец назвал его так, как звали его на родине родные и друзья.

— Откуда вы меня знаете? — спросил он.

— Я все знаю,— грустно сказал незнакомец,— знаю вашу жизнь и ваше имя, хотя вижу вас в первый раз. Но время идет, надо спешить. Вы бедны, вам нечего есть, ваши надежды найти в России хорошее место не оправдались. А вы хотели бы жить совсем по-иному — вы любите искусство, редкости, драгоценные камни. Судьба привела вас сюда, судьба дала вам в руки эту трость. Решайте, согласны ли вы?

И вот что потом было.

Юноша стал жить странной жизнью. Все желания его исполнялись, стоило только пожелать. Повинуясь какому-то смутному влечению, он нанял себе вместо квартиры подвал в старинном доме на Тучковой набережной. Скоро этот подвал стал сокровищницей искусства, Симон Брайтс — обладателем удивительных редкостей, о каких только когда-нибудь он мечтал. Он захотел читать в подлиннике поэтов, до тех пор известных ему только по именам, и тотчас все наречия древности и наших дней стали ему знакомы в совершенстве. Если бы он пожелал, то, разумеется, мог бы жить в роскошных дворцах, путешествовать, прославиться. Но смутное и неодолимое чувство мешало ему покинуть этот город, эту старую, безлюдную набережную, свой подвал.

Днем он был обыкновенным человеком, тем же Симоном Брайтсом, что и до находки трости. Он забывал все, что происходило ночью. Но когда стрелка приближалась к полуночи, он чувствовал тревожное желание остаться одному в своем подвале. С первым ударом двенадцати странное волнение им овладевало. Он начинал ходить быстрыми шагами по комнате, потом бросался в кресло. Вдруг стекла с треском лопались, холодный ветер сдувал и уносил шелка и ковры, разбивал вазы и люстры. Электричество гасло. Симон Брайтс переставал быть самим собой. Черная и грешная душа овладевала его телом.

На покрытом зеленым сукном столе вспыхивали три восковые свечи... и палач терзал жертву, скрипела дыба, лилась кровь, и Бирон, кровожадный курляндский герцог, снова дышал и жил, чтобы терзать и мучить.

Вот какой ценой купил Симон Брайтс спокойную и роскошную жизнь. Своими руками он проливал невинную кровь, своими губами произносил страшные приговоры несчастным. Каждую ночь дух грешного герцога вселялся в его тело. Но с первым проблеском утра все пропадало, комната принимала свой прежний вид. Симон Брайтс, как сомнамбула, медленно раздевался, ложился в постель и забывал все.

Таинственный незнакомец, говоривший с ним в тот памятный день на берегу Невы, предупредил Симона, что он умрет в первую же годовщину находки трости, если потеряет ее. И после десяти лет своей двойной жизни Симон потерял трость великого герцога.

Он пожалел о ней, как жалеют хорошую и любимую вещь,—не больше. Но чем ближе становился роковой день, тем сильнее овладевало Симоном беспокойство. Ему стал ненавистен этот подвал, эти стены, набережная, проклятый желтый дворец там, на острове. Но он еще не знал страшной истины. Он только предчувствовал ее.

В ночь на 27-е к нему вернулась память. Он вспомнил все слова незнакомца, все пытки, кровь, ужас и грех своей жизни. Он понял, что этой ночью ему суждено умереть. Горе, горе...»

Внизу было приписано помельче, но той же рукой: «На Смоленском кладбище, друг мой, помолитесь над могилой Симона Брайтса».

Я не знал, что подумать, перечитывая это письмо. Порой казалось, что горячка ко мне возвращается. В тот же день я поехал на Смоленское англиканское кладбище. Как-то инстинктивно, никого не спрашивая, я пошел среди памятников прямо, потом налево

и остановился перед небольшим холмиком. Простой чугунный крест возвышался над ним. На темной гранитной плите было высечено по-английски: «Симон Брайтс 27-го октября 1906 г.» С невыразимым волнением глядел я на эту успевшую уже зарасти мохом могилу человека, еще месяц назад бывшего моим другом. Но почти тотчас я почувствовал странное успокоение. Казалось, вид этой скромной плиты был разрешением всех странных и таинственных загадок, неожиданно смутивших мою тихую жизнь. Я нашел пастора и попросил отслужить мессу. Что там было, под этой замшевелой плитой? Кто был Симон Брайтс, живой человек или только призрак того, кто похоронен здесь?.. Но слова молитвы звучали так успокоительно, и я чувствовал, что 〈...〉 сердце бьется ровно, черное облако тревоги отходит все дальше.

Не то же ли чувствовал бедный Симон Брайтс, забываясь на рассвете после ночи, проведенной среди крови и пыток Биронова застенка?..

〈*1916*〉

КАРАЧАЕВСКИЙ ОСОБНЯК

1

Студент Иллннг, давнишний житель Васильевского острова, очень удивился, увидев, что ворота Карачаевского особняка раскрыты настежь, какие-то люди вносят чемоданы, тюки, баулы и усатый господин в сером костюме громко распоряжается, стоя на ступенчатом, с двумя желтыми колоннами, крыльце.

Карачаевский особняк Бог знает сколько лет стоял заколоченным и нежилым, и ходила о нем дурная слава — дома с привидениями.

«Ну,— подумал Иллинг,— если тут и водились духи, то, должно быть, повыветрились за пятьдесят лет».

И весело свистнув, он продолжал свой путь к университету.

2

Аркадий Павлович Воронов был очень доволен, когда после долгих поисков нашел наконец то, что хотел. Тихое безлюдное место, совершенно отдельный дом, даже дурная слава, о которой предупреждал его поверенный, все, как нельзя лучше, ему подходило. Вынужденный покинуть свое минское имение из-за близости войны, он искал покоя, уединения и полной нестесненности прежде всего. Особняк на Васильевском, как нельзя лучше, соответствовал всему этому. Контракт на два года был подписан сейчас же. И теперь Воронов, не жалея денег, торопил с ремонтом, чтобы кончить все к приезду жены. И когда, неделю спустя, красивая, смуглая брюнетка, с любопытством оглядываясь, вышла из прокатного автомобиля, все в Карачаевском особняке было выкрашено, перелицовано и уютно.

3

Шторы были опущены в большой квадратной комнате. Мягкий свет из-под сиреневого колпака ровно падал на желтую карельскую мебель, на белую медвежью шкуру, освещал смугло-бледное лицо и очень яркие, точно накрашенные, губы Анны Васильевны, полулежавшей на старинной кушетке.

— И ты не выйдешь из этой комнаты, пока я не вернусь. Ты не будешь ничего писать, ни с кем разговаривать. Помни, что Финогену разрешено прибегнуть к силе, если ты будешь непослушной.

— Я буду послушна!

— Ты знаешь, что солгать мне нельзя. Помнишь, как ты хотела утаить от меня правду! Помнишь, помнишь!

Женщина ничего не отвечала, только вздрогнула всем телом.

— Тогда я тебя щадил, теперь буду беспощаден. Но ведь ты будешь умницей,— вдруг переменил он суровый тон на ласковый,— да?

Воронов склонился к жене:

— Ну спасибо, что будешь, я скоро вернусь. Ты читала новые книги, что прислали от Вольфа?

— Нет еще.

— Ну вот, почитай. А я тебе привезу тертых каштанов.

И, поцеловав жену и улыбнувшись ей так ласково, точно не он две минуты назад угрожал ей, Аркадий Павлович вышел.

4

Оставшись одна, Анна Васильевна продолжала сидеть с безучастным и сонным выражением лица.

Потом раскрыла наудачу желтый томик французского романа и стала читать.

Прежде она плакала и тосковала, оставшись одна, теперь, после пяти лет замужества, она привыкла к ди-

кой ревности Воронова, так же как к его порою нежным, порою неистово-грубым ласкам.

Любила ли она мужа? Она и сама не знала. Перед ним она чувствовала себя рабой и повиновалась ему слепо, не рассуждая.

Он взял ее неопытною, еще совсем юною девочкой из бедной семьи, окружил роскошью и комфортом. Первое время ей льстило сознание, что она важная барыня, жена богатого и блестящего помещика. Но скоро ей стало ясно, что она не более как жалкая пленница в пышной тюрьме. Тогда отчаяние овладело Анной Васильевной. Она строила планы, как ей освободиться, бежать, жить своим трудом. Но едва смутные и горячие ее мечты принимали реальные формы, неисполнимость их становилась очевидной. Бежать? Но муж найдет ее хоть на краю света! А не найдет, так чем она будет жить? Трудиться? Она ничего не умеет делать. Оставалось одно — жить, как прежде. По очереди принимать нежные ласки и грубые оскорбления и не сметь без разрешения мужа взглянуть в окошко или позвонить по телефону.

5

Хотя Анна Васильевна и сидела по большей части взаперти, все же Иллингу, проходившему мимо Карачаевского особняка в день не меньше четырех раз, удалось ее увидеть дважды. Если при первой встрече он подумал только: «Какая красавица»,— и вздохнул, то во второй раз решительно почувствовал себя влюбленным.

Иллинг был юноша со средствами. Щедрые «на чай» дворнику скоро открыли ему всю подноготную новых господ. Воображение его быстро и довольно верно дополнило то, чего дворник не сумел ему сообщить. Она не любит мужа: он ее похитит!

Какое романтическое приключение!

И, подумав минуту, он достал из бумажника 25 рублей.

Свои наставления он закончил следующим:

— Ты получишь втрое больше, если исполнишь все, как я приказал. Слышишь?

— Слушаю, ваше сиятельство,— был ответ.

И действительно, умный ярославский мужик оказался недурным сообщником. Он повредил электрические провода, он же привел в квартиру Воронова «постоянного» монтера. Разумеется, это был Иллинг. Как ни строг был Аркадий Павлович, Иллингу удалось обмануть его внимание. Он сумел переговорить с Анной Васильевной, заинтересовать ее и увлечь. Электричество было поправлено, монтер ушел. Но то, чего Воронов боялся всего больше, случилось. При помощи дворника-ярославца между Анной Васильевной и Иллингом началась переписка.

6

Пианино стало играть по ночам; шарканье туфлями в гостиной, странные, точно из-под земли, голоса, скрипенье половиц, словом, все признаки сверхъестественных жильцов наполнили с некоторого времени старый дом.

Анна Васильевна плакала. Воронов выходил из себя, служили молебен, обшарили все углы, но ничего не помогало. Карачаевский особняк оправдывал свою нехорошую славу.

7

Стрелка приближалась к 12 ночи. Воронова не было дома, неотложные дела заставили его уехать на день. Анна Васильевна сидела в спальне не раздеваясь, словно ждала чего-то. Наконец, вздохнув, она отодвинула кресло, подошла к зеркалу, расстегнула лиф, взялась за шпильки, и тотчас ее прическа каштановым золотом рассыпалась по обнаженным плечам. Но вдруг она

вздрогнула и прислушалась. Стук замер на мгновение, и вновь послышались по стеклу три дробных удара.

Анна Васильевна быстро подошла к окну и открыла форточку.

— Это вы,— шепотом произнесла она.

— Да, да. Вы готовы?.. Скорей, ради Бога...

Как в лихорадке, она собрала свои вещи, платья, драгоценности в чемодан. Потом распахнула окно, сильная рука ее подхватила.

Несколько минут спустя Анна Васильевна покачивалась на эластических подушках автомобиля, а Иллинг почтительно и восторженно целовал ее руки, шепча:

— Ну вот, ну вот вы и свободны.

8

Наутро к Аркадию Павловичу вызвали доктора. Опасались паралича — так страшно побагровел он, когда, вернувшись на другой день, встреченный испуганной прислугой, он вбежал в спальню и среди беспорядочно разбросанных вещей увидел маленькую голубую записку:

«Не пытайся вернуть меня, ты мне лгал, грозя, что можешь сделать это насильно по этапу. Теперь я знаю, что вольна бросить жестокого и нелюбимого мужа. Я это и делаю.

Анна».

Воронов бросился в полицию, на его заявление только пожали плечами и подтвердили все то, что писала Анна Васильевна. И когда неделю спустя к нему явился молодой щеголеватый адвокат и самоуверенно попросил выдать ему бумаги его клиентки, он не спорил и не горячился.

9

Аркадий Павлович переселился в Европейскую гостиницу, завел легкомысленные знакомства, стал кутить.

Казалось, он совершенно покорился судьбе, забыл Анну Васильевну и свою страсть.

Но когда на рассвете он приезжал домой и неверной походкой подымался по ковровой лестнице, лицо его, отраженное бледными зеркалами, искажала мучительная тоска. И никто не знал, какие приступы бешеной злобы овладевали им, какого страшного усилия воли стоило ему себя сдерживать, чтобы не расшвырять, не разгромить все вокруг себя.

Но утром он вставал с видом равнодушной скуки. Дымя после шоколада ароматической папиросой, он лениво перебирал в уме, как провести этот день изысканней и веселей. Потом заказывал себе мотор и очертя голову бросался в пеструю сутолоку столичной жизни.

10

Однажды, когда элегантно одетый Воронов собирался ехать к одной из своих новых приятельниц, в дверь постучали.

— Войдите,— небрежно бросил он, застегивая перчатку.

— Аркадий!

Смугло-бледная, с яркими, точно накрашенными, губами Анна Васильевна стояла в дверях; прежде чем он успел опомниться, она подошла к нему и заговорила быстро, порывисто и страстно:

— И вот я пришла. Тот мальчик, который увез меня, был со мной нежен и ласков, он исполнял все мои капризы. Но чем больше проходило времени, тем яснее я чувствовала, что только тебя люблю, только тебя люблю. Послушай, ты видишь, я вернулась к тебе сама...

Но лицо Аркадия Павловича странно менялось, пока она это говорила.

— Что с тобой, Аркадий, ты сердишься?

И вдруг Анна Васильевна вскрикнула.

Он грубо взмахнул рукой, ударил ее в плечо, в грудь, еще и еще. А когда она, не плача уже, только вздрагивая, оскорбленная, опустилась в кресло, он ползал у ее ног на коленях, целовал подол ее платья и шептал:

— Анна, счастье мое, прости.

⟨1916⟩

АКРОБАТЫ

Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!

Анна Ахматова

I

Еще зимой кое-какие развлечения доставались и на долю нашего уездного городка. То заезжий футурист даст поэзовечер, обязательно с дебошем и свалкой в виде финала, то безголосая знаменитость из столицы или из «большой провинции» соблаговолит демонстрировать себя по повышенным ценам. Не дрянная драматическая труппа, так скверная опереточная, лектор какой-нибудь на худой конец, так что редкую неделю на площади, на афишном столбе, не красовалось розовой, синей или зеленой «простыни» с восклицательными знаками, указующими перстами и неизменным («жирным шрифтом»): «Только три дня... цены местам...»

Но летом наступало совершенное затишье. Дачники у нас не жили, местность была очень непривлекательная. Степь на все четыре стороны, ни реки, ни леса на 20 верст кругом вряд ли способны были когонибудь соблазнить. Так что кто мог, на лето спешил уехать. Оставались в городе только мелкие чиновники, лавочники, беднота да пять-шесть старожилов, которые так уже к нашей Бобровке привыкли, что и пыль, и грязь, и духота ее казались им естественными, приятными и необходимыми даже.

Александр Матвеевич Лукьянов из старожилов был самый старый и, так сказать, самый неколебимый. Выезжал из Бобровки он во всю жизнь только три раза: на рождение внучки в соседний уезд, на похороны той же внучки туда же и в Москву по какому-то таинственному обстоятельству, говорили, будто бы жениться по объявлению. Подлинно ничего не было известно, знали только, что в Москве Александр Мат-

веевич пробыл целую неделю, уезжал веселым, приехал мрачнее тучи. Мрачность его, впрочем, скоро прошла, но в разговорах, особенно по вечерам в палисаднике с мимо проходящими знакомцами, появились чуждые ему доселе вздохи о бренности всего земного, о суете сует и прочем. Вскоре после поездки в Москву Александр Матвеевич завел трех кошек и, когда его спрашивали, зачем ему кошки, да еще целых три, грустно покашливая, говорил:

— Старость приходит, за сорок перевалило, скучно одному...

— Вот женитесь,— подзадоривали его собеседники из молодых,— жена всех ваших Васек и утопит.

Александр Матвеевич отмахивался только:

— Нет, я уже старый холостяк, конченый.

II

От почтмейстера, в чьем ведении летом находился гимназический манеж, единственное в Бобровке здание, подходящее для концертов и спектаклей, до наборщиков типографии Смитса, которым в необычное время пришлось заняться изготовлением «простынь», все были поражены появлением в городе в июле месяце «труппы всемирно известных акробатов и гимнастов, имеющих дать ряд эффективных и сенсационных представлений».

У наборщиков руки так и чесались набрать «только три дня», но заезжие гимнасты оказались потароватее на время. «Только неделю, проездом в Петроград, Москву и Одессу»—красовалось внизу афиш, ⟨где⟩ «Цены местам»...

III

Надо было пройти двор, потом садик, завернув за угол, одолеть скрипучую, очень тяжелую на подъем

дверь и тогда уже по коридору можно было благополучно добраться до помещения, занятого приезжими акробатами. В большой полутемной комнате за круглым столом сидели два подростка, жадно уплетавшие еду, какую именно, в сумраке трудно было разобрать. Обедавшие, казалось, были очень голодны, ели жадно и торопливо. Наконец один, на вид старший, положил ложку, встал и закурил папироску.

— Слушай, Ваня,— заговорил он тихо,— ну что ты ломаешься, право, уже согласился было, и теперь опять. Ничего же стыдного в этом нет, никто и не узнает. И разве ты не помнишь, для чего мы все это делаем?

— Я помню, Алеша, только...

— Что только? Мне досадно, право. И я, и Анна Станиславовна, все стараемся, а ты не можешь сделать такого пустяка. Не надо было тогда и начинать всего этого. Ехали бы...

Младший отвернулся, свет из занавешенного окна мягко упал на его лицо. Это был еще совсем мальчик, светлоглазый, бледный, с длинными ресницами и темными бровями. Белокурые волосы его были коротко подстрижены.

— Алеша,— сказал он,— я обещал и не думаю отказываться. Но вдруг я не сумею...

Тут растворилась дверь и в комнату вбежала полная дама лет сорока, пестро одетая, с большой корзинкой в руках, из которой неслись какие-то пронзительные звуки. С хохотом дама поставила корзинку на пол, и из нее тотчас же выскочил небольшой, отчаянно визжащий поросенок.

— Вот и я, вот и я,— прискакивая, пропела дама.— Что, каково животное?— показала она хлыстом на поросенка.— А? Каково? Одобряете?..

— Вы молодец, Анна Станиславовна,— с чувством сказал старший подросток.

Младший же снова повернулся к столу и занялся едой.

IV

Мы забыли пояснить, что Александр Матвеевич был купеческий внук. Батюшка его, по слабости здоровья и обеспеченному достатку, занимался одним пчеловодством, сам же Александр Матвеевич вовсе ничего не делал. Он попросту проживал в собственном двухэтажном сухом и теплом доме, где хозяйство было налажено прочно и благополучно еще покойной бабушкой Елизаветой Сергеевной.

Нашему старожилу как одному из видных граждан Бобровки предстояло решить важный вопрос: покупать ли ему на предстоящее представление ложу или ограничиться билетом 1-го ряда? Решено было — ложу. Удобнее не в пример: в креслах, что на тычке, негде и расположиться. Да и разница в цене была невелика — всего рубль семьдесят пять копеек.

С утра ключница лукьяновского дома хлопотала над фраком, рубашкой и черным атласным пластроном, которые предстояло надеть Александру Матвеевичу. Жаркое солнце, падая на широкие окна второго этажа, золотило круглое, неуклюжее зеркало в палисандровой раме и отраженную в нем, с намыленными щеками и гладко выбритым подбородком, физиономию Александра Матвеевича. Он сидел у зеркала уже с полчаса, но бритье подвигалось медленно. Казалось, бритва, долго не извлекавшаяся из красного кожаного, с тиснением на крышке «Москва. Тверская...» футляра, навела его на какие-то отдаленные и меланхолические воспоминания. Наконец ключница, немного приотворив дверь, громко закричала:

— Барин, идите кушать.

Дремавшая в зеленой клетке канарейка проснулась и засвистала вовсю, и бритва Александра Матвеевича снова заработала быстро. Скоро щеки оказались совершенно гладкими.

Александр Матвеевич встал, складывая бритву, он косо поглядел на красный футляр и золотую надпись, улыбнулся в усы и разнеженным голосом прошептал:

— Эх, женщины, женщины...

V

Трюки заезжих акробатов оказались довольно нехитрыми, но публике понравились. Особенный успех имел мистер Джон О'Гратэн в цилиндре и жилетке, явно перешитой из североамериканского флага. Половина ее была в звездах на синем фоне, другая же — в розовую полосу и очень напоминала тюфяк. Мистер О'Гратэн искусно глотал носовые платки, прыгал через голову, раздавил ногой сырое яйцо и немедля вытащил его неповрежденным из собственного уха.

Сенсацию произвел живой поросенок с погремушкой на хвосте, неожиданно появившийся в первых рядах. Носясь по театру и визжа, он честно выполнил анонс, гласивший, что на первом представлении публике будет подложена свинья. Наконец поросенок был изловлен мистером Джоном, взявшим его под мышку и пропевшим «Воинственную песнь бамбуков» на мотив «Ала верды». Публика изумлялась, веселилась и хлопала. Последним номером был объявлен выход акробатки Фанни.

На сцену выбежала девушка, очень хорошенькая, в полумужском костюме, с обручем в руках, взбитыми рыжими волосами. Резво выбежав, она вдруг смутилась, застыла на месте и опустила глаза так, что длинная тень от ресниц упала на ее вдруг зарозовевшиеся щеки.

Тут следивший довольно равнодушно за ходом представления и даже позевывавший Александр Матвеевич вдруг оживился. Он заерзал на стуле, крякнул и неожиданно во весь голос закричал «браво»... Кое-кто из публики тоже закричал и захлопал в ладоши. Сначала будто испуганная этими неожиданными знаками внимания девушка тотчас оправилась, улыбнулась и легко вскочила на протянутый через сцену толстый канат...

VI

Вечером после спектакля, как это ни было странно и конфузно, сидя на балконе перед сном и покуривая, Александр Матвеевич признался сам себе, что неравнодушен к акробатке Фанни. Спал он неважно, проснулся рано, выбрился («Ну статочное ли дело, подряд второй день щеки скрести, и с чего бы это»,— недоумевала ключница), прифрантился и в половине одиннадцатого отправился в Собачий переулок, где, как он разузнал, стояли акробаты. На стук не ответил никто. Помявшись у двери, Александр Матвеевич открыл ее. В полутемной комнате было накурено, душно. На низкой постели, лицом в подушку, лежал мальчик. При входе Александра Матвеевича он поднял голову.

— Вам что?

— Мне бы акробатку повидать.

— А зачем она вам?

Александр Матвеевич смутился.

— Вот, видишь, голубчик, я... Я хочу с ней познакомиться...— И достав три рубля, он сунул их подростку. Тот выразительно свистнул.

— Вы не первый, желающий это,— сказал он, помолчав минуту,— и немудрено — mademoiselle Фанни красавица. Только добиться ее расположения очень трудно, она совсем мраморная. И потом ее муж...

— Как, она замужем? — испуганно вырвалось у Александра Матвеевича.

— Ну да, за мистером О'Гратэном. Знаете что,— продолжал мальчик, глядя на вытянувшееся лицо Александра Матвеевича,— я пришлю к вам ее брата, того, что жонглирует тяжестями. Он с сестрой очень дружен. Если вам удастся расположить его, он поможет вам. Хотите?

Разумеется, Александр Матвеевич согласился. «...евич Лукьянов» — записывал мальчик на сером клочке адрес, загадочно улыбаясь при этом.

VII

Брат Фанни оказался бледным, хорошеньким пятнадцати- или шестнадцатилетним подростком. Он был застенчив и вежлив, но вел себя странно. То становился мрачным, то смеялся без всякой причины и вообще своим поведением несколько удивил Александра Матвеевича. Что же касается до знакомства с пленившей его сердце акробаткой, то мальчик, поразмыслив и поломавшись, сказал Александру Матвеевичу, чтобы тот приходил завтра вечером через полчаса после спектакля к ним на квартиру. О'Гратэн, мол, уйдет играть на бильярде, и Фанни останется одна. «Я ее уговорю принять вас, если только вы обещаете быть с нею вежливым и не оскорбите ее.»

— Ну конечно, честное слово!

— И потом, вы должны еще передать ей двадцать пять рублей. Эти деньги пойдут на благотворительность.

Александр Матвеевич поморщился, не сомневаясь, о какой благотворительности идет дело.

«Тоже компания,— мелькнуло у него в голове,— не отказаться ли?» Но желание познакомиться с акробаткой было сильно.

— Ладно, уже и четвертную принесу,— проворчал он недовольно.

VIII

Бобровский старожил, почтенный Александр Матвеевич, пробираясь по промытым после дождя проулкам, сосредоточенным и мечтательным выражением лица походил скорее на какого-нибудь испанского влюбленного «с гитарой под полой», спешившего под окно своего предмета, чем на самого себя.

Мрачный вход и узкий коридор тоже содействовали романтизму, так что щеки Александра Матвеевича горели и сердце стучало очень громко, когда, наконец, он добрался до заветной двери.

Голубой ночник бледным, точно лунным, светом освещал лицо акробатки. Оно было прелестно. Тонкие длинные руки лежали протянутыми на коленях. Она молчала. Тут-то и начались мучения Александра Матвеевича. Конечно, он по скромности и непривычке к дамам и в мыслях не имел чего-нибудь экстренного, но, идя на свидание и жертвуя на «благотворительные цели», он надеялся на свои вздохи получить хотя бы несколько поцелуев. Но, увы, даже когда с медвежьей грацией он встал на колени и потянулся поцеловать руку акробатки, та проворно ее отдернула и прошептала:

— Нельзя, нельзя!

— Почему же нельзя, мадмазель Фанни?

— Так.

— Я же в вас ужасно как влюблен. Позвольте, хотя ручку-то.

— Нет, нет!

Александр Матвеевич начинал уже немного сердиться. Вдруг его осенила счастливая мысль.

— А если,— сказал он, хитро улыбаясь,— если я пожертвую на благотворительные цели еще столько же, тогда можно будет?

Фанни молчала.

— Вот двадцать пять рублей сейчас же достану,— и он действительно вытащил из толстого бумажника четвертной билет,— только разрешите.

— Ну хорошо,— прошелестел чуть слышный ответ.

Мгновение спустя Александр Матвеевич, стоя на коленях, жадно целовал холодные маленькие пальцы.

IX

Когда неожиданно распахнулась из коридора дверь и двое милиционеров вошли в комнату, ошеломленный Александр Матвеевич только выпустил из своих рук руки Фанни, но даже не встал с колен, застыв

в полуобороте, изумленно и вопросительно глядя на вошедших.

Те были совсем смущены, попав на галантную сцену, тогда как в приказе, им данном, значилось: «Подвергнуть задержанию учеников Киевского реального училища Ивана Павлова и Алексея Сокольницкого, бежавших на театр военных действий».

Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта живая картина, если бы Фанни вдруг не заплакала, горько и безутешно.

— Алеша! — закричала она, плача.— Алеша, влопались мы с тобой, как идиоты.

Тут из темного угла вышел высо́кий худощавый мальчик, в котором очень трудно было узнать развязного и бойкого мистера О'Гратэна. Со злобной усмешкой он подошел к милиционерам и сказал:

— Ну что, поймали? Радуйтесь! Я Алексей Сокольницкий.

Несколько оправившийся от свалившейся на его голову неожиданности милиционер, еще растерянно глядя, но уже строгим голосом обратился к нему:

— Так-с. А ваш товарищ Иван Павлов где? Потрудитесь открыть его местопребывание.

— Ха-ха-ха,— как-то истерически вдруг рассмеялась сквозь слезы Фанни.

Быстрым движением она сдернула рыжий парик и обнажила стриженную под второй номер мальчишескую голову.

— Я Павлов.

— Барышня! — закричал милиционер.— Оказия.

Александр Матвеевич, только слабо охнув и схватившись за сердце, грузно упал в низкое колченогое кресло.

X

На другой день, поутру, в «Справедливых Известиях», единственной выходящей в Бобровке газете, было

подробное и разукрашенное всячески сообщение обо всей этой истории. Особенно яркими красками была изображена влюбленность обывателя нашего города, господина А. М. Л., попавшего в столь неожиданный и пикантный просак.

«...Справедливость требует сказать,— так оканчивалась заметка,— что деньги, заработанные юными мистификаторами, действительно отсылались ими в Киев, в благотворительный комитет. Туда же они намеревались отправить и пятьдесят рублей, полученных от господина А. М. Л. при столь пикантных обстоятельствах. Так что вся эта авантюра легкомысленно проделана молодыми людьми из соображений хороших и патриотических и не имеет никакой корыстной подкладки».

Ровно через неделю Александр Матвеевич Лукьянов уехал из нашего города, сдав в аренду на пять лет отцовский дом. Железнодорожный билет был взят им до Курска.

Так Бобровка потеряла своего старейшего старожила.

⟨1917⟩

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

I

Трудно писать о том, что так недавно произошло. Я еще и теперь не все понимаю. Кто нас свел и зачем?

Мне бы спокойнее было и тише не знать о судьбе, чем-то с моею связанной и такой печальной. А для этой женщины длились бы еще дни любви и надежды.

Мы «открывали» один из тех полуактерских, полупоэтических кружков, где собираются люди веселые и чувствительные, друг другу милые. Было уже очень поздно — те часы, когда уже все равно — вечер ли, ночь ли, утро, и уже не думаешь о сне и о завтра, а в голове только сладкий и нехороший туман. Где-то пели и аплодировали, потом читали стихи и улыбались нарядные дамы. Мы шутили и болтали, но это было то странное веселье, которое только с войной к нам и пришло. Художники и поэты всегда готовы плакать, улыбаясь,— они даже и привилегией своей считают эту андромаховскую добродетель. А теперь боялись печали и этих вспышек чьего-нибудь истерического и беспричинного гнева. Мы спорили, смеялись, мечтали, скучали, а по утрам, дома, многие мучились и давали обещания «чистоты и подвига». Но как же говорить об этом здесь, в этих стенах с полуденными лесами и синими пленными птицами? Здесь «веселились», только иногда кто-нибудь всхлипывал от самой глупой шутки, и становились все тревожнее и болтливей.

А может быть, это мне только кажется, потому что я вспоминаю тот вечер и все, что было потом, эти колокола и холодное озеро? Кто знает.

Пели, читали стихи, и было очень поздно. Но так как гости были все «свои», то и приезжали, когда хотели, и не было часов закрытия: иногда прямо из «Семи звезд» шли пить кофе на Николаевский вокзал

или к ранней обедне, не молиться, может быть, а так — постоять мечтательно среди богомольных заспанных старушек.

— Ты поедешь к Светику?

Это Петя Клейн звал меня к эстету, поклоннику Уайльда — Светлову.

Так далеко, за реку, а потом еще мосты разведут, возвращаться надо будет кругом. Но мне было все равно.

— А кто едет?

Петя засмеялся и мотнул головой.

— Кто? Все едут... и твоя Наина тоже... У него по субботам ночные приемы... утренние,вернее...

— А интересно?

— Ничего. Впрочем, я еще не был... Если только он не будет читать какой-нибудь новой поэмы...

— А ты меня проводишь... обратно? Пойдем походим... я так устал сидеть.

Синий дымный воздух застилал лица и далекую маленькую эстраду. Там уже было пусто. Горская, трагическая и безработная актриса, стояла одна у зеленой колонны.

— Какое томление.

— О чем?

Она криво усмехнулась.

— Я думала о себе... Простите... я изучаю Мелисанду... Вы помните, когда Вера Федоровна... падала...

У входа вежливо кричали, что муфта была скунсовая. Толстый Светлов, улыбаясь, звал меня к себе.

— Приезжайте непременно... Вы еще у меня не были.

Вдруг кто-то тихо тронул мою руку. Я обернулся. Около меня стояла дама с полузакрытым вуалью лицом.

— Простите... мы незнакомы...

— Нет... кажется...

— Мне надо с вами говорить.

Я хотел ехать к Светлову, вот ведь и Петя Клейн одевается уже: поздно. О чем мы будем говорить? Но делать было нечего.

— Пожалуйста.

Дама отошла в сторону, к камину, и подняла вуаль. В свете красных тлеющих углей я увидел сухое и тонкое ее лицо. Она должна была быть красива раньше, но теперь казалась больной или очень усталой,— этот чуть опущенный рот и разметавшиеся на лбу легкие волосы...

— Я сейчас... здесь... не могу вам ничего сказать. Но... ради Бога... это так важно... это необходимо... ради Бога... вы должны приехать ко мне...

Она говорила глухо и осторожно.

— Не знаю, право, когда же?.. У меня мало времени... Я послезавтра уезжаю...

— Нет, вы меня не поняли... Я прошу сейчас... Вы ко мне поедете... я должна вас видеть.

Я невольно улыбнулся.

— Вы меня извините, я сейчас не могу... Я обещал... Может быть, вы мне объясните здесь?..

— Ах, нет, нет...— Она подняла руки и будто задумалась.— Когда хотите... на рассвете, утром... но вы должны мне обещать это.

Я еще колебался. Но эта дама так печально просила и волновалась, что я не решился отказать и обещал быть у нее через два часа. Да меня и заинтересовала такая романтическая встреча и свидание.

У Светлова было шумно и хорошо. Все те же люди, что и в «Семи звездах»,— но проще и свободнее. Я вошел, когда все сидели за столом, и рассказал соседям о своей встрече.

— Вы пойдете?

— Да.

— Я слышал это имя... Орленская.

— Господа, Питоев будет петь.

В окне уже занималось серое и тусклое утро. Подведенные глаза казались темнее и глубже.

— Это очень странно... то, что ты рассказал...— Петя Клейн встал и подошел к свету.

— Отчего?

— Я не знаю... Но я видел эту даму, такая она, как мученица. Такой лоб... чистый и... трудный.

II

Дождь, мелкий и липкий, забирался под поднятую крышу и застилал впереди небо, деревья и трубы. Будто и не было неба — так, только что-то серое капюшоном над городом. Извозчик остановился у тяжелого, с выступами, дома.

— Пожалуйста... номер 11.

Уже поднимаясь по лестнице, я спросил заспанного швейцара:

— А как зовут госпожу Орленскую?

Он недоверчиво покосился на меня.

— Зовут? Марьей Дмитриевной зовут... А вам что угодно?

Я позвонил.

— Я извиняюсь, Мария Дмитриевна... меня задержали.

Орленская была еще в шляпе, как в «Звездах». Только в бледном утреннем свете казалась еще утомленнее и желтее.

— Ах, это все равно... Я так благодарна вам. Пойдем.

Мы прошли через две комнаты, полупустые, беспорядочные, как после переезда или какого-то разгрома. Мне вдруг пришло в голову, что это странное приключение, может быть, проделка чья-нибудь или ловушка. В последней комнате сидела под окном худая девочка, равнодушно на меня поглядевшая.

— Аля, вот, Георгий Николаевич... ты знаешь?

Орленская обернулась ко мне.

— Простите, это моя дочь.

Девочка встала и серьезно, как взрослая, протянула мне руку.

— Аля, милая, теперь ты иди... ты устала, верно... ну ляг, милая.

Орленская поцеловала дочь и, заперев за ней дверь, тихо подошла ко мне.

— Вы понимаете... она не должна всего знать... Я сказала только, что вы его видели.

— Мария Дмитриевна, я ведь еще ничего не знаю, чем я могу вам служить.

Она села.

— Да, я помню... Я еще ничего не сказала... Не знаю только, все вам сказать... Ну, все равно. Вы должны понять. Видите, это было очень давно... тринадцать лет назад. Но я ему не изменила... он не понял...

Она вскочила и подняла руки.

— Знаете, я вас видела во сне... Я ведь с того дня все сны вижу... Вот, будто иду я по улице... по набережной, совсем пусто... а мне навстречу человек... это были вы... я вас сразу узнала сегодня. И голос ваш и глаза. Вот, взяли меня за руку, а я вскрикнула... Вы наклонились и шепчете: «А я вас, барыня, к нему доведу»... Вот. Вы знаете Владимира Сергеевича?

— Нет.

— Как? Владимира Сергеевича Паскина?

— Нет, не знаю.

Она схватилась за голову.

— Что же это? Боже мой, Боже, что мне делать? Но я не ошиблась... Я не могу ошибиться...

Я не понимал, где я и что это. Больная ли предо мной или умелая актриса? Но у меня болела голова, и этот могучий желтый свет, казалось, застилал и вечер уже вчерашний и нашу встречу. Я сказал, вероятно, довольно уныло:

— Мария Дмитриевна, вы, может быть, расскажете мне ваше дело... мы и обсудим все... поскорей.

Она села и притихла, как послушный ребенок.

— Ну, хорошо, хорошо... я вам все расскажу... только вы меня не бросайте, не уезжайте сейчас...

Я улыбнулся.

— Я хочу вам помочь.

— Вот... я ведь знала. Ах, это так давно было... никому не рассказывала... Вы думаете, отчего я хожу всюду? На скачки, на выставки, по улицам до изнеможения... Зачем я в вашу таверну пошла? Я искала... его, а в последние дни вас. Вот, я была тогда невестой... вы помните, какой он был? Ах да, простите, вы не знали его... он мучил меня, я плакала, я плакала каждую ночь. Но я его любила, и он меня так любил... я теперь

знаю, мы должны были выплакаться... но я отложила, и он уехал на месяц... в Швецию. Ах, нет, вы такой молодой, вы не поймете,— она откинулась на спинку кресла и опустила руки.

— Что?

— Нет, это все равно... вам ведь все равно. Одним словом, когда Володя вернулся, я уже была невестой другого. Мой муж, Орленский... он умер через год... А Володя приехал ко мне вечером... неожиданно... я и не знала, что он в городе...

Она опять встала и, широко раскрыв глаза, подошла совсем близко ко мне.

— Я боюсь, нас услышит кто-нибудь. Я не хочу, я не хочу,— она шептала и озиралась,— вот, он вошел, и я... я будто и не удивилась... и говорю: «Здравствуйте, Владимир Сергеевич...» И так, я помню... вдруг взялась за лампу на круглом столе... А он подошел... поклонился... и руки мне поцеловал.

Она замолчала. Только эти руки, тринадцать лет назад поцелованные, еще вздрагивали. Было совсем тихо. Лишь на дворе, далеко уже, гремел ломовой.

Вдруг Мария Дмитриевна вскрикнула:

— Да, да, я ему все сказала... но он не смел меня так оскорблять... Ведь что он говорил! А я слушала... и молчала... Володя, Володя, ты слышишь? Нельзя было, нельзя... Ты меня любишь? Ты меня не оставишь? Володя, ты слышишь?

Она упала на диван, вскрикивая и трясясь. Дверь тихо отворилась, и в комнату не спеша вошла та же девочка, совсем одетая и причесанная. Было видно, что она не ложилась.

— Мама, успокойся... ну, мама, перестань... перестань.

Она обернулась ко мне:

— Принесите... у меня на столе... флакончик...

Я нашел и принес английскую соль.

— Ну, мама... перестань... перестань... вот... вот...

Мария Дмитриевна притихла.

— Я ничего, ничего... Зачем ты здесь? Иди спать, иди... так поздно...

Девочка вышла в соседнюю комнату и поманила меня за собой.

— Вы не волнуйте маму.

— Я ведь ничего не знал... Мария Дмитриевна больна?

Она покраснела и опустила глаза.

— Нет, мама здорова... совсем. Но, знаете, это так тяжело...

— Что?

— Я вам не могу объяснить,—она устало села на низкий табурет,—это очень долго. Но, пожалуйста, вы все сделайте, что мама скажет. Мне ведь мама не говорит... только я все знаю.

— Аля, иди спать, милая... Пойдите ко мне.

Орленская сидела в кресле уже спокойная и странно красивая, с блестящими сухими глазами.

— Иди, иди,—она слабо улыбнулась.—Вот, простите... я такая слабая теперь... я вас утомляю. Вот, после этого вечера... когда Володя приехал... он исчез. То есть, кажется, три дня—я потом узнала—он был еще в городе... даже к приятелям заходил... И мне рассказывали, что он казался грустным... но спокойным. Только побледнел, будто, и осунулся... А потом уехал... и вот,—она опять начала вздрагивать и задыхаться,—вот... я с тех пор... ищу его...

Я с беспокойством поглядел на дверь и флакон с солью.

— Нет, это ничего,—она улыбнулась,—ничего. Но, знаете, его нет нигде. Только он жив, я это так знаю... Я была во всем мире, кажется... в Японии, в Швеции... везде искала... но никто ничего не знает. Нигде... Ведь у Володи совсем нет родных.

Она замолчала.

— Но что же я могу сделать?

— Вы? Ах, я-то не знаю... Только, я думаю, что вы его найдете.

Мне, правда, стало жаль Орленскую. Где же найти человека, о котором я никогда не слышал, может быть, и мертвого давно? В это тусклое, серое утро мне все казалось далеким и невозможным.

Она растерянно повела рукой.

— Знаете... я думаю так. Вы не сердитесь, я вам мешать не буду... но я должна быть везде, где вы.

— Как?

— Да, я должна быть везде с вами, ходить за вами, скитаться, так и найду.

Я вдруг рассмеялся.

— Мария Дмитриевна, я завтра уезжаю... недели на две... Вам придется теперь же начать ваши странствования...

Я собирался в Шлиссельбург, оттуда в ладожские монастыри и в Финляндию.

Она вся заволновалась.

— Ах, видите, я поняла. Вы не сердитесь. Но я поеду. Я должна ехать.

Я обещал сказать по телефону час отплытия парохода.

III

Утро было светлое и холодное. Бледное на прозрачном, стеклянном небе солнце слабо золотило ленивую Неву.

Мария Дмитриевна уже сидела в каюте. Она была одета во все черное, бедно и просто, и казалась очень красивой все-таки, той осенней и «роковой» красотой, о которой любят говорить французские романы. Только глаза были тихие и грустные — совсем наши, будто русские лесные озера.

Я поклонился.

— Вы в Шлиссельбурге остановитесь?

— Да, я должен... Мне дал брат поручение на какую-то фабрику.

Мне показалось, что Орленская не хочет, чтобы я замечал ее, будто бы еду один. Но, видимо, это ей было трудно. Она беспокойно оглядывалась и теребила в руках платочек.

Я вышел на палубу. Было холодно и пустынно. От серых низких берегов несло дымом и дальше, в полях, сырой осенней пылью.

Уже недалеко от Шлиссельбурга Орленская опять спросила меня:

— Вы долго здесь пробудете?

— Нет, один день.

— А...

Она поглядела в круглое оконце и заговорила будто сама с собой:

— Я теперь, кажется, все понимаю... Мне вчера снилось... такое синее, темное небо все в крупных звездах. Знаете, как купола бывают. И будто лестница золотая. И вокруг церкви, кресты какие-то, башни... свечи горят, и пение слышно... А по лестнице, сверху, идет ко мне... Володя... улыбается и руки ко мне тянет... как тогда.

Пароход задрожал, пыхтя и отдуваясь. На палубе сбрасывали канаты. Барка лениво и сонно ударилась о борт.

— Шлиссельбург.

Мария Дмитриевна встала.

— Да. Я сейчас еду на фабрику,— я улыбнулся.— Вы... тоже?

— Нет, благодарю вас.

Мы условились встретиться завтра, к отходу монастырского парохода.

Шлиссельбург не город, а грязная, дымная деревушка. Я не знал, что с собой делать, потому что фабричное поручение мое было несложное, и его быстро я кончил.

Орленской нигде не встретил. Мне было стыдно, что я не проводил Марию Дмитриевну до гостиницы какой-нибудь. Но это, казалось, так просто. Теперь же, бродя по узким, топким улицам, между серыми лачугами, я и представить не мог, где она остановилась.

На другой день, на пристани, я ее не нашел. Как всегда, кто-то ругался, спешил, бегали кочегары и смазчики, но Орленской не было. Наконец надо было отплывать. Я стоял на палубе и почти с отчаянием смотрел на берег. Странно — меня не тяготила эта близость, мне было бы жаль потерять ее.

Пароход загудел и отошел. Низкий, серый город медленно удалялся, а я все думал, что где-нибудь, по

глухим его улицам бродит моя недолгая и печальная спутница.

Вышли в озеро. Я спустился в каюту и оттуда смотрел на широкие пенные волны.

Утром уже забелели вдали колокольни и был слышен звон. Но мне будто передалась тоска Орленской. Я видел эти скалы и сосны над золотыми главами и не чувствовал той радости, с которой всегда возвращался к знакомым и милым краям.

На легкой подскакивающей бричке послушник довез меня до монастырской гостиницы. В гулком коридоре я встретился со старым монахом-прислужником. Я видал его здесь раньше. Он провел меня в комнату и тихо проговорил:

— А у нас, знаете, беда. Барыня вчера приезжая утопла.

— Что?

— Да вот... вчера только приехала, под вечер... и сразу же утопла. Или по доброй воле она... тут ведь история вышла некоторая, она к Пантелеймону ездила...

— А как ее имя?

Монах задумался.

— Имя? Вот не помню... Беда. Вам сейчас кипяточку принесу... с дороги.

Он вышел и в дверях остановился.

— Орленская... имя-то.

Я и не удивился. Так мне всегда казалось неизбежным.

— Послушайте, а когда она приехала?

— Вчера вечером. Тут ведь теперь финский пароход ходит.

Я, путаясь и сбиваясь, объяснил монаху, что г-жа Орленская — моя дальняя родственница, что я поражен ее смертью и хочу знать все, как было. Он сурово и недоверчиво взглянул на меня.

— Да я не знаю. Это Федор послушник знает... он и возил. Поговорите с ним, утренной он должно...

У собора я нашел послушника Федора.

Он участливо покачал головой.

— Как же, я возил, я... Не знаю только, разрешат ли говорить про такое.

У меня, вероятно, был очень растерянный вид.

— Ну, расскажите... мне надо знать... ведь вы видели...

Он улыбнулся и встал со скамейки.

— Пойдем в лесок.

Лес был уже весь сквозной. Послушник шел тихо и срывал с кустов большие желтые листья.

— Что же рассказывать? Вот, приехала барыня вчера вечером... я на пристани гостей встречал и отвез ее в гостиницу. А она и спрашивает, есть ли инок у нас Пантелеймон? Я говорю: у нас четыре Пантелеймона, а один всем известен, в скиту на острове блаженствует. Она и говорит: ах, это у него шрам на щеке? Да, говорю, есть. Так вы у него бывали уже? Она, знаете, так вдруг обрадовалась и говорит: ну, спасибо, спасибо, милый, я сейчас и поеду, а тебя как звать? Феодором, говорю. Она вдруг мне бумажку, пять рублей дает, а нам деньги запрещены. Вот отвез я ее и думаю, какая непривычная барыня. А меня через час зовут в гостиницу. Отвези, говорят, барыню на лодке в Петровский скит, сейчас парохода нет, а им очень дело спешное. Уж и разрешение вышло. А тут и барыня моя сама выходит. И удивился я еще. Приехала она какая-то темненькая, да по бедности будто, а теперь красивая, шляпа на ней большая, с цветами, глаза так и горят... Отвези меня, говорит, Феодор, в скит этот. Что ж, я и повез. Сели в лодку, поехали. Озеро-то вчера тихое было, хорошее. Она молчит и только просит скорей грести, говорит, что поздно будет. Причалили к острову, она соскочила, а я ждать остался, потому тут послушник был на берегу. Он ее и повел... Вот сижу я на лодке да рыбок плещущих смотрю. Недолго ждал — вижу, идет с холма моя барыня. Тихо очень идет, руками разводит. Постояла на пристани и в лодку вошла. Ну, я молчу. Это ничего, говорит, Феодор, ничего. Я удивился. Что же — ничего, спрашиваю. А она засмеялась и говорит: все ничего, очень, говорит, хорошо и весело жить. Тут уж я островок

обогнул да в большое озеро вышел, к пристани грести. Она и спрашивает: глубоко тут, Феодор? А кто его знает, глубоко ли? Я так и ответил: должно, что глубоко. Ну вот, говорит, это хорошо, что глубоко, и опять мне улыбнулась. А потом вдруг встала... на корме... в рост и подняла руки, перекреститься, что ли, хотела. Только не крестилась. Я говорю: упадете, барыня, сядьте. А она уж и не обернулась на меня, закрыла лицо да и сошла в воду... тихо так, будто на траву, на лужайку. Я кричать стал, звать, веслами искать... только ушла она сразу, должно, глубоко очень. А поднимать ее хотят у нас. Потому, как же без погребенья?

Послушник наклонил ко мне бледное лицо и понизил голос.

— А что она, очень несчастливая была?

— Не знаю...

Он вздохнул.

— А вот отец Пантелеймон, сказывают, когда постучали к нему и вошли, что вот такая-то барыня дожидается и хочет видеть немедленно, задумался сильно сначала, а потом к себе ушел в тайную. А поднялся гневный такой и говорит: скажи барыне этой, что видеть я ее не хочу... и чтобы она уехала отсюда. Первый раз так ответил приходящим сурово. А вы кто же будете покойнице?

Я промолчал.

Феодор поглядел на меня. Потом вдруг крепко сжал мою руку и глухо сказал:

— Страшный мир наш, страшный.

⟨1917⟩

ЖИЗЕЛЬ

(Рассказ человека из богемы)

История начинается издалека. Но по странному «оптическому обману» перепутанных (войной, революцией, судьбой) планов — начало ее я помню как раз отчетливее всего.

Во всех подробностях мне запомнилось это сентябрьское утро 1911 года. Попойка началась поздно — она была организована экспромтом.

Кокоша Кузнецов — веселый скандалист, профессиональный бездельник, никому не ведомый художник и знаменитый игрок на бильярде — в половине двенадцатого ночи вспомнил или вообразил, что сегодня его именины и их необходимо́ отпраздновать. Причиной и этого решения и некоторой его запоздалости был долгий и для Кокоши счастливый бильярдный бой в прокуренной и заплеванной, но почему-то особенно уважавшейся «настоящими игроками» бильярдной «Доменика». Кокоша часов шесть подряд сражался там с каким-то на свою голову забредшим к «Доменику» пижоном. «Пижон», должно быть, ничего не знал ни о славе Кокошиного кия, ни о коварной манере этого мастера бильярда сначала прикидываться овечкой и только потом, когда страсти разыгрались и ставки растут, как снежный ком, вдруг показать свое баснословное, известное по всем бильярдным Санкт-Петербурга мастерство.

Игра кончилась часов в 11. Обалдевший от поражений и бесчисленных кружек пива «пижон» ушел, условившись о реванше на завтра, а Кокоша, блаженно ухмыльнувшись, бросил скомканную десятирублевку маркеру и вышел на Невский с твердым намерением — отпраздновать сейчас же вовсю свои именины.

И вот я отчетливо, во всех подробностях помню конец этого пира. Ужасающий беспорядок в Кокошиной квартире — окурки, объедки, пустые бутылки. Из гостей — кто уплелся, уже едва волоча ноги, домой, кто спит, кто, покрепче или благоразумней пивший, сидит, с отвращением запивая последний коньяк глотками черного кофе. Еще не замазанное окно распахнуто на мутную, серую, медленно светлеющую Фонтанку, и картина эта в «ясном, беспощадном свете дня» — особенно непривлекательна. Да, окурки, бутылки, опухшие, сонные лица, тут же на спиртовке жарящаяся яичница... Словом, то, что каждый видел десятки раз и по личному опыту прекрасно себе представляет. Конечно, я не только не заметил бы всех этих подробностей, но вряд ли вообще сохранил об этих «именинах» какое-нибудь воспоминание, если бы они не выделялись среди множества других, им подобных, одним случаем...

Случай был такой. Пока пьяные храпели по углам, кофе пролилось на скатерть, чад яичницы плыл в мутно-серое небо,— в прихожей позвонили. Зевая, хозяин пошел открывать. Из передней послышался громкий голос (как сейчас помню его, громкий, молодой и, особенно поразительный для тогдашнего моего слуха, *трезвый* звук), звон шпор, стук сабли.

В сопровождении Кокоши в комнату вошел молодой офицер в гвардейской форме, с погонами корнета, высокий, розовый, голубоглазый. Я знал его немного — это был А., толкавшийся немного в нашей богеме,— он обожал театр, музыку, стихи. Не очень давно я с ним познакомился в каком-то из «артистических» петербургских салонов, и меня поразила его удивительная красота. Что-то ангельское было в ней. Красота у мужчины — качество, так сказать, обоюдоострое — по большей части слишком красивое мужское лицо выглядит слащаво и глуповато. Но в лице А. и впрямь было что-то «небесное», что-то такое, на что можно залюбоваться, как на картину или закат над морем...

Ну, я и «полюбовался» немного, встретившись где-то с А., и потом, понятно, забыл о его существовании.

Мог ли я думать тогда, что через семнадцать лет, в Париже, я буду писать о нем. И он мог ли думать, что какому-то мальчишке-музыканту, с которым его где-то случайно познакомили, суждено коснуться, много лет спустя, клочков той странной паутины, в которой он запутался и погиб...

А. вошел, сияя розовой, трезвой улыбкой (отлично помню — он улыбался), оглушая наши утончившиеся от пьянства и бессонницы уши громким, трезвым звуком своего голоса, лязгом сабли, серебряным звоном шпор. Он обязательно со всеми нами перездоровался с таким видом, точно не замечает жалкой растерянности всего окружающего и нашей собственной. Ему предложили коньяку. Он выпил рюмку, отказался от второй. Вежливо выслушав рассказанный кем-то дурацкий анекдот, он встал, швырнул окурок в окно и ушел в кабинет с Кокошей. Через пять минут А. уехал. Кокоша объяснил, что заезжал он (они были, оказывается, соседи по имению и с детства дружны) отдать карточный долг. Шалые голоса: «Сам, проигрывая, предупреждал, что отдаст в конце месяца,— и вдруг ни свет ни заря привез. А. славный малый — и каков красавец, а! И что деньги привез — молодчина. По сему случаю, прошу, господа, запомнить — сегодня высыпаться, а завтра опять сюда — допивать. Кто не приедет — тот не друг ротмистру в отставке Николаю Кузнецову».

Это происходило утром. А под вечер зашедший ко мне приятель сообщил новость, которую знали уже все, кроме меня, еще сладко спавшего. Новость была следующая: А. был найден где-то на Черной речке с простреленной головой. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Единственное слово, которое он произнес, умирая, было: «Жизель».

О странной смерти А. много толковали в свое время. Строили догадки о том, что могло заставить молодого, красивого, по всей видимости, счастливого человека покончить с собой так неожиданно, так страшно. Иные в этих догадках заходили и дальше — хотя судебным следствием был установлен факт самоубий-

ства,— толковали что-то о револьвере, наклоне выстрела, делали выводы насчет того, что бы могло значить последнее слово умирающего. Потом, как водится, интерес к делу остыл. А. лежал в могиле, толки о нем понемногу прекратились, все о нем забыли.

Прошел год, другой... Носилась война. В знаменитой атаке под Танненбергом погиб цвет русской гвардии. Помню, как какой-то офицер грустно сказал в эти дни при мне: «Поторопился наш А.— подождал бы немного и лег бы так героем — лучше было бы...» При этих словах на минуту я как живого представил А.— его улыбку, розовые щеки, блестящие голубые глаза — и на минуту пожалел о нем той эгоистической жалостью постороннего, которая, в сущности, есть просто разновидность человеческого равнодушия — вежливая разновидность...

* * *

Вторая часть истории (если это можно назвать историей) — смутна, неопределенна, туманна. Впрочем, и время, к которому она относится, тоже неопределенное, туманное, *смутное* время.

Август или сентябрь 1917 года. Временное правительство еще у власти, Петербург еще столица, Россия еще ведет войну. Большевики еще в подполье. Но с каждым днем это *еще* приобретает все более иронический смысл. Еще? Надолго ли? Да месяца на два. А потом...

...Зеленая звезда,— воды и неба брат,—
Твой брат, Петрополь, умирает! —

писал об этих днях упоительнейший русский поэт. В этом умирающем Петрополе, на этом грозном фоне идущей ко дну России шло, кстати, бесшабашное веселье — тем бесшабашней, чем ближе к концу. Неизвестно откуда, точно из-под земли, появились во множестве какие-то новые люди, швыряющие несчитанными деньгами, какие-то женщины, какие-то шведские промышленники, какие-то кубинские консулы, устраивающие чуть ли не ежедневно, неизвестно зачем, неизвестно для кого, сногсшибательные вечера.

На один такой прием я раз случайно попал. Кто был хозяином великолепной квартиры на Аптекарском проспекте — я так и не знаю. Как сквозь сон, помню огромные раззолоченные комнаты, много дорогой еды, еще более вина, толпу незнакомых мне гостей, нарядную и наглую толпу, от которой распространяется сложный запах тех времен — тонкая смесь, где и египетский табак, и дух контрразведки, и Ориган, и Герлен, и кровь... И еще призрачней, еще туманней — точно сон во сне — помню бледное, скорее некрасивое, худое женское лицо. Серые глаза смотрят зло и грустно, накрашенный рот холодно улыбается. Оно и прелестно и отвратительно — это лицо, его не хочется помнить, и его нельзя забыть.

Потом даже эта тень реальности пропадает. В памяти провал, пустота. Ничего таинственного в этом нет. Просто месяцев шесть прошло с того времени, как я в последний раз пил где-то вино. А тут и Мартель, и шампанское, и ликеры, ну и вдобавок неловкая скука человека, попавшего в чуждое ему общество и знающего, что волей-неволей надо сидеть до утра: путешествие через весь Петербург — с Аптекарского на Знаменскую — осенью 1918 г. было дело нешуточное. Чего стоит одно пустое, черное, страшное Марсово поле, через которое как раз лежит мой путь... Итак, в памяти от шампанского, ликеров, скуки — провал. И когда в сознании опять начинает что-то вырисовываться — это уж не раззолоченные стены квартиры, в которой я напился, в которой *мы* встретились. Это что-то, состоящее из темноты, тепла, запаха волос, запаха теплой кожи и свистящего, странного, прелестного и отталкивающего женского голоса.

Сначала я не вполне понимаю, что этот голос говорит: «Мы будем счастливы. Ну конечно,— мы уже счастливы,— так тепло, так мягко, так хочется спать. Заграница, большие отели, богатая, блестящая жизнь».— О чем это она? Должно быть, из какого-нибудь романа. Но как странно настоятельно, напряженно сухо звучит ее голос. И зачем она повторяет по нескольку раз сказанное? Я уже слышал, что мы будем

счастливы, и про заграницу слышал. И зачем так настойчиво она повторяет, что я должен помнить это, никогда не забывать этого? Военное министерство. Шкаф Д. Папка Н. Что это, продолжение романа? Я окончательно (или мне кажется, что окончательно) просыпаюсь. И вижу, как в сумраке незнакомой комнаты женщина, привстав на постели, делает надо мной какие-то пассы, повторяя: «Ты не забудешь. Ты помнишь. Шкаф Д. Папка Н. ...Мы будем счастливы. Ты помнишь...»

— Что вы от меня хотите?—произношу я, с трудом ворочая языком.— Что вы от... какое министерство, какой шкаф? Я не служу в министерстве... Я играю на контрабасе,—договариваю я с отчаянным усилием, хотя я скрипач, собираюсь затмить Падеревского и контрабас, естественно, презираю. Но другого понятия скрипки, струн, вообще музыки я не могу вспомнить и удовлетворяюсь контрабасом.

Тут она быстро, мягко, как кошка, ложится рядом со мной. «Спи, спи, спи,—говорит она быстрым, нежным, свистящим шепотом.—Это все вздор. Это все так. Не думай ни о чем—спи, спи, спи».

Она прижимает к моему рту стакан, поддерживает мою голову. «Пей, пей,—слышу я нежный, свистящий, настоятельный шепот и глотаю что-то сладкое и одуряющее.—Пей, пей. Спи, спи». И я пью и засыпаю.

И слышу сквозь сон: «Это все вздор. Забудь обо всем. Я тебя люблю, я—Жизель...»

Все эти подробности всплыли в памяти уже потом, понемногу, через неделю, через месяц, через год... Сначала я помнил только смешанное чувство нежности и отвращения, с которым проснулся (у себя дома, привезенный рано утром на извозчике каким-то солдатом), и еще этот странный, свистящий, настойчивый шепот: «Спи, спи, спи... Я—Жизель».

Ни фамилии, ни адреса (ни даже уверенности, что все это было в действительности, а не снилось мне)—у меня не было. Да я и не хотел знать, как зовут по паспорту мою ночную «Жизель», не хотел удостовериться, что она не призрак. Меньше всего я был тогда

в настроении продолжать этот странный сон — отвращение явно пересиливало нежность в воспоминании об этой ночи. А мысль о том, что с тем же именем — Жизель — на губах умер когда-то А., просто не пришла тогда мне в голову...

* * *

И вот эпилог моей «повести». Эпилог уже эмигрантский.

В 1923 году, зимой, я со своей скрипкой оказался в Германии. После Советской России, откуда я только что бежал — голодный, грязный, озлобленный,— Берлин тех дней казался мне сущим раем. Голод, на который жаловались немцы, был мне смешон, берлинская запущенность ощущалась после Москвы как чудо европейского благоустройства. Я много «разного» вынес в благословенном СССР, едва не погиб там и теперь отдыхал всем существом. Скрипка моя меня кормила — я играл по кафе и нахт-локалям разную дребедень, не думая о прошлом и не заглядывая в будущее...

Но дело не в этом. Дело в том, что тогда, зимой 1923 года, в засыпанном снегом маленьком горном городке — зимнем курорте — я встретил ее, Жизель.

Ту самую. Да, ту самую... из-за которой погиб когда-то несчастный А.

Пропускаю все предварительное — как я попал в Шорне — так звался этот городок в Гарце,— описание поездки, природы (хотя от хаоса мне трудно удержаться — так хороши были эти сосны, лед, солнце на фоне огромного белого Брокена, настоящий снежный рай). Пропуская все это — начну прямо: в первый же день, возвращаясь к завтраку после долгой, утомительно бодрящей прогулки по легкому горному холоду, я почти столкнулся у дверей своей санатории с этой женщиной.

На ней был белый свитер, белая короткая юбка. Какая-то детская шапочка смешно и мило сидела на ее

голове, и, как ребенок, она везла за собой салазки. Но лицо было то же, и ничуть не изменившееся, бледное и худое, скорее некрасивое — и прелестное и отталкивающее в то же время...

Я сразу узнал ее. Не знаю, решился ли бы я заговорить с нею. Но случай, столкнувший нас, не ограничился этим: она жила в той же санатории, и нас за завтраком посадили рядом за табльдотом. Признаюсь, я был тогда благодарен случаю. И — признаюсь тоже — в этой туманной смеси отталкивающего и прелестного, нахлынувшей тогда на меня, мне тогда показалось, что прелесть преобладает...

Теперь пропускаю все — эти несколько дней, этот повторяющийся сон во сне. Говорю наудачу — несколько дней, не помню, сколько их было, один, два, десять.

Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье.

Пробужденье было действительно странным... Читатель, знаете ли вы, кстати, что такое ключ к сонету?

Не думайте, что я сошел с ума,— вопрос мой относится к делу. Да, ключ к сонету. Когда-то я пробовал писать стихи, и один приятель-стихотворец наставлял меня в тонкостях ремесла. Ключом называется последняя строчка сонета. Она должна быть такой, чтобы смысл начальных строк стихотворения от нее «переворачивался», освещался по-новому. Вся сила тут в точности, краткости, сухости. И хотя я пишу не сонет, а только бессвязный пересказ действительности — скажу к концу только несколько слов о самом главном.

...Берлин. Комната гостиницы. Рассвет. Окно распахнуто на мутную, серую, медленно светлеющую Шпрее, и картина эта «в ясном, беспощадном свете дня» напоминает удивительно другую картину: сентябрьское утро 1911 года, Петербург, Фонтанку, квартиру Кокоши, «ангельское» лицо А. ...Теперь это лицо глядит на меня с фотографии, случайно вывалившейся из чемодана, случайно взятой мной в руки... И рядом другое лицо — бледное, скорее некрасивое. Серые глаза смотрят зло и грустно, накрашенный рот холодно

улыбается. И свистящий голос говорит равнодушно:

— Да, это я...

Недавно мне попался номер американского иллюстрированного журнала. Там был портрет с подписью — советская шпионка, высланная из Америки. А фамилия была другая. Но лицо знакомое — прелестное и отвратительное, которое не хочется помнить и нельзя забыть.

⟨*1929*⟩

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Над спиритами смеются — и действительно, спириты всегда смешноваты. Таинственное у них тесно перепутано с комическим. Чего стоит хотя бы король бульварных романистов, автор «бессмертного» Шерлока Холмса в роли их великого мастера, объявивший, кстати, недавно спиритизм на каком-то конгрессе — excusez du peu [1] — религией.

Да, спириты смешноваты. Конан Дойль, торжественно приподнимающий завесу иного мира, доверия не внушает, знаменитейших медиумов то и дело ловят с поличным на самом неприкрашенном жульничестве... и все-таки...

И все-таки, если подумать, вспомнить, оглянуться кругом, нельзя не сознаться, что есть в жизни что-то, кроме того, что видит каждый и что видно каждому, что-то непонятное, странное и грозное, что-то, чему, по словам поэта, «есть причина и нет объяснения».

Вот, наудачу, несколько примеров. Привожу их без комментариев. Отмечу только, что все эти разные случаи из жизни разных людей объединены одним: все это именно случаи. Никто из тех, с кем они происходили, спиритизмом не интересовался, суеверно настроен не был — ни медиумы, ни вертящиеся столы в них ни при чем...

* * *

В тоскливые зимние вечера 1919 года посетители Дома литераторов не торопились расходиться после

[1] ни больше ни меньше *(фр.)*.

обеда. Как ни мрачно было в затоптанных, тускло освещенных залах особняка на Бассейной — все-таки там было и теплее, и светлее, и уютнее, чем дома у каждого из этих «бывших людей», собиравшихся сюда со всех концов обледенелого или расползающегося в оттепели Петербурга съесть миску горячей бурды с плавающей в ней селедочной головой, ложку жидкой, ничем не приправленной манной каши и потом посидеть вот так где-нибудь в углу, в относительном тепле, относительном свете, среди таких же обездоленных, выброшенных за борт людей, бывших еще недавно писателями, художниками, адвокатами, директорами департаментов...

Сидели преимущественно в библиотеке: там, хотя и скупо, потрескивала все-таки сырыми дровами чугунная «буржуйка», длинная, черная труба которой перерезывала потолок, расписанный грациями и гирляндами роз. Иногда у огня шел общий разговор. И вот что рассказал там однажды знаменитый юрист, сухонький, старый-старый старичок с совсем молодыми, ясными глазами.

...Все-таки и я почувствовал старость, да. Характерно, что то, что было вчера, неделю назад — помню случайно, как сквозь пелену, многое совсем забываю. А вот чему тридцать, сорок, пятьдесят лет — вижу точно перед глазами. Вот и имение это старика маркиза-либерала и Прованс — знаете эти холмы, тополя, мягкость красок — вот бы теперь там пожить,— передо мною как на ладони.

Я всегда, когда бывал во Франции, заезжал к маркизу. Несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. В тот мой приезд я попал неожиданно на семейное торжество, празднуемое по-деревенски, не день, а неделю и больше,— именины хозяйки дома. Комната, где меня обычно устраивали, была занята, и мне отвели, с бесконечными извинениями, разумеется — ну, старинное французское гостеприимство,— другую, маленькую, в третьем этаже. И вот однажды...

Я прожил уже там дня три-четыре, скоро уже, к сожалению моему, надо было и уезжать, когда это случилось. А случилось это вот как.

После ужина — ах, господа, сейчас бы нам так поужинать — я сидел у раскрытого окна с папиросой, любуясь прекрасной лунной ночью. Было уже часов одиннадцать — ложились в замке рано, по-провинциальному. Должно быть, я один и не спал из всех его многочисленных обитателей. Да и я уже собирался потушить свет и лечь, как вдруг слышу — в комнате рядом открывается дверь, кто-то входит и бросается на кровать, да так, что все пружины трещат. Надо вам сказать, дом был большой, и хоть гостей съехалось множество, все-таки в этаже, где меня поместили, я был единственным жильцом. Это было нечто вроде мезонина, предназначенного для прислуги, но вся прислуга жила в отдельном здании, и обычно мезонин пустовал. Мне это было известно, и, услышав шаги и скрип пружин, я немного удивился, что у меня есть сосед, да еще такой шумный — до сих пор его никогда не было слышно. Сейчас же мне пришлось удивиться сильнее — сосед этот оказался женщиной. Потом чье-то тело всей тяжестью упало на кровать, и я услышал за стеной женский плач — негромкий, но внятный, перемешанный с какими-то отрывистыми, бессвязными восклицаниями. Я, взволнованный, стал прислушиваться, не зная, что делать. Плач скоро стал тише, перешел в тихое всхлипывание. Еще раз скрипнула кровать, зашуршало что-то — и все смолкло. Недоумевая, лег в постель и не сразу, что в молодости со мной случалось крайне редко, заснул: все прислушивался. Нет, ничего,— должно быть, соседка, успокоившись, заснула. Раздумывая над тем, кто бы она могла быть, заснул и я...

Когда утром я вышел в сад, мой маркиз, уже выбритый и причесанный, в своем безукоризненном обычном белом фланелевом костюме, подстригал садовыми ножницами кусты роз, страстным любителем которых он был. На его вопрос — как спали? — я рассказал ему о вчерашнем.

— Простите, кажется, я сделал оплошность,— тотчас же поспешил прибавить я, увидав, как вдруг потемнело его всегда улыбающееся лицо.— Простите... может быть...

Он, казалось, меня не слышал.

— В самом деле... Как я не подумал?..— бормотал он.— Ведь как раз... Это я должен просить у вас прощенья,— обратился он ко мне.— Сегодня же вам отведут другую комнату. И не рассказывайте никому об этом, особенно жене — это ее так взволнует.

— Конечно, я никому не скажу... Но зачем же мне другая комната... Эта дама ничуть меня не потревожила...

— Эта дама,— повторил маркиз со странной интонацией.— Эта дама... Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь, и вы все поймете.

Он вернулся с ключом в руках.

— Поднимитесь туда,— сказал он.

Мы поднялись в мезонин, в мою комнату. Минуту маркиз стоял молча, похлопывая ключом по ладони, точно собираясь с мыслями. Потом с прежней странной интонацией заговорил:

— Ваша комната угловая. Эта стена выходит в коридор. Следовательно, вы могли слышать то, что слышали, только отсюда.

— Конечно,— подтвердил я, ничего не понимая.— Отсюда, конечно. Она вошла, бросилась на кровать, потом...

— Хорошо,— перебил меня маркиз.— Пойдемте, в таком случае, взглянем на эту комнату.

Ключ повернулся в замке тяжело, точно дверь давно не открывали. В лицо мне пахнуло спертым, душным воздухом давно не проветривавшегося помещения. Маркиз толкнул ставни. Солнечный свет упал на выгоревшие обои, многолетнюю паутину, протянутую из угла в угол, пыль, толстым слоем лежавшую на полу. Ни кровати, ни вообще какой-нибудь мебели в комнате не было. Она была совершенно пуста, явно необитаема...

— Дама,— сказал маркиз с расстановкой,— плач которой вы слышали, умерла здесь ровно пятьдесят три года тому назад. Вчера была как раз годовщина. Это была одна из горничных моего деда — она отравилась из-за несчастной любви...

* * *

...С тех пор я сплю при лампе — не могу потушить, страшно.

Конечно, это еще 1915 год и я не знаю, что мой приятель не просто смелый человек, а человек исключительного мужества. Через три года, в 1918 году, все узнают, на какое мужество, самопожертвование, геройство был способен этот, до сих пор никому не ведомый, красивый, черноглазый юноша. Но и теперь мне хорошо известно, что он человек нетрусливого десятка. При мне однажды, рано утром, на Сенной, куда мы приехали компанией после бессонной ночи есть классическую яичницу из обрезков, он разнял двух дерущихся пьяниц, не побоявшись ни страшных кулаков одного, ни финского ножа другого. И еще вещи в том же роде я знаю о моем молодом друге, и слышать от него, что он боится спать в темноте,— мне странно.

А он повторяет:

— Сплю при лампе, боюсь потушить...

И рассказывает:

...первый класс я взял потому, что к первому классу остался все-таки какой-то пиетет. Прапорщики не врываются, требуя, чтобы им уступили место,— чище, спокойнее. Я взял первый класс, нашел двухместное купе, дал проводнику три рубля, чтобы он стерег мой покой, и сейчас же заснул, потому что устал страшно. А когда я проснулся...

Когда я проснулся, первое, что с раздражением я увидел, несмотря на заверения, что меня никто не потревожит,— проводник все-таки пустил ко мне другого пассажира. Пассажир этот сидел в конце дивана тихо, не шевелясь. На голове его была шляпа

с очень широкими полями. Тень от полей падала на лицо — лица не было видно. В синем свете ночника ясно вырисовывались только его руки, лежащие на коленях. Руки были худые, костлявые.

С раздражением думая об обманувшем меня проводнике, я смотрел на моего неожиданного компаньона, прищурившись так, чтобы он не видел, что я проснулся. В конце концов, чем он мне мешает — пусть себе сидит. Можно бы, конечно, предложить ему улечься наверху, но лень вставать, да и он сам, кажется, спит — не пошевельнется, руки как мертвые. Какие неприятные, однако, руки. Да пусть себе сидит... И я собирался уже заснуть, как вдруг мне бросилась в глаза одна вещь.

То, что я вдруг понял, было невероятно, дико. Между тем это было так. Ложась спать, я закрыл дверь изнутри на цепочку... Никто, кроме меня, не мог ее снять. Никто, пока я ее не снял, не мог войти в купе... И в ту самую минуту, когда я это понял,— страшные, худые, костлявые руки медленно приподнялись с колен, медленно в синем сумраке потянулись ко мне. Медленно, понемногу, все ближе, ближе к моему лицу, к моему горлу...

Паровоз неожиданно засвистел, и этот резкий свист вывел меня из оцепенения. Я отчаянно закричал, отталкивая от себя эти страшные руки... и проснулся. Это был только страшный сон. В купе никого не было. Цепочка мирно поблескивала на своем месте. Это был только сон, но брр...— какой отвратительный. Я зажег свет, выпил глоток коньяку, закурил папиросу и вышел в коридор — хотелось не быть одному, увидеть чье-нибудь лицо, поговорить с кем-нибудь...

В другом конце вагона суетилось несколько испуганных пассажиров, обер-кондуктор, проводники. Дверь была раскрыта в такое же, как мое, двухместное купе. Господин, лежавший на диване, казался спящим. Но он не спал, он был мертв. Лицо его было искажено, глаза навыкате, на шее ясно чернели следы длинных, костлявых пальцев. А на полу валялась

шляпа с очень широкими полями, совершенно такая, как та... Она не принадлежала задушенному господину — его котелок покачивался тут же в сетке...

* * *

Осенью 1923 года, перед самым моим отъездом из Берлина во Францию, поэт О. позвал меня на новоселье. Ему надоело жить в пансионах, и он нанял меблированную квартиру на Курфюрстендам. Квартира была во втором этаже одного из тех великолепных домов в берлинском «Вестене», какие, кажется, в одной Германии и умеют строить. Широкая мраморная лестница, красивые, высокие, прекрасно расположенные комнаты, прихожая величиной в средний парижский «салон», ванная с бассейном — словом, прелесть. И то сказать, платил О. за все это великолепие недешево по тогдашним берлинским ценам — какую-то астрономическую цифру в марках, укладывавшуюся, впрочем, в переводе на валюту, в 5—6 долларов.

Единственное неудобство, неизбежное по берлинским правилам, по которым иностранец не имеет права снимать самостоятельную квартиру,— памятная многим эмигрантам фурия, квартирная хозяйка,— в квартире О. отпадало. Он расхваливал хозяйку свою на все лады: милая, радушная, услужливая...

Хозяйка эта, помню, понравилась и мне: маленькая, подвижная, пестро разряженная старушонка — она так и сияла всеми своими бесчисленными морщинками, встречая гостей, подавая на стол, отвечая на шутливые вопросы, которые на своем отчаянном немецком языке задавал ей О. «Jawohl, Herr Doktor... Gewiss, Herr Doktor»[1]. Гости пили рислинг и знаменитые Kantorovitz Likor, рассматривали картины и обстановку, ходили из комнаты

[1] «Конечно, господин доктор... Несомненно, господин доктор» *(нем.)*.

в комнату и выражали желание последовать примеру и тоже снять такую квартиру. О. их передразнивал: «Квартира что, а вот хозяйку, как моя, поищите-ка — не правда ли, фрау Вальдорф?» И та с непонимающим, но радостным видом расплывалась: «Jawohl, Herr Doktor...»

Я уехал в Париж. О. жил в Германии, потом был в Риме, в Женеве. Только три года спустя мы встретились снова. При встрече я мимоходом обмолвился об его берлинской квартире, в которой мы виделись в последний раз.

О. поморщился.

— Ну, уж эта квартира.

— А что? Ведь вы были так довольны. Пять долларов... И такая милая хозяйка...

— Вот именно! Черт бы взял обеих — и квартиру и хозяйку. Вы помните мою спальню? — начал он. — Да-да, с цветным окном и с нишей. Прекрасная комната. Черт бы ее взял. Да. Дело было так. Я был в кинематографе, потом прогулялся немного. Собирался было в кафе, но подумал, как у меня дома уютно, тепло, спокойно, — и пошел домой. И к чему кафе, когда моя фрау Вальдорф — надо, не надо — обязательно приготовит что-нибудь закусить на случай, если я проголодаюсь, — бутерброды, салат, какие-нибудь булочки. Все на чистой скатерти, аккуратно, в чайник засыпан свежий чай, хлеб, как я люблю, поджарен. Я и пошел домой. Выпил чаю, написал несколько писем и улегся с тем же приятным сознанием — как все хорошо, приятно, спокойно у меня дома.

Я всегда читаю перед сном. Помню, я взял тогда мемуары Казановы — чтение, как вы знаете, не располагающее к мистике.

Читаю, и вдруг рядом со мной сдавленный, полный тоски и мольбы голос:

— Ich will nicht sterben[1].

[1] Я не хочу умирать *(нем.)*.

Вся галантная чепуха восемнадцатого века разом выскочила из моей головы. Что это? Почудилось? Донеслось с улицы? Не галлюцинация, я не подвержен,— а с улицы разве только пушечный выстрел мог быть слышен в моей спальне: так уединенно — вы помните — она была устроена. Что же тогда?

Я оделся. Взял (неизвестно зачем) револьвер, обошел всю квартиру. Все в порядке, все на своем месте. На Курфюрстендам горят фонари, шуцман на перекрестке объясняет что-то запоздалому прохожему... Успокоившись немного, я вернулся в спальню, лег и снова взялся за Казанову. Но едва я дочитал последнюю страницу, у самого моего уха опять — еще глуше, еще жалобней:

— ...Ich will nicht sterben...

Я убежал из спальни как был, в одном белье. Зубы мои стучали, меня трясло. Мне казалось, что я схожу с ума. Я зажег все люстры и лампы в квартире, а сам сел в прихожей, отворив дверь на лестницу, готовый бежать без оглядки из дому, если только послышится этот ужасный, леденящий душу голос.

Когда утром фрау Вальдорф разбудила меня, заснувшего не помню как на диване, лицо ее было полно участия и беспокойства: «Herr Doktor болен? Что с Herr Doktor?» Но как — если бы вы только видели — изменилось это добродушное лицо, едва я рассказал ей о том, что было ночью.

Вдруг моя «добрая», «славная», как часто я о ней говорил, фрау Вальдорф превратилась в разъяренную мегеру. Она визжала, топала ногами, брызгала слюной. «Sie lugen» — вы лжете,— кричала она, задыхаясь не то от ярости, не то от ужаса — от того и другого вместе,— вы лжете, лжете, этого не может быть,— слышал я ее исступленные вопли, спускаясь по лестнице.— «Sie lugen! Sie lugen!..»

Я переехал в отель в тот же день. Фрау Вальдорф я больше не видел — пока я укладывался, она не выходила из своей конуры возле кухни. Да, ее я больше не видел и очень рад этому. Но о ней узнал

кое-что, довольно любопытное. Знакомый немецкий журналист, когда я рассказал ему эту историю, выслушал ее молча и на другой день прислал старый номер «Берлинер тагеблатт». Там был снимок с дома на Курфюрстендам, где я жил. Окна моей квартиры были отмечены крестиком, а в медальоне рядом всеми своими морщинками расплывалось лицо фрау Вальдорф. Внизу была изложена ее биография, биография довольно пестрая: содержательница дома свиданий, торговля кокаином и т. д. и т. д. Обстоятельства загадочной смерти на ее квартире неизвестно как попавшего туда богатого провинциального торговца так и остались невыясненными. Фрау Вальдорф, арестованная сначала по обвинению в убийстве, за отсутствием улик была освобождена.

⟨1929⟩

НЕВЕСТА ИЗ ТУМАНА

(Парижский случай)

Он застрелился накануне дня своего рождения: ему исполнилось бы тридцать четыре года. Отличный возраст для художника, которому улыбнулась слава. Кишечник еще неокончательно атрофировался после долгой и жестокой голодовки на прославленном Монпарнасе, и легкие, прокопченные и подгнившие на грязных сырых чердаках, можно еще отмыть и укрепить где-нибудь в Савойе или Пиренеях голубым льдом сияющего горного воздуха.

Признание пришло к Александрову вовремя. Двух месяцев не понадобилось, чтобы из бледного, долговязого, робкого малого в провансальском берете и жалком непромокаемом пальто, озирающего на углу бульвара Распай голодными и жадными глазами каждый вечер одну и ту же картину скользящей мимо такой близкой и такой недоступной жизни (иностранцы, автомобили, огни баров, лотки с устрицами, занавешенные шелком окна, сквозь которые брызжет негритянская музыка и где сосредоточено все — женщины, деньги, еда, английские папиросы, калорифер, фантастический вкус никогда еще не пробованного шампанского), превратиться в довольно самоуверенного молодого «мэтра» в дорогом ловком костюме и галстуке с бульвара Мадлен. Он вернулся из Швейцарии, куда уезжал отдыхать и лечиться на первые, свалившиеся так неожиданно деньги,— совсем другим человеком. Не только легкие и желудок окрепли у подножья Монблана — окрепла и выросла, казалось, и его душа. Несколько этюдов, привезенных в Париж и неохотно показываемых, убедили самых взыскательных знатоков, что заезжий американский меценат, «открывший» безызвестного русского художника, не только не ошиб-

ся в нем, но, напротив, пожалуй, недостаточно его оценил. Американец купил и увез в Бостон в свой дворец, полный Матиссами и Утрильо, десяток полотен очень талантливого начинающего — теперь в комнате большого отеля на красном ковре, столах и широких кожаных креслах были разложены работы, в которых явственно проступали черты огромного, почти зрелого дарования. Трое главных торговцев картинами с рю де-ла-Боэси, трое диктаторов спроса и предложения в мире красок, при свете электричества (был декабрь, желтый туман плотно стоял у окон, и Париж напоминал Лондон) разглядывали эти рисунки, щупали их, подносили их к носу, и каждый соображал, какой ежемесячный фикс предложит художнику, чтобы право эксплуатировать этот удивительный талант осталось за ним, а не за конкурентами. Александров стоял в стороне, прихлебывая портвейн, грыз зажаренную тонкими лепестками картошку и спокойно ждал (за время обеспеченной жизни он научился спокойствию), когда они приступят к торгу. Он знал, что самый азартный из трех — Дюран — предложит, вероятно, больше других, но что Леконт — лучшая марка и более надежные руки, и, пожалуй, вернее подписать контракт с Леконтом. Надо быть осторожным и благоразумным — и этому тоже тепло, отдых и текущий счет в базельском банке успели его научить. Выгодный контракт был подписан. На июнь по условию с импресарио была назначена выставка картин Александрова — тех картин, которые он должен был написать за зиму. Он снял студию и стал работать. Так, по крайней мере, думали все, так говорил он сам, изредка показываясь в «Куполе» или «Ротонде» на зависть менее удачливым приятелям. Впрочем, показывался он там только первое время. Вскоре его длинная фигура в толстом верблюжьем пальто совсем исчезла с Монпарнаса.

Александров к себе никого не приглашал, чужие приглашения отклонял, и в богеме скоро решили, что он загордился, завел более элегантные знакомства, жалеет те десяти- и двадцатифранковки, которые неиз-

менно теперь у него спрашивал при встрече каждый голодный и бездомный член бесчисленного монпарнасского братства. Добродушно обозвав Александрова «Salaud»[1], богема забыла о нем тем условным забвением, каким забывают художника или писателя: до новой книги или очередной выставки. Но поязвить и покритиковать на выставке Александрова обиженным завсегдатаям художественных кафе не пришлось. В конце марта велосипедисты-полицейские, объезжая на рассвете Булонский лес, нашли его лежащим ничком на берегу озера, у самой воды. Тут же валялся браунинг. Пуля прошла сердце навылет.

* * *

Александров покончил с собой в 1926 году. Странный же документ, проливающий на это самоубийство неясно-жуткий свет, был обнаружен три года спустя совершенно случайно. Александров — беженец с Кубани — был человеком одиноким. Наследником всех его художественных работ стал, естественно, тот самый мосье Леконт, с которым у художника был пятилетний контракт, прерванный непредусмотренным форсмажором — выстрелом в сердце. Вместе с картинами и рисунками к Леконту, за неимением у Александрова родственников, перешли и его вещи. Вернее, аккуратный француз попросту забрал их в автомобиль, на котором увозил картины, рассудив, что вещи покойного художника справедливей раздарить его неимущим друзьям, чем оставить швейцарихе в виде баснословного посмертного «на чай». Он так и поступил. Когда в его бюро являлся какой-нибудь художественный попрошайка, Леконт дарил ему то костюм, то новенькую фетровую шляпу, то смену щегольского белья из довольно большого гардероба, заведенного Александровым в то время, когда «главного он еще не понимал», как сказано в его дневнике. Этот дневник был подарен

[1] «Негодяй» *(фр.)*.

Леконтом некоему П., явившемуся к нему за своей долей наследства последним и не заставшему уже ни широких гольфных штанов, ни отличных шелковых рубашек — только пакет с книгами.

— Вот тут архив вашего камрада — больше у меня ничего нет, продайте букинисту,— сунул ему Леконт в руки объемистую пачку и выпроводил посетителя.

В нескольких листках синей шероховатой бумаги, которая зовется Энгр и служит для рисования белилами и сангиной, были завернуты: самоучитель английского языка, два-три романа, кипа художественных журналов, руководство хорошего тона, составленное знаменитым Полем Ребу, и холщовая тетрадь для эскизов, исписанная то пером, то карандашом.

* * *

«Новость: я веду дневник. Никогда прежде не чувствовал потребности в этом. Да и что было записывать? Неудачи, бедность, горе... Только неудачи, бедность и горе были моей жизнью. «Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастна по-своему.» Может быть. Не мне спорить с Толстым. Но мне кажется, что с отдельными человеческими жизнями дело обстоит как раз наоборот. Несчастье всегда одинаково: неудачи, бедность, горе. А каждая счастливая жизнь счастлива на свой особенный лад. Этим дневником я открываю свою счастливую жизнь.

Моя новая счастливая жизнь. Ей уже около двух недель, но только сегодня утром, выглянув из окна спального вагона на снег и Альпы, я понял, что она началась. Снег. Я смотрел на него новыми глазами, глазами счастливого человека. Он уже не пугал меня холодом, отсутствием угля, жалким летним пальто. Снег значил — лыжи, радостное возбуждение, огромный отель в горах, дорогой спортивный костюм. Счастье — прежде всего — свобода. Свобода — прежде всего — деньги. Денег у меня сейчас много. Даже слишком много — ведь я совсем не умею их тратить.

И свободы тоже слишком много — еще неизвестно, что буду делать с ней. Но жаловаться на это не приходится. Напротив. Было бы, например, очень некстати тащить сейчас за собой в новую счастливую жизнь какую-нибудь набившую оскомину любовницу, тащить только потому, что она жила со мной на одном чердаке и штопала мои драные носки. Хвалю себя, что всегда был Волком-одиночкой, как прозвали меня на Монпарнасе. Если бы такая, оставшаяся от старого женщина у меня была, я бы, конечно, ее бросил вместе с носками и чердаком. Но это подлость, а с подлости новую жизнь нехорошо начинать.»

Дальше шло описание фешенебельного горного курорта, несколько слов о мимолетной связи с американкой Патрицией — «как смешно — Патриция, а сама похожа на хорошенького котенка, даже мурлычет», легкой связи с легким расставаньем, «дарлинг, дарлинг, дарлинг — навеки», потом поцелуи, смех и цветы на перроне. Возвращение в Париж. «Контракт подписан. Кто мог думать — у меня коммерческие способности, Леконт только вздыхал.» Потом переезд в новую студию — большую, светлую, с ванной, столовой и спальней — «целая квартира».

«Окно студии выходит в стилизованный парижский садик, и напротив, совсем близко, окна чужого особняка. Только два окна — особняк выходит в сад боковой пристройкой, и они прямо на уровне моего, смотрят в него, как два глаза. Не совсем приятно — так близко чья-то чужая жизнь. Впрочем, на окнах тюлевые занавески, да вообще можно туда не смотреть.

...Утром уже рисовал, но немного — больше устраивался. Переставлял кресло, просто так, для удовольствия. Безделье. Но это творческое безделье. Чувствую, что буду писать много и хорошо, хорошо, как никогда. Весь Париж должен ахнуть в июне на моей выставке. И ахнет. Брал ванну днем — приятно, но глупо, можно простудиться. Потом поехал завтракать в шикарный ресторан. Ел бифштекс и компот — доктор велел щадить желудок. Но над бифштексом реяли все омары и фазаны, которые я теперь могу заказать.

И от этого все показалось особенно вкусным. Взял бутылку шампанского. Выпил только один бокал — вредно, но произвел неотразимое впечатление на лакеев. Кланялись, как принцу Уэльскому. Приятно. Возвращался пешком. Какой туман! Совсем Лондон, как его описывают. Все таинственно расплывается, все очертания двоятся. Я немного заблудился, завернул не на мою улицу, а на параллельную... Да это лицевой фасад особняка, два окна которого смотрят прямо в мою студию. Красивое старинное здание, над воротами какой-то затейливый герб. Взглянул и хотел пройти, но тут из тумана вынырнул автомобиль и остановился у подъезда. Шофер, соскочив, открыл дверцу, и из автомобиля вышли новобрачные. Я остановился — нельзя же перебегать, как кошка, дорогу молодоженам. Кружево, шелк, ворох белых лилий... Невеста повернула голову, и я увидел ее лицо. Оно поразило меня. Оно было необыкновенно счастливо, неслыханно счастливо. Большие, светлые, прозрачные глаза смотрели куда-то поверх всего, маленький, очень красный рот улыбался. Но это не был взгляд, не была улыбка — это было само счастье. Счастье слишком явное, слишком большое, слишком глубокое для этих прозрачных глаз, красных губ, тонких бледных рук. Какое-то исключительное, нечеловеческое, даже бесчеловечное счастье. В нем было что-то жестокое, почти грубое, почти оскорбительное. И я на минуту в самом деле почувствовал себя оскорбленным. Как будто она, эта невеста, забрала себе одной все земное счастье. Как будто она обокрала весь мир, и меня в том числе.

Швейцар распахнул двери особняка, и она, эта слишком воздушная, слишком земная, слишком счастливая новобрачная, вошла в подъезд. За ней промелькнул «он» — высокий, худощавый, банально-элегантный в жакете и с цилиндром в руке. Дверь закрылась. Мне стало холодно. Я почувствовал во рту вкус ржавчины и светильного газа — вкус тумана. Противно. Завернул за угол и оказался перед своим домом.

Дома что-то читал и перебирал старые наброски. Скучно. Глупое чувство обездоленности, которое я ис-

пытал на улице, не хочет проходить. Глупо и смешно. Какое мне дело, что какая-то чувственная девчонка до неприличия влюблена? При чем тут я? Она прелестна? Но прелестных женщин в Париже сколько угодно, Патриция была ничуть не хуже. А это сиянье чувственности даже отталкивает меня. Боюсь и не хочу. Прежде всего я должен быть свободен. Прежде всего искусство. Но на меня действует туман.

Впервые за эти два месяца я недоволен собой. И студия моя не кажется мне такой замечательной, как вчера. Стены следовало выкрасить на полтона темней, в более глубокий серый цвет. И кресла слишком мягки и буржуазно-роскошны. Впрочем, вздор — все очень хорошо.»

* * *

«Сегодня солнечный, розоватый день. Работал, но неудачно. Соседние окна раздражают и отвлекают внимание. Четыре часа дня, но занавески еще затянуты. Раньше их раздвигали с утра — я несколько раз видел лакея в полосатой куртке, который это делал. Может быть, там теперь спальня новобрачных. Тогда понятно — такая чувственная.

Обедал с Леконтом. Пройдоха. Льстит — шер мэтр, вы завоюете мир. Без него знаю. Пристает, чтобы показать ему новые картины, едва отделался. По крайней мере скажите, cher Alexandroff[1], много ли вы написали — ведь выставка не за горами.— Двенадцать полотен.— Расплылся в улыбку.— Ca s'est bien[2]. Откровенно говоря, полотен даже больше двенадцати, но только чистых. На мольберте у меня стоит все тот же начатый холст, и я никак не соберусь его кончить. Надо подтянуться. Занавески так и остались спущенными весь день. Когда я вернулся вечером, за ними светился огонь, должно быть, от ночника — слабый,

[1] дорогой Александров *(фр.)*.
[2] Это хорошо *(фр.)*.

мутный, розовый, какой-то липкий. Что он освещает сейчас, этот мутный розовый свет? Но какое мне дело? Гораздо полезней обдумать, как провести волнистую линию, которая мне не дается на моей картине. Если живописна плоскость...» Далее следуют технические рассуждения.

* * *

«Сегодня в половине первого один из пышных тюлевых воланов задвигался и я увидел невесту. Я хорошо разглядел ее. На ней было что-то легкое, белое, вроде ночной рубашки. Она глядела в сад и в мое окно тем же расширенным, невидящим счастливым взглядом. И она улыбалась так же счастливо. Нет — еще более счастливо, уже не улыбкой — гримасой счастья. Счастья, ненасытности и усталости.

Она стояла, прижавшись лбом к стеклу, будто отдыхая, будто собираясь с силами. За ней в глубине комнаты смутно белела широкая низкая кровать. Так она стояла минуту, может быть, две. Потом вдруг обернулась, протягивая кому-то руки. Занавески снова упали.

Все то же. Занавески опущены. Неужели она так никогда и не встает, не выходит гулять, не одевается? Чувствую, что во мне проснулась душа добродетельной старой девы. Я возмущен. Я готов кричать: c'est honteux![1] Я способен обратиться к полиции, чтобы прекратили это безобразие, порок и порчу нравов. Но шутки в сторону — меня это действительно раздражает. Чем? Что какая-то девчонка и какой-то рослый болван пять дней не встают с кровати. Так что ж? На здоровье, хоть месяц, если им нравится. А вот поди же. Меня это злит, бесит, лишает покоя. Я повседневно думаю только об этом.

Она опять раздвигала занавеску. Опять в рубашке, волосы растрепанные и глаза шалые. И опять это

[1] какой позор! *(фр.)*.

невозможное, звериное выражение счастья. День солнечный, яркий, но она сквозь тюль видна, как в тумане. Как в первый раз, когда она шла в фате и кружевах, с белыми лилиями, с этим пленительным и отталкивающим взглядом. Словно туман того дня не рассеялся и сгустился там, в той комнате, вокруг нее — и она в нем живет. Она подняла руку. Рубашка соскользнула с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно над левой грудью. Я смотрел на нее в бинокль, она должна была меня прекрасно видеть,— но не шевельнулась. Не поправила рубашки, не отвернулась даже — бесстыжая девчонка. Нет. Она не видела меня, ничего не видела — это ясно. Она отравлена любовью, и ничто другое не существует для нее. Я почувствовал ненависть к ней, ярость. Мне хотелось разбить окно и бросить в нее биноклем, поднять... скандал. Сделать что угодно, только бы эти светлые, прозрачные, невидящие глаза взглянули на меня сознательно, чтобы они увидели меня. («Увидели» было подчеркнуто.)

Что со мной? На что я злюсь? Какое мне дело? Разве я не прежний, счастливый, свободный Волк-одиночка? Разве мне надо что-нибудь, кроме славы, денег и свободы? Надо работать, вот что.»

* * *

«Вчера она уехала. Это странно, почти страшно. Не то, что она уехала, а то, что ее отъезд так взволновал меня.

Утром, впервые за все эти дни, занавески широко откинулись. Видел лакея, суетящегося в комнате. Вдруг к окну подошла она в шубке и маленькой белой шапочке. За ней муж. Она обняла его за шею и поцеловала долгим, невозможно долгим поцелуем. Точно не нацеловалась за эти дни. Они отошли от окна, и больше я ее не видел.

Занавески остались поднятыми и даже на ночь не опускались. И на следующий день тоже. Тогда я понял, что она уехала. Зачем? Не все ли ей равно, где целоваться — в Париже, в Ницце или Каире?

Сначала я обрадовался. Унесла нелегкая, не будет мешать мне работать. Сколько дней я баклушничал из-за нее, будто это я женился, будто это мой медовый месяц. С наслаждением я принял ванну, побрился, причесался, с наслаждением раскрыл ящик с красками и взял палитру. Но ничего не вышло. Все расплывается мутными пятнами, и вместо того, чтобы смотреть на картину, я все оборачивался на ее окна. Тревога все сильнее меня грызла. Наконец я замазал все, что нарисовал. Дома сидеть я не мог. Квартира моя вдруг опротивела мне. Будто я жил здесь с невестой и она уехала, бросила меня. Я прислонился к стеклу лбом (так стояла она несколько дней назад), и вдруг у меня защекотало в горле. Я всегда был сдержан, а, видит Бог, у меня в жизни было достаточно поводов для слез.

На дворе шел дождь. Капли дождя стекали по стеклу. Я поднял руку и коснулся щеки. Она была мокра. Сначала я подумал, что это тоже дождь. Потом, когда я сообразил, что плачу, я испугался. Что же это? Где моя слава, свобода, счастье?

Пойду на Монмартр. Напьюсь. Говорят — помогает.»

* * *

«Голова болит. Но напиться вчера не пришлось. Вышло иное. Дико и непонятно.

Я пообедал один. Выпил бутылку вина и съел омара по-американски, не думая о желудке. Пока ел, было ничего, но потом стало еще тревожнее. Я вышел на площадь. Давно я не был здесь. Шумно, людно, отвратительно. Я зашел в большое кафе. Мне было холодно. Я сел за свободный столик и, сняв перчатки, потер озябшие руки.

— Вам холодно? — спросил немного гортанный голос.— Выпейте грогу. И мне закажите — мне тоже холодно.

Я повернул голову и увидел прозрачные глаза, маленький красный рот, светлые волосы. Это была

она, невеста. Ее глаза. Ее волосы. Ее руки. Только выражение лица было совсем другое — грустное и немного испуганное.

— И мне,— повторила она.— Или не хотите? Скупой?

Я заказал два грога, и она улыбнулась.

— Мне надоело сидеть,— сказала она, выпив.— Хочешь, пойдем?

Не было сомнений, кто она и чего хочет, но она была совсем непохожа на остальных женщин. Она казалась молодой, наивной и робкой.

— Пойдем ко мне,— предложил я.

— А где это?

Я назвал улицу.

— Ах, нет-нет,— замотала она головой.— Ах, нет. Туда не хочу. Я знаю здесь очень хороший отель. Очень хороший,— с убеждением повторила она.— И недорого.

Снова я шел по площади. Но теперь все вокруг казалось мне таинственным, волшебным, сказочным, как в детстве на Рождество. Фонари и огни реклам сияли, как свечи на елках, и сердце мое дрожало и падало. Я крепко держал ее за локоть.

Сонный лакей повел нас по узкой лестнице, отпер дверь.

— Вам тут будет хорошо,— сказал он. Меня поразила эта фраза. Откуда он знал, что мне будет хорошо?

Комната была жалкая. Большая кровать, умывальник, лампочка под низким потолком. Она сняла шляпу и пальто. Я смотрел на нее. Я ни о чем не спрашивал. Я был совершенно спокоен. Вся тревога моя прошла. Как будто именно этого я и ждал.

Она тоже молчала.

— Как красиво,— сказала она наконец, показывая на пестрые обои.— Птицы и цветы. Я люблю весну. Но и осень я тоже люблю. Дождь и туман. Потуши свет.

— Зачем?

Она прижалась щекой к моему плечу:

— Потуши, потуши. Я иначе не могу. Мне стыдно раздеваться.

— Разве ты не привыкла?

— Нет-нет. Я люблю тебя. Мне страшно, как будто я твоя невеста.

Невеста!

Потом снова свет ярко горел — кто его зажег, я или она? Я видел ее лицо: оно сияло счастьем. Оно было самим счастьем. Это искаженное счастьем лицо, эти прозрачные шалые глаза. Рубашка сползла с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно. Больше ничего не помню. На рассвете я проснулся один.»

* * *

«Три дня напрасно ищу ее. Нигде ее нет. Расспрашивал проституток и лакеев в кафе — никто ее не знает. Искал тот отель, где мы провели ночь. Не нашел — столько улочек, и в каждой десяток отелей. Очень устал. Несчастен. Никогда еще не был так несчастен. Ее нигде нет.»

* * *

«Ее нет нигде.»

* * *

«Прошло две недели с той ночи.»

* * *

«Как я глуп! Искал ее по всему Парижу, а она тут, рядом. Занавески опущены — значит, она дома. Может быть, она вернулась в ту же ночь — ведь я ни разу не взглянул на ее окна. Сейчас же иду к ней.

Был там. Невероятно. Невозможно. Чудовищно. Булонский лес? Да, конечно, в Булонский лес. Шум деревьев поможет собраться мне с мыслями. Я всегда любил деревья. Я рисовал их. Мне казалось, что в их свежей листве сосредоточена вся свежесть мира.

Уже утро. Над озерами утренний туман. Я первый раз увидел ее в тумане...»

* * *

Долго волновались на Монпарнасе. Много кофе и пива было выпито, много папирос выкурено, пока пришли к решению: пойти в тот особняк, добраться до женщины, погубившей Александрова.

Предприятие казалось трудным, почти невыполнимым. Она не примет художников, не пожелает с ними говорить.

Но все оказалось очень просто. Седой лакей впустил их и пошел доложить хозяйке. Минут десять спустя в гостиную вышла худощавая дряхлая маленькая старушка в широком шумном шелковом платье. За нею бежала болонка. Старушка грациозно опустилась в кресло и предложила всем сесть.

— Чем я обязана честью?..—слегка жеманно спросила она.

П., краснея и сбиваясь, стал говорить про молодую женщину, «живущую или жившую тут три года назад». Старушка перебила его:

— Никакой молодой женщины, мосье, здесь не живет и не жило с тех пор, как я сама перестала быть молодой. Но это было очень давно. И вся прислуга у меня мужская, кроме старой камеристки.

П. все еще настаивал.

— Новобрачные, окна выходят в сад...

Старушка покачала головой.

— Вы заблуждаетесь, мосье. Но я вспоминаю, что не вы первый меня об этом спрашиваете. Года три-четыре тому назад ко мне приходил неизвестный, очень странный молодой человек и что-то кричал о невесте, и плакал, и умолял меня. Мне стало его жаль, и я провела его в комнату, выходящую в сад. Вам я тоже могу ее показать.

Комната была большая. Это был старомодно обставленный кабинет. Мебель была тяжелая, резная, на

стене, среди ружей и пистолетов, висел портрет бравого гвардейца в траурной раме. У одного из окон стояла огромная клетка с канарейками.

— С тех пор как мой бедный муж был убит под Седаном, ничего не изменилось здесь. Только канареек приходится заводить новых — они так недолговечны. Но мой покойный муж их очень любил.

⟨1933⟩

ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНА

Медленно ползет поезд по засыпанным снегом рельсам. Медленно взбирается на гору, сотрясается всеми своими чугунными суставами и останавливается. Станция. Пустая, истоптанная валенками платформа. Черные, голые ветки над водокачкой. Каркающие вороны. Снежная даль.

На платформе пустота. У двери с надписью «Выход» озябший красноармеец с ружьем. Между створками двери и ручкой просунуто полено так, чтобы с другой стороны нельзя было бы открыть. Из-за двери слышен какой-то гул.

Поезд стоит. Паровоз со свистом выпускает пар. Вороны каркают. Красноармеец зябко переминается с ноги на ногу. За дверьми, которые он сторожит, смутный гул усиливается.

Так проходит пять, десять, пятнадцать минут. Потом появляется человек в фуражке с голубым околышем, в галифе, в новом романовском полушубке. Он щелкает серебряным портсигаром, лихо, «по-гвардейски» надламывает мундштук, закуривает и вразвалку, похлопывая по расстегнутой кобуре нагана, проходит вдоль платформы. Останавливается, зевает, смотрит на часы, швыряет окурок. И лениво кричит красноармейцу у дверей:

— Эй, товарищ, пускай!

Красноармеец прикладом винтовки вышибает держащее дверь полено. Дверь распахивается.

Рев, топот, ругань, отчаянные возгласы разом наполняют платформу. Это пассажиры, которые торопятся занять места. Они знают по опыту, что надо очень торопиться — пускают на платформу перед самым звонком. Конечно, теплушка давно переполнена

на предыдущих станциях, конечно, паровоз сейчас затрубит, чугунные суставы дрогнут, ругань и топот усилятся, вороны с испуганным карканьем взлетят с рельс. И конечно, половина «отъезжающих» никуда не уедет — останутся ждать следующего поезда, который неизвестно когда придет. Может быть, завтра, может быть, послезавтра...

— Голубчики, Христа ради...

— Открывай, с.с. комендантский. Видишь мандат?

— Сенька, валяй на буфер!

— Узел... Батюшки — узел где?

Поезд медленно трогается дальше по засыпанным снегом рельсам. Для меня все это привычная картина. Уже часов шесть я мерзну так у окна в коридоре, и предстоит мне мерзнуть еще часов десять. Холодно. Станция пропала из глаз. Снова низкое небо, синяя бесконечная линия лесов на горизонте, снег, кочки, вороны...

1920 год, зима. Я еду из Петербурга подкормиться, отдохнуть, пожить две-три недели в хорошо натопленной комнате, ни о чем не заботясь. Все это ждет меня у цели моего путешествия в глухом городке Псковской губернии, куда я направляюсь. Это для петербуржца, за годы революции никуда из города не выезжавшего,— очень соблазнительно, но поездка так длинна, скучна, монотонна, в вагоне так холодно, что я уже горько каюсь, зачем я на свое мученье ею соблазнился.

* * *

Оттепель. И пахнет весной. Отогревшись в комнате, так натопленной, что я давно и забыл, что бывает на свете такое ровное, блаженное «березовое» тепло, и соответственно позавтракав (нет, мой приятель, выписавший меня сюда, не преувеличивал, обещая все блага земные, и не напрасно я мерз пятнадцать часов в вагоне), я пошел прогуляться по городу. Впервые в жизни я был в советской провинции. Впечатление

было странное. Впечатление было такое, точно частных жилищ в городе нет — есть только начальство.

Повсюду, над каждой дверью, новенькие красные вывески с золотыми серпом и молотом, с новенькими золотыми буквами: Уполномоченный, Управляющий, Зам, Пред, Зав, Упл, Упр... И перед каждой дверью стоял хвост смирных, молчаливых, захудалых «пскопских» мужиков с какими-то талонами и ордерами в руках, чающих получить что-то от этих завов и замов.

По главной улице — конечно, улице Ленина — я вышел на площадь — ну, разумеется, площадь 26 Октября. На площади — большое кирпичное здание без окон, с огромными железными воротами. На фронтоне ржавая вывеска: «Мучное дело Н. Арбузова», но пониже, над самыми дверьми, под неизменным серпом и молотом: «Государственный Театр Исканий». И рядом афиша — «Воскресенье: «Незнакомка» Блока. Среда: «Федра по Рейнгардту». Пятница: «Принцесса Турандот».

В этом советском захолустье (от станции двадцать верст, и снег на дороге лежит пластом не меньше чем в два аршина) на этой «площади 26 Октября», где «пскопские» мужички безнадежно выстаивают в бесконечных очередях, а их голодные клячи, за отсутствием сена, жуют друг другу хвосты, на этой кирпичной стене «Мучного дела Н. Арбузова», волею революции превращенного в театр, да еще «исканий»,— эти «Принцессы Турандот» и «Федры по Рейнгардту» выглядели вполне дико. Господи! Да кто их смотрит? И ставит кто?

Железная дверь завизжала на ржавых скобах. Из нее вышли двое. Человек лет сорока пяти, полный, похожий на купца средней руки или солидного артельщика. Под мышкой у него был костыль, вместо левой ноги деревяшка. И другой, ростом пониже, наружностью побеспокойней, суетливый старик в шапке с ушами, подвязанной бантиком, словно дамский капор. Старичок пропустил «артельщика» вперед, поддержав под локоток: «Не оступитесь, товарищ, скользко...»,— поднес спичку к его потухшей папироске: «Огоньку,

товарищ, у вас не курится»,— закрыл дверь и, ерзая как-то, протянул ключ: «Ключик, товарищ,— это ваш, мой — у меня».

Что-то такое в наружности явно заискивающего перед человеком с деревяшкой старичка показалось мне знакомым. Даже очень знакомым. Я вгляделся в него пристальней.

Он тоже смотрел на меня. Лицо его вдруг дернулось, удивилось, оживилось. Сухие пальцы выпростались из рукавицы и зашарили в кармане. Потом в них что-то блеснуло. Это что-то старичок подбросил в воздухе ловким, уверенным, привычным движением. И, о Господи,— в глазу его засиял монокль.

— Cher...[1] Жорж... Сколько лет, сколько зим!

И искательно сюсюкая в сторону человека с деревяшкой:

— Товарищ, позвольте вам представить... Cher Жорж,— ах mon Dieu[2], какая встреча — в лице товарища Медякина, председателя нашего наркомпроса, вы видите не только представителя власти, но и знатока театра, ценителя, прекрасного поэта...

При слове «поэта» лицо председателя наркомпроса, довольно хмурое, расплывается.

— Весьма приятно,— говорит он нараспев мягким ярославским говорком.— С образованным человеком и вообще. Действительно пописываю отчасти, так сказать, в часы досуга. Писать действительно есть о чем — за бойню капиталистическую да за революцию чего глаза мои не видели. Только техника проклятая не дается. Борис Сергеич вот обучают меня, толкуют мне как и что, спасибо им. Действительно антересуюсь. Но какой там поет. Так... в часы досуга... Из пережитого...

— Товарищ делает поразительные успехи в стихосложении,— льстиво сюсюкал князь М.

Ну да. Этот старичок в капоре — конечно, это князь М. Ну да...

[1] Дорогой *(фр.)*.
[2] Бог мой *(фр.)*.

...Красные восковые свечи оплывают в серебряных канделябрах, в широких окнах тускло блестит ночная Нева, чинный лакей разливает замороженный Редерер, и гости (это литературный вечер и гости литературные — Кузмин, Вячеслав Иванов, Ахматова, Н. Н. Врангель) рассуждают с хозяином этого пышного кабинета с окнами на Французскую набережную кто о чем: Кузмин о галстуках, Вячеслав Иванов о Лопе де Вега, Врангель о каких-то гравюрах... И хозяин все знает — и испанскую поэзию, и гравюры, и то, что думал Оскар Уайльд о манере Барбэ д'Оревильи повязывать галстук. Он очень мил, этот хозяин, очень богат, невероятно начитан и при этом грациозно, очаровательно глуп. Кажется, он пользуется чрезвычайным успехом у женщин. Что же, он не особенно красив, зато князь богат, изящен и самое большее ему тридцать пять лет. Это в 1914—1915 годах. И вот четыре года спустя — старик в тулупе, поддерживающий под руку председателя наркомпроса.

«Товарищ, не оступитесь, скользко...»

«Товарищ делает поразительные успехи...»

«Знаток театра, ценитель прекрасного, поэт...»

— Действительно антересуюсь... Из пережитого... В часы досуга...

* * *

В печке жарко горят белые березовые дрова. За оттаявшим окном смотрят белые зимние звезды. У меня в комнате сидит князь М. Сидит уже часа два... Он принес с собой бутылку самогона (за уроки поэзии его сановный ученик платит самогоном), выпил почти всю ее сам и теперь пьян.

— Ah, qu'elles sont mignonnes les frutts de la petite Ninon[1], — затягивает он срывающимся тенорком. Потом плачет. — Если бы вы знали, как я ее люблю!

[1] Ах, как хороши прелести маленькой Нинон *(фр.)*.

Он уже рассказал мне, привирая и хвастая, историю своего пребывания здесь. От привиранья и хвастовства — «меня здесь очень, очень ценят», «великая задача приобщить народ к искусству меня захватила» — жалкая и пронзительная суть этой истории только ярче выступает. Он почти нищенствует, даже угла собственного не имеет — живет в одной комнате с каким-то бывшим акцизным, «представьте, э...э...э... очень культурным человеком», и деятельность его — все эти «Федры по Рейнгардту» — возбуждает одни насмешки — публика требует чеховского «Медведя». Каждую минуту ему колют глаза тем, что он барин, князь... «классово-враждебный элемент», и в то же время не верят его рассказам о Редерере, Французской набережной, рысаках, деньгах. Так что хотя и «ценят» и «великая задача», но здесь он задыхается и уехать в Петербург, хотя бы и на большее нищенство, ему кажется раем, блаженством. Но уехать немыслимо. Уехать — умереть.

— Если бы вы знали, как я ее люблю!

Кто она — он объясняет нескладно. Может быть, от смущения, может быть, от слишком много выпитого самогона. Я узнаю только, что она ангел, прелесть, «лилия белая, выросшая в тине, роза Новалиса». Он цитирует строчки собственных сонетов, рассказывает, как она улыбнулась, как удивительно она что-то сказала, как он впервые ее увидел и что почувствовал. Помните, у Камоэнса,— «В беззащитное сердце кинжалом дамасским удар»?.. Сквозь эту путаницу я понимаю ясно только одно: несчастный отчаянно влюблен, и влюблен, кажется, вполне безнадежно.

— Вот не предполагал,— говорю я, чтобы придать более легкий тон нашему разговору,— не предполагал, что вы, Дон-Жуан, эстет, могли так сильно влюбиться. Ваши прежние романы...

— Не вспоминайте о них,— почти кричит он.— Мое прошлое — грязь и низость, не вспоминайте о нем. О, как бы я хотел все забыть, ничего не знать, быть таким же, как она, чистым ребенком.

В моей памяти встают кое-какие картинки из прошлого князя М., и невольно я улыбаюсь. И в то же

время мне делается еще как-то грустнее. В самом деле — передо мной несчастный, потерянный, тонущий человек. И что я могу ему сказать, чем могу помочь?

М. еще долго сидит у меня. Потом он жмет мне руки, истерически, неизвестно за что благодарит и уходит. Через минуту — стук в дверь. Квартирная хозяйка пришла справиться, не хочу ли я чаю. Она очень жантильная особа, вдова того самого Арбузова, в складе которого помещается теперь «Государственный Театр Исканий». Она успела мне сообщить, что жила в Казани и Смоленске, имела картину Клевера (музейная вещь, теперь в Музее революции и висит) и что покойный супруг хоть и торговал мукой, но «в общем был чиновник, совершенный чиновник». Ясно, что ей хочется поболтать. Я подвигаю ей стул. Она не садится, но и не уходит. Я ее спрашиваю о местной жизни — правда ли, например, что волки иногда забираются на самую площадь Октября? Оказывается, правда. Мимоходом я осведомляюсь, знает ли она Анну Ивановну, страсть князя М.

Жена «чиновника в душе», только что такая словоохотливая, вдруг заливается краской и молчит. Я повторяю вопрос.

— Кто же ее не знает!

— Ну, вот расскажите мне, пожалуйста. Что она, славная барышня? Красива? Чем занимается?

Она краснеет еще пуще.

— Извиняюсь,— говорит она жантильно и как будто обиженно.— Извиняюсь. Я в Петербурге не бывала, но приличья знаю. Не пристало в опчестве говорить о таких занятиях.

Я все еще не понимаю.

— Почему же не пристало? Что же, большевичка она?

«Чиновница в душе» язвительно усмехается.

— Большевичка! Это бы еще туда-сюда. Впрочем, и большевичка — весь совдеп с ней... Извиняюсь, гражданин, даже думать противно. И к словам таким я отродясь не привыкла. Чем занимается? Да этим самым и занимается. Гулящая она, самая последняя

из гулящих, вот что,— выпаливает вдруг вдова и, негодующе звеня стаканами, уходит.

Я долго еще сижу, думаю о князе М. В печке догорают дрова, в окна смотрят звезды.

* * *

На другой день я был в «Театре Исканий» и смотрел «Федру по Рейнгардту». В огромном промозглом сарае пахло мышами и лежалой мукой. В глазу М. сиял монокль, на голове была все та же шапка с ушками. Пар валил из его рта, когда он читал по бумажке вступление к спектаклю, какую-то туманную «мейерхольдовщину» собственного сочинения. Его плохо слушали. Потом начался самый спектакль, плод режиссерства М. Описывать его незачем: «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Мне же было крайне грустно смотреть на М., на его монокль и шапку, на всю ерунду «по Рейнгардту», дело его рук. Наконец томительное зрелище кончилось. Покровитель искусств, безногий товарищ Медякин, подошел ко мне и пригласил меня отужинать. «Так, закусочка маленькая для товарищей артистов в своем кругу.» Я заранее знал, что меня пригласят, и заранее решил пойти: там должна была быть «роза Новалиса» или «гулящая из гулящих» — Анна Ивановна, страсть моего бедного князя.

И вот я сижу за длинным столом. Гостей человек сорок. Кто они? Пять-шесть актеров, разыгрывавших только что «Федру», красный командир-агроном. Об остальных, пожалуй, лучше не спрашивать, впрочем, я спросил о некоторых. Человек, которого я принял за местного главного чекиста — такой у него был типичный вид,— оказался ученым-лесоводом. «А это кто?» — осведомился я про кривого старика военной выправки, молча и, как мне показалось, жадно евшего. «Не узнаете? Генерал Куропаткин.» — «Как? Какой?» — «Тот самый, главнокомандующий.» Я с изумлением вгляделся. В самом деле, те же, знакомые по

бесчисленным портретам черты. «Как он-то сюда попал?» — «Что ж такого, он теперь сельским учителем, ребят учит. Очень уважают его в губернии.»

Анна Ивановна тоже здесь. Она сидит на другом конце стола между ученым-лесоводом и председателем. Она бойко пьет самогон, громко хохочет. Красива она? Не сказал бы. Но, без сомнения, миловидна. Серые «волжские» глаза, свежий северный румянец, вздернутый короткий нос. И когда она смеется — а смеется она все время,— белые ровные зубы ее блестят ослепительно.

По мере того как выпитого становится все больше и больше, «закусочка» становится все шумней. Принесли гитару и две балалайки. Председатель наркомпроса, встав на стул, произносит речь, но никто его не слушает. Да и слышно плохо: Антанта, товарищи. Нож в спину революции. Гидра пролетарского класса. Махнув рукой, он наконец садится, выпивает залпом стакан и, обведя кругом бессмысленным взглядом, тихо опускает голову на скатерть. После него еще кто-то говорит политическую речь — с тем же успехом. Потом под треньканье балалайки и гитары Анна Ивановна танцует русскую с ученым-лесоводом. Танцует она очень легко и бойко. Голова запрокинута, губы смеются, зубы блестят, полная белая рука лихо машет красным платочком...

«Еще потом» я полулежу в каком-то кресле, и передо мной стоит князь М. Лицо его бледно, как бумага, губы совсем синие.

— Видели, какая она? Видели? Как она танцевала, видели?

— Дорогой друг,— говорю я.— Она прелестна, и я вполне понимаю вас. Но то, что вы так трагически переживаете, это не понимаю. Я уверен, что можно к ней подойти иначе, проще... как другие.

— Как другие? — повторяет он.— Как этот лесовод, который только вчера приехал? Они ушли отсюда вместе. Может быть, к ней? Наверное, к ней.— Лицо его становится еще белей, губы еще синей, еще уже.

— А мне... Знаете, что она мне сказала сегодня? Знаете что? Никогда подола моего не поцелуешь, никогда, слышишь, ты! Это мне за всю мою любовь, всю мою жизнь. Да, жизнь... Да, никогда...

Потом мы идем домой, молча дыша в поднятые воротники. Лютый холод. Кое-где на улицах разложены костры, чтоб пугать волков — вчера они забрались в конюшню и разорвали лошадь. В черном морозном воздухе мне чудится их жалобный вой. Снег по колена. Скорей бы домой. И зачем я сюда приехал?..

Прощаясь со мной, М. говорит:

— Это все прошло. Минута слабости. Я спокоен, и голова моя работает правильно. Конечно, вы правы — надо проще... грубее... Или еще лучше — ничего не надо — забыть, вычеркнуть из сердца. Я так и поступлю. Вы скоро убедитесь в этом.

* * *

Советская печать не любит «мелкобуржуазных сенсаций». Об убийстве М. его возлюбленной промелькнуло в газетах всего несколько строк. Случилось это летом, спустя полгода после нашей встречи. Из сухого и небрежного отчета псковского «собкора» обстоятельства драмы были неясны. Сказано было только, что убийство было очень жестокое: на теле покойной было найдено четырнадцать ран, нанесенных кухонным ножом. Еще было прибавлено, что убийца — «белогвардеец и бывший князь, примазавшийся к местному народному театру»,— симулировал при аресте сумасшествие. На все вопросы следственных властей он отвечал, улыбаясь и торжественно скандируя каждый слог: «Любовь бессмертна».

〈1933〉

ВЕСЕЛЫЙ БАЛ

Днем таяло, был легкий мороз,— затянувшиеся ледком лужи слабо похрустывали под ногами. Был февраль или март, час или два ночи. «Милицейский час» давно уже наступил — «свободное хождение» разрешалось тогда, кажется, до одиннадцати. Но мне до этого не было дела — в кармане у меня лежал пропуск, взглянув на который милиционеры вежливо козыряли и даже желали счастливого пути. Это был чудный пропуск, не хуже тех, которыми были снабжены члены Петросовета и другие сильные мира сего. На казенном бланке с круглой печатью, на которой вокруг серпа и молота отчетливо выделялись магические слова «Профессиональный союз...», значилось, что «товарищ Г. В. Иванов, Секретарь и член Президиума этого союза, имеет надобность по роду занятий ходить ночью, и все революционные власти приглашаются ему содействовать». Подпись красными, как полагалось, чернилами — «за председателя», стоявшая под всем этим, была неразборчива — закорючка и жирный росчерк. Так расписывается, впрочем, большинство председателей, и революционных и буржуазных. Но на этот раз неразборчивость была намеренная; это я сам выдал себе пропуск и сам на нем расписался. Профессиональный союз, членом президиума которого я состоял, был всего лишь профессиональным союзом... поэтов. И никакого права не только выдавать какие-нибудь «мандаты», но и называться «профессиональным» не имел. Но вот назывался и выдавал — и мандаты эти исправно действовали.

Был час или два ночи, ясное небо, легкий мороз. Я шел по Греческому к Бассейной. Светила луна. В ее холодном, мечтательном, «довоенном», как кто-

то выразился, свете Петербург казался не таким, как он был в те дни: обобранным, разоренным, мертвым,— нет, он казался мирным провинциальным городом, в котором по благоразумной экономии фонари потушены: луна светит, да и обыватели спят — чего же им гореть.

На углу Бассейной, впрочем, эта мирная картина обрывалась. «Довоенный» свет ярко заливал Мальцевский рынок. Когда рынки были закрыты, был издан приказ сровнять с землей эти видимые призраки «проклятого наследства», сровнять и превратить в сады «отдыха». Как водится в царстве пролетариата, ломать начали охотно, с «революционной энергией». Но тоже, как водится, скоро энергия эта остыла или направилась на что-нибудь другое, свеженькое и более интересное, обдирание церковных риз, например. И на месте будущих садов «отдыха» остались торчать голые ребра галерей, какие-то сваи, какие-то рамы, то зияющие черными проломами, то блестящие уцелевшими осколками стекол.

Ночью, в лунном свете, эти руины выглядели дико и величественно. Не то взорванный броненосец на дне моря (зеленый воздух совсем как вода, и белые редкие облака точно большие рыбы), не то развалины замка с привидениями.

Я подумал это и вздрогнул: из темноты узкого прохода между рынком и соседним огромным домом тихо появилось в лунном свете... привидение.

Что-то большое, черное, продолговатое, только смутно напоминающее своими очертаниями обыкновенную человеческую фигуру, вышло из темноты и медленно приближалось ко мне. Я остановился с легким холодком в сердце. Фигура, странно раскачиваясь, медленно ко мне приближалась. На голове ее был котелок. На ногах ярко блестели новые калоши... Вблизи я понял, почему очертания этого человека имели столь странный вид: он был закутан в стеганое шелковое одеяло вишневого цвета.

— Товарищ, я болен, я голоден...— начал он тихим шепотом. Потом, оглядев меня и по моему виду (в

«довоенном» свете придавленная шляпа и мое видавшее виды пальто выглядели, должно быть, более «довоенно», чем это было на самом деле) заключив, вероятно, что я не «товарищ», перешел на французский:

— Je meurs de faim [1].

— Но у меня нет с собой хлеба. Я могу дать вам денег.

Он вдруг быстро выхватил деньги, упал на колени и поцеловал фалду моего пальто.

— Mersi, mersi, que Dieu vous benisse [2].

— Что вы делаете? Успокойтесь, ради Бога... Где вы живете? Хотите, я доведу вас домой...

Но он уже сам встал, поправил свое одеяло, стряхнул с коленей снег, спрятал деньги. Теперь вид у него был спокойный, даже безразличный.

Я постоял с ним еще. Он молчал.

— До свидания,— сказал я,— идите домой, а то попадетесь на обход.

— Au revoir [3],— ответил он с забавной церемонностью, приподнимая котелок, и шагнул в тень.

— Идите домой,— повторил я еще раз и пошел своей дорогой.

Около Надеждинской я услышал за собой какой-то глухой топот. По пустой улице, посредине ее, между блестящими полосами трамвайных рельс, бежал человек в одеяле. Он бежал быстро, задыхаясь, что-то крича. Одеяло развевалось, точно плащ, котелка на его голове уже не было — свалился. Он пробежал мимо меня, не заметив меня. «Меня хотят убить!» — долетели до меня слова.

Около Дома литераторов он остановился, растерянно озираясь, должно быть, ища меня. Подойти к нему?.. Но что я буду делать ночью, в советском Петербурге, с сумасшедшим? И я, хоть и испытывая

[1] Я умираю от голода *(фр.)*.
[2] Спасибо, спасибо, благослови вас Бог *(фр.)*.
[3] До свидания *(фр.)*.

некоторые угрызения совести, свернул по Надеждинской налево, чтобы избежать встречи.

* * *

Я не люблю балов. Но это был необыкновенно веселый бал.

Скучал на нем только один человек — Василий Князев, бывший сатириконец. Его прислала «Красная газета» — «наблюсти и донести». И он, несчастный, слонялся по залам, в толпе, где все были с ним знакомы, но никто не раскланивался, хмурился, щурился. выглядывал, чтобы назавтра тиснуть стишок, где описывается наглость «утопающих в пирожных недорезанных», их

разутюженные брючки,
миль пардон, какие ручки...

И кончить свой донос в рифмах рефреном: «Ах, Чека, где ты! Откликнись...»

Понятно, что Василию Князеву было скучно. Но остальные веселились, как дети.

Это был бал Дома искусств 6 января 1921 года. Первый бал за три года существования «Северной Коммуны».

Для слишком забывчивых напоминаю: 1920 год, холод, нищета, обыски, керосиновые коптилки, ночь, смерть... Три года назад — «Великий Октябрь», через год с лишним загрохочут кронштадтские пушки. Словом, самое глухое, черное, безнадежное время — «полюс» военного коммунизма. И вдруг...

И вдруг — маски, фраки, улыбки, запах духов, французский говор. Музыка сладко вздыхает, пары кружатся. В большой столовой ужинают. Чем ужинают — неважно, но хрусталь блестит, люстры сияют, чинные лакеи в белых перчатках чинно обносят «господ». Вдруг — откуда-то — призрак легкой, свободной, прелестной жизни, давно потерянной, давно забытой... Я не люблю балов, но в этом балу, право, было что-то волшебное. И головы кружились не только от смеси

льда, клюквы, сахарина и спирта, которая называлась крюшоном и подавалась почти открыто.

Я танцую с дамой, с которой кто-то только что меня познакомил. Музыка сладко вздыхает, шелк шуршит, голова кружится. Мы пьем, пьем крюшон, снова танцуем, снова пьем. Музыка вздыхает, шелк шуршит, арлекины и пастушки кружатся в вальсе. У моей дамы — кто она, я не знаю, да и к чему мне знать — тонкие подрисованные брови, худые набеленные плечи, белый парик. Нравится она мне? Тоже не знаю... Но мне приятно пить с ней эту смесь льда и спирта, танцевать, говорить какой-то вздор, потому что все это — и она, и наш разговор, и музыка — призрак легкой, прелестной, потерянной жизни.

Держи, если можешь, она улетает,
Она улетит, и никто не догонит...

— Если хотите, я могу устроить.

— Что устроить? — удивляюсь я.

— Это... Переезд через границу.

Я ничего не понимаю. Разве я говорил ей, что хочу бежать за границу?

Моя дама смеется. Она смеется очень мило, как-то по-детски, чуть задыхаясь. Смеется и грозит мне набеленным пальчиком. На пальчике бриллиант — ого, какой большой.

— Он не говорил! Вы же пять минут тому назад рассказывали, что хотели бежать, ищете случая. Он не говорил!

Она снова смеется:

— Неужели такой пьяный?

Должно быть, я действительно пьян, с непривычки, потому что ничего не помню. А ведь, значит, говорил, раз она знает. Все это правда — и бежать собираюсь, и случая ищу... Но... решительно не помню.

— Такой пьяный. Или, может быть, осторожный — испугался...

Должно быть, пьян. Вот, например, вожусь с женщиной целый час, ужинаю с ней, пью, танцую, даже поцеловал ее в коридоре буфета. (Губы холодноватые,

влажные... Нравятся? Не знаю...) Но только теперь заметил, что она выговаривает как-то странно.

— Вы иностранка?—спрашиваю я.

— Почему предполагаете вы?—отвечает она.

О, это «предполагаете вы»! И как я раньше не обратил внимания. Ясно—финка, немка. Почему предполагаю я? Да потому, что:

Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...

Но она, должно быть, не читала Блока и, кажется, обижается. Говорит церемонно:

— Нет, я очень хорошо знаю по-русски. И я русская.

— Идемте пить крюшон,—перебиваю я примирительно.—И не все ли равно, кто вы—русская, немка, итальянка. Идемте пить крюшон. Вы—это вы, остальное безразлично.

Но она качает головой:

— Нет, я больше не хочу пить. Я хочу домой. Нет, и домой не хочу. Ведь там опять... Ах, как грустно... Как грустно...

— Что грустно?

— Жить.

— Почему же вам грустно жить?

Она поднимает свои тонкие подрисованные брови:

— Почему? От любви, конечно, от любви... О, как я влюблена...

И, точно продолжая прерванный рассказ, неожиданно, ничего не поясняя, скороговоркой:

— Ведь мы с сестрой близнецы... так похожи друг на друга, что в детстве мама надевала нам разные банты, чтобы не путать. Ей розовый, мне голубой. Иногда мы шалили, менялись бантами. И мама путала, называя меня Лизхен, ее Катринхен...

Вздох. Какое-то зябкое движение плеч. Из худых набеленных пальцев падает потухшая папироса.

— Мы были так дружны, так дружны. Я плакала, когда увидела его в первый раз,—так он мне «понравился». Я желала ей самого лучшего жениха, богача,

гвардейца, красавца. А он... Да, очень не понравился. И я плакала, что у моей милой «Катринхен» такой жених. И вдруг, теперь, пять лет спустя... Как это случилось? Как это могло случиться?..

Она поправляет волосы.

— Ну, прощайте, мой милый кавалер... Мне пора домой.

— Постойте, расскажите мне до конца. Выпейте еще вина.— Я протягиваю ей стакан.— Расскажите, что же теперь. Вы влюбились в мужа вашей сестры, так?

Она держит поданный мной стакан нерешительно, точно хочет его отставить. Потом поднимает, смотрит на свет, прищурясь.

— Как красиво,— говорит она мечтательно,— точно слезы и кровь. И мы пьем. Слезы и кровь. Как странно.

И, залпом выпив, смеется:

— А на самом деле не кровь, клюква, и не слезы, водка. Клюква и водка.

— Расскажите же,— повторяю я.

— Ах, это... О моей любви? Кажется, так вы выразились? Нет, любовь — неподходящее слово...

Она медленно пьет, медленно проводит рукой по лбу.

— Любовь. Но что такое любовь? А? Что? Кровь и лед? Или водка и клюква? Или то и другое, то и другое, а? Скажите же мне...

Стакан падает на пол и разбивается. Остатки крюшона проливаются на ее платье. Платье белое — пятна красные... В самом деле, точно кровь на белом шелку. Но она этого не замечает, кажется, она ничего не замечает. Брови приподняты, глаза уставлены в одну точку, подкрашенные губы чуть шевелятся.

— Любовь? Что ж, пожалуй, если нет другого слова. Все равно, не в словах дело. Но какая тяжесть, какая мука...

И, точно задыхаясь:

— Все против меня. И сестра, и дети — его дети, и прошлое, эти глупые банты муаровые — у нее розо-

вый, у меня голубой. Менялись ими. Теперь тоже надо меняться. Она не хочет. Зато я хочу, я. У нее жизнь, у меня смерть. А надо наоборот: ей смерть, мне жизнь... Страшно... Кровь и слезы. Вздор. Водка и клюква. Налейте мне еще... И он тоже против меня... О, больше всех, пожалуй. Грозит, плачет, хочет убить меня. Потом мне же ноги целует. Глупости делает: раз убежал, ночью, без пальто, в одеяле, полуодетый... В милицию попал — чуть в сумасшедший дом не отправили...

— В одеяле, ночью?.. Бледное лицо, подстриженные усы? И котелок, не правда ли? Месяца два тому назад? На Бассейной?

— Вы его видели,— говорит она совсем другим, равнодушным тоном.— Котелок. Одеяло вишневое, шелковое. Мое одеяло, в ту ночь мне пришлось покрываться шубами. Он, конечно. Так вы его видели? Как, однако, свет мал. Ну, мне пора. До свиданья.

В прихожей я подаю ей пальто — легкую котиковую шубку на пестрой подкладке, сильно надушенную. Мало у кого в Петербурге сохранились такие шубки...

Она дает швейцару на чай. Я мельком взглядываю на деньги. Раз в пять больше, чем то, что я «ссудил» когда-то ее «странному».

— Прощайте. Провожать? Нет, не надо — у подъезда меня ждет лошадь. Пропуск? Пропуск тоже есть. Что? Да, служебный. Какая у меня служба? О, очень хорошая служба — легкая, веселая... Ну, прощайте, прощайте...

Дверь хлопает, и в передней остается только запах ее духов, резкий, сладкий запах. Кажется, это «Астрис-Пивера».

В зале Гумилев берет меня под руку.

— Жорж, ты неосторожен. Я слышал, как ты откровенничал со своей дамой, болтал, что за границу хочешь. А мне только что сказали, что она особа очень подозрительная, чуть ли не чекистка.

— Кто сказал? — спрашиваю я вяло. Я вдруг понимаю, что ужасно устал, слишком много выпил крю-

шону, чувствую полное безразличие ко всему на свете, кроме одного — спать.

— Н. сказал. Он ее знает. Погоди, я сейчас его расспрошу еще.

Гумилев уходит. Я, зевая, жду. Через минуту он возвращается.

— Ты погиб,— говорит он полусмеясь, полусерьезно.— Н., правда, мало о ней слышал, но и того, что он сказал, достаточно. Ты погиб. Подумай только: ее фамилия — Маузер.

Потом я бреду домой по засыпанным улицам, не думая ни о чем, кроме одного — спать. Потом сплю. Во сне вижу человека в одеяле, детские банты, розовый и голубой, тонкие накрашенные губы. Они улыбаются. Они говорят что-то. Что? Кровь и слезы. Водка и клюква. Маузер. Какой маузер? Ах, да это ее фамилия.

Года через полтора я случайно попал в один салон. Нэпманский салон — была заря нэпа. Салон был многолюдный, разношерстный и достаточно отвратительный. Не знаю, что было неприятней наблюдать: либеральничающих ли молодых людей в галифе — коммунистов, конечно, или хозяйку в шелках и уцелевших от обысков бриллиантах, томно воркующую, что после того, как она постигла глубину революции, она нигде не могла жить, кроме Красной России.

Я мысленно выругал Вл. Пяста, который меня сюда привел (он не принимал участия в разговорах, а только ел, пил, не переставая, все, что было наставлено,— ветчину, икру, и пирожные, и снова ветчину), повертелся немного, порассматривал хозяйские «Ню» в золотых рамах и необыкновенной величины канделябры и собирался уходить. Пробираясь к прихожей, я столкнулся лицом к лицу с моей дамой в Доме искусств.

Она сидела в кресле под высокой лампой, прихлебывая чай, рядом с ней стоял другой мой «знакомый» — «человек в одеяле».

Впрочем, он был больше не в одеяле, напротив, вполне изящно одет, гладко причесан, выглядел буржуазно и солидно. Он скользнул по мне равнодушным

взглядом, но она узнала меня, протянула руку. Рука была так же худа, набелена, так же сиял в кольце бриллиант, так же сильный запах «Астриса» ударил мне в лицо, когда я эту руку поцеловал. Ибо что мне оставалось делать, как не поцеловать.

— Узнаете меня? Вот когда встретились. Ну, как поживаете? Не уехали за границу? Ах да — познакомьтесь с моим мужем.

«Человек в одеяле» поклонился, блеснув пенсне и пробором. На моем лице, должно быть, выразилось изумление. Она улыбнулась и подняла свои тонкие подрисованные брови.

— Мишель,— сказала она,— принесите мне еще чаю. С лимоном, пожалуйста.

«Человек в одеяле», мягко ступая по ковру, пошел за чаем. Минуту мы молчали. Она улыбалась.

— Да, мой муж,— сказала потом она, точно отвечая на вопрос, которого я не задавал.— Мы повенчались в августе.

— Но ваша сестра?— вырвалось у меня.

— Моя сестра? Ах да — вы ничего не знаете. Моя сестра. Бедняжка — ее уже давно, вскоре после того бала, взяли в Чека и расстреляли.

— За что же?

«Человек в одеяле» возвращался, осторожно неся дымящуюся чашку.

— За что?— Она пожала плечами.— Почем я знаю. Долго ли теперь. Может быть, случайно, может быть, по доносу.

⟨*1934*⟩

АВРОРА

Письмо было адресовано в Берлин, на адрес одного русского издательства, прогоревшего еще в 1924 году, и дошло до меня, да и то по чистой случайности, два месяца спустя после того, как оно было послано.

Вперемежку с разными петербургскими сплетнями и упреками, что я не отвечаю на письма (которых я не получал и, всего вероятнее, она не писала), Аврора сообщала туманно и восторженно о каком-то «переломе», который в ней произошел, «роковых путях» и «пьянящих надеждах» (обычный ее «декадентский стиль»), цитировала Ахматову и спрашивала, как можно устроиться в Париже: в Париже она собиралась начать «новую жизнь»...

Я перечел дважды эти лиловатые листки кокетливо-жалкой «шикарной» советской бумаги, сильно надушенные тоже кокетливым и жалким, отдающим корицей, и вспомнил на минуту Аврору, ее бледное лицо, чуть свистящий говор, квартиру, где я когда-то, в те советские дни, бывал частым гостем, окна на Каменноостровский, копенгагенского тигра на лакированном столике — словом, все, что для Авроры существовало по-прежнему, а для меня за годы эмигрантского житья давно стерлось, растаяло, потеряло всякий смысл...

Я перечел письмо, сунул его обратно в пахнущий корицей и шуршащий пестрой подкладкой конверт и отложил в сторону, чтобы ответить... как-нибудь. Отложив, забыл и о нем и об Авроре...

* * *

Аврора, когда я увидел ее впервые, была прелестна. Это было зимой в 1915 году у входа на каток.

Да, она была прелестна. Был сильный мороз, военная музыка гремела, и Аврора, сидя в санях, оживленно говорила что-то толпе молодых людей, выбежавших ее провожать. Я проходил мимо как раз в ту минуту, когда, крикнув: «Ну, довольно, я и так застываю»,— она махнула на прощание своим безусым поклонникам большой белой муфтой, и парные сани с пушистой медвежьей полостью скрипнули и умчались.

Среди выбежавших провожать лицеистов и юнкеров был один мой знакомый. На мой вопрос он объяснил, что эта девочка — дочь известного банкира, не то поляка, не то венгра,— человека темных дел и темного прошлого, о которых, впрочем, никто не помнит, так как он страшно богат и все продолжает богатеть. Он прибавил, что Аврора, кроме того, что «прекрасна, как ангел небесный», еще и «как демон, коварна и зла», что она «холодна, бездушна, невероятно избалована», что из-за нее «уже стрелялись двое» и что «Боже упаси, влюбляться в нее».

Я и без этого предупреждения не собирался влюбляться. Но как-то само собой запомнил Аврору, ее голос, ее серые, прекрасные глаза, взмах ее горностаевой муфты в морозном и солнечном воздухе... Время от времени в газетах мелькало имя ее отца, и эта не особенно благозвучная фамилия биржевого воротилы всегда вызывала в памяти ощущение мороза, музыки и смеющегося девичьего лица. Как-то, перед самой революцией, мне попалось на глаза и ее собственное имя: «Сэр Пич Бренди» — светский хроникер «Петербургской газеты» — захлебывался в описаниях свадьбы Авроры с каким-то инженером, в исчислениях подарков, туалетов, приглашенных и астрономических цифрах приданого.

* * *

В 1920 году среди груды бездарных рукописей, которые по «должности» секретаря Союза поэтов

я разбирал, мне попалась тетрадка, которая меня заинтересовала. Размер хромал, и рифмы не всегда были в порядке, но «что-то», без сомнения, было в этих стихах. Одна строфа до сих пор сохранилась у меня в памяти:

Моя судьба придумана специально
Для развлечения чертей,
Что может быть банальнее — банальной,
Что может быть печальнее — печальной
Судьбы моей?..

Любопытство мое, естественно, еще возросло, когда я взглянул на подпись под стихами. Там стояла фамилия инженера, над великолепием свадьбы которого три года тому назад соловьем заливался в «Петербургской газете» светский хроникер. Автором странных стихов с не всегда выдержанным размером — была Аврора.

* * *

Вскоре мы познакомились. В первом же разговоре выяснилось, что стихи Аврору мало интересуют, да она и не пишет их давно, что уже скорее теперь ее влечет театр — но и театр тоже «так», не главное, между прочим. Главное же заключается в том, что она скучает, смертельно скучает с мужем, с родными, с знакомыми и надеется в литературной среде встретить людей «хоть чуть-чуть позабавней», чем те, которыми окружена.

В этом же разговоре выяснилось между слов еще одно: эта прелестная (за три эти года она стала еще как-то прелестней, тоньше, прозрачнее) двадцатидвухлетняя женщина была одним из тех существ, которые никогда не довольны тем, что есть, вечно ищут того, чего нет, существом избалованным, романтическим и, должно быть, очень несчастным.

Кстати, дело было совсем не в «обстоятельствах» в общепринятом смысле, не в революции, бедности, отсутствии развлечений — совсем не поэтому скучала Аврора. Скучала она, по-видимому, всегда, с самого

рождения, может быть, до рождения еще. И, например, стихи, которые я только что цитировал, были помечены 1915 годом, т. е. временем, когда вряд ли кто-нибудь, даже самый мрачный пессимист, счел бы «печальнее — печальной» ее судьбу.

* * *

В качестве кандидата на одного из тех, кто «хоть чуть-чуть позабавней», которых повсюду искала Аврора, попал и я в мир, в котором она жила... Мир сложный, в нескольких планах, так сказать. Первый план — самый внешний — дом, муж, окружавшие... Муж, тот самый инженер, красавец и, должно быть, большой ловкач. И в 1920 году сумел устроиться. У него большая квартира, сколько угодно еды, дров, «дензнаков» — т. е. сверхблагополучие в советском смысле. Работает в водном транспорте, «незаменим», сыт, самоуверен, благоухает вежеталем и, как это ни странно, при его внешности, ловкости, нахальстве — без ума от жены, которая явно не обращает на него никакого внимания,— может быть, именно потому, что не обращает...

Большая квартира — тепло, светло, постоянные гости, постоянные ужины со спиртом, иногда и с «Мартелем». Общество, такие же, как хозяин, «незаменимые», кто-то из «бывших», «богема», два-три коммуниста, своих, из транспорта. Аврора — тоже пьет спирт, чокается с коммунистом, улыбается на комплименты, подтягивает, когда подвыпившие гости начинают петь «за милых женщин, прекрасных женщин» или «Пупсика». Вид у нее веселый. Нравится ей все это, что ли?..

Второй план — совсем непохож на первый: какие-то монашки, которые приходят к Авроре днем с черного хода, о чем-то с ней шепчутся, берут на что-то деньги, приносят какие-то корешки, гадалки, к которым Аврора ходит, длинные письма, которые она пишет — неизвестно о чем, неизвестно кому, или это —

придуманная ею игра, которая ей очень нравится и которая со стороны выглядит жутковато. Иногда к Авроре собираются гости совсем другого вида, чем те, что поют «Пупсика». Длинноволосый, чахоточный художник, маленькая горбунья — дочь царского министра, какой-то пожилой, грузный человек с белым, похожим на надутый пузырь лицом... Полумрак. Тишина... Руки соединены в цепь, глаза неподвижно уставлены в большую чашку с водой. Все молчат. Каждый старается сосредоточить мысли на одном. Иногда ничего не получается... Иногда...

— Ах,— вскрикивает вдруг пронзительным голосом маленькая горбунья.— Ах, я видела, чувствовала... моя голова... моя голова...

Темой сегодняшней игры была казнь Марии-Антуанетты. Маленькая горбунья раньше других почувствовала укол в сердце, которого терпеливо, часами дожидаются все. Ее хилое тело дергает, лицо искажено. Еще бы — она так ясно чувствовала нож гильотины на шее, так ясно видела голову, свою голову, падающей с помоста в окровавленную, грязную корзину.

«Пупсик» и коньяк, монашенки и гадалки, эта жуткая и странная игра... и двадцатидвухлетняя женщина, которая подходит к зеркалу — удивленно-рассеянно рассматривает свое прелестное отражение и говорит вслух сама себе:

— Господи, какая скука...

* * *

Незаменимость мужа Авроры оказалась не столь уж незаменимой,— вместе с мужем попала в тюрьму и она. Впрочем, ее скоро — по советским понятиям,— примерно месяца через три, выпустили. Я встретил ее на улице на другой день после освобождения. Вид у нее был исхудавший, осунувшийся и... счастливый. В руках у нее был тяжелый пакет.

— Проводите меня — я тороплюсь, чтобы не опоздать,— несу на Шпалерную передачу.

— Мужу?

Она рассмеялась:

— Ну, вот еще — стала бы я ему сама таскать. Да он и не здесь — он в Вологду отправлен... Который час?.. Уже три? Ах, идемте скорее, там только до четверти четвертого принимают. А он, бедный, без табаку, без сахару...

Мы дошли до ворот дома предварительного заключения.

— Еще берут передачу? Ну, слава Богу... Прощайте...— торопливо протянула руку и улыбнулась.

Никогда я не думал, что Аврора может улыбаться такой счастливой улыбкой...

* * *

Я перечел письмо и сунул его обратно в пахнущий корицей, шуршащий пестрой подкладкой конверт и отложил в сторону, чтобы ответить как-нибудь. Отложив, забыл и о нем и об Авроре.

Но через два дня мне, годами не вспоминавшему самого имени Авроры, пришлось опять услышать о ней. Совсем неожиданно, в кафе на Монпарнасе, я столкнулся с одним довольно известным певцом, приехавшим сюда на гастроли. Опровергая распространенное мнение о преувеличенной боязливости приезжих «оттуда» при встречах с эмигрантами, он шумно мне обрадовался, шумно полез целоваться и, усевшись со мной за столик, засыпал меня вопросами и новостями об общих знакомых. Новости были по большей части печальными. Такого-то расстреляли, такого-то на десять лет сослали в Соловки, а такой-то, талантливый молодой художник, сам умер от злоупотребления кокаином.

— А помните Аврору? — вдруг неожиданно спросил он.

Я кивнул.

— Конечно, помню.

— Фантастическая была женщина, с вывертом, а очаровательная.

— Почему была? Разве она изменилась? Я позавчера получил от нее письмо, и фантастичности в нем не менее прежнего.

Он театрально поднял брови.

— Письмо? С того света? Ведь она недель шесть как отравилась. Да, вероналом, как самая обыкновенная швейка. Впрочем, что же, неудивительно! Такая все может. И с того света писать!

Я объяснил ему, что письмо было послано три месяца тому назад, когда Аврора была полна планов и надежд на «лучезарную жизнь».

— Да, тогда у нее был Джексон. Но, позвольте, вы когда видели ее в последний раз? В 22-м году? Значит, ничего про штурмана не знаете? Про ее великую любовь?

— Ничего не знаю,— подтвердил я.— Или почти ничего. Видел только раз, как она ему передачу несла. И на любовь ее вообще не считал способной.

— И никто не считал. Все, и муж ее в том числе, думали, что ей только поклонение да обожание нужно, и молились на нее. А оказалось не то. Влюбилась она в этого штурмана, как кошка. Морда такая наглая, глаза светлые, холодные, кулачищи громадные, шея крепкая, красив очень, а смотреть мерзко. Вышел он из тюрьмы, поселился у нее. Захожу я к ней как-то. Открывает сама, в переднике, волосы платочком повязаны, в кухне лоханка с бельем стоит, стирала, видно. Лицо у нее счастливое и еще красивее стало, прямо красавица. Вытирает мокрые руки о передник, улыбается ангельски.

— Что вы такая радостная, Аврора Александровна?— спрашиваю.

А она закружилась передо мной волчком, белое платье облаком поднялось.

— Чудно жить, ах, как чудно,— и смеется.— Знаете, я счастлива, ужасно счастлива.

Поцеловал я ее пальцы, пахнувшие мылом.

— Поздравляю.

Повела она меня в гостиную. В розовом шелковом кресле сидит штурман, граммофон слушает, цигарку курит, ногти полирует.

Она так застенчиво знакомит.

Он руку тянет, не вставая.

— Садитесь,— говорит,— Аврюша нам самовар вздует (подумайте только, это ее, гордую Аврору, Аврюшей называет. Аврюша, почему не хаврюша).

А она уже готова бежать на кухню.

— Сейчас, Васенька. Может быть, оладушек скушаешь? Я быстро.

Позвала меня помогать ей, а он, штурман, так и не двинулся, только «Цыпленка» на граммофон поставил и снова за ногти взялся.

Пошли мы на кухню. Она так и сияет.

— Как весело,— говорит,— хозяйничать.

Поставил я ей самовар, а она оладьи готовит. Чад прогорклый идет от подсолнечного масла. Неумелая она, вся перемазалась, палец обожгла, а смеется.

— Ужасно весело, только научиться хорошо надо. Я часто порчу продукты, Васенька сердится. Он у меня гурман.— И вдруг лицо ее такое грустное стало.— Подумайте,— шепчет,— он, как рассердится, грозит свою бабу из деревни выписать, а уж она хозяйка, не то что я. Нахвалиться ею не может. А разве это справедливо? Ведь я так стараюсь. Я его так люблю. Я умру от ревности,— и ресницами длиннейшими моргает.

Жаль мне ее невыносимо стало. Но ничего не сказал. Посидел, чаю попил, граммофон послушал — «Кирпичики» и «Бублики» — и пошел.

Долго к Авроре не заходил, а на Пасху собрался. Звоню. Открывает толстая баба в красном платье и белой косынке.

— Кого вам? — спрашивает.

— Аврору Александровну.

— Аврюшку? Она — там, у себя, по коридору пятая дверь.

Пошел я по коридору. Стучу.

— Войдите.

Сидит Аврора, бледная, худая, в платок завернулась. Холодно ей, должно быть, а на дворе солнце.

— Здравствуйте,— и безучастно протягивает руку.

— Что с вами,— спрашиваю.— Больны?

Она качает головой.

— Пустяки, немного простудилась.

Сел я возле нее на диван, она смотрит на меня и молчит, и вдруг — как заплачет. Растерялся я. Глажу ее по голове и слова жалкие всякие говорю — про красоту ее да про прелесть. Она как будто и слушает и не слушает, вскинула на меня глаза, полные слез.

— Видели? — спрашивает, а сама вся дрожит.

— Что видел? — переспрашиваю.

— Ее, Анюту, его жену. Выписал он ее. Хозяйка она здесь, в моем доме. Все он с ней. И ест и спит. А я так, приживалка какая-то, хуже приживалки. И пикнуть не смею. Боюсь.— Глаза ее округлились.— Да, боюсь. Он меня бьет,— зашептала испуганно,— чуть что не так.

Она зажмурилась и закрыла лицо руками, будто прячась от ударов. Я возмутился:

— И вы терпите? Почему же вы не выселите его? Не уедете сами, наконец?

Она беспомощно развела руками:

— Куда от любви уйдешь? Люблю и терплю. А уйдет, за ним побегу.

Я стал ее стыдить, она спорит, сердится.

— Разве вы можете понять? И кто вам сказал, что я несчастна? Я гораздо счастливее, чем прежде. И с каждым днем все больше его люблю. С тех пор,— лицо ее побледнело и рот искривился,— с тех пор, как он в первый раз побил меня.

Теперь она смотрела на меня с вызовом.

— Презираете меня? Я и сама вас всех презираю. Всех. А его люблю. Люблю и горжусь им и его любовью. Анюта? Что же! Она жена. К жене глупо ревновать. Нет, я совсем счастлива. А что все вещи и платья продала — так на что мне, если я без них счастлива.

Она натянула платок на колени, и я увидел ее стройные ноги в заштопанных чулках и стоптанных туфлях.

— Я счастлива, в первый раз в жизни. В мечтах даже никогда так счастлива не была.— И она засмеялась

легким, звенящим смехом.— Ах, как чудесна жизнь и как я счастлива!

Я простился с ней с тяжелым чувством. Прошел еще год, и вдруг встречаю ее на улице. Идет худая, оборванная, волосы висят, шляпа сбилась набок.

— Аврора Александровна!

Узнала.

— Здравствуйте,— говорит таким безразличным тоном,— есть хочется, два дня не ела.

Ну, я ее к себе свез, накормил. Рассказала она мне, что штурман ее бросил, все оставшиеся вещи вывез, только один диван да стол оставил. В карты играть стал. Совсем пропал. И Анюту бросил. Вот они вдвоем и ютятся в пустой квартире. Анюта — та работает на фабрике, иногда ей, Авроре, даст поесть. Ничего, добрая. А Вася даже не зайдет никогда. Совсем бросил.

Я позвонил общим знакомым. Они взяли Аврору к себе, одели, нашли ей место. Первое время встречался я с ней. Стала она на машинке щелкать, все свои фокусы бросила, жалкая такая, одни глаза от прежнего, и те потускнели. Довольна, что кормится, и все только о нем, о штурмане своем вспоминает. Скучно с ней было. Я и перестал навещать ее. А этой весной вдруг слышу — Аврора выходит замуж за американца-миллионера. Думал, сплетня. Нет, действительно. Американец и настоящий миллионер, приезжал дела делать. Увидел Аврору на службе и влюбился. Ведь бывает такая удача. Побежал я к ней поздравлять, очень я рад за нее, бедную, был. Открывает горничная. И квартира опять вся обставлена. Аврора в гостиной сидит, книгу читает. Взглянул я на нее и ахнул. Прежняя. Как восемь лет тому назад. Как будто ни штурмана, ни службы, ни голода не было. Избалованная ломака и голос скучающий, медленный.

— И вы уже знаете? Спасибо. В Нью-Йорке так шумно, боюсь, что у меня с непривычки будет болеть голова,— поправляет брильянтовую брошку на груди и слегка зевает.— Как скучно укладываться, терпеть не могу пароходов. Хотите шампанского?

Познакомился с женихом. Симпатичный и до смешного влюблен. Она его уж сразу стала третировать, а он перед ней, как пудель, служит. Через неделю должны были повенчаться и ехать в Америку. И вдруг перед самым отъездом моим приходит ко мне какая-то баба, плачет. Я ее не узнал. Фамилию называет — Фролова. Никогда не слышал.

— Что надо? — спрашиваю.

— Да ваша знакомая, Аврюша, приказала долго жить.

И голосит на всю квартиру. Еле добился, в чем дело.

— Отравилась. Накануне своей свадьбы. Позвала меня к себе. Все о Васеньке говорила, вспоминала его, покойничка. Денег мне дала, поцеловала. Прощай, говорит, Анюта... Змея ты была. Ну, да и Васенька тоже. Но жить без него не могу. Я думала, прощается перед отъездом за границу. А вышло вот за какую границу уехала. К Васеньке.

— Как к Васеньке? — переспросил я машинально.

— Вот именно к нему, к Васеньке — покойничку, — сказала она, заливаясь слезами. — Прошлой осенью его, бедного, за налет расстреляли.

⟨1934⟩

КАРМЕНСИТА

(Петербургский случай)

Я жил в доме отдыха, осенью, в Петергофе в 1920 году. Я пользовался этой пролетарской санаторией впервые и, признаюсь, с удовольствием. Даже больше, с некоторым ощущением «волшебного сна»... Посудите сами, девятьсот двадцатый год, холод, вобла, продовольственные карточки с знаменитым тридцать третьим купоном на гроб,— и вдруг, с самого утра, в натопленной столовой, на чистой скатерти горячий кофе — и настоящий притом,— и молоко (тоже настоящее), и сахар, и бутерброды... эти, впрочем, не всегда настоящие: иногда вместо сыра и колбасы на них была пленка черной, клейкой, пахнущей рыбьим жиром массы — моржевины...

Но моржевину можно было и не есть, на портреты «вождей», украшавших стены столовой, можно было не смотреть; чепуху, которую в качестве застольной культурно-просветительной беседы несла заведующая домом плешивая большевичка, можно было и не слушать,— и в общем, жить было приятно. Приятность увеличивалась еще тем, что, несмотря на конец сентября, стояла тихая, ясная погода, в озере Заячьего Ремиза отражались елизаветинские деревья, роняя последние желтые листья, и мраморные Дианы. Фавны и купальщицы грустно глядели белыми глазами в светлое северное небо. Статуями этими, впрочем, любоваться рекомендовалось издали. Если подойти близко — то во рту одной торчал лихо залепленный окурок, другой приделаны запорожские усы, а третья не удовлетворила, должно быть, какого-нибудь отдыхающего пролетарского эстета условностью изображения, и он при помощи красного и синего карандаша бойко пририсовал ей все, что для полной натуральности ей недоставало.

Но и это было того же порядка, что моржевина или застольные беседы о блокаде и Антанте,— и этого тоже можно было не замечать. Повторяю, погода была тихая, увядающий огромный, пустынный парк очарователен, в очередь бежать не надо было, голод не мучил, и можно было часами, гуляя, не встретить никого,— так что иллюзия счастливого сна на прогулках была еще ощутимей. Я и гулял подолгу — до завтрака, после завтрака, перед обедом, на красном, тревожном балтийском закате. Как я уже сказал, можно было гулять часами и никого не встретить. Дачников, разумеется, не было, петергофские зимогоры в парк не заглядывали. Им было не до меланхолических прогулок. Мой «сон» с кофеем и моржевиной на них ведь не распространялся, а из отдыхающих гуляла, как я, только «чистая публика». Пролетариат, по моим наблюдениям, к природе довольно равнодушен; если выберется на воздух раз в неделю, то и тут ненадолго — пройдется шагов сто, зевнет, запустит камнем в уцелевшую от кухонной плиты петергофского обывателя шелудивую кошку, прилепит мимоходом окурок Венере или Психее,— и обратно под крышу, на кровать, соснуть, или, если спал уже восемнадцать часов подряд, и как ни стараешься, решительно не спится,— в читальню, резаться в дурачки или двадцать одно с таким же «страдающим бессонницей» товарищем.

Я жил в доме отдыха уже несколько дней, привык к полному одиночеству своих прогулок и вообще удивился бы, встретив женщину, да еще в такой поздний час, на самом закате, да еще в таком отдаленном, глухом месте, как Петергофский Бельведер.

Бельведер. Вероятно, и не все петербуржцы знают его. Об остальных россиянах и говорить не приходится — не слышали, наверное. А между тем это, по справедливости, одно из красивейших, поэтичнейших мест в мире.

Очень высокий обрыв. Вы незаметно приближаетесь к нему — местность повышается так отлого, что, придя к цели, вы поражены: вы просто гуляли и вдруг оказались на «чудной высоте», высоко над какой-то

равниной, за которой зеленеет море и видно на десятки верст кругом. Налево медное солнце садится за кажущимся черным скалистым островом Кронштадт; направо, вдали, то же солнце последними лучами играет на золотом куполе Исаакия. А видите вы все это не просто с обрыва, а с широкой площадки огромного мраморного храма, у подножия которого цепенеют в памятных петербуржцу позах бронзовые кони и всадники Клодта, кстати, знаменитые в копии. Подлинники этого «ложноклассического» шедевра не те, что на Фонтанке, а именно эти, у Бельведера.

Итак, закат, море, широкий вид, золотой купол Исаакия вдалеке, ионические колонны, черные кони, встающие на дыбы, и полное безлюдье кругом. Чтобы дать понятие о непосещаемости этого места, скажу, что ни одной похабной надписи ни синим, ни красным карандашом я не встретил на серо-розовой мраморной облицовке Бельведера — вещь по тем временам неслыханная.

Я ходил туда каждый вечер, и вот однажды, к моему большому изумлению, я увидел у перил, над обрывом, силуэт женщины. Изумление мое еще увеличилось, когда я подошел ближе. Это не была наша плешивая заведующая-коммунистка и не была ораниенбаумская молочница, пробирающаяся «задами», чтобы не накрыла милиция, с бидоном разведенного молока. Это была стройная, высокая дама, в широком котиковом пальто, без шляпы, с большим черепаховым гребнем в очень черных волосах. На шум моих шагов она обернулась, и мне пришлось еще раз удивиться: незнакомке было на вид года двадцать три — двадцать четыре, она была очень красива, не нашей, южной красотой — черные, жгучие глаза, смуглая кожа, чуть тронутая румянцем, очень красный или очень накрашенный рот. Какая-то не то Зарема, не то Кармен,— мелькнуло у меня в голове, и, точно отвечая на мою мысль, она поднесла к губам стебель астры, которую держала в руке, и сжала его кончиками белых мелких зубов — совсем как Карменсита розу.

Она первая заговорила со мной и таким тоном, точно мы знакомы по крайней мере лет двадцать. Но

сделала она это так естественно, что и я почти не ощутил в ту минуту ни странности самого обращения, ни странности ее слов.

Сказала же она мне, не выпуская из зубов своей розы-астры, только переместив ее немного в угол рта, следующее:

— Пришли полюбоваться закатом? Да, очень красиво. Но все-таки не то, что Венеция, даже не Монте-Карло. И потом, хоть и не видишь никого, но знаешь, что вот этот черный силуэт, кажущийся средневековым островом, с башнями и стенами, на самом деле Кронштадт, полный озверелой матросней. Да, Кронштадт, и каждый день там расстреливают, расстреливают, расстреливают... Откуда берутся только? Все еще есть кого... И поэтому хоть и красиво, но все-таки немного тошнит и здесь. Именно тошнит — не страшно, не жалко, а тошнит, точно от морской болезни.

Она помолчала минуту, улыбнулась (астра-роза упала на землю, белые мелкие зубы блеснули) и прибавила:

— Вы не удивляйтесь, что я говорю с вами так откровенно,— не боюсь. Бояться мне вас, как и вы сами знаете, нечего... По вашей наружности, костюму, по тому, как вы подошли ко мне и теперь на меня смотрите, я наверняка знаю, что вы «недорезанный», такой же, как и я. И бояться нам друг друга глупо. Однако пора домой, уже становится сыро.

Если бы это случилось, скажем, в 1918 году, я бы, конечно, дал волю естественному любопытству и постарался бы узнать о моей даме с Бельведера больше, чем я узнал. Стараться, впрочем, вероятно, не пришлось бы: откровенность, с которой она заговорила со мной, с которой рассказала без связи, беспорядочно самые неожиданные вещи о себе, о своих планах и жизни в тот единственный вечер, который я провел у нее, наконец, хотя бы то, с какой беспечностью для того страшного времени она не только разоткровенничалась с совершенно незнакомым ей человеком, но и привела меня (может быть, чекиста, комиссара) в свой

дом,— все это было порукой, что стараться разобрать, кто моя незнакомка, было бы излишним трудом. Два — три дня знакомства, и, конечно, она выболтала бы мне все, что сама о себе знала, и даже все, что фантазировала о себе. Но, к сожалению, я выказал очень большое отсутствие любопытства, или, вернее, изрядную долю осторожности, осторожности, которая не пришла бы мне в голову примерно в 1918 году, в начале 1919 года. Но это была уже осень 1920 года, и чему-чему, а осторожности счастливые граждане «Северной Коммуны», и я в их числе, научиться уже успели.

Но и за этот единственный вечер я узнал много. Я узнал, что в советском Петергофе, в нескольких милях от страшного Кронштадта и немногим дальше от не менее страшной Гороховой, в 1920 году, среди обысков, арестов, расстрелов и доносов, может существовать дом, где очень красивая, одетая изящно и дорого женщина может принимать гостя в комнате, устланной дорогими коврами и уставленной редким фарфором, может протягивать этому гостю золотой портсигар с душистыми английскими папиросами, спрашивать его, какой ликер он предпочитает — шартрез или кюрасо, и показывать при этом маленький плоский браунинг, которым, как она, улыбаясь накрашенным ртом и блестя мелкими зубами, говорит,— она убьет Ленина.

И странное дело — хотя к осторожности, как я уже сказал, я давно привык, и простой здравый смысл должен мне подсказать самый естественный вывод, который из всего этого — и ковров, и ликеров, и откровенности — следует сделать, т. е. что моя дама из числа тех, которых надо бояться как огня, если не хочешь угодить Бог знает куда,— однако почему-то вывода этого я не делаю. Мне не кажется, что я должен ее бояться, не кажется, что я должен говорить ей вымышленное имя, вымышленный адрес, не поддаваться на разговоры о Ленине и расстрелах. Напротив, я, «вопреки рассудку», почему-то верил ее искренности, ее равнодушию к жизни и тому, что если она до сих пор еще не проглотила «вот это»,— она показывает

маленький флакончик с белым, похожим на соль порошком,— от скуки, от разочарования, от усталости, то только потому, что сначала ей хочется выпустить в упор в кремлевской приемной все шесть пуль из маленького плоского браунинга в человека, которого она не то что ненавидит или боится, а так...

— Что так?— спрашиваю я.

Она поводит плечами под желтой, в крупные розы шалью:

— Да все то же, тошнит.

Я пью ликер, слушаю, но сам отмалчиваюсь. Да, я верю, что она не притворяется. Неизвестно почему, но верю. Но вера верой, а твердо усвоенная за три счастливых года диктатуры пролетариата осторожность — осторожностью. И на ее вопросы, правда редкие,— по большей части наша беседа — сплошной ее монолог,— я отвечаю неопределенно или совсем молчу. Она не спрашивает ни моей фамилии, ни адреса, но я придумал и то и другое про себя на случай, если она спросит. Но она не спрашивает почти ничего. Она говорит быстро, все быстрее, без связи, без плана то о расположении комнат в Кремле, то об Италии, где она жила до войны, то о каком-то рояле для музыки в четверть тона, который надо обязательно заказать, когда она убьет Ленина и убежит за границу. «Сумасшедшая!» — вдруг пробегает в моей голове, но странно, и тут, вопреки очевидности, я не верю, что предо мной сумасшедшая. Она говорит все быстрее и бессвязнее. Вот она уже не говорит, а бормочет какие-то обрывки фраз, потом умолкает. В печке слабо потрескивают дрова. Свечи в вычурном канделябре оплывают. Недопитый ликер золотом отливает в рюмках. Моя незнакомка ровно дышит — она спит, и я делаю то, что мне велит сделать благоразумие. Я осторожно встаю, осторожно ступаю по коврам, осторожно, стараясь не скрипнуть, открываю дверь и выхожу на улицу. Уже совсем темно. Некоторое время иду наугад, наконец слабый блеск воды сквозь деревья — наше озеро. Еще несколько минут — и освещенный подъезд дома отдыха. Из залы слышится густой голос моего

соседа по комнате, сознательного слесаря, читающего доклад о международном положении любителям послушать «о политике».

— Так что, товарищи! Которая гидра контрреволюции, товарищи! Которая Антанта, товарищи! — Стук кулака по столу.— Емпериалисты, товарищи! — Голос оратора превращается в рев.— Не допустим, товарищи!

Это значит, что начались «разумные развлечения» перед сном и что, следовательно, обед пропущен. Ну что ж, зато я видел странный сон, который стоит обеда.

Конечно, я не пойду больше к моей бельведерской даме, да если бы и захотел, не найду теперь ее дачи. Но воспоминание об этой встрече навсегда сохраню с благодарностью случаю, вдруг решившему меня развлечь в скучной советской действительности.

Нет, правда, это стоит обеда.

Тут же, к большому моему удовольствию, оказывается, что сердобольная, плешивая коммунистка обед мне оставила.

— Только суп, товарищ, извиняюсь, полутеплый.

— Ничего, товарищ, съедим и полутеплый.

Бедная плешивая коммунистка, если бы знали вы, что слушал я о вашем великом учителе, пока вы здесь заботились насчет моего супа. И еще, если бы знали вы, бедная, плешивая, в дымчатом пенсне, ушибленная Богом и Марксом, какие красивые женщины могут иногда присниться ни с того ни с сего советскому гражданину, обладателю трудкнижки и продовольственной карточки с 33-м купоном на гроб! Женщины, говорящие странный вздор, угощающие ликером и засыпающие в то время, когда гость сидит и раздумывает, кто она — чекистка, сумасшедшая или Кармен, которую он когда-то видел в опере и которая почему-то явилась ему. У нее черные блестящие волосы, смуглая кожа и в мелких хищных зубах прикушен стебель астры.

Плешивая коммунистка ставит передо мной порцию вареного судака и смотрит маленькими, бесцветными, дружелюбными глазками.

— Кушайте на здоровье, товарищ. Филе очень замечательный.

Спустя год — полтора мне пришлось съездить по одному делу в Москву.

Я побывал, где мне было нужно, устроил так, что бумаги, за которыми я ездил, будут выданы по моей доверенности другому, и в 6 часов вечера поехал на вокзал за обратным билетом. В кассе сказали, что билетов нет, но тут ко мне подошел «красная шапка», т. е. посыльный, и, таинственно шепча, сообщил, что в кассе-то нет, но достать можно, разумеется, за двойную плату, зато «мягкий» — спальное место и даже в скором поезде. Я рассудил, что, оставаясь в Москве, я истрачу то же, если не больше, да и перспектива после бессонной ночи и беготни по Москве была слишком соблазнительна: выспаться на чистом белье и завтра быть дома; короче, я дал «красной шапке» деньги и через два часа уже покачивался в чистом и светлом купе первого класса в обществе двух каких-то солидных господ в хороших костюмах, судя по разговору, нэпманов.

Проводник пришел делать постели. Я и мои спутники вышли в коридор. В другом конце коридора двери одного из купе были настежь, слышались громкие голоса, смех, звон стаканов. Заинтересовавшись, я прошел мимо и мельком заглянул туда. Трое мужчин в френчах и две женщины в большом купе, огромный букет роз, золотое горлышко шампанской бутылки, дым сигар — вот что я мельком увидел там. Лиц я не разглядел. Один из моих спутников, пройдя вслед за мной, прикурил у меня и, кивнув на купе, где ехала кутящая компания, сказал тихо, со смесью почтительности и неодобрения в голосе:

— Комиссар. С адъютантами. И девиц не забыли — весело едут. Эх...

Я постоял на площадке, задумавшись о чем-то. Вдруг меня вывел из задумчивости женский голос, чем-то удивительно знакомый. И то, что он выкрикнул вдруг сквозь шум поезда, звон стаканов, гул других голосов, тоже было мне удивительно знакомо:

— Надоело! Тошнит меня от вас всех! Что? Вот возьму и убью Ленина.

Что-то резко хлопнуло. Это дверь в купе с веселой большевистской компанией поспешно закрыли. Знакомый голос выкрикнул истерически еще что-то несколько раз, но слов из-за закрытой двери уже не было слышно. Немного спустя из купе послышался приятный мужской голос, певший под гитару что-то цыганское. Ссора, очевидно, улеглась — мужскому голосу вскоре завторил женский, тот самый, знакомый мне. Я довольно долго постоял в коридоре. Мне очень хотелось хоть мельком увидеть мою даму с Бельведера. Но дверь все была закрыта, и беготня по Москве давала себя знать — ну, завтра посмотрю, когда она будет выходить...

Разбудил меня проводник.

— Крепко спите; гражданин, прибыли-с.

Действительно, поезд уже стоял на Николаевском вокзале. Я собрал вещи и пошел к выходу. В «том» купе дверь была настежь, пусто, порожние бутылки, окурки, коробки из-под папирос. На полу валялась красная роза. Одна из того большого букета, который я заметил вчера. Я поднял ее. На конце стебля был ясно виден отпечаток мелких, острых зубов...

⟨*1934*⟩

НАСТЕНЬКА

(Из семейной хроники)

Посвящается Н. Ю. Балашовой

В памятном старым петербуржцам толстейшем томе, на красной крышке которого было золотом вытеснено: «Весь Петербург», из года в год печаталось имя некоей Б. фон Б., Анастасии Абрамовны. Звание ее было — вдова подполковника. Однофамильцев у нее не было. Адреса она не меняла.

Ничьего любопытства это имя, конечно, возбудить не могло. Мало ли было в Петербурге штаб-офицерских вдов? И само это звание автоматически вызывало знакомую картину: небольшая квартира, одна прислуга, пенсия, всенощная, вечно подогреваемый кофейник, сплетни, пересуды, лампадки, пасьянс... Кому какое дело до радостей и невзгод такой почтенно бесцветной, скучно прожитой и тихо доживаемой жизни? Не все ли равно, была госпожа Б. фон Б. моложе или старше своего «покойника», дружно ли они жили, когда и от чего он скончался, были ли у них дети и т. д. Одним словом, воображение человека, взгляд которого случайно остановился бы на этом имени и адресе, никакой пищи себе бы не нашло.

По теории вероятности так и должно было быть... И, вопреки ей, все, начиная от обстановки, окружавшей эту «вдову подполковника», вплоть до самого ее звания, было совсем «не так». И перед тем, кто полюбопытствовал бы на нее взглянуть,— предстала бы не салопница «из благородных», как он, естественно, ожидал, а странно очаровательный призрак прошлого, с романтически-причудливо-нелепой судьбой...

* * *

Адрес, указанный во «Всем Петербурге», был зданием одного из важнейших министерств. Квартира, в которой г-жа Б. фон Б. обитала, была очень большой, комнат в пятнадцать, казенной квартирой. Хозяин ее, некто X, был если не сановником, то очень крупным чиновником — «членом совета» министерства. Еще далеко не старый человек, он делал быструю карьеру. Если не ошибаюсь, война 1914 года застала его уже тайным советником, и вскоре он был пожалован званием егермейстера. Эти быстрые успехи объяснялись некоторыми сослуживцами не столько талантом X, сколько его умением угодить начальству. И в самом деле, когда, незадолго до революции, покровитель X, долголетний глава министерства, был отставлен, «чистка», произведенная новым министром — креатурой Распутина,— не только X не коснулась, но, напротив, он стал еще более преуспевать...

Супруга этого сановника была единственной дочкой нашей вдовы подполковника. Брюнетка, с характерно восточной наружностью и резким гортанным голосом, она имела вспыльчивый и чрезвычайно властный нрав. Перед ней не только дрожали курьеры и прислуга — побаивалось ее все министерство. Квартира X, как ей и полагалось, от обстановки до самого воздуха дышала важностью, респектабельным холодком, близостью к «сферам». Достаточно сказать, что, войдя в нее, можно было столкнуться с самим министром, разгуливавшим в ней запросто, иногда даже в домашней тужурке и ковровых туфлях. А министр этот был к тому же не «обыкновенным» министром, а знаменитостью — «столпом реакции» или «оплотом престола» — в зависимости от точки зрения... В частной жизни — замечу кстати — этот громовержец выглядел уютным, добродушным стариком. Очень мил и любезен был он, между прочим, с Анастасией Абрамовной. Носил ей шоколадную «соломку» от помещавшегося наискось министерства Крафта, выслушивал терпеливо ее уже много раз слышанные рассказы, одним сло-

вом, вносил в грустную жизнь совершенно чужой ему старушки душевное тепло, которого она не получала ни от дочери, ни от зятя. Как старушка это ценила — было слышно уже в звуке ее голоса, когда она произносила его имя-отчество. А этого самого министра вся Россия — и те, кто ловчился взорвать его бомбой, и полагавшиеся на него, как на оплот,— считала, и повидимому с основанием, образцом бессердечия и черствости! «Потемки — душа человеческая...»

* * *

Часть стены узкой и длинной комнаты — «кабинетика» — занимала большая клетка с множеством канареек: их возня и пение развлекали Анастасию Абрамовну. Кабинетик был всегда жарко натоплен — при 18° тепла старушка уже начинала зябнуть. Обстановка была сборная. О красоте комнаты заботиться было нечего. Кроме своих людей, никто в нее не заходил, а самой ее обитательнице было все равно, каковы у нее обои или ковер: уже лет двадцать как она была слепа.

В своем кабинетике Анастасия Абрамовна проводила, кроме сна и еды, все время. Домашние не очень баловали ее визитами, но одна она все же никогда не оставалась. При ней неотлучно дежурил подросток лет 15, в синей ливрейной курточке. Он не только отлично служил ей, но, самое главное, умел внятно, отчетливо и неутомимо читать вслух. Утром от доски до доски прочитывалась «Петербургская газета». Вечером — «Биржевка». В промежутках — «Исторический вестник», «Нива», какой-нибудь роман. Целый чулан был набит такими книгами,— время от времени букинист увозил прочитанное и доставлял порцию новых.

...Жарко натопленный кабинетик. Канарейки возятся и трещат. Мальчик в ливрее внятно, не торопясь, читает вслух. В кресле у печки кутается в оренбургский платок хрупкая женская фигурка. Если не подходить близко, кажется, что это какая-то барышня. Даже не молодая дама, именно барышня. В тонком, немного

кукольном личике, светлых вьющихся волосах, широко раскрытых глазах, во всем облике Анастасии Абрамовны, если смотреть издали,—что-то девическое. Подойдя ближе, вы увидите, что ее лицо изрезано тысячью мельчайших морщин и волосы белы, как снег... Но и вблизи большие, ясные голубые глаза смотрят по-девически невинно и доверчиво-нежно. И так же грустно-доверчиво, совсем не по-старушечьи, звучит голос. А как-никак ей за восемьдесят лет...

О муже ее и говорить нечего—такая старина его давно забытая жизнь. Даже чин, который он носил, давно отменен в русской армии: и Анастасия Абрамовна, собственно говоря, вдова не подполковника, а майора!..

* * *

В «кабинетике» красовалось несколько портретов покойного—от лихого, писанного маслом, в топорной золотой раме, до крохотной, для медальона, миниатюры на кости. В художественном отношении все они были весьма посредственны—среди крепостных майора Боровиковского явно не было. На всех был изображен чересчур уж молодцеватый вояка, с глазами и грудью навыкате, в уланской форме и великолепных усах. Тут же на ночном столике стояла шкатулка с его реликвиями. Реликвии были любопытней портретов. Да и сама шкатулка была необыкновенная. Плоская, длинная, слегка напоминающая формой футляр для скрипки, снаружи затейливо инкрустированная чем-то вроде янтаря, внутри она была обита ярко-красной кожей, до того твердой, что иголка гнулась и ломалась, не прокалывая ее. В одном из углов шкатулки были два круглых отверстия, величиной с гривенник. По словам Анастасии Абрамовны, вывезена была эта диковинная вещь ее «блаженной памяти» дедушкой из Индии, в бытность последнего молодым офицером, т. е. даже не при Екатерине II, а Бог уж знает, при каком царе или царице, в каком незапамятном году...

Странная же форма шкатулки объяснялась тем, что предназначалась она для перевозки священных змей.

Здесь было множество бумаг и бумажек, писем и документов, слежавшихся и вылинявших. Хранилось между ними, рядом с послужным списком майора и его духовным завещанием, и нечто вроде его дневника. Эта довольно объемистая тетрадь не раз находилась у меня в руках, но, увы, рассматривал я ее тогда без внимания, которого она заслуживала. А жаль. Майор не только был охотник пофилософствовать, но еще имел привычку записывать свои сны. На синеватых, с водяными знаками, страницах тетради вперемежку с рецептами от запора и ревматизма было подробно записано множество сновидений майора разных периодов его жизни, и среди них встречались курьезные.

Помню один сон, забавный тем, что обнаруживает таившийся в майорском подсознании особый «кавалерийский» комплекс: майор скачет на великолепном коне. Сперва он наслаждается бешеной скачкой. Потом наслаждение сменяется беспокойством. Он не может остановить коня. Наконец всадника одолевает страх, что конь сбросит его. И едва успевает он это подумать, он уже лежит под копытами коня, и копыта затаптывают его все глубже в землю... Сон этот снился майору не раз и относился к разряду «вещих», но что, собственно, по мнению майора, он предвещал — не указывалось. Помню еще другой, квалифицированный «мерзопакостным и богопротивным». Крепостные девки рвут в клочки духовное завещание майора и бросают эти клочки «пребесстыдно» в лицо своему барину. И заявляют при этом: «Не пойдем к кому ты нас завещал, сыщем сами себе господ по своему скусу». На возражение же, что такова его барская воля, которой девки должны слушаться, те, хохоча, отвечают: «Был барин, да весь вышел. Погляди на себя — червям нечего глодать — один шкелет остался...» К этому, тоже «не лишенному метафизики», сну следовало примечание: «Четырех из сих бунтовщиц запомнил в лицо. Хороводила рыжая Матрешка. Размыслив — решил,

как пригрезившееся, оставить без взыскания, хотя Матрена известная язва. Но до чего же дуры! Ежели над холопами власть вручена дворянству Вседержителем в сем бренном мире, возможно ли, чтобы Он в царствии небесном отменил Им же установленный закон? А дурищам невдомек!»

Если этот, отдающий загробным холодком, сон и возбудил в майоре сомнения в праве завещать крепостных девок, то, по-видимому, логика собственных рассуждений их развеяла. По крайней мере, в хранившемся в той же шкатулке его завещании, утвержденном ковенским судом, вперемежку с другими сувенирами, оставленными майором разным приятелям,— собаками, пенковыми трубками, седлами «аглицкой работы» и пр.,— было перечислено штук двадцать Матрен, Глашек и Машек с краткими пояснениями физических и нравственных качеств каждой: «Нрава ленивого, но скромна и послушна...» Или наоборот: «Строптива, баловница и дерзка на язык, повидло же и прочее варенье при малом сахаре отменно изготовляет...» Или: «Собой весьма хороша, изъян же — смуглизна лица — удалять обтираньем натощак рассолом с хреном, к чему без поблажек понуждать...»

* * *

Майор Б. фон Б., столь молодецки глядевший с портретов в кабинетике Настеньки, действительно отличался молодечеством — даже в российской кавалерии «дней Александровых прекрасного начала», когда каждый улан или гусар, как известно, был воплощенным персонажем Дениса Давыдова. Наездник, кутила, повеса и игрок, он был любим и начальством и товарищами. На войне «коалиций» он сразу зарекомендовал себя отчаянным смельчаком. Его безрассудная храбрость еще подогревалась тем, что, рискуя иногда совершенно зря головой, он ни разу не был ранен. Но не считаясь с опасностью, он часто не считался и с дисциплиной. И за одно и то же безумное по лихости

дело — атаку в конном строю на неприятельскую батарею, окончившуюся блестящей удачей — французы бежали, бросив последние пушки,— лихой улан, и на этот раз вышедший из боя без царапины, был одновременно и представлен к георгиевскому кресту и получил от самого великого князя Константина Павловича «строжайший выговор» за «неискоренимое и неумеренное озорство, воинской субординации вредящее». Выговор кончался распоряжением посадить чересчур ретивого героя, «елико обстоятельства без ущерба для службы позволят», на месяц под арест.

Но наступления таких «обстоятельств», т. е. конца военных действий, нашему улану, увы, не пришлось дождаться. Под Эйлау счастье, наконец, ему изменило. Знаменитая атака эйлауского кладбища, где русская кавалерия рассчитывала отрезать и взять в плен Наполеона, была его последним сражением. Французское ядро оторвало ему ногу...

Бесчувственного, истекающего кровью, его вынес с поля битвы преданный вестовой Филька. Ни отбывать гауптвахты за прежнее «отчаянное озорство», ни совершать новые после долгой борьбы со смертью в госпитале не приходилось. Кое-как поправившись, с новенькой деревяшкой вместо правой ноги, в чине майора в отставке наш улан отбыл «отдыхать» в родовое имение Р-ого уезда Ковенской губернии.

* * *

Тяжек на первых порах был этот вынужденный отдых. Жизнь в том смысле, как новый отставной майор привык ее понимать, оборвалась начисто... Жизнь была попойками, картами, женщинами, лошадьми, полковой средой — была тем «озорством» безрассудного молодечества, которым восхищались не только товарищи, но, конечно, и сам автор высочайшего нагоняя, такой же в глубине души кутила, картежник и смельчак. Жизнь была веселым, опьяняющим риском, лихой скачкой «поверх барьеров»...

И вот, вместо всего этого, запущенный помещичий дом, заросший бурьяном парк, мужики, бабы, ребятишки, куры, утки, одиночество, тоска... Если наш инвалид не пустил себе на первых порах пулю в лоб, то, вероятно, потому, что не догадался. Но время шло. Понемногу майор начал не только привыкать к новой жизни, но и находить в ней приятные стороны...

У себя в имении он само собой был царь и бог. Но и за его пределами все общество, начиная с начальника губернии, приняло нового помещика с радушием и почетом. Уважение к георгиевскому кресту и двум тысячам незаложенных душ еще увеличилось, когда обнаружились щедрость и гостеприимство их владельца. А майор не считал ни проигрышей, ни вин, ни разносолов, ни выписанных из Варшавы бонбоньерок дамскому полу, ни сотен свечей в двухсветной зале своего дома, где под гром отличного крепостного оркестра заплясала и завеселилась «вся губерния».

Скоро майору было уже не до меланхолии. Скучать было некогда, времени не хватало и для развлечений. Барский дом, казавшийся прежде до нелепости пустым и огромным, сделался теперь скорее тесноват: теперь двадцати с лишним комнат едва хватало. В одних жили по неделям и месяцам облепившие тороватого хозяина приживальщики. В других шли сражения на зеленом поле. В левом крыле псари и егеря опекали особо ценных и любимых охотничьих собак. В правом, отделенном от остальных помещений толстой дубовой дверью, ключ от которой майор носил при себе,— жила в безделье и неге дюжина «прекрасных одалисок», переименованных из Матрен и Глашек в Заиры и Фатьмы. Невольницы эти время от времени менялись — одни с грустью возвращались в прежнее состояние, другие радостно облачались в их атласные халаты и чадры. Случалось, правда, что в горячую пору уборки рабочих рук не хватало, тогда и одалисок без церемоний гнали жать и вязать снопы. Но обычно жизнь их была поистине гаремной. В промежутках между посещениями майора и его особо близких друзей Фатьмы

и Заиры жарились в «три листика», объедались вареньем и спали на пуховиках до одури...

Время шло. Годы мелькали, незаметно сливаясь в десятилетия. Майор продолжал жить в свое удовольствие, шумно, пьяно, весело и был вполне доволен судьбой. Довольны были его соседи и приятели, которых он угощал и веселил без отказу. Дамскую половину общества он, впрочем, с течением времени сильно разочаровал тем, что любезно, но упорно отклонялся от сетей, расставляемых завидному жениху маменьками, имевшими дочерей на выданье. Очередных претенденток на свое сердце и деревяшку, а их за тридцать лет сменилось немало, он задаривал конфетами, катал на тройках, развлекал фейерверками, но при этом, молодецки покручивая усы, неизменно говорил, что считает себя старым инвалидом, недостойным семейного счастья, и с этой позиции не давал себя сбить... Маменьки, наконец, примирились с этим — и холостяком майор как-никак доставлял им и их дочерям немало удовольствия. По той же причине общество смотрело сквозь пальцы на то обстоятельство, что, принимая у себя так широко и охотно, сам майор, ссылаясь на ту же инвалидность, никому визитов не отдавал и в гости не ездил...

Единственное исключение он делал только для Г., генерала в отставке, недавно ставшего его соседом. То ли из уважения к высокому чину, то ли по самодурству, возможно, по тому и другому, но у Г. майор был довольно частым гостем. Являлся он к этому соседу в карете, нагруженной винами и яствами,— Г. был начисто разорен, весь в долгах. Майор целовал церемонно ручки хозяйки, гладил по головке и одаривал сластями синеглазую девочку — единственную дочку, посланную генералу Богом на старости лет... Потом друзья удалялись в кабинет. Филька, вестовой, вынесший когда-то раненого майора с поля битвы, а теперь его доверенное лицо и неотлучный спутник, раскупоривал бутылки и раскладывал закуски. И майор и генерал одинаково любили выпить, были крепки на вино и все-таки каждый раз дружно напивались. Майор эти

ужины вдвоем все больше предпочитал шумной ватаге гостей, переполнявшей его собственный дом. «Отдохнул душой, будто у себя в полковом собрании побывал»,—говорил он на следующий день, несмотря на то, что ему приходилось отлеживаться с компрессом на голове...

...В тот памятный вечер «душевный отдых» начался и продолжался, как всегда, по раз заведенной программе. Чокались, пили, закусывали, снова чокались. Подвыпив, пели нестройно, но с увлечением, военные песни и чувствительные романсы. Боевые воспоминания сменяли пение, воспоминания—анекдоты. Понемногу пение совсем перестало ладиться, и разговор пошел вразброд, но чокались по-прежнему четко, в такт... За Государя Императора, за полковое знамя, за конницу, даже за покойную ногу майора давно уже выпили,— теперь уже чокались за луну, которая глядела в окно... Потом... Потом луна уже не глядела в окно, а плавала под самым носом лежащего у себя в спальне с компрессом на лбу майора. Майор отмахивался от нее, но луна не отставала, лезла то с одной, то с другой стороны. Наконец явился Филька со жбаном кваса и огурцом. Филька открыл окно и выгнал назойливую небесную тварь, а майору, бережно поддерживая его трещавшую голову, помог выпить ледяной квас и закусить огурцом. Полегчало, мысли начали проясняться... Ставя жбан обратно на поднос, майор взглянул на собственную руку. На четвертом пальце сияло новенькое золотое кольцо. Отроду он не носил никаких колец. Почудилось с перепоя? Сейчас исчезнет, как исчезла изводящая луна. Но кольцо не исчезало. Майор протер глаза. Кольцо блестело на руке по-прежнему.

— Филька, что это такое?—заревел майор, потрясая пятерней.

И Филька, вытянувшись и щелкнув каблуками, отрапортовал:

— Дозвольте, ваше высокородие, поздравить со вступлением в законный брак.

Майор от удивления округлил и без того круглые глаза и задвигал усами:

— Что ты врешь, болва́н?

— Никак нет-с, не вру. Изволили нынче ночью сочетаться законным браком с Анастасией Абрамовной. Оне-с уже и переехать к нам соизволили и в гостиной дожидаются-с...

Хмель соскочил с майора. Обвенчался? Вчера? С кем? Кто такая Анастасия Абрамовна, не слыхал никогда о такой. «Ты не пьян, Филька?» Но Филька был трезв...

— Одеваться,— заорал майор на всю комнату.— В гостиной ждет? Черт знает что, с ума я, что ли, сошел?.. Новый халат подай! Опопанаксом вспрысни, чурбан!.. Платок мне!.. Живо!

На диване сидела прехорошенькая 12-летняя девочка в белом вышитом платьице с забавно выглядывавшими из-под него тоненькими ножками в кружевных панталончиках и черных туфельках... Ножки висели в воздухе, не достигая пола. Из широко открытых голубых глаз катились слезы, розовые губки дрожали. Возле нее, поучая и успокаивая ее, стояла степенная, пожилая женщина в праздничном платье, с набивной шалью на плечах — нянька.

При входе майора она быстро толкнула девочку в бок.

— Пойди, Настенька, поздоровайся с супругом,— и сама быстро и безостановочно закланялась в пояс.

Девочка послушно соскользнула с дивана и, сделав два шажка к майору, присела перед ним в глубоком реверансе. Слезы капали одна за другой на кружевное платьице, в которое предприимчивые родители, так ловко обкрутившие богача-инвалида, принарядили «новобрачную».

Вид майора был страшен. Теперь он, наконец, понял, кто такая Анастасия Абрамовна, его супруга... Перед ним стояла плачущая и дрожащая Настенька, дочка генерала Г., соседа и «лучшего друга». Настенька, которую он гладил по русой головке и баловал, которой вчера еще привез бонбоньерку... И, поняв наконец, раскатисто захохотал.

— Супруга-то с нянькой прибыла! Ай, ай, ай,— надрывался и захлебывался он, хлопая себя по

ляжкам.— Куклы захватили с собой, сударыня? Сопли, небось, няня утирает — не научились еще? Ай да Ваше Превосходительство, генерал и кавалер. Повенчал простофилю, черта с грудным младенцем! Попался, который кусался!

От хохота и крика майора дрожали стекла и подвески на люстре. Настенька, пряча головку в сборках нянькиной юбки, плакала навзрыд. Нянька крестилась и твердила молитвы. Испуганные лица дворни высовывались из дверей...

В тот же день в усадьбу был вытребован генерал. Не подав ему руки и не посадив, майор сообщил превосходительному тестю свое решение: «Не желая позорить воинское звание и честь дворянства, подлость, над собой учиненную, огласке не предам. Для всех: просил руки и, получив согласие, я, по собственному желанию, сочетался браком». Настенька остается у него в доме. «Когда подрастет — посмотрим, малолетних же отроду не совращал, а к носящей мое незапятнанное имя тем более до подобающего возраста не прикоснусь! А засим, любезный тесть,— заключил он свою речь,— кругом марш, вон! И на глаза мне больше не показываться ни вы, ни супруга ваша! Явитесь — велю вытолкать в шею и собак спущу... Филька, проводи генерала!..»

* * *

Так началась «замужняя» жизнь Настеньки. Майор ни в чем не изменил образа жизни. По-прежнему балы сменялись холостыми попойками, по-прежнему «в гареме» обитали «Заиры» и «Зюлейки». Настеньки все это не касалось. Она жила во флигеле с той же нянькой. Майор выписал для нее гувернантку, потом пригласил и танцмейстера... Понемногу Настенька, росшая дома дичком, обучилась и французскому языку, и манерам, и всему «благородному, персоне женского пола» следуемому. Но этим интерес майора к «супруге» и ограничился. Хотя гувернантка, нянька и мо-

лодые горничные, приставленные к ней, в обязанность которых входило не только служить ей, но и играть с ней в куклы, буде «барыня Настенька» пожелают, всячески старались ей угодить и хотя жилось ей в уютно обставленном флигеле много привольнее, теплее и сытнее, чем в разоренном родительском гнезде, счастлива она не была.

Страх, который испытала она от приема, оказанного ей «супругом», был непреодолим. Хохот майора, стук его деревяшки, выкаченные глаза она не могла забыть. Иногда, не имея больше силы сдерживать этого панического страха, она кричала: «Не могу больше! К маменьке хочу». И сейчас же раскаивалась в этом. «К маменьке желаете,— ядовито ухмыляясь, спрашивал ее майор, услышав о желании «барыни» от прислуги или гувернантки.— К ее превосходительству, достойной вашей родительнице? Извольте! Не смею задерживать!» И затем во все горло орал: «Филька! Закладывай барынину карету! Руби колеса!» Это значило, что колеса кареты, в которой «новобрачная» с нянькой и скромными пожитками прибыла в то памятное утро в майорскую усадьбу, едва держались, и майор велел поставить новые. Колеса принадлежали майору. Желает Настенька уезжать — пусть и катит, как знает, в карете без колес...

Но время шло. Настенька начала подрастать, хорошеть, превращаясь в барышню... Тонкая, высокая, в широких, стянутых в талии платьях, с белокурыми легкими локонами, она становилась, на свое горе, прелестной. Равнодушный дотоле к ней майор стал теперь все чаще ее навещать и все слаще на нее поглядывать... А потом и любезными обиняками дал ей понять, что шестое июня, день ее шестнадцатилетия, будет отпразднован пышным балом, на котором майор представит ее губернскому обществу, а потом... К этому ужасному «потом» за полгода шли приготовления. Обновлялась шелком и обставлялась новой, роскошной мебелью их будущая с майором спальня...

Когда Настенька была совсем маленькой, нянька пугала ее страшным «генералом Топтыгиным». «Если

будешь капризничать — приедет генерал Топтыгин, топ-топ, спросит — где тут непослушная девочка,— топ-топ, разинет рот и слопает тебя живьем. Лучше закрой глазки и засыпай, пока не пришел.» И для большей убедительности нянька стучала об пол поленом — топ-топ...

И вот страшная сказка превращалась теперь в страшную явь. 6-е июня было не за горами. Еще три месяца, два, один — и оно наступит. Начнут съезжаться гости. Будут пить и есть, танцевать, смотреть на фейерверк, будут улыбаться Настеньке и говорить ей любезности. И она должна будет танцевать, и улыбаться, и отвечать всем так же любезно. Потом за ужином захлопают пробки шипучего, и гости будут кричать «горько!» молодым — генералу Топтыгину и ей. А когда все это кончится, генерал Топтыгин, сильно подвыпивший, а то и совсем пьяный, улыбаясь масляной страшной улыбкой, стуча своею деревяшкой — топ-топ,— откроет дверь спальни, пропуская Настеньку вперед... И страшная сказка станет страшной явью — генерал Топтыгин проглотит ее живьем...

В тот год весна наступила необыкновенно рано. В середине апреля снег повсюду стаял и грязь на горячем солнце просохла. Майор, становившийся все веселей и оживленней, чем ближе был день шестнадцатилетия Настеньки, однажды утром велел закладывать «в шарабан». Это значило, что он решил, воспользовавшись хорошей погодой, доставить себе развлечение, к которому за последние годы он пристрастился. Развлечение было довольно опасное. Кавалерийское сердце майора нашло своеобразный способ удовлетворить страсть к лошадям. Верный Филька был послан куда-то на край России. После долгого отсутствия он вернулся в компании десятка киргизов. Прибыли они на нескольких подводах. Везли подводы обыкновенные лошади, а на подводах, оглашая воздух каким-то особым диким ржанием, стояли, стреноженные и крепко привязанные, степные, необъезженные, не знавшие ни узды, ни упряжки, кроме петли аркана, лошади, кото-

рые недавно были захвачены из вольного степного табуна. Развлечение майора заключалось в том, что пару этих диких коней киргизы каким-то способом запрягали, вернее, крепко прикручивали к дышлу шарабана. Майор взбирался на сиденье, коней держали ловкие руки азиатов. Потом майор давал знак — отпускай. Вожжи натягивались, шарабан летел зигзагами — вот-вот перевернется, разобьется вдребезги. Борьба шла ожесточенно и долго, но майор неизменно торжествовал победу — шарабан начинал катиться ровней. Так одна за другой были перепробованы все степные лошади, и майор не только не сломал себе шеи, но начинал находить, что удовольствие становится не таким уж острым... Впрочем, давая этим утром распоряжение «закладывать», он мог рассчитывать на сильные ощущения. С осенней распутицы поездок в шарабане не производилось. По грязи или по снегу на них не отваживался даже майор...

Предчувствие сильных ощущений майора не обмануло. Шарабан взвился и понесся по широкой дороге, потом — это случалось и прежде — резко свернул с нее и понесся по полю. Но несколько минут спустя произошло то, что до сих пор еще не случалось. Экипаж, подпрыгнув, задел за дерево, едва не перевернулся, снова свернул и помчался еще быстрей...

Киргиз, сопровождавший майора, был убит на месте. Майора, с проломанной грудью, осторожно несли трое мужиков. Кровь струйкой текла из угла рта. Водянисто-голубые глаза его смотрели в бледное весеннее небо. Деревяшки не было. Она осталась на дне оврага, куда сбросили майора дикие лошади. Майор скончался два часа спустя в полном сознании, исповедавшись и причастившись. Завещание, где все майорское состояние отказывалось «дражайшей и верной супруге нашей», составленное уже полгода тому назад, хранилось тут же в его холостяцкой спальне. Положив ключ от ящика, где оно было заперто, в ручку Настеньке, майор прижал эту трепещущую ручку к губам и долго не отпускал. «Не пришлось дожить до счастливейшего дня жизни,— произнес он тихо.—

Не ропщу — значит, на то Господня воля. Ну, прощай, птичка, лети, пользуйся молодостью и жизнью. И помни: встретишь хорошего человека и полюбишь — выходи за него. Я там буду радоваться на вас...»

Помолчав, он коснеющим языком добавил: «Траура и слез поменьше... сколько надо для проформы. и баста. А потом задай... на всю... на всю... губернию... бал...» И на слове «бал» майор испустил дух.

* * *

Как не повторить еще раз — «потемки — душа человеческая»... Пока майор был жив, Настенька боялась его до дрожи, почти что ненавидела своего генерала Топтыгина. После его неожиданной смерти она вдруг почувствовала себя всерьез неутешной вдовой. Глубокий траур лишь спустя год генеральша сняла с дочери чуть ли не силком. Еще больше хитрости и уловок пришлось старухе употребить, чтобы добиться согласия дочери выйти из добровольного затворничества, начать встречаться с людьми и развлекаться. Наконец, ей удалось уговорить Настеньку провести предстоящую зиму в Ковне. Там майор владел прекрасным, но давно запущенным особняком. За лето особняк был отделан и обставлен заново, а осенью Настенька при маменьке и бесчисленной челяди неохотно, но уже не споря, в него перебралась. Закрепить дело — окружив Настеньку атмосферой веселья и удовольствия, в какой та не только никогда не жила, но даже не догадывалась, что она возможна,— было для генеральши уже сущим пустяком. Тем более, что, веселя и развлекая дочку, она развлекалась вовсю и сама...

Зима прошла быстро и приятно. Настенька, с каждым днем расцветая, как цветок на солнце, все больше входила во вкус новой беззаботно-счастливой жизни. Без приемов, гостей, театра, танцев ей теперь самой уже было бы скучно. Она и кокетничать научилась, и кокетство стало для Настеньки одним из любимейших развлечений. Все имевшиеся в губернии «женихи»

уже успели сделать ей предложение. Она радовалась каждому и одинаково мило и не обидно для очередного претендента отказывала. Сердце ее билось по-прежнему ровно. Сердце Настеньки во всем этом не принимало участия... Но вот перед самым Рождеством в Ковне распространился слух о новом приезжем. Приезжего звали князь Карабах. Он приехал один с тремя слугами и снял в лучшей гостинице целый этаж — одиннадцать комнат. Кое-кто успел с князем познакомиться и у него побывать. По рассказам, он был не только красавцем, но еще и явно богачом. Доказательством последнего, кроме одиннадцати комнат, были бриллиантовые, огромной величины кольца на пальцах князя и серебряный самовар, стоявший у него на столе. В самоваре вместо угля был лед, вместо воды — шампанское, текшее из крана замороженным. Слуги гостиницы подтверждали щедрость и богатство приезжего: на чай за малейшую услугу он бросал червонец.

Настенька, как и все ковенское общество, с любопытством слушала эти рассказы. Вскоре, на новогоднем балу у губернатора, князя ей представили. Прямой, как стрела, очень высокий, с перетянутой, как у осы, талией, в белой черкеске, князь Карабах, грациозно согнувшись пополам, поцеловал ручку Настеньки. Первые слова, сказанные им, были так же необычайны, как его блестящие черные глаза, гордый профиль и вкрадчиво-звучный голос. «Я думал, что прекрасней всего на свете звезды над снегами Казбека,— сказал, снова низко склоняясь перед Настенькой, князь.— Но я ошибался. Ваши глаза прекрасней этих звезд. А ваши плечи белее горного снега...»

Не найдя, что на это ответить, Настенька растерянно закрыла веером вспыхнувшее лицо. Судьба ее была решена... Три месяца головокружительной страсти пролетели, как в тумане. Настенька ничего не видела, не слышала, не понимала, кроме того, что князь и она влюблены друг в друга, что он просил ее руки, что они помолвлены и что большего счастья не может быть ни на земле, ни на небе... Все остальное не

имело значения. Все, кроме этого счастья, перестало существовать...

День свадьбы был назначен, приданое заказано. Губернатор сам вызвался быть посаженым отцом Настеньки. Самая большая в Ковне зала Благородного собрания, вмещавшая свыше тысячи человек, отделывалась заново для свадебного пира. Приглашения были разосланы далеко за пределы губернии. Гостей ждали из Петербурга, из Москвы, с Кавказа...

...До дня свадьбы осталось недели две. Настенька, стоя у окна, смотрела на улицу. Из-за поворота сейчас вынырнет серая в яблоках княжеская тройка, и она увидит фигуру жениха в белой черкеске, его гордый профиль, его влюбленные глаза... Сейчас тройка покажется и, лихо завернув, подкатит к ее крыльцу... Сейчас, сейчас князь Карабах, ее жених, легко взбежит по лестнице и, дыша счастьем, крепко прижмет Настеньку к груди. Сейчас, сейчас... Но князь сегодня почему-то опаздывал... Начинало темнеть. Князя все не было. Что это значит? Что случилось? Если еще четверть часа его не будет, Настенька сама поедет в гостиницу... Ее могут заметить? Ее осудят. Ах, не все ли равно! Кроме князя и их любви, ничего важного в мире нет. Приличия, условности, «можно», «нельзя»... все это были теперь пустые слова, не касающиеся их обоих. Еще десять минут она будет ждать, а потом поедет к князю сама. Еще семь, еще пять минут. Но срок, поставленный Настенькой своему терпенью, еще не истек, когда княжеские лошади показались из-за угла... Но тройка не остановилась у Настенькиного крыльца. Она завернула наискось к трехэтажному зданию с флагом на крыше и часовыми у ворот — жандармскому управлению. И князь вышел из саней не один, за ним выскочили два жандарма с саблями наголо.

Князь и жандармы, как-то странно теснясь друг к другу, подошли к чугунным воротам. Пока ворота с лязгом открывались, жених Настеньки, обернувшись, посмотрел на Настенькин дом шалыми, страшными глазами. Кандалы блеснули на его скованных вместе руках...

* * *

Жениха Настеньки в цепях по этапу угнали на Кавказ. Там — вблизи Карабахских гор — он несколько лет безнаказанно разбойничал, там его и полагалось судить. Не знаю, что с ним стало. Настенька скрылась от неслыханного скандала к себе в имение, но прожила там недолго. Волей-неволей ей пришлось скоро признаться матери в беременности... Генеральша рыдала, рвала волосы и грозила Настеньке материнским проклятием. Но в конце концов простила и увезла ее за границу. Где-то в Италии Настенька разрешилась от бремени девочкой — носительницей имени и наследницей состояния майора в отставке и кавалера Б. фон Б.

Дочь Настеньки выросла за границей. Там же, на каком-то курорте, она встретилась с X. Будущий любимец министров влюбился в нее сразу без памяти. Должно быть, по контрасту с собственной комплекцией и бледно-респектабельной петербургской наружностью, кавказская резкость черт и манеры юной mademoiselle Б. фон Б. показались ему неотразимыми...

* * *

Эпилог истории относится к 1917 году. Вскоре после Февральской революции в министерство прибыл новый революционный министр. Очевидцы, не ручаюсь, насколько достоверные, утверждали, что он, пожав руку растерявшемуся швейцару и кивнув, не подавая руки, столь же растерявшимся высшим чиновникам (сам глава министерства сидел уже, разумеется, в Петропавловке), быстро прошелся по помещениям, произнес громовую речь, на которые был большой специалист, и, буркнув «я распоряжусь», отбыл. Обещание «распорядиться» министр сдержал. Вскоре после его посещения последовал приказ... немедленно очистить казенные квартиры «от реакционных элементов»...

Неделю спустя вслед за креслами, буфетами, матрасами, сундуками и прочим добром, наполня-

вшим пятнадцать комнат квартиры злополучного Х, вынесли клетку с Настенькиными канарейками, портреты майора, шкатулку, предназначавшуюся для священных змей. Тоненькая Настенька, поддерживаемая курьером, спустилась вслед за своей массивной дочкой. Мебель погрузили на ломовиков. Настенька и Х уехали на извозчике. Сама тайная советница осталась приглядывать за погрузкой вещей. Когда последний ломовик, сопровождаемый ее нравоучениями ехать осторожно, ничего не разбить и не сломать, выехал из ворот,— вслед за ним вышла, навсегда покидая дом, где долгие годы наводила страх на подчиненных мужа, и дочь князя Карабаха...

Засунув руки по-мужски в карманы, она зашагала по направлению к Невскому. Взгляд ее черных блестящих глаз был мрачен. Радоваться ей, действительно, было нечего...

Был серый апрельский денек, накрапывал скучный дождь. Навстречу, фальшивя Марсельезу, нестройно двигалась какая-то очередная манифестация.

⟨*1950*⟩

ОЧЕРКИ

МОСКОВСКИЙ ФОРШТАДТ

I

Когда-то Московский Форштадт отделяла от Риги городская стена. Теперь полотно железной дороги, где пролетают международные экспрессы и каждые четверть часа отходят на взморье лакированные дачные поезда, защищает его не хуже средневекового вала с бойницами от новой жизни и нового быта. Все переменилось в мире, а Форштадт такой же или почти такой же, как двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад. Маленький островок, уцелевший от погибшего материка, он в неприкосновенности сохранил черты той России, которой давно не существует. Главным образом, лабазной, аршинной, толстосумой России, да еще уживающейся с ней бок о бок России ночлежек, кабаков, лихо заломленного дырявого картуза и финского ножа за голенищем. Мало отрадного в этой России, и воздух ее сперт и тяжел,— «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». И впервые попадая на мощенные огромными булыжниками то благодушно сонные, то бестолково шумные улицы Московского Форштадта,— трудно сдержать волнение.

В старые времена немецкое самоуправление не позволяло русским купцам селиться в черте города. Приезжая с товарами по большой Московской дороге, они располагались у городских ворот — разбивали палатки, строили бараки и домишки. Купцы привозили с собой приказчиков: для строительных и разных других работ им требовались свои «крещеные люди». В «крещеных людях» не было недостатка: неподалеку, в нынешней Латгалии, были — остались и теперь — целые округи русских крестьян, пугачевцев, сосланных в свое время, староверов, переселенцев. Так застроилась нынешняя Московская улица, так постепенно вырос на

окраине лифляндской столицы «Московский Форштадт» — обширное русское предместье.

Одноэтажные, с мезонинами, деревянные особняки. Перед особняком у ворот завалинки. В окнах кисея или узорчатый тюль, на подоконниках — фикусы и герани. При каждом обязательно сад, огороженный высоким забором. Край забора утыкан гвоздями от воров, а поверх гвоздей выбивается бузина и сирень. Часто, как шапка, над домом поднимается старинная, в два обхвата, липа. Весной с нее сыплется душистый цвет, а в морозные дни она вся сияет сквозным серебром инея.

В узких сумрачных комнатках — на паркете расстелены домотканые половики и стоит мебель персидского ореха, обитая зеленоватым или коричневым репсом «восточного рисунка» или в цветы. Обивка солидная, испытанная. За те тридцать-сорок лет, что она служит своим хозяевам, разве чуть-чуть поистерлась да малость выгорела. Вот пружины — другое дело. Пружины в угловых на восемь персон диванах и выкрутасистых креслах по большей части продавлены в блин: слишком дородный, тяжелый, грузный народ опускался на них из поколения в поколение.

«Архиерейские» алые лампадки горят перед образами в серебряных и жемчужных ризах. На стенах олеографии «в 18 красках» — приложение к «Ниве» и портреты высочайших особ: Николай Павлович на коне, Царь-Освободитель в гусарском ментике, Александр III с рукой, заложенной за борт сюртука, Мария Федоровна в русском уборе. Рядом с царскими — портреты генералов или духовных лиц — Паскевич-Эриванский, Кутузов, Иоанн Кронштадтский. Рамки золоченые или ореховые, стекла изнутри запылены, снаружи засижены мухами. Ковровые скатерти лежат на овальных столиках, бархатные альбомы с фотографиями застегнуты на серебряные лапки, и на подзеркальниках длинных мутных трюмо с пучками бессмертников или сухих колосьев поблескивают голубые коронационные крýжки — те самые, из-за которых произошла Ходынка.

Пахнет пылью, лампадным маслом, жареным кофеем, шалфеем, еловыми ветками, которые «для здоровья» подвешены к печной вьюшке. Печь кафельная до потолка, греющая жарко и ровно,— были бы дрова. Дров же в сарайчике на заднем дворе, где кричат петухи и ходит на привязи лохматый, злющий сторожевой пес, припасено на зиму сажен сорок — и не каких-нибудь, отборных, березовых, с белоснежной берестой дров.

...Зимний вечер. В темном небе белые звезды. Морозит. Под калошами редких прохожих поскрипывает сухой, сверкающий снег. Тусклые фонари, расставленные друг от друга чуть ли не на версту, еле освещают пустую снежно-черную улицу. Еще совсем рано: часов девять — половина десятого. Если пройти сотню-другую шагов под виадуком в город, там — освещенные витрины магазинов, автомобили, толпа. Но в особняках Тургеневской улицы в восемь все ставни замыкаются на железные болты, все ключи поворачиваются в хитроумных замках, все Полканы и Барбосы спускаются с цепи.

Если «лихой человек» и перескочит через забор, не напоровшись на гвоздь,— он и оглянуться не успеет, как зубастая пасть схватит его за горло и сильные злые лапы упрутся в грудь. И внутри дома каждая дверь заперта на двойной поворот и для верности, чтобы ключ нельзя было вытолкнуть с другой стороны, между ручкой двери и ушком ключа пропущены особые щипчики. Даже если и сторожевого пса минует вор, нелегко ему все-таки добраться до заветного изголовья, где лежит увесистый хозяйский бумажник, до вделанного в стену тайника, где хранятся наследственные хозяйкины жемчуга.

* * *

Тургеневская улица с купеческими приземистыми особняками выходит на улицу Гоголевскую. Там, по левую руку, стоит высокая деревянная церковь с пятью

синими куполами, по правую — деревянный же Гостиный двор екатерининских времен, с колоннадой удивительной, классической чистоты: «Русский директуар». Этот Гостиный двор почитается, кстати, солидными форштадтцами пределом безобразия. Среди них было много веселья, когда несколько лет назад в городской думе было предложено его срыть, а противники этого проекта возражали, ссылаясь на красоту здания. С тех пор Гостиный двор зовется на Форштадте иронически «Наша Красота».

Гостиный двор заворачивает на Пушкинскую улицу. За ним на площади расположен толкучий рынок — местная Сухаревка. Здесь прохожих поминутно хватают за фалды краснощекие старообрядцы и библейские еврейки: «Господин, что покупаете? Что продаете, господин?» Продают и покупают «господа» разное. Один ищет старый фарфор, другой торгует кокаином, третий просто ловчится вытянуть из кармана бумаги. «Милый барин, дай погадаю, будешь счастливым, женишься на богатой»,— скороговоркой твердят цыганки, окруженные бесчисленными хорошенькими, жутко грязными цыганятами. «Пирожки горячие, пирожки филипповские»,— надрываются пирожники. «Пожертвуйте, православные, на построение храма»,— гудит, как шмель, разбойного вида странник из «святых мест», топающий по снегу босыми, красными, как у гуся, ногами. «Господин, что покупаете, что продаете, господин?» «Батюшки, кошелек украли!»

За толкучим рынком тянется Московская улица.

Здесь уже нет особняков, герани и занавесок, нет садов, не видно степенных бород, бобровых шапок, поскрипывающих по снегу новых калош. Здесь с ободранных стен, из голых окон мрачных дворов смотрит нищета, хулиганство, порок. Чем дальше вглубь по Московской, тем мрачнее картина. Прогуливаться там постороннему даже днем не совсем безопасно. Почти каждый день на Московской подбирают людей с проломленным черепом, с челюстью, раздробленной кастетом, с ножевой раной под ребрами или между лопаток. Окрестные трактиры кишат ворами и хулиганами.

Через дом на Московской чайная или трактир. Трактир «Ягода», ресторан «Америка», чайная «Золотой рог». Вывески их пестро размалеваны розанами и пенящимися бокалами, из их поминутно распахивающихся дверей вместе с чадом и гулом голосов вырывается «старорежимная», сладкая форштадтскому сердцу музыка: «Пропал я, мальчишка»,—несется из «Ягоды» или «Америки». «Пожалей ты меня, дорогая»,—хрипло откликается из «Золотого рога».

* * *

«Все по-старому» в заведениях Московской улицы. Воздух прокурен, пол заплеван, скатерти невероятно грязны. Водку подают в казенной посуде, пиво «тепленьким», чтобы быстрее развозило, к пиву ржаные сухарики и набухший моченый горох. Можно «побаловаться» и чайком, заказав порцию кипятку и полпорции чая. Кипяток принесут в большом пузатом чайнике синего или кирпично-красного цвета, с медальоном посредине, чай в таком же точно, но маленьком, заменяющем большому крышку.

В глубине трактира стойка. За стойкой ражий трактирщик переговаривается с подкрепляющимися клиентами. Беседует почтительно, клиенты люди известные, с весом: один постный аккуратный старичок, форштадтский ростовщик «Жила», другой человек еще более примечательный. Ему лет 40. Он черен, тощ, похож на цыгана. Взгляд у него пронзительный. Зимой и летом на нем все та же обглоданная шинель с рыжим собачьим воротником. Под шинелью на груди болтаются четки. Это некто Лазурский, в прошлом расстриженный дьякон, теперь предсказатель будущего, магнетизер и проповедник им же изобретенной теории «гармонического развития».

«Пью за здоровье всех идиотов!»—провозглашает Лазурский тост и чокается с ростовщиком, расплескивая водку. «Жила», постно хихикая, деликатно отхлебывает глоточек, тогда как проповедник «гармониче-

ского развития» залпом выпивает целый чайный стакан. «За здоровье всех идиотов, в том числе за вас, милостивые государи!»

Никто не обижается. Никто не слушает. Все пьяны. Все чокаются «тепленьким», грызут мокрый горох, высасывают сок из раковых спинок и клешней. Граммофон надрывается, только что шумела бравурная «Китаянка», теперь хриплый, искаженный и все-таки прелестный голос Вяльцевой (точно с самого дна потонувшего мира) глухо и вкрадчиво звенит:

Наш уголок я убрала цветами.
Я вас ждала...

* * *

На Московской тускло светят фонари, блестит снег, горят зимние звезды. Пусто, черно. Трусцой по снегу ползут сани.

— Извозчик, на Николаевскую.

— Шестьдесят рубликов.

— С ума сошел! Тридцать.

— Что вы, барин! А овес-то почем?

— Ну, сорок.

— Пожалуйте.

Санки круто заворачивают, скрипя по снегу полозьями.

— Осторожнее, дядя, не попади под трамвай.

— Не попадем.

...Огромный материк шестнадцать лет тому назад дрогнул, зашатался и безвозвратно канул на дно. Чудом уцелел маленький островок, и на нем несколько толстосумов, десятки лабазов, воровская толкучка, кастет в кулаке хулигана, ростовщик «Жила», смрадный чад кабаков. «Да, и такой, моя Россия...» Ну, конечно. Но зачем, все-таки, уцелело главным образом это?

Черный виадук, за ним яркий свет. Здесь форштадтское царство обрывается. Здесь Рига, Латвия, 1933 год, реальная жизнь. Только снег и звезды те же, что на Форштадте, те же, что в России.

II

Старик посыльный «красная шапка», тридцать восемь лет в мороз и жару простоявший на Форштадте, говорил: «Темное наше форштадтское царство, мутное — если осветить — Бог знает, чего наглядишься. Только фонаря на то нет. А люди у нас — не люди, а гвозди».

Особнячок с колоннами «русский ампир» выкрашен заново ярко-зеленым. Хозяйка усадьбы, купеческая вдова Пелагея Петровна, не терпит ни в чем беспорядка. Чуть заметит какой-нибудь изъян — сейчас же зовет дворника. «Семен, распорядись», — и назавтра кисть маляра уже лихо ходит по беседке или забору. Исполнительный человек дворник Семен из себя молодец: белозубый, статный, почтительный, ловкий. В Ярославской губернии, откуда он родом, может быть, и много таких, но на Форштадте, да, пожалуй, и во всей Латвии, второго такого молодца не сыщешь. Недаром любил и жаловал его покойный хозяин, недаром жалует и хозяйка. Семену лет под сорок, но выглядит он моложе.

Хозяйка Пелагея Петровна приблизительно того же возраста. Если бы не глаза, в наружности ее не было бы ничего замечательного. Женщина как женщина, купчиха как купчиха. Рост средний, лицо чистое, особых примет не имеется. Но глаза удивительные: сталь и лед. Точно отразилось в них навсегда то утро, когда она, 16-летней девчонкой, стояла на Двине у катка и глядела с завистью, как сталь коньков сверкает на льду.

Это был знаменательный день для Паши Масловой, сироты-племянницы форштадтского забулдыги-водопроводчика. Она глядела с берега на каток и так была увлечена зрелищем, что совсем не заметила, как, скрипнув по снегу полозьями, остановились неподалеку сани, запряженные парой рысаков. Пожилой господин в тысячной ильковой шубе вышел из саней и с десяти минут молча смотрел на девчонку в ватной кацавейке и старых валенках, на ее тонкий, ястребиный профиль и широко раскрытые серо-голубые глаза. Он

подошел к ней совсем близко, она не замечала. «Что же не покатаетесь, барышня, аль пятачка на вход нету?» — спросил он, наконец. Паша ахнула от неожиданности, но сейчас же оправилась: теряться было не в ее натуре. Очень просто, точно разговаривая со старым знакомым, она созналась, что, действительно, нет пятачка. И так же просто предложенный пятачок взяла. С пятачком Паша побежала на каток, а господин в шубе, богатый форштадтский купец Василий Корнилович Снетков, сел в сани и крикнул «трогай». Малый, сидевший на козлах — не кучер, а так, кучеренок,— нынешний дворник Семен, с места лихо пустил рысаков по сияющему, пушистому снегу.

* * *

Дав девчонке Паше пятачок и полюбовавшись ее раскрасневшимся личиком, Снетков, может быть, забыл бы о ней совсем, но, спустя неделю или две, случилось так, что она опять ему подвернулась. Василий Корнилыч шел в воскресенье к обедне. Шел пешком — приходская церковь от особняка с колоннами не дальше, как в ста шагах. У церковной ограды он заметил прислонившуюся к решетке всхлипывающую фигурку. Пригляделся: та же кацавейка, тот же платочек, та же девчонка с катка. Только теперь остренькое свежее личико все в слезах. Снетков подошел. «Что такое?» Та рассказала: дядя-водопроводчик вернулся пьяный, избил ее и выгнал из дому. Отворачивает рукав, показывает на детской коже багровый кровоподтек. Купец подул в бороду. «Что же, боишься идти домой?» — «Лучше в проруби утоплюсь!» — «Да ты, чай, и голодна?» — «Второй день не ела.» Кончился разговор тем, что Снетков отвел Пашу к себе, велел ее накормить, «а там посмотрим». С этого дня она уже не выезжала из дома, в котором живет и по сей час.

Форштадтская молва говорит, что все с первой встречи было подстроено. Будто бы кучеренок Семен

нался с Пашей раньше и уже у реки с расчетом обратил внимание Снеткова на нее, зная слабость купца к молоденьким. Он, будто бы, состоял у старого вдовца, помимо кучерской должности, вроде личного секретаря по женской части и знал все его вкусы, секреты и слабые места. «Все может быть, хоть и чудно, а и не такое бывает»,— качают головами форштадтцы.

Так или не так, но Паша у Снеткова осталась на постоянное житье. Дядя-водопроводчик после отеческого разговора в участке: «Бери сто рублей и не рассуждай»,— от всяких прав на нее отказался, и началась вторая глава истории, о которой разные рассказывают по-разному, но все варианты сводятся к одному: Снетков в Пашу влюбился.

Тут уже все рассказчики в один голос утверждают, что был сговор с Семеном. На катке, у церкви — еще неизвестно, но что в купеческом доме, в тепле, сытости, безделье, девчонка слюбилась с Семеном, это на Форштадте почитают за непреложный факт. Слюбились и вместе все наперед разочли — как старика разжечь и до какого каленья довести, чтоб он и жену, и седины свои, и первой гильдии сан забыл и решился на такое дело, как женитьба на безродной девчонке, годной ему во внучки.

Решился он, правда, не сразу. Три года обхаживал Пашу, и так и этак старался, только бы обойтись без венца. Десять тысяч обещал на книжку ей положить.— А хоть сто кладите, мне моя честь дороже.— Палантин ей принес, брошку. Даже не взглянула.— Благодарствуйте, Василий Корнилыч, подарите кому другому. Я не заслужила, да и не к лицу мне такие вещи носить. Я ведь не барыня, не купчиха. Мне они, как вороне павлиньи перья.— Видит Снетков, не действует ласка, припугнуть решил.— Ты смотри, забыла, в чьем доме живешь, чей хлеб ешь, платье на тебе чье. Выгоню на улицу, в чем была, к дяденьке, что ли, отправишься? — Сказал. Паша промолчала и вышла. Через пять минут входит опять. Ватная кацавейка на ней, платочек старый.— Что за маскарад, с ума сошла? — Прощайте,

Василий Корнилыч, спасибо за хлеб, платья ваши все в горнице висят, можете пересчитать, а я ухожу.— В такую тут ярость старик пришел, что набросился на нее с кулаками. Не хуже дядюшки поколотил.— Скручу тебя,— кричит на всю Тургеневскую,— скручу, не таких, как ты, скручивал.— Она в ответ: — Ваша воля, ваша воля.— Слезы текут, губы стиснула, и на лице такое выражение, что видно, хоть убей, не уступит.

Сдался Снетков. Утром, чуть свет, входит к ней, весь всклокоченный, лицо как туча. Паша вскочила, думает, глядя на него, что пришел свое силой брать, а он поглядел на нее и буркнул:

— Там как знаешь, шей приданое или покупай, но чтобы в две недели все было готово.

* * *

Пелагея Петровна богомольна, не пропускает ни одной службы. Раз в неделю, какая бы ни была погода, отправляется Пелагея Петровна на кладбище, на могилу мужа. Василия Корнилыча расстреляли в 1919 году большевики. Месяца три лежал он в овраге в Задвинье. Когда большевики ушли, тело разыскали и похоронили. Семен и разыскивал и опознавал. Пелагея Петровна с плачем и причитаниями обняла и облобызала лишь запаянный гроб. Хоть и твердого нрава женщина, а не решилась взглянуть.

* * *

Через две недели, как было сказано, сыграли свадьбу, и Снетков зажил с молодой женой. Зажил, как будто, хорошо.

При немецкой оккупации Снетков остался в городе, как и большинство форштадтских купцов. К немцам они в Риге привыкли, немец их не страшил. А патриотизм — вот он, патриотизм: одна стена вся в царских портретах, другая вся в архиерейских, чего еще надо?

Снетков при немцах хорошо заработал. В доверие к немецкому интендантству втерся и на армию стал большие поставки делать. Но вот кончились и немцы и поставки. Большевики в городе, спасайся, кто может. Стало именитое купечество прятаться, кто в ледник, кто в подвал, кто на чердак. Дальше никуда не пойдешь: по бороде узнают, пузо выдаст. У Снеткова на этот случай было приготовлено кое-что получше чердака. Немецкие его приятели, покидая Ригу, снабдили его рекомендациями и пропусками и указали на границе верных людей. Без шума, налегке, вышел он с женой из дому и как в воду канул. На другой день явились из совдепа с обыском — поздно, улетели птички. При обыске дворник Семен еще в доме был, водил советчиков всюду, шарить помогал, но вскоре исчез куда-то и он. А еще через несколько дней узнают форштадтцы: Снеткова, одного, без жены, привезли откуда-то из-за города, сутки продержали в Чека и отправили на расстрел.

Большевики в Риге были недолго, месяца четыре. Только выгнали их, возвращается в домик с колоннами Пелагея Петровна. И не одна, с Семеном. Как да что? Объясняет: с мужем они в дороге разделились для безопасности, близ границы должны были встретиться. Муж не приехал. Ждала его сначала в условленном месте, потом скиталась по деревням.— А Семен? — Семен при муже был. Купца схватили, дворник убежал.— Да ведь Семен еще долго в Риге околачивался? — Ничего не значит, догнал в пути.

Нехотя отвечает, со скукой. А тут еще одно обстоятельство. Принесла в скором времени Пелагея Петровна деньги в банк положить на счет. Большие деньги. В немецких марках тысяч на двести. Кассир смотрит. Те же серии, что незадолго до бегства снял Снетков со счета. Только сумма поменьше, тысяч тридцать не хватает.— Вот,— говорит,— не думал, ваше степенство, что опять эти бумажки в руках буду держать, и как же это счастливо случилось, что не достались они большевикам.— Да,— отвечает Пелагея Петровна,— муж мне дал их спрятать, на мне они и остались.— Как

раз в это время подходит к окошечку член правления Малафеев, тоже именитый купец, Снеткова закадычный друг. Кассир еще деньги в руках держит.— Вот какая счастливая история.— А Малафеев хмурится.— Странно,— говорит,— ведь вы, Пелагея Петровна, помнится, сказали, что покойника в последний раз такого-то числа видели.— Да.— В последний раз? — В последний.— Странно, странно, а я на два дня позже, перед самым арестом, ведь я в тех же местах скрывался.— Ну так что? — А то, что марки эти были при нем, он мне их сам показывал.— Усмехнулась Пелагея Петровна: — Если показывал, так не эти. Эти с самой Риги были при мне. У мужа другие были.— Но супруг ваш именно говорил, что тут вся его наличность, и сумму называл, да и серии, как будто...— Если говорил, так, значит, для отвода глаз.— Малафеев покраснел, выпрямился: — Для чего бы ему, сударыня, мне глаза отводить? Не отводит ли кто другой глаза в этом деле? — Пелагея Петровна смерила его взглядом — сталь и лед! — Думайте, что хотите, не моя печаль.— Усмехнулась еще раз и ушла.

Так и у следователя отвечала — до допроса дело дошло, такой поднялся шум.— Лисичкин Андрей? Если водопроводчик и хулиган, так, наверное, мой дядька. Чекистом в Шлоке был? Скажите, пожалуйста! Впрочем, что ж, от него всего можно ждать. По его ордеру и арестовали Васю? Упокой Господи его душу, а я, господин следователь, сами видите, тут ни при чем.

Оставил суд Пелагею Петровну в покое — никаких улик нет, одни форштадтские сплетни. Утвердили в наследстве, во владение ввели. Так и живет по сей день на Московском Форштадте, в собственном доме, бывшая девчонка Паша, теперь вдова миллионера. Тихо, замкнуто живет, ни к чему не придерешься. Чай пьет, радио слушает, в церковь ходит, на могилу мужа возит цветы. Женщина как женщина, купчиха как купчиха. А что дворник Семен при ней особым ее доверием пользуется, в этом ничего нет. Старый слуга, верный, испытанный, его и покойный Василий Корнилыч всегда перед прочими отличал.

III

Теплыми весенними вечерами пахнет на Форштадте Россией.

Май. Белая ночь опускается над городом. Слышна жалобная или разухабистая трель гармошки. Растрепанная березка беззаботно-трогательно тянется к прозрачному небу. А из-за Красных амбаров, с широкой зеркальной Двины, доносится смутный ровный шорох, сопровождаемый каким-то особым постукиванием. Это вниз по Двине, из настоящей России, ползут плоты с советским лесом...

Золотой купол храма тихо светится на форштадтском небе. Звонят ко Всенощной. Ползут по тихим улицам старики и старушки, важно шествуют с дородными супругами владельцы железных складов и мучных лабазов. Есть и молодежь в этой толпе, но мало. Молодежь сейчас валом валит на Мариинскую и Московскую в кино «Прогресс» или «Миньон», где по субботам спектакли-гала: две драмы, две комические, патэ-журналь и дивертисмент. И над всем этим спускаются синие русские сумерки.

Сквозь распахнутые двери церкви видна все та же не меняющаяся ни с годами, ни с политическими потрясениями картина: фигуры молящихся, огоньки свечек, ризы икон, золотые затейливые узоры царских врат. Должно быть, если пригнуться у правого паникадила, виден еще след от сапог Ивана Севериновича на закапанном воском полу. Сорок с лишним лет прожил он на Форштадте и, кажется, ни одной службы не пропустил. Всегда на том же месте, в сюртуке, потупив глаза, с отблеском свечей на землистом, сморщенном лице. «Что положено — надо отстоять — зачтется», — наставительно говорил он своей стряпухе Аксинье — единственному существу на земле, с которым иногда — очень редко — он перекидывался словом не о закладах и процентах, а о человеческой судьбе и суете сует. Прошлой зимой Ивана Севериновича зарыли по третьему разряду в промерзшую кладбищенскую землю. А что ему зачлось — сорокалетнее ли усердное

стояние справа от паникадила или эти Сережкины краденые часы с ключиком — про то знают там, где «засчитывают».

* * *

По форштадтским улицам, не спеша, припадая чуть-чуть на левую ногу, бредет старичок. Собственно не старичок даже — так, пожилой человек неопределенного возраста. И все в нем какое-то неопределенное — наружность и платье, взгляд и повадка. Волосы какие-то пыльные, глаза бесцветные, лицо без выражения — ни доброе, ни злое, пальтишко не то чтобы хорошее, но нельзя сказать, чтобы и дрянное. Все вместе взятое сливается в какое-то неопределенное пятно, в которое надо специально вглядеться, чтобы заметить, что у пятна есть глаза, и уши, и ноги, и даже на шее намотан шарф искусственного шелка — очень яркого, прямо вызывающего колера, лиловый, в желтые разводы. На другом бы такой шарф за версту бросился в глаза, но на Иване Севериновиче и он как-то стушевывается в общую бесцветность. Всмотришься — действительно и шарф, и уши, и пальто, и — характер, должно быть, железный. Но отвел глаза и нет ни цветистых разводов, ни очков, ни бородки — неопределенное впечатление чего-то ненужного, вылинявшего, исчезая, расплывается в памяти.

Прохожие кланяются ему: «Здравствуйте, Иван Северинович»,— не то чтобы очень приветливо, но во всяком случае с почтением. Припадая на одну ногу, держась стены, он сворачивает в переулок и подходит к низкому рыжему дому, похожему на заржавленный утюг. Ступеньки — их три — скрипят под ногами хозяина каждая на свой лад. Первая жалуется «ох, тяжело». Вторая сочувствует — «и мне нелегко», третья издевается — «в могилу пора». Иван Северинович открывает большим неуклюжим ключом дверь, переступает правой ногой порог — левой не к добру и, сняв шапку, крестит свой лысый лоб. Потом шарит по стене, ища

выключатель. Столько лет, а никак невозможно освоиться с электричеством — хоть и удобно, а до сих пор жутковато.

Все ли цело? Не украли ли чего? Нет, все на своих местах и беспокоиться на сегодняшний день как будто нечего. Никогда ничего нельзя знать — беда, убытки подстерегают человека. Но сегодняшний день прошел — и слава Богу. Все-таки надо проверить. Раскрывается длинный сундук, из-под красных фланелевых тряпок тускло блестит серебро. Пузатый чайник, щипцы для сахара, кольца от салфеток. Этого уже не унесут отсюда — это просроченные заклады. Иван Северинович смеется мягким, зябким, добродушным смешком — нет, не унесут. Мое! Лежите себе и отдыхайте, вещицы. У меня вам лучше. Работать не заставлю. Ни на огне тебе, дружок, кипеть не придется, ни в рот чей-нибудь поганый тебя, ложечка, не засунут.

Маленькая, почти перегоревшая лампочка тускло освещает комнату. Черная тень Ивана Севериновича то подымается до самого потолка, то прячется в длинный ящик — точно не ростовщик рассматривает заклады, а покойник встает из гроба, ложится и снова встает.

В дверь тихо скребутся. Старик захлопывает сундук и быстро садится на крышку — запирать поздно. Сердце колотится, но осанка воинственная, как у орла. Грудью готов защищать свое добро. Мое — не отдам!

Дверь открылась. В комнату не вошла — скользнула старушонка. Страх сразу исчез: Аксинья свой человек, преданный, верный — да и ума у нее только и хватает, что стряпать да поклоны в церкви бить. Эта не позарится на добро. Подобрел.— Чего тебе? Сказано, без зова не входить. Ну, что молчишь? — И вдруг снова нахохлился и пальцы крепко впились в крышку сундука. За спиной Аксиньи в дверях увидел еще какую-то человеческую фигуру. Кто там? Зачем? Кого привела?

— Шурка, подь сюда, не бойся,— тихо говорит Аксинья.— Падай, дура, в ноги! Проси!

* * *

Электрическая лампочка тускло горит под потолком. И снова черная тень то вырастает высоко, то падает до земли. Это Шурка, семнадцатилетняя сестренка Сережи Зубова, купеческого приказчика с Красных амбаров, кланяется Ивану Севериновичу в ноги и плача молит не губить брата. Иван Северинович слушает молча, будто не понимая, чего от него хотят. Действительно, многое с ним случалось в жизни, но такой оказии еще не было. И прежде, бывало, у него валялись в ногах, прося не продавать заклад,или прибавить, или дать деньги под нестоящую вещь. Но таких просьб, как Шуркина, он еще не слышал ни от кого. Она просит вернуть без денег вещь, которую всего с неделю брат ее заложил. И какую вещь-то: часы золотые, работы Павла Буре! С тремя крышками, восемьдесят шестой пробы! С массивной цепью!

Часы хозяйские. Хозяин хватился. На Сережку подозрение. Если завтра утром часов не будет — заявят в полицию. В Двину брошусь, причитает Шурка, если брата посадят. Отдайте, Иван Северинович, часы — вас Господь наградит. А выкуп соберу, только дайте время, и до копейки с процентами вам верну. Слезы, большие, тяжелые, как у коровы, которую режут, текут по румяному Шуркиному лицу.

Иван Северинович слушает. Он так изумлен, что даже не сердится. Отдать без выкупа вещь, тысячную вещь!! Об этом она просит? Что она, сумасшедшая или пьяная, или, может быть, издевается над стариком? Что это? Во сне снится? А Шурка истощила все свои доводы и просьбы и уже не говорит больше, только все горше плачет. Тут, набравшись храбрости, выступает ей на помощь Аксинья: — Иван Северинович, — говорит она, и голос у стряпухи какой-то другой, чем всегда, звучнее, громче. — Отдайте Шурке часы. Иван Северинович! Христом Богом молю. Никогда вы в жизни ни одного доброго дела не сделали. «Жилой» вас все зовут. Это, может, ангел-хранитель вам знак подает, хочет вашу душу спасти. Отдайте,

Иван Северинович, часы! — громко, звонко говорит стряпуха, щеки раскраснелись, спина выпрямилась — откуда взялось. И от ее голоса и слов ростовщик, наконец, выходит из оцепенения.— Вон! — визжит он.— Сумасшедшие! Разбойницы! Ты,— повернулся он к Шурке,— если не хочешь в полиции ночевать, убирайся, чтобы и духа не было. А ты закрой дверь и подай самовар. А завтра тебе расчет — ступай куда хочешь. Сумасшедшие! Разбойницы! — Он вдруг чувствует такое волнение и злость, что, еще раз крикнув сорванным голосом «вон» и топнув ногой, в изнеможении опускается на стул.

* * *

Самовар подан. Стряпуха с заплаканным, распухшим лицом ушла в свою каморку во дворе. Иван Северинович пьет чай, потом, как всегда, обходит дом, смотрит, хорошо ли закрыто, щупает запоры, проверяет замки и наконец, перекрестившись перед киотом, ложится в свою узкую постель за перегородкой. Душно. Тараканы шуршат за обоями. Ночник тускло горит. Иван Северинович переворачивается на другой бок, вздыхает. Да, стар. И хотя не хочется ни о чем думать, перебирает в памяти против воли Аксиньины слова: «Жилой» вас все зовут». Верно, зовут, и раньше слышал. Прежде даже нравилось — уважение в этом слышал. Конечно, «жила», правильно. «Ни одного доброго дела не сделал»? Разве? Стал вспоминать. Нищим никогда не подавал. С закладчиками — тоже строг был, без поблажек. Но ведь — коммерция — начни только поддаваться, сам без рубашки останешься. Неужели все-таки ни одного? Ну, не сейчас, так в молодости. Может, и делал, да запамятовал. Но жаль, что обманывает себя — в молодости уж наверное добра не делал, бедностью своей тяготился и всех за нее ненавидел. И всю злость, всю зависть вымещал на жене. Вдовцом уже разбогател — жена так и умерла, не дождавшись богатства. Загнал в гроб, говорили. Вздор

какой! Разве можно живого человека — в гроб загнать? Он не захочет, не пойдет, как ни гони. Значит, в ней какая болезнь была. А больная жена как опоенная лошадь, это все знают. И не жалел — ни когда умерла, ни потом. Чего жалеть? А вот теперь — с чего бы это? — подступает к сердцу какая-то тошнота, сладкая, вроде жалости. Аксинья сказала — ангел-хранитель знак подает. А если вправду знак? У той девчонки слезы, как у коровы, которую режут, — и от них та же сладкая тошнота...

Иван Северинович долго лежит, долго ворочается, потом надевает исподнее, тройку, пальто, даже пестрый шарф завязывает — Аксинья в сарайчике, надо идти через двор, а ночи холодные.

Он идет по залитому лунным светом двору и стучит в окно сарайчика. На мгновение, когда крышка восемьдесят шестой пробы и массивная цепь, ярко блестя, мелькают перед изумленно-испуганным лицом стряпухи, Ивану Севериновичу становится жаль часов. Но жалость эта совсем иного рода, чем только что испытанная невыносимо-сладкая тошнота, и справиться с ней гораздо легче, даже совсем легко. Сунув Аксинье часы, он идет обратно. Луна светит ему в спину, и за забором глухо шумит Двина. Иван Северинович знает, что сейчас он сладко, крепко заснет, и от этого ему удивительно, как никогда в жизни, приятно.

Он сейчас же и засыпает. Во сне он видит золотые часы, которых совсем не жалко, и Сережку Зубова, который кланяется в ноги и благодарит... Но луна светит прямо в спину, и река так шумит, что Иван Северинович просыпается. Над ним склонилось наглое, красивое перекошенное лицо Сережки. Сообразить, в чем дело, ужаснуться, закричать Иван Северинович не успевает: топор в руках Сережки, высоко подскочив в воздухе, с размаху опускается на его лысый череп.

ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ

I

Случай пересечь пол-Европы на автомобиле представляется не часто в эмигрантском быту. Мне в этом смысле повезло. Из Риги в Париж я приехал на 20-сильной американской машине. Путешествие длилось девять дней. Долгие остановки в пути покрывались быстрой — на хороших дорогах до 120 ⟨километров⟩ в час — ездой. Повезло мне еще и потому, что эта поездка состоялась именно теперь: главная часть пути лежит, как известно, через Германию.

* * *

Кресты братских кладбищ. Лес, исковерканный орудийным огнем. Остатки окопов, клочья колючей проволоки, стены сожженных фольварков. Призраки войны все еще сторожат большую литовскую дорогу. Усилия людей и природы за 15 лет все еще не уничтожили их. Да и там, где следы войны внешне стерты. продолжает веять ее ледяная тень.

Митава. Ныне тихая латвийская провинция, в прошлом столица герцогства Курляндского. Неподалеку. вниз по течению реки Аа стояла когда-то небольшая мыза Кальнецем. Ее арендовал мелкопоместный дворянин фон Бюрен. У арендатора этого был сын. звали его Эрнст Иоганн.

Эрнст Иоганн фон Бюрен (впоследствии его фамилия стала писаться иначе: Бирон) приезжал иногда в Митаву верхом или на отцовской двуколке. Дорога из мызы в город лежала по берегу реки мимо древнего Комтурского замка, резиденции рода Кетлеров, герцогов Курляндии. В Митаве у Эрнста Иоганна води-

лись друзья среди разночинцев и купцов. Надменная курляндская знать ни его, ни его отца в свой круг не пускала: не говоря уже о бедности Бюренов, самая их принадлежность к дворянству вызывала сомнения. С завистью молодой фон Бюрен смотрел на своих знатных и богатых сверстников, перед которыми распахивались ворота герцогского замка, для него навсегда закрытые.

Впрочем, не всегда. Когда Бирон в 1737 году был провозглашен, повелением Анны Иоанновны, великим герцогом Курляндским,— он один-единственный раз в эти ворота вошел. Ему хотелось лично убедиться, что в подвалах расставлено достаточно дубовых, окованных железом, бочонков и что порох в них не отсырел. Потом Бирон со свитой взобрался на пригорок на противоположном берегу реки. Герольды затрубили в трубы. Войска взяли на караул. Новый великий герцог не спеша вынул из кармана платок и высоко им взмахнул. Взрыв был так силен, что окна полопались в половине литовских домов. Для неслыханной по великолепию резиденции, которую задумал строить Бирон, было очищено место.

Строитель ее был уже намечен заранее: граф Боржилижес Растрелли, «Варфоломей Варфоломеевич», как любил он сам себя называть, еще молодой, но уже прославленный строитель Зимнего дворца.

Митавский и Руэнтальский замки, возведенные по прихоти Бирона,— одни из ранних созданий Растрелли. Они начаты незадолго до смерти императрицы Анны и ссылки Бирона в Пелым и стоят неоконченными 21 год — вплоть до восшествия на престол Екатерины. Пока звезда временщика гаснет в мрачном ущербе — все выше всходит слава гениального строителя. Зимний, Аничков, Петергофский, Царскосельский дворцы, Александринский театр, Смольный, дом Строгановых, Пажеский корпус, Владимирский собор — все это — в одном только Петербурге и его окрестностях — создано Растрелли, когда шестидесятичетырехлетним стариком он возвращается в Митаву к своим неоконченным творениям. Бирон — дряхлый,

больной, изголодавшийся по роскоши и власти, лихорадочно торопит архитектора. Ему мало почти готового Руэнтальского дворца, он хочет, как можно скорее, торжественно вступить в главный, Митавский. Даром, что ли, он взрывал резиденцию прежних герцогов, даром тратил без счету золото русской казны? Но Митавский дворец простоял без крыши и без стен с лишком двадцать лет, и хотя триста рабочих работают на постройке день и ночь — Бирону придется еще долго ждать — ждать почти до самой смерти. Только шесть месяцев проживет он во дворце, в котором как бы воплотилось все его ненасытное честолюбие, вся его непомерная гордыня. И Растрелли не суждено увидеть свое творение завершенным: незадолго до окончания работ умрет его жена, и великий артист, бросив все, уедет в Италию.

Митавский замок не уцелел во время войны (там одно время жил Вильгельм и из кабинета Бирона по прямому проводу разговаривал с Берлином) — был сожжен войсками Бермонта-Авалова, хлопнувшими дверью, отступая. Дверь хлопнула громко: имя Бермонта до сих пор произносится в Латвии с ненавистью. Дело, конечно, не в одном Митавском замке: взрыв пироксилиновых шашек, превративший в ноябре 1919 года великолепный дворец в пылающие развалины, только эффектный росчерк в конце длинного «списка благодеяний» этого современного конквистадора, полугрузина-полунемца.

Теперь Митавский дворец реставрируется латвийским правительством. От потомков Бирона, князей Саган, и из Венского музея Альбертини раздобыты подлинные чертежи Растрелли. У зияющих пустыми окнами классически прекрасных стен возятся рабочие, навалены кирпичи, бревна, известка. Восстанавливается и разоренный Руэнтальский замок.

Заглядываю за решетку углового окна подвального этажа. Низкая сводчатая комната пуста. Но еще месяц тому назад здесь стоял литой почерневший гроб с прахом великого герцога Курляндского. Наконец-то он предан земле. Вечного упокоения Бирону пришлось

тоже долго ждать. С 1825 года во дворце поселяется курляндский губернатор, и гроб Бирона по «хозяйственным соображениям» переносят из усыпальницы в... кладовую. Там труп временщика пролежал среди разного хлама почти сто лет — даже не закрытый крышкой. От большевистского владычества сохранилась фотография: набальзамированная, высохшая кукла Бирона стоит во весь рост у стены: на голове немецкая каска, в провале рта — трубка, по бокам два хохочущих красноармейца. Когда Бермонт жег Митаву, тело Бирона валялось на обледеневшей земле перед пылавшим дворцом. Потом его подобрали и снова водворили в кладовую. И только теперь, в 1933 году, серебряный вычурный гроб рококо зарыт в землю на обывательском кладбище, и над ним поставлен простой деревянный крест.

* * *

Литва. Ночевка нам предстоит в Шавлях.

Въехав в Шавли, мы обратились к полицейскому, только чтобы узнать дорогу: «Скажите, где здесь гостиница...» «Берлин»?» — перебил он, как человек, хорошо знающий, какая единственная гостиница может удовлетворить изысканные вкусы туристов, приехавших осмотреть достопримечательности Шавель на собственном автомобиле.

«Отель-ресторан Берлин». Вывеска с этими словами была освещена тремя зелеными лампочками сверху и одной розовой снизу. Прежде чем попасть в коридор, где расположены номера, надо сперва подняться на несколько ступенек, потом спуститься на несколько, перешагнуть через какую-то неопределенную выпуклость на полу и еще куда-то подняться. Коридор выкрашен небесно-голубой краской, номера — пунцовой. В номерах огромные окна, необыкновенной высоты потолки, давно не виданный умывальник с мраморной доской и педалью, олеографии «Бабушка с внучкой» и «Замок в Шотландии» и запах, тот особенный запах,

которым от века пахли гостиницы в русских уездных городах, запах, которого нельзя ни проветрить, ни заглушить, который, должно быть, как бы ни летело время и ни менялась карта мира, незыблем, вечен, неистребим.

— Чичас,—сказал веснушчатый коридорный, когда мы потребовали воды в умывальник, и пропал.

— Чичас,—повторил он, просунув лохматую голову в дверь, когда, потеряв терпение, мы снова позвонили, и, действительно, не обманул—еще через четверть часа принес воды.—Холодно, нельзя ли натопить?—Можно. Чичас.—Он вернулся с дровами и стал их накладывать в печку.—Угар будет,—сказал он задумчиво, уже достав спички, чтобы поджечь растопку.—Такая проклятая печка—закрывай трубу, не закрывай, все равно будет угар. Лучше я перины вам принесу.—А других номеров, где хорошие печки, нет?—Есть и с хорошими: пятый номер, седьмой номер.—Ну?—Заняты чичас эти номера, там господа футболисты стоят.—А остальные?—Остальные все, как эта,—только затопи—чичас угар.

— А что вы желаете?—с акцентом истинной гражданки Шавель ответила миловидная девица, сидевшая в ресторане за пустой стойкой между двумя пальмами в кадках.

— А что у вас есть?—А что вы желаете?—Да что же у вас есть?—Закуска.—А еще что?—Закуска: огурцы, шпроты, кильки.—А горячее есть что-нибудь?—Горячее?—Она удивилась.—Горячее будет в восемь часов: сосиски.—Почему же только в восемь?—Потому что сосиски из Ковно, в половине восьмого поезд придет.—Ну, а будет к сосискам что-нибудь еще, гарнир какой-нибудь?—А что вы желаете?—А что у вас есть?—Огурцы есть.—Она помолчала.—Чай есть. Халла скоро будет.

Ожидая сосисок из Ковно, я пошел пройтись. Была суббота. Сплошная густая толпа медленно двигалась по правой стороне главной улицы Шавель. Я вспомнил, как за несколько дней до объявления войны я так же гулял в субботний день в таком же еврейско-литов-

ском городке Лиде. Ничего не переменилось с тех пор. И тот же прозрачный серо-синий с розоватым отливом воздух обнимает все это.

«Особенный еврейско-русский воздух».

Ничего не переменилось. Даже предчувствие новых несчастий, испытаний и гроз, смутно веющее в этих мирных сумерках, осталось тем же.

Спать, несмотря на перины, было отчаянно холодно: перины были узкие, сверху грело, с боков надувало. Вскоре начали давать о себе знать занимавшие номера с исправными печками «господа футболисты». Они праздновали только что забитые кому-то голы. Часа в два ночи явилась полиция их усмирять. Едва утихли футболисты, огромные, завешенные только жидкими гардинами окна начали стремительно светлеть. Скоро солнце заливало всю комнату. Дрожа от холода, я спустился в ресторан и заказал себе кофе. «Чичас»,— ответил лохматый коридорный, дремавший за стойкой на месте вчерашней девицы.

* * *

Неман отделяет Литву от Германии. Литовский пограничник бегло просматривает наши паспорта, берет под козырек, и мы медленно движемся по широкому мосту на немецкую сторону, в Тильзит.

Бесчисленные красные флаги развеваются на ветру. Они всех размеров — от маленького до колоссального. Они всюду: на домах, на фонарных столбах, на трамваях, на автомобилях, над головами марширующих, как на параде, школьников, отправляющихся на воскресную экскурсию. Сотни, тысячи флагов. На их кумачово-красном фоне чернеют крючки свастики.

Множество флагов. Множество людей в рыжежелтой форме с красной повязкой на рукаве. Звуки военной музыки, слышащейся одновременно с разных сторон города. Сухая барабанная дробь. Таможенный чиновник, поднимающий правую руку: «Гейль!» «Новая Германия».

Чтобы размять ноги, делаю несколько шагов по прилегающей к таможне улице. Бросается в глаза нечто, до сих пор мною не виданное.

Витрина писчебумажного магазина. Среди портретов вождей, на фоне красного флага разложены сияющие новенькой золингенской сталью кинжалы. Кинжалы очень внушительные — раза в 2 длиннее и шире среднего финского ножа. Крестообразная, как у кортика, рукоять. На широком обоюдоостром лезвии выгравировано: «Ehre und Blut» — «Честь и кровь». Тут же пояснительная надпись: «Дорожные ножи для гитлеровского юношества».

II

В Кенигсберге автомобильное путешествие «по независящим обстоятельствам» прерывается. Прерывается для меня одного. У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский. И чтобы получить транзитную визу через польский коридор с документами, где сказано «d'origine russe, n'ayant acquis aucune autre nationalité»[1], необходимо запрашивать Варшаву. Ответ получается недель через 6, и вовсе не обязательно, что он будет благоприятным. Короче говоря, мне предстоит проехать «коридор» в поезде (где виз не требуется, просто наглухо закрываются вагоны), выйти в пограничном Шнейдемюле и там ждать автомобиль. Автомобиль, «по самому точному расчету»,— должен прибыть в 12—1 час дня.

Маленькая заминка получается в вопросе, как же нам все-таки в Шнейдемюле встретиться. В кенигсбергском «Reisebureau»[2] не знают названия ни одного шнейдемюльского отеля. Зато дают самые успокои-

[1] *«русского происхождения, не имеет никакой другой национальности»* (фр.). (Здесь и далее курсивом выделены примеч. Г. Иванова.)

[2] *«Экскурсионном бюро»* (нем.).

тельные сведения насчет географии этого никому из нас не известного города. Городок небольшой, перед вокзалом — площадь, на ней и расположены все местные гаст-хаузы[1]. Я беру комнату в любом из этих отелей и, утомленный ночной поездкой, сплю подольше. В 12—1 дня — по точному расчету — наш «Штутц» появляется на вокзальной площади и дает гудки под самыми моими окнами. Я открываю окно и машу рукой — Господа, я тут! — Ясно и просто.

* * *

Пять часов утомительной тряски. Станции с польскими названиями, высокие решетки между путями (запертый на ключ нансенист может ведь вылезть в окно), пустые платформы, освещенные ярким, мертвящим светом. Наконец, огромные черные буквы на белом фоне: Шнейдемюле.

Выходя из вагона, уже представляю себе, как живую, тихую вокзальную площадь с уютными провинциальными гаст-хаузами, которую так услужливо описал мне красноречивый агент кенигсбергского ⟨Reisebureau⟩. «Eingang»[2]. Значит, сюда.

Подъем. Спуск. Ослепительно освещенная подземная галерея. Новый подъем, новый спуск. Наконец, я выбираюсь из огромного вокзала. Ночь. Какие-то деревья. Ни одного огня, ни одного дома. Озираюсь, чтобы спросить, где же тут гостиницы. Спросить некого. Разведка в пустоту и ночь не приводит ни к чему. За деревьями другие деревья, потом узкая улочка, совершенно темная. Одноэтажные домишки, погруженные в глубокий сон, нисколько отелей не напоминают. Рука натыкается в темноте на скользкие, холодные перила, под ногами вырастают гулкие железные ступени, вода шумно бежит внизу. Осторожно,

[1] *гостиницы* (нем.).
[2] *«Вход»* (нем.).

ощупью, перехожу мост, висящий над черной пустотой. Но и за мостом все те же деревья, закрытые ставни, тьма.

Смущенный, возвращаюсь на вокзал. Он по-прежнему ослепительно освещен и совершенно пуст. А, вот что! На противоположном конце другая надпись «Eingang». Значит, я не туда пошел. Вот она где, моя заветная площадь. Иду. Подъем. Подземная галерея. Опять подъем. С надеждой раскрываю дверь. Деревья, пустота, ночь, ни одного фонаря. Здесь даже и домишек никаких нет.

Какой-то немец за марку довел меня до гостиницы. Шли мы минут пятнадцать. Это, как я увидел утром, был ближайший отель от станции.

* * *

Точный расчет моих спутников, основанный на автомобильном гиде, оказался таким же точным, как справка «Reisebureau». Целые сутки провел я в Шнейдемюле, их поджидая.

Здесь коричневые формы мелькают чаще. «Гейль!» — слышится на каждом шагу. В центре Германии, особенно в Берлине, переворот чувствуется слабей, чем вот в таких провинциальных городках. Здесь каждая мелочь кричит о восторжествовавшем национал-социализме. И нигде ни на минуту нельзя о нем забыть.

В цветочном магазине горшки азалий уставлены в виде свастики. В игрушечном — амуниция для крошечных гитлеровцев с красной повязкой на рукавах. В витринах книжных лавок Гитлер, Геринг, Геббельс и рядом с ними старый знакомый по «Ниве» Ганс Гейнс Эверс, автор «страшных новелл». Теперь Ганс Гейнс Эверс написал патриотический роман из жизни Хорста Весселя. Роман, очевидно, высоко ценимый, нет такого киоска в Германии, где бы не маячила его обложка: шесть оплывающих красных свечей на угольно-черном фоне.

Флаги, портреты вождей, красные повязки. Великолепный голос Геринга, оглушительно чеканящий в радио какие-то национал-социалистические формулы, непрерывно поднимаемые для фашистского привета руки — все это придает улицам приподнятый, необычный вид. Кажется, что попал на какое-то военное торжество. С мыслью, что это ничуть не праздник, а самые обыкновенные нынешние будни, свыкнуться на первых порах трудно.

Зашел позавтракать в первый попавшийся «паценгофер» и оказался совсем уже будто в казарме ударников. Не преувеличиваю: есть приходилось левой рукой, правая почти непрерывно была занята. Ресторанчик был оживленный, посетители то и дело приходили и уходили. Каждый кричал «гейль!», и все окружающие, как по команде, отвечали «гейль!» и подымали руку.

Я выбрал среднее — руку подымал, но молча. Ничего. Никто мне не сделал замечания, никто вообще не обратил как будто внимания на меня. Впрочем, как выяснилось потом, в последнем я ошибался.

Лучшего места, чтобы понаблюдать нынешних хозяев Германии в повседневной жизни, нечего было и искать. Десятки ударников сидели кругом, толкались у стойки, чокались пивом, шутили и перебранивались. Первое, что бросается в глаза,— их крайняя молодость. Все зеленые юнцы, почти подростки. Более взрослые в их среде сразу выделяются, как выделяется в толпе мальчишек бородатый скаут или гимназист. Все щеголеваты, ловки, чисто одеты. С посторонними вежливы с оттенком покровительства, между собой — вымуштрованы по-военному, с каким-то еле уловимым налетом распущенности. Если подыскивать сравнение из богатого реквизита российского прошлого, вспоминаются тыловые прапорщики конца войны, те, что после становились, смотря по обстоятельствам, кто комиссаром, кто налетчиком. Ни на красноармейцев, бравших Зимний дворец, ни на юнкеров, его защищавших, гитлеровские ударники решительно непохожи — другая человеческая «тональность».

В общем, если наблюдать со стороны, «славные молодые люди»: умеренно шутят, чокаются пивом и не позволяют себе лишнего. Впечатление такое, что мера произвола, на который они способны, как раз та, которая разрешена и одобрена начальством. Ни меньше ни больше. Тоже иная тональность, по сравнению с русскими примерами. Трудно судить, которая «лучше».

* * *

...До того, как он подошел ко мне и заговорил — это было под вечер в садике против почтамта, — я уже мельком видел этого человека на улице и обратил на него внимание. Что-то странное было в его фигуре. Какой-то отпечаток заброшенности, одичания, неустройства. Так выглядит путешественник, проведший ночь в вагоне. Хорошо одет, но полы добротного костюма помяты, новенькая фетровая шляпа запылилась, комфортабельные коричневые башмаки нечищены. Побриться тоже, по-видимому, не пришлось. Впрочем, в его крупной фигуре, в солидном, слегка одутловатом лице, кроме внешней помятости, сквозила еще внутренняя усталость, какое-то тяжелое, безразличное уныние.

Когда он подсел, я читал русскую газету.

— Russe?[1] — спросил он тихо, косясь то на меня, то в сторону. И еще тише прибавил: — Jude?[2]

Услышав, что да, «russe», но нет, не «jude», — он отшатнулся и вспыхнул: — Ах, простите, простите!..

Я поспешил объяснить, что я «из таких мест и из такой среды», где «этого» не существует: извиняться, что он принял меня за еврея, совершенно лишнее. Я не кончил своих объяснений. Лицо этого грузного, солидного, хорошо одетого человека дернулось, глаза стали круглыми и большими. Медленно из-под его правого

[1] *Русский?* (нем.).
[2] *Еврей?* (нем.).

века выползла грузная, как он сам, слеза и покатилась по галстуку.

— Боже,— сказал он,— Боже! Из таких мест, из такой среды... Да, да — Франция, Латвия. Да! Ни травли, ни расовой ненависти... Боже! Я уже и позабыл, что есть такие места.— Слезы катились по его толстым щекам, и он неумело размазывал их по лицу большой холеной рукой.

— Никогда не плакал,— сказал он, доставая платок, и улыбнулся какой-то жалкой улыбкой.— Извините, пожалуйста. Никогда, никогда не плакал. А теперь плачу от всего, как истеричка. Взгляну на небо, и ком подступает к горлу. Вижу, дети играют, и не могу смотреть. Вот вы сейчас сказали про страны, где... где... где... Простите, это сейчас пройдет. Сейчас пройдет.

Успокоившись, он рассказал мне свою воистину «банальную историю». Врач, выходец из Польши. Но родиной своей всегда считал Германию. И как не считать? Здесь он вырос, кончил гимназию, получил докторский диплом,— здесь заработал это — он показал обрубок пальца, отхваченного осколком на французском фронте. Как же не считать? И вот, вдруг...

В его взволнованном, перескакивающем с одного на другое рассказе была одна странность. Как припев, повторялось в нем постоянно «чудные люди», «прекрасный товарищ», «сердечность, которой я никогда не забуду», и относилось это то к администрации госпиталя, откуда его уволили, то к раззнакомившимся с ним коллегам, то к пациентам, переставшим лечиться у него. Я взглянул на него с недоумением. Что это — притворство? Осторожность? Ирония? Нет, он был совершенно искренен. Из его сбивчивых слов выходило, что да, его увольняли, бойкотировали, отворачивались при встречах, но те, кто поступал так,— сплошь «чудные люди», сами попавшие в капкан, сами связанные по рукам и ногам. Как солдат, привел он наивный пример, которого посылают стрелять в врага, он хочет его смерти? Ненавидит его? И все-таки должен стрелять. Так и они, так и они...

Как о рае, он мечтал о Берлине. Друзья обещали помочь, может, и удастся туда выбраться... «Какая же разница?» — спросил я.— О, огромная, колоссальная. Небо и земля. В Берлине можно жить, можно дышать. Пациент, который тут обходит мой дом, точно в нем чума, в Берлине, если я хороший врач и недорого беру, придет ко мне — ведь никто не узнает. И коллега-немец тоже не отвернется: огромный город, масса людей, нельзя проследить каждого... О, в Берлине еще можно дышать. А здесь сыщики, правительственные или добровольные, на каждом углу. Вот там, в коричневой шляпе — видите — сыщик. Кажется, он смотрит на нас. До свидания, до свидания. Если он заметит нас — будут неприятности и вам и мне...

* * *

Немецкая почта сохранила свои идеальные свойства: телеграмма, отправленная по фантастическому адресу «в отель у вокзала», была доставлена мне почти без опоздания.— Как же вы меня нашли? — спросил я у телеграфного мальчика. Он удивился.— Очень просто — заезжал во все отели по очереди и спрашивал.— «Skvernaia pogoda, polomka, budem utrom»,— прочел я с облегчением — сидение на мели в Шнейдемюле начинало меня немного беспокоить.

Вечер я провел приятно. Сходил в кинематограф, посидел в кафе, погулял взад и вперед по главной улице, разумеется, улице Адольфа Гитлера. Поневоле я вспомнил Шавли. Так же чинно, такой же густой толпой по тротуарам двигались гуляющие. Только там были местечковые франты и барышни, а здесь молодцеватые гитлеровские дружинники со своими «арийскими» подругами. Те же самые осенние звезды смотрели на эту мирную картину, и с террасы кафе плыли звуки венского вальса, которые, конечно, играют и в Шавлях, старомодного вальса, сочиненного еще в те времена, когда расовую ненависть считали, по отсталости, варварским пережитком.

III

В Берлине, около русской церкви, газетчики, надрываясь, выкрикивают ежедневную газету русских гитлеровцев на немецком языке. Называется она «Russlands Erwachens» — «Пробуждение России». Но продавцы мягко, по-берлински, проглатывают буквы в конце слов. Получается под рифму и довольно многозначительно: «Руссланд эрвахе ин дэйтше шпрахе» — Россия, проснись... на немецком языке.

«Пробуждением России на немецком языке» заняты в штабе «Ронда».

Я застал закат «Ронда». Медовый месяц русских наци с немецкими отошел в прошлое. Под окнами первого этажа на Мейер-Оттоштрассе не развеваются больше голубые знамена с белой свастикой: полицейпрезидиум распорядился их убрать. Не видно и мощного «Крейслера», выкрашенного в те же андреевские цвета, с двуглавым орлом на радиаторе, в котором еще недавно разъезжал «боговдохновенный», как он сам себя называл, вождь «Ронда» Светозаров-Пельхау. Нет и самого Светозарова — он вернулся к своей старой профессии продавца кофе и какао вразнос. В председательском кресле «верховного совета» сидит «герой Митавы» Бермонт-Авалов. Сидит, хотя и с гордой осанкой будущего диктатора, но как-то непрочно, неуверенно. Хмурый взор Хинчука, который в один прекрасный день предъявит требование «закрыть активную белогвардейскую организацию», невидимо пронизывает стены штаба, и чувствуется, что день этот недалек.

* * *

Растерянность чувствуется в воздухе просторного кабинета, где вьется дымок сигары Бермонта, пахнет английской солью, которую он то и дело нюхает, и где молодцеватые ординарцы в форменных рубашках со следами свежеспоротой свастики на рукаве — тоже

приказ свыше — поминутно входят и, вытянувшись в струнку, докладывают:

— Ваше сиятельство, телеграмма из Мюнхена!

— Ваше сиятельство, радио из Сао-Паоло!

— Ваше сиятельство, телефонограмма из министерства иностранных дел!

Бермонт-Авалов холеными пальцами небрежно распечатывает голубой листок и лениво пробегает его волоокими глазами.— Хорошо! Я распоряжусь после! Не беспокойте меня — я занят!

Занят он разговором со мной. Притом разговором настолько затянувшимся, что я давно стараюсь откланяться и уйти. Это сделать, однако, нелегко — диктатор до чрезвычайности словоохотлив.

Разумеется, очень лестно, что беседа со мной, случайным человеком, случайно сюда забредшим, отодвигает на задний план дела государственной важности, о которых срочно запрашивает Сао-Паоло и беспокоится Вильгельмштрассе. Очень лестно, что вождь, хоть и не совсем прочно сидящий в своем кресле, делится со мной своими задушевными мыслями, точно я не первый встречный, а свой человек, тоже сжегший мимоходом какую-нибудь Митаву и державший в доброе старое время, пополам с секретарем Распутина — Симановичем, игорный притон в Петербурге. Лестно. Но избыток пессимистического воображения отравляет немного мое удовольствие.

* * *

Как ни великолепен орлиный профиль Бермонта, как ни щелкают каблуками лихие ординарцы, как ни внушителен портрет Розенберга с автографом, красующийся на столе,— флюиды уныния явно веют надо всем этим. Сквозь цифры миллионных субсидий, которых, по словам Бермонта, не жалеют немцы на «русское национальное движение», просвечивает неуместный вопрос: заплачено ли за квартиру, где мы сидим? Мой приятель, «марксист», высланный в свое время из

России писатель, определенно утверждал, что не заплачено даже швейцару — касса «Ронда» пуста. Сквозь пышные слова, что «новая Германия на крыльях великой исторической идеи несет освобождение России», грустно маячат споротые с рукавов свастики. Может быть, фантазия и увлекает меня слишком далеко, но, по контрасту с одинокой пустотой «штаба», слишком частые «радио из Сао-Паоло» имеют какой-то подозрительный вид. Несвежий какой-то. Такой, будто уже не первый раз, щелкая каблуками, подавал, на страх постороннему человеку, этот голубой листок ординарец и не однажды уже диктатор небрежно, однако, стараясь не помять, его вскрывал.— «Хорошо! Я распоряжусь! Не беспокоить меня — я занят!»

* * *

Бермонт-Авалов человек стильный. У него живописная внешность. Гордость взгляда и достоинство осанки замечательны. Сдержанно-благородные жесты выше похвал. На белом коне, перед пылающим бироновским дворцом, он, должно быть, выглядел преэффектно. Но, вероятно, был недурен и в заседании президиума игорного клуба: «Коллега Симанович, обращаю ваше внимание: в клуб втираются зарегистрированные шулера. Прошу вас принять меры — у нас не вертеп, а аристократическое заведение».

В разговоре Бермонт-Авалов тоже не менее стилен, хотя и в другом роде.

— ...Союзники, которых мы спасли на Марне, предали нас, как цыплят,— цедит он бархатным баритоном со «стальными» нотками и грозно хмурит брови.— Да, предали! Факт. А идея новой Германии несет России освобождение, несет, и никаких испанцев. Что? Да! Хотите сигару: берите — чудесная сигара, гаванна. Что? Да! Освобождение от большевистского ига. Замечательный букет — две марки штука. Презент от Розенберга. Что? Да! Кури, пишет, ты любишь хороший табак. Да, при любезнейшем письме, целых сто штук.

Что? Ну, положа руку на сердце, ответьте, пришлет ли хоть одну такую сигару ваш Фош, или Пуанкарэ, или какой-нибудь мистер Ллойд-Джордж? Хоть одну штучку — за Восточную Пруссию, за Карпаты, за все, что мы свершили? На, мол, покури, русский герой,— ты любишь хороший табак! Что? Да! А Розенберг прислал. Сто штук. Кури на здоровье и надейся на будущее. Это мелочь, но мелочь показательная для того, кто изучил закон природы.

— Что? Да! — законы природы,— приосанивается Бермонт.— Я их изучил. Что? Взял и изучил. Да! Законы природы и выводы из них. Желаете пример? Что? Хорошо — пример. Вот моя рука. Рука. На ней пять пальцев. Пять. Я иду бороться с врагом. Как же мне, позвольте спросить, бороться, чтобы его одолеть? Одним пальцем? Двумя, тремя? Может быть, четырьмя? Я не знаю. И я спрашиваю природу — что она говорит?

Диктатор выжидательно смотрит на протянутую перед собой собственную руку.— Что говорит природа? — повторяет он.— Всеми пятью! Бросайся на врага и души его пятерней. Вали его наземь, топчи, и ты победишь. А если протянуть один палец — враг вывернет его, и тю-тю, побежден ты. Что? Да! Какой из этого вывод? В борьбе с большевиками все русские люди должны объединиться под знаменами национал-социализма! Никакой грызни! Никаких фракций! Все за мной, и мы победим. Что? Да, за мной! Что? Да! Кола и кока!

— Тоже закон природы,— протягивает он коробочку с пилюлями.— Попробуйте — уничтожает усталость, молодит, проясняет ум. Кола очищает кровь, кока возбуждает энергию. Германское изобретение делает чудеса. Не раскусывайте, глотайте так. Что? Да! — чудеса. Тоже мелочь и тоже показательная. Дорогие союзнички вопят: Германия вооружается, Германия строит аэропланы, Германия выделывает газы. И врут, само собой, как утопленники. Не газы выделывает Германия, а колу и коку — возбудитель энергии, очиститель крови. В этом ее мировая миссия. И мы — без грызни и распрей — должны ей помочь.

— Что? Да! Без распрей и грызни. Все, как один. Пять пальцев. Пять. Одна рука. Одна. Закон природы. Гучков Александр Иванович. Что? Да! Гучков. Он самый — член Временного правительства, бомбист, революционер. И попался он, сердечный, под Митавой мне, князю Бермонту-Авалову. Да, мне! Тридцать тысяч молодцов при новеньких пулеметиках, дым коромыслом, я главнокомандующий, и передо мной он самый — Гучков. Что бы сделал на моем месте с Александром Ивановичем дурак? Что? Да! Ясно, повесил бы. Но я изучил законы природы. Я ему сказал: Александр Иванович, я не дурак, мне нужны умные люди. Плюнем на прошлое и будем работать вместе. И мы работали, дружно работали, созидали, боролись, дрались — дым коромыслом. Славное было время. Теперь латыши вопят, будто я сжег Митаву. Понятно — врут, как утопленники. Митава сгорела сама.

* * *

Изучив законы природы и отведав коки, я выбираюсь, наконец, из «штаба», унося в кармане билет на вечернее собрание «Ронда», за которым, собственно, я сюда и пришел. Уношу еще новый номер «Russlands Erwachens» — на русском языке,— оказывается, выходит она и по-русски и даже по советской орфографии. В передней молодцеватый ординарец отбирает у меня пропуск с огромной печатью и росчерком Бермонта: без пропуска из штаба никого не выпускают. «Счастливо оставаться!» — лихо вытянувшись, кричит ординарец, распахивая передо мной двери. Машинально сую ему полмарки и наливаюсь краской — что я наделал! Нет, оказывается, все в порядке.— Покорнейше благодарим! — гаркает он еще громче.

На улице развертываю газету. Любопытно посмотреть, как пишут собратья по перу, «поднятые на крыльях великой исторической идеи». Пишут ничего, бодро: «Европейские нации уже пробуждаются от чар иудейского наркоза, парализовавшего их

народные силы. Горе вам, Абрамовичи, Финкельштейны и Блюмы, когда проснется весь мир!»

Но столбцом ниже национал-социалистический поэт уже сильно снижает бодрый темп этого славного прозаика, изучившего законы природы и употребляющего колу. Поэт явно законов не изучал и коки еще не ел. Настроен он почти так же печально, как я после посещения «Ронда».

Мы в хмурых сумерках осенней непогоды
Устали обивать пороги чуждых стран.
Холодные, безжалостные годы
Твердят, что все прошедшее обман.
Что все святое, что мы в сердце носим,
Пусть свято, но другим той правды не понять.
Просвета нет. Настала злая осень,
И нам осенней мглы не разогнать.

Обращение главного совета РНСД ко «Всем, Всем, Всем!» — звучит тоже довольно жалобно: «Мы обращаемся непосредственно к совести народов всего мира, к христианству, к человеколюбивым обществам, ко всем отдельным лицам с призывом помочь спасти нашу несчастную родину». Тут же, должно быть, для удобства «человеколюбивых обществ и отдельных лиц», указано: «путь спасения лишь один — свержение власти III Интернационала».

На последней странице напечатано скромное объявление: «Кофе, чай и какао члены РНСД покупают у фирмы Ниеск и К°». Это бывший «боговдохновенный вождь» Светозаров рекламирует свой товар. Так проходит слава земная.

IV

В «Пробуждении России», выходящем по воскресеньям, указан зал, где в ближайший четверг состоится открытое собрание «Ронда». Но за четыре дня адрес пришлось дважды менять: владельцы сдающихся под вечера помещений знают, что касса «Ронда» пуста, и требуют деньги вперед.

Касса пуста. Но вход на собрание бесплатен. Иначе невозможно, никто не придет. Материальное положение рядового берлинского эмигранта нельзя определить иными словами, как беспросветная, безнадежная нищета.

Я пришел на собрание минут за двадцать до назначенного часа, но просторный, человек на пятьсот, зал был уже почти полон. Заседания «Ронда» вообще — по разным причинам, некоторых из которых ниже я коснусь,— посещают довольно усердно. Сегодня же был «большой день»: доклад Вонсяцкого, только что прибывшего из Америки «вождя» тамошних русских фашистов.

У Вонсяцкого, как говорят, есть крупные денежные средства, и он их широко тратит на фашистскую пропаганду и на ...саморекламу. Портреты «вождя» в разных позах и с разными выражениями лица занимают важное место в листовках и брошюрах, которые он издает.

С литературой этой произошел недавно курьезный случай. Ею оказались завалены... мелочные лавочки. В громовые лозунги и огненные призывы новоявленного нью-йоркского «дуче» еврейские бакалейщики заворачивали свои бублики и селедки. Случилось это так. Вонсяцкий решил распространить пропаганду своих идей и своих портретов на... советскую Россию. Для выполнения этой затеи был избран «верный человек» и «опытный организатор» — ныне разоблаченный провокатор Кольберг. Кольберг же ограничился тем, что в Россию отправлял лишь «ограниченное количество» экземпляров, ровно столько, сколько требовалось для осведомления ГПУ. Остальное шло в Польшу на обертку селедок.

* * *

Просторный зал полон народа, и новые посетители все прибывают.

Эстрада, покуда еще пустая, выглядит очень помпезно. Два саженных знамени — бело-голубое

и красно-бело-черное — декоративно скрещены на заднем плане. Между ними распростерты черные крылья стилизованного двуглавого орла. На большой короне, венчающей герб Российской империи, топорщатся крючки свастики. Еще выше — поясной портрет Гитлера, украшенный лентами и флажками. Стол президиума покрыт ярко-голубым сукном, и на нем букет красных роз.

Парадный вид эстрады мало соответствует виду собравшейся на доклад публики. На своем веку я видел достаточно эмигрантских сборищ, и не все они являли картину сытости и благополучия. Но нигде, никогда я не встречал столько землистых лиц, потухших глаз, впалых щек, такой общей замученности и безнадежности, как здесь, на заседании «Ронда».

В зале, где собралось человек пятьсот, если не больше, страшная, какая-то противоестественная тишина. Кое-где разговор вполголоса или глухой кашель. Вновь приходящий молча пробирается к свободному стулу и садится с усталым, безразличным видом. При встрече со знакомыми — кивок, мимолетное рукопожатие. Ни смеха, ни улыбки, ни громко сказанной фразы. Так пассажиры, после бессонной ночи, ждут на станции поезда или в приемной врача толпятся пациенты.

Одна из причин, почему идут записываться в «Ронд»: «Ронд» обещает своим членам работу.

Кругом — полное бесправие. По капризу любого полицейского чиновника отнимается право жительства. Самый вздорный донос почти автоматически влечет за собой арест и концентрационный лагерь. И снова «Ронд». Он протягивает запуганным людям соломинку: «члены «Ронда» входят в братскую национал-социалистическую семью»,— они не беззащитны. С приходом к власти Гитлера всякая общественная жизнь в русской колонии прекратилась. Какие бы то ни было собрания, лекции, кружки перестали существовать. «Ронд» — единственное место, куда можно прийти без страха оказаться неблагонадежным и где все-таки говорят на русском языке, говорят о России.

Наконец, чем тяжелей действительность, тем сильней стремление забыться. Трескучая демагогия рондовских фатеров — «мы победим», «мы спасем Россию», «час высшего торжества близок» — действует на издерганные нервы деклассированных людей, как наркотик. «Слава России!» — оглушительно кричат рондовские молодцы, когда оратор произносит какую-нибудь броскую фразу, и к этим казенным крикам присоединяются голоса людей, по существу «Ронду» и его «идеям» глубоко чуждых, но которым страшно хочется верить, хоть на минуту, хоть в эту сомнительную русскую «славу».

* * *

На трибуну не входит — стремительно вбегает с высоко поднятой правой рукой широкоплечий, плотный, бритый господин в какой-то фантастической полувоенной-полуспортивной форме. За ним торжественно следуют и рассаживаются остальные «вожди» — местные. Мой знакомец — Бермонт-Авалов занимает председательское место и берется было за звонок, чтобы объявить заседание открытым и дать Вонсяцкому слово. Но сделать этого он не успевает. Тот уже сам взял слово, без помощи председателя. Побагровев, с разом надувшимися на висках жилами, потрясая сжатыми кулаками, он, едва ступив на эстраду, уже кричит, орет, выплевывает с невероятной быстротой и грохотом свой «доклад».

— Мы должны привлечь на свою сторону стопятидесятимиллионное русское крестьянство — и мы его привлечем! — исступленно кричит он.

— Слава России! — эхом отвечает зал.

— Мы прижжем каленым железом язву коммунизма!

— Слава России! — еще громче кричит зал, явно наэлектризовываясь звонкими тирадами Вонсяцкого.

— Мы клянемся собственной кровью!

— Слава России! Слава России! — покрывает зал слова оратора так шумно, что нельзя разобрать, в чем, собственно, он клянется кровью.

Как ни темпераментно говорит докладчик и как ни цветиста его пересыпанная клятвами речь, можно, вслушавшись, уловить заключенную в ней «основную мысль»:

Идея марксо-коммунизма — дьявольски лжива, но огромна по своему универсальному масштабу. Опираясь на нее, совершенные ничтожества, мелкие подлецы и прохвосты выросли до крупных исторических фигур, до вершителей судеб земного шара... В самом деле — выросли ведь. И сидят. А мы ни при чем, хотя и снимаемся в разных позах. И кричим так, что трещит в ушах. Между тем и идея у нас имеется не менее универсальная, и сами мы, ей-Богу, не хуже. А сидят все-таки они, а не мы. Но, «клянемся кровью», приложим все усилия, чтобы «вырасти» до таких же «исторических фигур», а если подвернется случай, то и переплюнем их.

* * *

Во время перерыва в публике заметно оживление. Крик и демагогия сделали свое дело — взвинтили нервы, дали иллюзию жизни, отвлекли, взволновали. Но вот заседание возобновляется. На трибуне вместо темпераментного Вонсяцкого один за другим сменяются свои люди, докладывающие повседневные рондовские дела. И настроение сразу круто падает.

«Господа, платите членские взносы», «Господа, подписывайтесь на газету», «Господа, жертвуйте на неимущих товарищей», «Господа, жертвуйте на библиотеку», «Господа, жертвуйте...»

Молодцы в форме после каждого такого призыва, позванивая кружками, обходят ряды. Но «господа» хмуро отворачиваются от новеньких кружек со свастикой и двуглавым орлом.— Слава России! — кричат ординарцы Бермонта, чтобы поднять настроение и заста-

вить раскрыться тощие кошельки. Но «народ безмолвствует», и кошельки не раскрываются.

Я выхожу на улицу. На углу, в зеленом свете фонаря, стоит человек с пачкой каких-то листовок и монотонно повторяет:

— Новая брошюра — «Хлестаковщина наших дней», полезно прочесть каждому члену «Ронда». Новая брошюра — цена двадцать пфеннигов.

Я покупаю брошюру и в вагоне подземной дороги развертываю ее. На ней эпиграф из Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». И вся она полна самой резкой брани по адресу «Ронда» и его «вождей». Пошлость, кликушество, самореклама, убожество, жалость — иных эпитетов автор для них не находит, и герб рондовцев — двуглавый орел со свастикой — откровенно называет «видоизмененно-изнасилованным российским императорским гербом». Делает это он с чувством полной безнаказанности: на обложке стоит не только имя и чин автора: подполковник Имшенецкий, но указан и его берлинский адрес. Невысоко, по-видимому, стоят в глазах нынешних властителей Германии акции «Ронда».

V

ОТ ПЕЛЬХАУ ДО СКОРОПАДСКОГО

История «Ронда» (письмо из Берлина)

Прежде чем говорить о сегодняшнем печальном состоянии «Ронда», поучительно коснуться его истории. Кем «Ронд» основан и кто его «вожди». История «Ронда» вовсе не теряется, как «история мидян», в «сплошном тумане». Известно, в первые дни национал-социалистической революции, когда Берлин потонул в угаре политических страстей и борьбы и некоторым эмигрантам показалось, что чуть ли не завтра Гитлер двинется крестоносным походом на советскую Россию,— в Берлине образовалась группа людей, положившая начало организации «Ронда».

Это были никому не известные — Николай Дмитриев, г. Щербина (богатый домовладелец, во время Колчака бывший в Сибири, давший на «Ронд» первые деньги) и балтиец Фридрих Лихингер.

Поначалу все шло хорошо. Название — «Ронд» — придумал Дмитриев. Он же нарисовал эмблему организации, тут были — двуглавый орел, изображение Георгия Победоносца, знак свастики, крест и меч, «немножко много всего», но ничего. Этот же «вождь» сочинил и гимн для «Ронда» на мотив «Интернационала». Казалось — полное организационное процветание.

Но гг. Щербина и Дмитриев неожиданно попались в лапы национал-социалистического групфюрера (т. е. взводного) Генриха Пельхау.

Чтобы иметь на себе немецкое благословение для русского дела, основатели «Ронда» обратились к берлинскому «гаулейтеру» национал-социалистической партии с просьбой прислать им «для связи» какого-нибудь немца, желательно «говорящего по-русски». И «гаулейтер» прислал, может быть, даже просто, чтоб отвязаться, взводного Генриха Пельхау, прилично владеющего русским языком.

Неудачно пытавшийся стать в Берлине актером, молодой человек со всеми признаками неуравновешенности, Генрих Пельхау оказался все же человеком весьма проворным. Уже на втором собрании членов «Ронда» Пельхау произвел переворот, т. е. попросту перед ошарашенными членами-учредителями этот для связи присланный взводный объявил себя — «единственным вождем русского национального освободительного движения».

Произошла немая сцена из «Ревизора». Но на попытки сопротивления Дмитриева и Щербины, давшего на него деньги, Пельхау просто прикрикнул, дав понять, что «действует по указанию свыше». Ну, раз «свыше»,— то началась уже полная паника. А Пельхау начал расчищать себе «путь к власти».

Больше других шумел «вождь № 1», Н. Дмитриев, посмевший даже публично заявить, что «Ронд» ос-

нован им, он вождь этой организации, сокращенное название которой вовсе не значит даже «Российское Освободительное Национальное Движение», а значит — «Россию освободит Николай Дмитриев»! Это было, конечно, сделано очень тонко и задумано очень хитро «вождем № 1», и раньше этого никто не заметил. Но Пельхау сдаваться не пожелал даже на этот аргумент.

Первым, с кем он расправился, был Дмитриев. Дружинники «Ронда», довольно-таки голодные и безработные люди, мгновенно (как в «Вампуке») подчинились действовавшему по указанию «свыше» Пельхау, среди бела дня на Паризерштрассе напали на основателя «Ронда» Дмитриева, схватили его и с криком — «По приказанию вождя, в штаб! На допрос!» — уволокли. Допрос для Дмитриева кончился довольно плачевно: на дому «вождя № 1» дружинники нашли 6 различных паспортов, и «вождь» был отправлен в тюрьму при полицейпрезидиуме.

Свернув таким образом шею Дмитриеву, цыкнув на Щербину, Лихингера и других знаменитостей, взводный Пельхау, будучи попросту психически больным человеком, издал манифест, в котором прямо так и писал черным по белому, что вождем, который спасет Россию, будет он, Генрих Пельхау, принимающий отныне имя — Андрей Светозаров! И Андрей Светозаров писал: «Волей Провидения, я стал вождем русского народа по ту и по эту сторону рубежа...» «Я отвечаю только перед Богом, Россией и своей совестью...» «Я твердо верю...» «Я клянусь...» «Как вождь призванный, я заявляю...» «Я утверждаю неприкосновенность религиозных верований...» и т. п. Основой же политической программы Андрея Светозарова явился, как это ни странно, «всероссийский поцелуй».

В отпечатанной отдельной брошюрой программной речи Генриха Пельхау на стр. 2 так и говорится: «Могучая, сильная гроза любви нависла над Родиной, и не пулеметы, винтовки и интервенции старых генералов решат судьбу России, а братский Всероссийский Поцелуй и крепкое рукопожатие». Вся эта

речь «всероссийского вождя», составленная из дикого набора фраз, производит невыносимо смехотворное впечатление. Недостаточно все-таки владеющий русским языком, вождь из кожи лезет вон, стараясь писать и говорить в наируссейшем стиле «ой ты гой еси».

Но на беду «вождя № 2», Генриха Пельхау, «вождь № 1», Николай Дмитриев, отсидел в тюрьме всего-навсего 28 дней и был выпущен на свободу. Оба «вождя» — члены немецкой национал-социалистической партии. И меж «вождями» снова вспыхнула жесточайшая борьба. «Ронд» раскололся.

В своем листке под заглавием «Ронд», который он издает с портретом Гитлера и... Достоевского и с крупной надписью «Гей, Россия!», опальный вождь Дмитриев облил такими помоями захватившего «Ронд» Пельхау, что, казалось, тут и не отмоешься: и «шулер», и «гнусный провокатор», каких только не было ласкательных слов.

Но Пельхау ответил г. Дмитриеву довольно-таки остро. В № 9 своего листка «Пробуждение России» он дал такую характеристику основателю и первому вождю «Ронда»: «Кто вы, собственно,— ехидно спрашивает вождь № 2 вождя № 1,— Дмитриев, Краузе, Ветров, Думратов, Крынкин или Ведов? Не хотите ли вы иметь очную ставку с свидетелем Отар-Беком, который может установить вашу близость к карманным ворам? Нельзя ли вас расспросить об одном случае, когда вы пытались шантажировать одну даму, требуя от нее 100 марок и утверждая, что «что-то ужасное» случится с ее мужем, бывшим в отъезде, если эти 100 марок не будут вам уплачены? Нельзя ли вас спросить, г. Дмитриев, Думратов, Краузе, о чьих это стихах «поэта-страдальца» вы упоминаете в вашей газете? Не стихи ли это провокатора Коноплина-Горного, который должен был покинуть пределы Германии и кого вы называете вашим другом? И в этом же вашем листке, полном лжи, вы смеете помещать портрет вождя Германской Нации с надписью: «Нашему мировому вождю и брату Адольфу Гитлеру»?!» («Пробуждение России», № 9).

Пельхау — торжествовал. Поддержанный берлинским «гаулейтером», которому, собственно, не было никакого дела, что там делает его взводный с русскими, этот безграмотный клинический взводный сообщал в своих речах, что его «ждет вся Россия и вся Красная армия»: что стоит ему только перейти границу, как под звон колоколов он въедет в Кремль. И дабы добыть средства для «Ронда», Пельхау устраивал грандиозные представления в берлинском Луна-парке, где играли русские балалаечники «Ухарь-купец», где пел русский хор «Волга-Волга», а Генрих Пельхау, он же Андрей Светозаров, появлялся на сцене на фоне потрясающих декораций, и над ним всходило красное электрическое солнце.

Это было бы смешно, когда бы для некоторых эмигрантов не было грустно. Всем известна судьба представителя РОВС в Германии, полковника Лампе, отсидевшего в тюрьме 3 месяца в чрезвычайно тяжелых условиях, которому немецкие газеты не постеснялись приписать самые тяжкие обвинения в шпионаже. И как ни кричал на рондовских собраниях Пельхау: «Я буду бить по морде каждого, кто осмелится сказать, что Лампе сидит из-за доносов «Ронда»!» — берлинская молва приписывает именно «Ронду» этот арест. Меньшая неприятность, но тоже приписанная «Ронду», произошла даже с таким восторженным поклонником немецкой национал-социалистической революции, как проф. И. А. Ильин.

К культурнейшему И. А. Ильину явился один из приближенных Андрея Светозарова, г. Меллер-Закомельский, специалист по «Протоколам сионских мудрецов», с предложением вступить в «Ронд». Неизвестно, что там говорили Ильин с Меллер-Закомельским, только в публичном собрании «Ронда» Меллер-Закомельский доложил, что профессор Ильин осмелился сказать, что «в организацию растленной сволочи он не вступает!». Эта фраза вызвала дикий вопль. Тут припомнили остроты Ильина о «родине и рондине», о «Луна-парке и лупанарке». И — факты остаются фактами — в один прекрасный вечер, после обыска, грузовик

увез профессора Ильина на допрос в полицейпрезидиум. Правда, сгоряча уехав отдохнуть в Италию, профессор Ильин благополучно возвратился в Берлин, а к этому времени «Ронд» уже, по расцветии, отцвел в утре пасмурных дней.

После падения вождя № 1 Дмитриева настала очередь падения и для вождя № 2 Пельхау. Как ни странно, но комически-патологическая фигура Пельхау, его «Ухарь-купец» и «Волга-Волга» из Луна-парка привлекли к себе внимание «некоторых держав». «Некоторые державы» даже запротестовали — Хинчук заявил официальный протест на Вильгельмштрассе против деятельности «Ронда». Велик же страх кремлевских обитателей, если даже электрическое солнце, всходящее над Генрихом 1-м, повергает их в ужас и заставляет слать дипломатические протесты.

Хинчук, грозивший увести советские суда из Гамбурга, протесты многих солидных немцев-националистов против постыдного политического фарса, затеянного Пельхау, и, наконец, деятельность отделения «Ронда» в Любеке поколебали карьеру Андрея Светозарова.

В Любеке «Ронд», связанный дружески с остатками «Черной бригады» капитана Эргардта, решил начать осуществление своей «программы». Один любекский богатый еврей получил письмо с предложением немедленно положить в условное место 30 000 марок, а если не положит — убьют. Еврей передал письмо адвокату, адвокат — прокурору, и результатом этой «программы» был роспуск в Любеке как отделения «Ронда», так и остатков «Черной бригады».

Все это отозвалось на карьере Светозарова, и в момент этих колебаний его подкараулил новый претендент на «всероссийскую власть», небезызвестный Бермонт-Авалов, состоявший членом «Ронда», но державшийся покуда в стороне.

Берлинский «гаулейтер» внезапно приказал Пельхау покинуть свой пост и сдать «всю власть» в «Ронде» совету трех во главе с Бермонтом-Аваловым.

Казалось, сейчас, в новом блеске, в том же Луна-парке взойдет звезда Бермонта-Авалова и над ним вспыхнет электрическое солнце. Но нет, с «Рондом» произошло что-то необычайное — «Ронду» приказали молчать, не маршировать, отобрали знамена, отобрали значки со свастикой, и, подавленные этим оборотом дела, безработные и полуголодные рондовцы начали массами уходить из организации.

Берлинцы недоумевали: почему разгромлен «Ронд»? Почему свергнут Андрей Светозаров? И неужто не начнет в Луна-парке появляться Бермонт-Авалов? Думали-гадали, но туман стал понемногу рассеиваться.

Оказывается, вовсе не Бермонт съел Генриха Пельхау, к тому же в совете «Ронда» Светозаров заседает все-таки вместе с Бермонтом; съел же и Бермонта и Пельхау куда более крупный претендент. И не только этих «вождей» съел новый претендент, съел даже куда более трудное блюдо — главу «УНО» (Украинское национальное объединение), бывшего «генерального писаря», полковника Полтавца-Остраницу, который участвовал в знаменитом расистском мюнхенском путче в 1923 году, был ранен и с самим Гитлером был «на ты».

Вместе с ликвидацией шумной деятельности «Ронда» все «УНО», во главе с Полтавцом, в одну прекрасную ночь оказалось арестованным, и больше 40 человек этой организации село в тюрьму. Члены «УНО» без допросов сидели около 5 недель, глава же организации Полтавец и того больше.

Многие недоумевали. Но, наконец, соглашение было достигнуто.

И «Ронд», и «УНО», и Пельхау, и Бермонта, и Полтавца в один день остригли под одну машинку. Теперь пошла уже музыка не та. Слишком уж часто стали подъезжать правительственные и частные автомобили к одной из фешенебельных груневальдских вилл. Слишком много уж суеты поднялось в этой вилле. Конечно, сюда Генриха Пельхау просто не пустят, Бермонт и Полтавец если и пройдут, то только

на поклон. Сюда подкатывает Альфред Розенберг и сам всемогущий Герман Геринг. Чья ж это вилла? Это — груневальдская вилла гетмана всея Украины — Павло Скоропадского.

VI

Потсдам — «прусский Версаль». Монументальность, грузность, чопорный холод. При этом — полное отсутствие размаха, великодержавности: громоздко, но мелко, напыщенно, но ничуть не величаво.

Потсдамский архитектурный «ансамбль» чем-то напоминает «роскошный» письменный прибор, чинно расставленный на зеленом сукне подстриженных газонов. Дворец, как гигантская чернильница, собор — внушительное мраморное пресс-папье. Статуи средней руки криво улыбаются в непропорционально высоких нишах, и золоченые амуры, играя аляповатыми розами, воплощают солдатскую мечту о XVIII веке.

Плох прусский Версаль. Даже чудесное осеннее солнце, которое заливало его, когда я в нем был, не могло скрасить вполне его раззолоченной унылости.

Впрочем, приехал я в Потсдам не для того, чтобы любоваться архитектурой. В это утро там был назначен большой парад наци и, после парада, митинг с участием Геббельса.

Русский ударник, с которым я позавчера разговорился и «подружился» — о нем будет речь впереди, — обещал встретить меня на вокзале и достать пропуски на трибуну. Он исполнил только половину обещанного. Встретил и, добродушно улыбаясь, сообщил: «Не достал я пропуска, такая досада, придется нам как-нибудь ловчиться самим».

* * *

Ловчиться нам не пришлось. Едва выйдя на улицу, мы попали в течение плотной человеческой массы,

которая двигалась туда же, куда и мы,—к месту митинга.

Толпа двигалась плавно, медленно, как движется по реке тронувшийся лед. Иногда на минуту она задерживалась, порой, когда впереди обрисовывался затор, подавалась назад. Она была чрезвычайно густа, люди шли локоть к локтю, плечо к плечу. Но не только не было давки, но достаточно было посмотреть на лица соседей, чтобы понять, что никакого проявления грубости или раздражения — довольно обычных в послевоенной немецкой толпе — здесь не может и быть. Люди шли на праздник, на торжество. Их лица сияли.

Полнокровные лавочники с бычьими затылками, стриженые приказчицы или кельнерши, пожилые особы в невероятных шляпках, встречающихся только на старых немках, голубоглазые, краснощекие подростки, жилистые, чинные господа военной выправки — все они, при всем своем разнообразии, казались сейчас на одно лицо, так равняло их всех одинаково умиленное, восторженное выражение. И когда над этой толпой, где-то далеко впереди, колыхнулись красные знамена и труба заиграла военный мотив, «гейль», которое пронеслось в воздухе, было в самом деле как бы «вырвавшимся из одной груди».

«Все немцы сейчас гитлеровцы... даже социал-демократы»,— вспомнились мне сказанные кем-то слова.

Человеческий поток, в котором плыли я и мой спутник, с каждым шагом все медленней двигался, все чаще останавливался, наконец, остановился совсем, упершись в полицейскую цепь. Там, за цепью и за трибунами для публики с билетами, гремела военная музыка, слышались слова команды и глухой, отчетливый топот ног. Потом, после новых бесчисленных «гейль», начался митинг. В громкоговорителе послышался звонкий голос Геббельса.

Геббельс считается самым ядовитым и красноречивым из национал-социалистических ораторов и самым «интеллектуальным» из вождей. Ничего «ядовитого» в том, что долетало до моих ушей, я, признаюсь, не расслышал. Все те же знакомые слова — о

«великой национальной идее», о том, что надо «сплотиться железной стеной» и разбить «постыдные цепи». В самой манере говорить, довольно выразительной, было какое-то — как мне показалось, нарочитое — холодное исступление. Вероятно, впрочем, он говорил именно так, как надо, и то, что надо. Громкое «гейль», то и дело прерывавшее его речь, свидетельствовало об этом.

Стоять, стиснутым в толпе, было скучно, утомительно. Слушать Геббельса я мог бы спокойно и в Берлине, в Потсдам я приехал, надеясь на него посмотреть. Я поделился разочарованием со своим спутником. «Повидать? А вот сейчас повидаете»,— ответил он. И прежде, чем я опомнился, он, крепко меня схватив, поднял над толпой. На фоне красных знамен, на узкой вышке передо мной на мгновенье мелькнула тощая маленькая фигурка, оживленно размахивающая над морем голов длинными, как крылья, руками.

* * *

Мы выбрались из толпы до конца митинга и без труда нашли удобное место в кафе — через полчаса это было бы безнадежным делом. Кафе живописно называлось «Zur Tante» — «У тетки», и пиво нам подали превосходное. За кружками пива мы разговорились.

На докладе Вонсяцкого в «Ронде» мой теперешний спутник сидел со мной рядом, после каждой зажигательной тирады с жаром отбивал себе ладони и кричал: «Слава России!» Радостное возбуждение — такое же, как в толпе, в которой мы только что стояли,— сияло при этом на его простоватом, добродушном лице. В антракте мы познакомились.

Он оказался общительным человеком. Спустя десять минут я уже знал, что он офицер военного времени, сын зажиточного малорусского земледельца («помещика», как он с важностью говорил), что в Германии «мается так и этак» уже тринадцать лет и по убеждениям «стопроцентный гитлеровец». «Да как

же иначе? Иначе не может и быть. Кем же быть русскому человеку — вот такому, как мне, как не национал-социалистом?»

Теперь, сидя «У тетки», прихлебывая пиво и макая «вюрстхены» в горчицу, он обстоятельно объяснял мне, «какой он человек» и почему «иначе не может и быть».

* * *

— Перешел я границу в 1920-м году и очутился в Литве. Оборванный, грязный, обросший бородой, в солдатской шинели,— не то что на офицера и сына помещика я не походил, а и хулиган не всякий бы признал во мне ровню. Такой был у меня вид, что прохожие шарахались в сторону.

Пешком через Литву я добрался до Восточной Пруссии. Денег у меня не было. Питался подаянием. На войну я попал 17-летним мальчишкой, который жизни совсем не знал и работы никакой не умел делать. На счастье мое, встретился мне один русский военнопленный — их масса была тогда в Восточной Пруссии — и взял меня под свое покровительство. Устроились мы батраками на имении. Дали мне вилы. Взял я вилы, которых отродясь не держал, и началась моя трудовая жизнь.

Пища прямо никуда негодная да, вдобавок, в обрез. Закурить или передохнуть во время работы — преступление. Дождь проливной льет — это тебя не касается, мокни до нитки, но прекратить работу не смей. Ну прямо скотское положение. Товарищи мои были терпеливей меня, сносили все,— мне же с непривычки показалось невтерпеж, подговорил я их на забастовку. То есть, какая там забастовка, просьба скорей: работу немного облегчить, пищу улучшить. Ну, сегодня мы свое заявление подали, а назавтра везли нас уже в арестантском вагоне в Кенигсберг — распределять по концентрационным лагерям.

Я тут задумался, знаете, едучи в арестантском вагоне. В лагерь попадать мне, само собой, нет охоты.

С другой стороны, думаю, не может здоровый работоспособный человек пропасть, даже и в чужой стороне, если правильно взяться за дело. Стерегли нас немцы не особенно строго, удалось мне сбежать.

Чем я только потом не занимался. Торф копал, рубил лес, был углекопом, рыл канавы, был кучером, берейтером, осушал болота, служил приказчиком в имении, садовником, шофером — все перепробовал, стараясь выбиться в люди. Работал я старательно и приноравливаться умел, но все-таки прослужишь месяца два-три и чувствуешь — невмоготу, нет сил, образ и подобие человеческое теряешь, превращаясь в подъяремный скот. Менял я профессии, надеясь найти лучшие условия жизни, но куда ни податься, всюду были одинаковые условия — за минимальную плату выжимают из тебя все без остатка.

Попал я как-то в соляные шахты. Глубоко, знаете, 700 метров, температура адская, стоишь голый, в одних трусиках, на лбу повязка, чтобы соленый пот не выедал глаз. Ну, совершенный каторжник, не хватает только надзирателя с кнутом. Но зачем кнут? Страх не выполнить урок и потерять место — в то время уже начиналась безработица, и работа давалась все труднее — подгонял меня лучше всякого кнута. И стал я, знаете, рассуждать про себя. Вот как рассуждать.

От кого я бежал тогда, оборванный, голодный, в 1920 году? От коммунистов. Ненавидел их за то, что они разрушили Россию, ее силу, ее богатство, пустили по миру сотни тысяч людей, в том числе и меня. И теперь, спустя много лет, стуча киркой о соляной пласт, проверял я себя и видел, что не ошибался, что они злые звери, негодяи, враги родины. А между тем... вспомнил я коммунистическое учение, их слова о несправедливости буржуазного строя, разрешающего сильным угнетать слабых, и чувствовал: все правда. Как же не правда? Вот я, тружусь тяжким трудом, живу на чердаке, питаюсь маргарином и картошкой, а если завтра мне дадут расчет, мне не на что будет даже чистую рубашку купить, чтобы искать работы в приличном виде. Как же не правда,— думал я. И чем

больше думал, тем мучительнее становилось раздумье. Кто же я такой? — рассуждаю. Большевиков ненавижу и в ихних глазах я белогвардеец, прислужник эксплоататоров. Но и эксплоататоров этих ненавижу не меньше, чем большевиков, если, знаете, не больше. Ведь большевики для меня в прошлом, в России, за тридевять земель, а капиталисты сводят мою жизнь на нет тут, сейчас, и такая у меня против них скопилась злоба, что, бывало, видишь на улице сытого, хорошо одетого человека, и одно чувство: эх, всадить бы тебе нож под ребро, буржуй!

Так меня это стало мучить, что прямо с ума стал сходить. Кто же я такой? Где мое место в мире? Человек я или так что-то вроде чего-то — ни Богу свечка, ни черту кочерга? Пробовал с товарищами беседовать — все не то говорят. Которые помоложе, все поголовно коммунисты. На Ленина, как на икону, молятся, Россию советскую считают раем земным. Что, говорят, убедился, наконец, на собственной шкуре, что все зло от капиталистов? Правильно делают у вас в России, пуская им кровь. Рабочие постарше, пожилые, сгорбленные, с потухшими глазами, были безразличны ко всему окружающему и политикой не интересовались. Жизнь уже их сломила и перемолола. Только бы накормить семью, заплатить за квартиру, справить сапоги — дальше этого их интересы не шли...

Оставались еще социал-демократы. Одно время я и подался к ним. Вот, думаю, справедливые люди; и большевикам враги и рабочие интересы против капитализма защищают. Записался я в ихний Verein[1]. Кружки стал посещать, газету выписывал. Все ничего, — пока не дошло до дела. А дело простое случилось, уволил меня без предупреждения предприниматель, и пошел я в Verein жаловаться. Сочувственно так отнеслись. Конечно, говорят, ваше дело правое, мы поддержим вас. Начали уже и жалобу за меня составлять. Кто, спрашивают, ваш предприниматель? Такой-

[1] союз *(нем.)*.

то. А был он важная шишка, первый в округе богач. Вытянулись тут их лица. Пошушукались между собой, развели руками. Не можем, сообщают, ничем вам помочь, нет у нас средств на судебные издержки. А у них из наших рабочих взносов капиталы посоставлены, дома выстроены, целая орава партийных кормится. Понял я тут разом, что такое эти Verein'ы и какая они мне защита.

Тут вскорости услышал я: Гитлер, национал-социализм... С тех пор я другой человек. Тяжело живется, а я внимания не обращаю. Случится поголодать — ну, и поголодаю, экая важность... Главного у меня никто не отнимет — веру в новую жизнь. И сознания, что я не одинок — миллионы таких же, как я. И что правда на земле есть. И что, когда воскреснет Россия, — и мне там найдется место.

Он глядел на меня открыто, ясно, искренне. В его голубых, добродушных глазах светилась твердая уверенность, что он «знает правду». Видно было, что этот простой, вероятно, славный, видавший много тяжелого человек, не рассуждая, пойдет куда угодно за всякими, в чьих руках будет знамя со свастикой. За Бермонтом, за Светозаровым — за любым авантюристом или одержимым. И что разубеждать его, по крайней мере сейчас, напрасный труд.

VII

Опять автомобиль бесшумно катит вперед. Берлин с «Рондом», Бермонтом, Вонсяцким, Светозаровым, «пробуждением России на немецком языке» далеко позади. Время, потраченное там, мы теперь наверстываем «головокружительной ездой». 120 ⟨километров⟩ в час.

То здесь, то там на фоне идиллической сельской природы мелькают громады каких-то фабричных зданий. Колоссальные трубы дымят черным дымом, многоэтажные корпуса, с наступлением сумерек, вспыхивают сотнями окон. Вдоль изгородей из колючей прово-

локи, которыми такие места неизменно окружены, поблескивая винтовками, день и ночь ходят часовые.

В любом немецком городке, самом маленьком, самом захудалом, обязательно стоит тяжеловесный монумент с надписями, лаврами, скрещенными саблями и аллегорическими фигурами — памятник 1871 года. Теперь эти памятники сразу бросаются в глаза. Они подновлены, вычищены. Всегда около них толпятся люди. Очень часто в цоколе над толпой видна фигура ударника. Он выкрикивает звонкие патриотические фразы — «стыдно умирать в собственной постели» или что-нибудь в этом роде. Его рука с красной повязкой на рукаве высоко поднята в воздух для клятвы или угрозы. Красные знамена новой Германии колышутся над памятниками былых побед, и у их подножия лежат букеты и венки, перевязанные лентами со свастикой.

* * *

Как ни гоним мы наш «Штутц» — его двадцати сил все-таки не хватает, чтобы домчать нас засветло в Ширке или Браунлаге — одно из горных местечек в Гарце, где мы самонадеянно собрались заночевать. Нет, даже для такой машины, как наша, есть невозможные вещи. Прикинув остающееся время, мы ясно видим, что если даже еще усилить скорость, то единственное, чего мы сможем добиться, это застрять где-нибудь, среди перевалов и пропастей, часов в 10 вечера. Гарц, таким образом, откладывается на завтрашнее утро. Ночевать мы будем в Гальберштадте.

Я лет 10 тому назад провел в Гальберштадте час или полтора, ожидая пересадки; поэтому, в сравнении с моими спутниками, я считаюсь знатоком этого города. И, в полной уверенности в правоте своих слов, объясняю им, что ночевка нам предстоит в месте довольно скучноватом. В самом деле, я прекрасно помню новехонький вокзал, подстриженные, свежепосаженные вокруг банальных цветников деревья, сияющую новой краской и бетоном улицу,

которая начинается от вокзала и которая есть, без сомнения, главная улица Гальберштадта. Словом, маленький Берлин, провинциальный кусочек Вестена, миниатюрная Тауентциенштрассе, где единственное, что можно сделать, это, закусив в каком-нибудь модернизованном автомате, отправиться убить время на кинематограф.

Вот и Гальберштадт. Все, как я говорил: вокзал, бетон, прилизанные цветники. Кафе, облицованное фальшивым рыжим мрамором. Напротив новенький отель, облицованный фальшивым мрамором серым. За ними главная улица. Все-таки, хотя мы знаем, что ничего любопытного не увидим, надо после обеда отправиться по ней немного вглубь, чтобы размять ноги.

...Было ясно, тепло, необыкновенно тихо. В окнах только кое-где светились огоньки. Прохожих почти не встречалось. В небе торжественно плыла полная луна, освещая волшебный средневековый город. Иначе, как волшебным, нельзя было назвать Гальберштадт.

Улочки, переулки, закоулки, тупики — словно лабиринтом окружали площадь. Мы блуждали по ним, заворачивали куда-то, поднимались по ступенькам, спускались, возвращались на место, где уже были, и снова шли бродить. Один за другим вырастали перед глазами дома, один восхитительнее другого. Этажи выступами громоздились над этажами. Пестрые стекла сияли и переливались в окнах самых причудливых фасонов. Какие-то лесенки круто вели к небу. Чугунные лебеди протягивали шеи из темноты. Лакированные двери, цвета крови, блестели кованой медью. Фонтаны шумели в таинственных двориках. И на них глядели святые с цветами в руках, горожане с кружками пива и трубками, рыцари, знаки зодиака, львы, синие кораблики с золотыми парусами, ветряные мельницы, арабески всех цветов, которыми были расписаны стены окружающих домов.

Каждый дом был раскрашен на свой особенный лад. Между этажами, вдоль пестрых балок, вились длинные нравоучительные или поэтические надписи

готическим шрифтом во всю ширину фасада. Один пятиэтажный дом на площади был бирюзового цвета и весь просвечивал, как драгоценный камень. А напротив у колодца, верхом на свиньях и тритонах, с трезубцами наперевес, скакали страшные уродцы в высоких шапках: в лунном свете они казались живыми.

Утром мы еще раз обошли Гальберштадт. Конечно, впечатление было уже не то, что ночью. Над бирюзовым домом обнаружилась вывеска дантиста. С таинственной лесенки на лебедях прямо на нас вышел дружинник в хаки и, потряхивая кружкой (почти каждый день в Германии собирают какие-то пожертвования), козырнул и наколол нам аляповатые значки со свастикой. Но и в дневном свете Гальберштадт был все-таки чудесен. Я видел много старинных городов, но ни Руан, ни прославленный Роденбахом Брюгге, ни Люксей в Вогезах не идут с Гальберштадтом в сравнение. Здесь каким-то чудом сохранилось то, что, пожалуй, драгоценнее самых замечательных памятников искусства,— какое-то «животное тепло» средневековья, если можно так выразиться. Мы выпили на прощанье пива в биргалле, существующем 300 с лишним лет, и купили бананов и груш в маленькой фруктовой лавчонке, над сводчатым входом в которую была скромная надпись: «Основана в 1498 году».

Гарц. Высокие подъемы, крутые спуски. Огромная черная рука, распростертая на фоне темных елей, ежеминутно предупреждает об опасности. Брокен — гора ведьм — какая-то сутулая, покрытая щеткой мрачного леса. Хорошенький (пошловатый после Гальберштадта) Браунлаге с десятками пустующих пансионов и санаторий, владельцы которых смотрят вслед автомобилям с туристами голодными глазами. Какая-то гигантская стройка, производимая в горах (пласт огромной скалы срезан, как ножом, десятки подъемных кранов поднимают и сваливают щебень, камнедробилки глухо гремят, неизменные часовые разгуливают между местом работ и дорогой),— и мы снова в долине. После вынужденного замедления летим вовсю. К обеду не полагается опаздывать, а в замке, куда мы едем, нас ждут к обеду.

* * *

«Учение Гитлера так высоко, что обыкновенный смертный не может его постичь»,— наставительно цедит барон Н., хозяин замка в Вестфалии, где мы обедаем и проводим свою последнюю ночь в Германии. Еще в Риге мы были гостеприимно приглашены пожить здесь «подольше»; но, во-первых, путешествие и так затянулось... А во-вторых, скучно как-то в великолепных замках этого феодального поместья, неуютно за блистательно сервированным столом, томительно-беспокойно за «непринужденной беседой» у огромного камина, за душистым кофе, ликерами и толстыми турецкими папиросами.

«Гитлер — немецкий Мессия»,— с пафосом поддакивает барону его жена. На мгновение их глаза встречаются, и какое-то неуловимое выражение растерянности перебегает из взгляда во взгляд. Не надо быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что хозяева вряд ли в таком восторге от Гитлера, как это они изо всех сил стараются показать, и не так уж безмятежно их настроение под сенью широко развевающегося над фронтоном замка красного национал-социалистического знамени.

Барон Н. человек лет сорока пяти, бывший белый кирасир кайзера. Жена его — русская. Ее я знаю с детства, с ним познакомился в 1923 году, в разгар инфляции. Какие веселые обеды задавали тогда супруги Н. в своем особняке на Фазененштрассе, и кто там только не бывал. Министры, послы, журналисты, кинематографические звезды и банкиры, банкиры, бесчисленные тогдашние банкиры. Общество, спору нет, было блестящее, но с арийской точки зрения не вполне удовлетворительное. Добрая половина гостей, наиболее уважаемых, самых ценимых, была евреями. Барон Н. состоял пайщиком известного универсального магазина, компаньоном крупнейшей кинематографической компании, членом правления большого банка. Перед всеми этими местами в дни бойкота стояли дружинники, жалась любопытная толпа, перешагнуть через их

порог было дело рискованное; «Jüdisches Geschäft»[1] — было намазано углем, мелом, краской вдоль и поперек на их зеркальных витринах, внушительных подъездах, облицованных гранитом фасадах. И это была чистая правда: предприятия, где делал свою блестящую финансовую карьеру барон Н., были предприятиями еврейскими.

Теперь над его замком развевается флаг со свастикой и в петлице его изящного пиджака поблескивает розетка национал-социалистической партии. Белый кирасир кайзера — человек с ясной, расчетливой головой ультрасовременного денежного туза вовремя перекрасился в защитный черно-красный цвет. На столе у него раскрыт том Шпенглера и навалены макеты нового патриотического сценария, который его фильмовая компания собирается ставить, исполняя социальный заказ. «Учение Гитлера так высоко...» — говорит он и вбрасывает в глаз монокль классическим жестом прусского лейтенанта. «Учение Гитлера так высоко...», что — таково, по крайней мере, мое впечатление — этот человек, холодный, самоуверенный, «режущий подметки на ходу», впервые в жизни растерян, не знает, что ему предпринять, чувствует, что и врожденная ловкость и благоприобретенный опыт могут не вывезти на этот раз. Слишком уж высоко учение Гитлера: фильмовые общества дают только голый убыток, универсальные магазины прогорают, и банки, пошатываясь на размягченных фундаментах между прекращением платежей и национализацией, не знают, в какую еще из этих пропастей придется рухнуть всей своей раззолоченной, облицованной, железобетонной тяжестью.

Рыцари в кольчугах и шлемах выстроились у дубовых панелей. Токайское в старинных рюмках отливает огнем. Сигары благоухают. Ноги тонут в смирнском ковре. Кресла восхитительно удобны. Но сквозь эту роскошь, комфорт, тепло, бравую

[1] «Еврейское предприятие» *(нем.)*.

выправку и самоуверенный говор хозяина, сквозь восторг перед Гитлером и цитаты из Шпенглера явственно веет какой-то ледяной сквознячок. Очень, кстати, похожий на тот, который после октябрьского переворота сразу повеял в тех петербургских гостиных, где в течение семи месяцев до того так страстно, упорно, жадно мечтали о гибели Временного правительства.

Скучно и беспокойно под гостеприимной кровлей феодального замка в Вестфалии. Хочется зевнуть, хочется куда-нибудь уйти. Досиживаем кое-как вечер. Как ни неискренен, пуст и вял наш разговор, кое-что любопытное проскальзывает все-таки и сквозь его условность.

Я не знал, например, что каждому доброму немцу, имеющему знакомых в Австрии, вменяется в обязанность посылать им воззвания, пропагандирующие аншлусс, бойкот правительства Дольфуса и т. д. Летучки эти для удобства отпечатаны на писчей бумаге и снабжены плотным, непросвечивающим конвертом. Одна сторона чистая — на ней можно, как на белой половине открытки с видом, написать частное письмо.

Любопытны и подробности нового устройства союза деятелей искусства. Каждый писатель, сценарист, актер обязан вступить в соответствующий союз. Это опубликовано и общеизвестно. Но только те, кто в союз не приняты, знают, что, независимо от стажа, таланта, имени, они больше не напечатают ни одной строчки, не выступят ни на одной сцене, пока существует нынешний режим или пока тем или иным способом они не выхлопочут себе членского билета.

VIII

Сколько раз в дороге мы бывали неосторожны. Летели с непозволительной быстротой, ехали ночью, в тумане, с недействующими фарами, делали спуски в несколько километров с выключенным мотором, занятие увлекательное, но не очень благоразумное. «Аксидан» ждал нас на умеренном ходу, на месте, гладком, как доска, и притом «аксидан» в некотором роде «с полити-

ческой подкладкой». Мы наскочили на мотоциклетку с гитлеровским ударником.

Как это случилось? Так, как «это» всегда случается. Мгновенно, в одну секунду, прежде чем можно не только что-нибудь предпринять, но просто сообразить, в чем дело.

Было чудное утро. Мы проезжали деревушку. На улице ни души, кроме стада гусей, разгуливающих вдоль канавы. Большой грязно-белый гусь сунулся, когда мы заворачивали за угол, перебежать нам дорогу. Чтобы не задавить его, сидевший за рулем взял чуть-чуть влево, и вдруг треск, звон, грохот... В канаве, где только что паслись гуси, широко раскинув руки, лежит долговязый подросток в хаки, с красной повязкой на рукаве, и по его шее, за воротник коричневой рубашки, течет кровь. Мотоциклетка, на которой он только что ехал, отброшена на порог булочной — там в дверях толстый булочник, выбежавший на шум, таращит ошалевшие, водянистые глаза. И над всем этим с отчаянным гоготанием носятся гуси, с перепугу взлетевшие на воздух.

...Все обошлось благополучно. У ударника оказалась расцарапанной кожа за ухом. Мотоциклетка его почти не повреждена. Был ли этот юный гитлеровец от природы кроткого нрава или на воображение его подействовал бело-голубой флажок рижского автомобильного клуба, который он принял (и мы его не разочаровывали) за атрибут дипломатической неприкосновенности? И то и другое, должно быть. Во всяком случае, он, явившись из аптеки с залепленным пластырем затылком, выказал ангельский характер, был вежлив, мил, не только не предъявил на правах потерпевшего претензий, но даже извинялся. Мы в ответ пригласили его позавтракать.

Маленькие придорожные ресторанчики в немецкой провинции, особенно поближе к югу, удивительно приятны. Чисто, тепло, светло, прочный дубовый или ясеневый стол покрыт накрахмаленной скатертью, в окнах — цветы, на полках — ярко начищенная медная посуда, у камина — удобные дедовские кресла, сам

камин облицован темным деревом или выложен пестрыми забавными кафелями.

Прислуживает какая-нибудь пышная голубоглазая Минхен или Лизхен, прислуживает старательно и вполне исправно, но сам хозяин то и дело подходит к столу. Подвинет горчицу, разгладит морщинку на скатерти, осведомится, вкусно ли хершафтенам, не дует ли из окна, не желает ли дама отдохнуть после обеда. Если пожелает, комната с огромным мраморным умывальником, душеспасительной вышивкой над постелью и невероятными немецкими пуховиками к ее услугам, совершенно бесплатно. Очень часто в такой корчме хозяин церемонно просит оказать ему честь — выпить, тоже, разумеется, даром, какого-нибудь редкого вина или старого вейнбрандта. Наивно, радушно, старомодно, патриархально, с уважением к проезжим, но и с большим чувством собственного достоинства, и все, вместе взятое, чрезвычайно «гемютлих». Чтобы почувствовать до конца это выразительное немецкое слово, надо непременно пообедать и выпить прохладного рейнского вина в такой деревенской корчме. Старая, добисмарковская Германия — насколько она милее и уютней новой, не только гитлеровской, но и вообще берлинской — приподнятой, прусской, модернизованной.

За завтраком я пытаюсь проинтервьюировать нашего молодого человека — но не тут-то было. Он болтает, не переставая, обо всем, о чем угодно, но стоит коснуться быта ударников, их настроений, становится нем, как рыба. Я все-таки не отступаю. Тогда, залившись краской, он признается: говорить с посторонними на такие темы строжайше запрещено.

* * *

Геттинген. Нельзя не остановиться хотя на полчаса в городе, откуда

...поэт Владимир Ленский
С душою чисто геттингенской

явился в усадьбу Лариных, откуда он привез в русскую глушь «вольнолюбивые мечты».

Большой, нарядный город. Смесь умеренного, не берлинского модерна с тщательно охраняемой стариной. Вот и знаменитый университет. А вот сводчатая, огромная, как манеж, подвальная пивная, где испокон веков, еще задолго до Ленского, заседали студенты.

Заседают они и теперь. Еще спускаясь в подвал, слышишь нестройный шум голосов. В дальнем углу пивной, под портретом фюрера, развалилась на диванах компания человек в тридцать в спортивных костюмах и пестрых корпорантских шапочках. Очень молодые, развязные, крикливые, дымят сигарами и беспрестанно чокаются пивом. Через несколько минут на пороге, в противоположном конце пивной, появляются еще несколько таких же точно юношей. Заметив своих, они поднимают руку и кричат «гейль». «Гейль!» — нестройно, но оглушительно отвечает компания под портретом. Вновь пришедшие, выстроившись шеренгой, направляются к ним в угол. Они не просто идут, а медленно маршируют, сильно притоптывая каблуками: и при этом хором скандируют: Deutschland für Deutschen — Nieder mit Juden[1].

В углу радостно сияют, глядя на своих дорогих друзей, придумавших такую веселую выходку. Обе стороны от души наслаждаются. Кельнеры и посетители тоже смотрят на это зрелище, сочувственно улыбаясь: «Славная, славная молодежь»,— явно чувствуется в их взглядах.

Когда шеренга вплотную приблизилась к сидящим, те, как по команде, вскакивают и так зычно подхватывают: «Nieder mit Juden!» — что кружки дребезжат на столиках. Потом все рассаживаются и начинается усердное, непрерывное чоканье. В 1934 году, чтобы быть «с душою чисто геттингенской», очевидно, надо вести себя именно так.

. . . .

Довольно Германии! Это чувство вдруг овладевает нами. Мы путешествуем по царству Гитлера только

[1] Германия для немцев — долой евреев *(нем.)*.

восемь дней и еще полчаса назад жалели, что мимо стольких интересных мест промчались, не останавливаясь. Еще полчаса назад был силен соблазн, не заехать ли в Нюрнберг, не сделать ли крюк вдоль Рейна, даже не свернуть ли, вопреки всем расчетам, на Баварию. И вот, вдруг, вместо этого, желание выбраться отсюда, и как можно скорей. Нюрнберг очарователен? Верим. Берега Рейна прекрасны? Не сомневаемся. Маленькие гостиницы на дороге, белое вино, патриархальные немки, все это так «гемютлих». Но довольно, хватит и очаровательных берегов и радушных хозяев. В ворохе разных ощущений, собранных за время поездки, определилось, покрывая все другие, одно: как хорошо, что я ничем не связан с этой страной, что еще сегодня я перееду ее границу. Дело совсем не в геттингенских буршах. Просто безотчетно скопившееся отвращение вдруг стало ясным, кристаллизовалось.

Итак, вместо разных противоречивых соблазнов, один: кратчайшей дорогой на Кельн, на Аахен, никуда не заезжая, ничего больше не осматривая,— «домой, домой!».

Мы садимся в машину на ратушной площади. Перед ратушей, освещенная косым солнцем, стоит статуя девочки с лебедем под мышкой. Из клюва лебедя бежит вода, а кругом вьется ажурная решетка, удивительно легкой работы. Статуя нежно, невинно улыбается, точно приглашая полюбоваться собой. Трудно не полюбоваться, особенно когда знаешь, что «философ двадцати двух лет», с черными кудрями до плеч, тоже когда-то любовался ею. Так даже лучше. Пусть, вопреки отталкивающей реальности, сохранится на память о Германии этот детский силуэт, шея лебедя, косое солнце, музыка пушкинских стихов.

* * *

Знаменитые Ciel и Enfer[1] на авеню де Клиши нарочно построены бок о бок, чтобы чувствительный про-

[1] Рай и Ад *(фр.)*.

винциал за свои десять франков мог вполне насладиться эффектом немедленного контраста. Я вспомнил об этом, проезжая по Бельгии. Должно быть, нигде в мире «райское» и «адское» в природе не находятся в таком близком и таком разительном соседстве, как на автомобильной дороге между Германией и Францией.

Сперва ад. Из идиллической прирейнской Германии с зелеными рощами, мягкими холмами, черепичными кровлями деревень и связками табаку, сушащегося на солнце, почти сразу попадаешь в кошмар какого-то экспрессионистского фильма.

С одной стороны дороги высятся огромные пепельно-белые склады. Ни дерева, ни куста, ни пучка травы. Все вытоптано ногами рабочих, укатано колесами вагонеток, засыпано сухой известковой пылью.

Сквозь этот едкий туман мутно просвечивает солнце, расплываются дымно-серые человеческие фигуры, движутся белесоватые зубчатки, цепи, камнедробилки, подъемные краны. Гул машин, взрывы динамитных патронов, грохот падающих осколков, треск моторов. И повсюду большие, чтобы бросалось в глаза, отчетливые, чтобы сквозь пыль было видно, надписи: Attention! Danger mortel![1] И точно для пущего «макабрного» контраста с пепельно-мглисто-летейским тоном окружающего, по дороге взад и вперед носятся грузовики, выкрашенные в кроваво-красный цвет.

И вдруг, после ада, рай. Поворот дороги — каменоломни раздвигаются, небо становится ясным. Широкий Маас тихо катит спокойные зеленоватые волны, и над ним вырисовываются острые вершины Арденн.

Чем дальше, тем все красивее. Арденны, если и сравнивать с Альпами или Пиренеями, совсем небольшие горы, чуть ли не холмы. Но они так живописны, полны такой романтической прелести, что и Альпам и Пиренеям приходится им в чем-то уступить. В том, как очертания Арденн чередуются с поворотами реки, деревьями, колокольнями, острыми крышами

[1] Осторожно! Опасно для жизни! *(фр.)*.

домов, есть какая-то «непогрешимость замысла», словно не случайная игра стихии, а творческая воля художника размещала и комбинировала все это. Долина Мааса в окрестностях Намюра — место, где погиб король Альберт,— действует на душу, как произведение искусства: не только восхищаешься этим удивительным пейзажем, но и чему-то учишься у него.

* * *

Усатый жандарм. Трехцветный флаг — Avez-vous du tabac?[1] — французская граница. Ночевка в отеле, единственном в городке и таком грязном, что после Германии не веришь, что такие еще могут существовать. Но удовольствие, вернее, наслаждение при мысли, что это Франция,— с лихвой покрывает дрянной дорогой обед, скверную кровать и отвратительный утренний кафе-крем. В семь утра мы уже выкатываем машину, набираем бензин и катим дальше. До Парижа три с половиной — четыре часа езды.

Путешествие кончается. И опять, как в самом начале его, под Митавой, мелькают по сторонам дороги стены сожженных ферм, кресты братских кладбищ, леса, исковерканные орудийным огнем. За 19 лет усилия людей и природы все еще не стерли зловещих следов войны. Зато подросла молодежь. Ей так нравится военная музыка, блеск оружия, распущенные знамена, патриотические фразы... И когда ей кричат: «Стыдно умирать в постели»,— она верит, что стыдно.

[1] Табак везете? *(фр.)*.

КНИГА
О ПОСЛЕДНЕМ ЦАРСТВОВАНИИ

ЗА ГРОБОМ АЛЕКСАНДРА III

Октябрь 1894 года в Крыму восхитителен. Горячее солнце, спокойное море, розы. На этом сияющем фоне грузный и одутловатый, покорный судьбе умирает Александр III.

Он мало изменился за время болезни. Только и без того толстые ноги безобразно опухли да лицо стало серо-желтым, как та чудодейственная кашица, которую он и прикладывает к своему ноющему боку по совету отца Иоанна Кронштадтского.

Предписания докторов Александр III не желает исполнять. Его презрение к медицине непреодолимо: за него он и расплачивается преждевременной смертью. Летом консилиум, подвергнуться которому его удалось уговорить, определил нефрит и потребовал, чтобы царь немедленно ехал на юг: отдых, режим, ни глотка водки. Выслушав с хитрой усмешкой чуть не плачущего преданного Захарьина и деловито чопорного, боящегося потерять свое демократическое достоинство берлинского профессора Лейдена, Александр III вместо юга отправляется на лагерный сбор, а оттуда — охотиться в Беловеж и Спалу. Заодно из Абастумана — тоже, должно быть, наперекор глупым докторским выдумкам — выписывается в Беловеж второй сын его — Георгий, безнадежно больной туберкулезом.

Сначала все идет хорошо. Александр действительно поправляется в родной ему стихии, среди егерей, собак, уложенной меткими царскими выстрелами дичи, обильных закусок на открытом воздухе с подогретым бургундским и холодной водкой из вместительной

серебряной чарки. Щеки царя начинают розоветь, желчная складка у рта разглаживается. Но в тот момент, когда он считает себя окончательно выздоровевшим, с ним делается страшная рвота и такие боли, что, обессиленный, подавленный и смущенный, он только стонет, когда его закутывают в пледы, укладывают на носилки и садят в поезд, увозящий его в Крым.

Черноморская эскадра, выстроившись на севастопольском рейде, салютует императору, которому осталось жить ровно один месяц. Догадывается ли он, что умрет так скоро? Вряд ли... Но умный — хотя и плоским умом человек — Александр не строит себе иллюзий, умирая, как не строил их в жизни. Дело плохо — и он сознает это. Смерть неизбежна — значит, нужно покориться.

«Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать.» Автор этой знаменитой фразы, в которой ограниченность и подлинное величие перемешаны в равных частях, желает в Бозе почить в том же традиционном стиле. Поменьше докторов, но пусть вызовут отца Иоанна Кронштадтского и через синод дадут приказ служить молебны о здравии по всей России. Еще надо поторопиться со свадьбой наследника: в Англию телеграфируют принцессе Алисе Гессенской. Царь спокойно обсуждает с цесаревичем Николаем подробности его будущего восшествия на престол и не соглашается, хотя тело у него болит и слабость все увеличивается, вместо тяжелой форменной одежды надеть удобный халат. Он хочет умереть в своей серой генеральской тужурке.

Воздух Крыма и морфий делают свое успокоительное дело: умирающий царь не очень страдает. Во всяком случае, страдает не настолько, чтобы боль заставила его утратить хоть частицу того непререкаемого достоинства, с которым он делал все: правил государством, молился Богу, говорил свое царское грузное спасибо, даже надевал сапоги, даже парился в бане. В этом достоинстве скрыта большая сила не

столько нравственного, сколько физического порядка. Этот человек честен, тверд, нелицеприятен, но прежде всего он груб и прост. Груб и прост, как та земля, в которую он теперь собирается отойти.

Часами в Ливадии играет полковая музыка, и часами в шезлонге, с закутанными отекшими ногами, закрыв глаза, слушает Александр преображенские марши и польки-мазурки. Это его последнее развлечение.

Эти солнечные ясные дни, предшествующие смерти его отца, для цесаревича Николая — дни торжества, личного счастья. Со дня на день его невеста должна приехать в Ливадию.

В Алису Гессенскую цесаревич влюблен уже несколько лет. Три года тому назад он записывает в дневнике: «Моя мечта — когда-либо жениться на Алисе Г. Я давно ее люблю».

Но тогда это была только безнадежная мечта. Ни Александру III, ни особенно Марии Федоровне Алиса решительно не нравится. Мысль об этом браке сначала встречает у родителей некоторое сочувствие, но после знакомства с кандидаткой решительно и бесспорно оставляется. В 1889 году принцессу приглашают в Петергоф. Она гостит в царской семье. За нею наблюдают, к ней присматриваются. Результат этих наблюдений такой: когда на следующий год принцесса Алиса снова приедет на лето в подмосковное имение своей старшей сестры, наследнику запретят с ней даже увидеться. «Боже, как мне хочется поехать в Ильинское,— записывает он,— разрешат ли мне съездить туда после маневров?» Нет, ни до маневров, ни после съездить в Ильинское ему не разрешат.

Чувство наследника к принцессе Алисе серьезно, но бороться за него он не умеет. Во-первых, он боится отца и не может ему противоречить; во-вторых, странная пассивность натуры, которая так ярко проявится во всем его царствовании, вплоть до отречения и страшного конца, видна и здесь. Он очень хочет жениться на девушке, в которую влюблен; по его собственным словам, мысль о ней «задевает самую живую

струну души», но когда мать заговаривает с ним о женитьбе на другой, он выслушивает ее, не возражая. Даже наедине с самим собой он не находит по этому поводу более выразительных слов, чем следующие: «Самому хочется идти в другую сторону, а, по-видимому, мама желает, чтобы я следовал по этой. Что будет?»

Будет то, чего ни он, ни Алиса Гессенская не могут предвидеть. Перед лицом неизбежной, могущей наступить каждую минуту смерти государя люди, близкие к престолу, приходят в тревогу при мысли, что наследник не только не женат, но еще, не получая согласия на брак, сошелся с балериной Кшесинской, и эта даровитая, властная и ловкая женщина без труда забирает его в руки.

Об опасной связи сына узнает Мария Федоровна и, преодолевая неприязнь, внушаемую ей будущей невесткой, склоняет Александра III согласиться на этот брак. При посредничестве великого князя Михаила Николаевича осторожно ведутся семейные дипломатические переговоры, и вскоре цесаревич с пышной свитой, в сопровождении двух великих князей едет на яхте «Полярная звезда» в Англию делать предложение, которое заранее принято.

Три месяца спустя гессенская принцесса официальной невестой прибывает в Россию. Депутациями, цветами, колокольным звоном встречают ту, которая еще недавно в этой стране считалась нежеланной гостьей, чуть ли не интриганкой. Едва переехав русскую границу, принцесса Алиса делает жест, в котором ясно видна будущая Александра Федоровна, императрица всероссийская. Она хочет, чтобы над ней был сейчас же совершен обряд миропомазания.

Принцесса Алиса четырнадцатилетней девочкой впервые попадает в Зимний дворец на великолепный придворный бал. Ее недавно привезли в Петербург, и она со всей страстностью своей уже не вполне детской души очарована и подавлена возникшим перед ней лубочно-ослепительным видением самодержавной

России. Весь этот версальско-византийский блеск внушителен сам по себе, но в глазах принцессы Алисы он утысячеряется при мысли, что все это великолепие и мощь находятся безраздельно в руках одного повелителя. С ужасом восторга она смотрит на проплывающую по залам грузную фигуру русского царя, в которой безраздельно заключена вся власть над шестой частью света.

И вот на этом придворном балу, куда ее привозит старшая сестра, великая княгиня Елизавета Федоровна, принцессу Алису знакомят с ее шестнадцатилетним троюродным братом. Миловидный голубоглазый мальчик начинает ухаживать за нею. Этот ребяческий флирт замечают взрослые. Над юной парой посмеиваются, кто-то произносит даже: жених и невеста. Говорящий эти слова, конечно, не придает им никакого значения. Но как знать, не делает ли в эту минуту судьба императорской России под действием неосторожно брошенных слов резкий скачок, круто заворачивая к гибели?

Жених и невеста! Четырнадцатилетняя гессенская принцесса возвращается, как в чаду, домой. Этот синеглазый мальчик, который с нею танцевал и приносил ей оршад,— цесаревич Николай, наследник русского престола. Жених и невеста! Он ухаживал за ней, он сказал: «Я вас никогда не забуду». Вдруг они станут на самом деле невестой и женихом, женой и мужем, земными богами в этом царстве снега, церквей, певучего православного пения, льстивой раззолоченной свиты и ста пятидесяти миллионов добрых, бородатых, верноподданных мужиков?

Но надо уезжать в Англию, и принцесса Алиса уезжает.

Принцесса Алиса — сирота и воспитывается у бабушки, королевы Виктории. Положение приемыша почти всегда нелегко. Но для нее житье на чужих, хотя бы и королевских, хлебах гораздо тяжелее, чем это могло бы быть для обыкновенной уравновешенной девочки в ее положении. У Алисы гордый, страстный, повелительный, не умеющий гнуться характер. Мужских черт

в нем гораздо больше, чем женских. Но есть в нем и одна черта специфически женская, действие которой болезненно видоизменяет все остальные. Эта черта — истерия.

В жизни принцессы Алисы Гессенской при английском дворе нет решительно ничего такого, что могло бы мучить человека, тем более подростка, относящегося к окружающему с большей простотой. К ней так же внимательны, как и к ее английским кузинам, ее воспитывают совершенно на равной с ними ноге, так же одевают, учат, кормят, возят в те же театры и выказывают то же уважение. Но во всем этом для Алисы заключен только лишний источник уколов самолюбия и обид. Она хмуро кивает, когда часовой в медвежьей шапке берет перед нею на караул: эти почести принадлежат не ей, ее могут их лишить по случайному капризу каждую минуту. Выезжая с королевской семьей и слушая приветствия толпы, она твердо помнит, что к ней эти приветствия не относятся. Во всем ей чудится нестерпимый оттенок неравенства, покровительствующих и покровительствуемой, знатных родственников и бедной сироты, гордых членов английского королевского дома и ничтожной гессен-дармштадтской принцессы, отец которой пресмыкается перед Бисмарком.

Между тем в тайных своих мыслях она, расценивая окружающее, относится к нему скорее свысока, чем снизу вверх. Оно кажется ей малоимпозантным, ущемленным, совсем не таким, какова должна быть настоящая королевская власть. Все это в глазах Алисы только пышное бессилие, только форма, утратившая содержание. Король, который раз в три или четыре года отправляется в средневековой карете в парламент и читает там не им сочиненную и не подлежащую его критике речь. Остальное время он может играть в бозик или коллекционировать марки: единственное его обязательство по отношению к стране — не вмешиваться в ее дела. Как далеко все это от мистического идеала благой и безграничной власти, о которой Алиса с трепетом слышала от матери и которой не существует больше на земле!

И вдруг оказывается, что идеал существует. В образе синеглазого неловкого мальчика, затянутого в узкий мундир; он поцеловал ей руку и сказал: «Я вас никогда не забуду». Сотни свечей сияли в малахитовой зале, оркестр гремел, пары кружились в вальсе, и старый великий князь полусмеясь-полусерьезно сказал: жених и невеста. А за черными окнами в бесконечных снегах на коленях ждет Россия.

Когда королева Виктория узнаёт о симпатии, вызванной Алисой у наследника русского престола, она сейчас же загорается мыслью устроить этот брак. Лучшей партии невозможно желать. Но время королевы Виктории движется медленно, ее решения принимаются неторопливо, с прохладцей, каждый шаг тщательно взвешивается... И при этом Алиса еще так молода. Словом, пять лет проходят в переписке с семьей, передаче через нее приветов будущему жениху и обратно, в мечтах, чтении книжек о России, разговорах с бабушкой и распространении этой последней в свете и при иностранных дворах осторожных слухов о возможной помолвке. Последнее, ни к чему не обязывая, может принести пользу: люди, привыкнув о чем-нибудь слышать, свыкаются со слухами, как с фактом.

Пять лет проходят в такой подготовке почвы, но вот они прошли, и положение все-таки неопределенно. Между тем Алисе уже девятнадцать лет. Цесаревичу Николаю могут найти не сегодня-завтра другую невесту. И королева Виктория решает действовать.

Она отправляет в Петербург письмо, которое, вероятно, ей кажется очень хитрым и ловким. Королева Виктория спрашивает прямо: не понравилась ли ее внучка во время пребывания своего в России кому-нибудь из членов императорской фамилии? Она, Виктория, хотела бы об этом знать, чтобы в качестве опекунши подготовить ее к принятию православия, к чему, подчеркивает она, стремится принцесса, полюбившая все русское.

На это наивное письмо получается ядовитый ответ. Нет, об увлечении принцессой Алисой в Петербурге ничего не слышно. Если и были какие-нибудь

детские чувства, то они бесследно забыты. Что же касается до принятия православия, то это превосходное дело очень радует государыню и государя, но зависит от сердца самой принцессы и воли ее царственной опекунши.

Проходят еще три года. Сколько обжигающих душу слез оскорбленной гордости пролито принцессой Алисой—знают только пестрые кретоновые стены ее девической спальни. Впрочем, как ни скрытна, как ни тверда ее воля, у нее тогда вырываются и доходят до нас слова, рисующие ее душевное состояние: «Я ненавижу его,—говорит она о цесаревиче Николае. И добавляет:—Русские все одинаковы. В их засыпанной снегом стране нет ни естественности, ни чести».

Через год она станет русской императрицей.

С утра 20 октября Александр III задыхался. Вскоре его тяжелое тело начинают сводить предсмертные судороги. У красного плюшевого кресла, в котором он лежит, бледные и ошеломленные толпятся его близкие. Каждый свыкся с мыслью о неизбежности конца, и все-таки каждый поражен, что этот конец наступает. Шторы опущены, но бьющее в окна солнце то там, то здесь прорезает воздух, которым трудно дышать: таким он вдруг сделался душным. Иоанн Кронштадтский одной рукой поддерживает голову царя, другой, дрожащей, водит у его рта, и над ней то вспыхивает, то пропадает яркий солнечный зайчик: это лжица со Св. Дарами.

Пока Александр III доживает последние минуты, рядом, в походной канцелярии, бойкий писарь выводит на веленевом листе: «Божией поспешествующей милостью мы, Николай Вторый...»—заранее заготовленный манифест о восшествии на престол. В 2 ч. 15 м. дня черно-желтый императорский штандарт тихо опускается над Ливадийским дворцом в знак того, что сердце царя остановилось, а в четыре на площади перед Малой церковью протопресвитер Янышев уже приводит к присяге царскую фамилию, двор и войска.

Двадцатидвухлетнее царствование императора Николая II началось.

По мрачной традиции, преследующей русских царей, бальзамировка не удается. Тело начинает разлагаться с удручающей быстротой. Так как покойник — царь, не только нельзя его спешно похоронить, но даже нельзя запаять гроб. Москва и Петербург, императорская фамилия и двор, министры и иностранные послы, все, кто знал этого человека здоровым и всемогущим, непременно должны увидеть его в унизительном бессилии смерти. Казалось бы, естественнее всего по крайней мере поторопиться с отъездом и церемонией похорон. Но Александр III, обложенный камфорой и льдом, лежит в гробу, а в Ливадии идут странные споры, где делать свадьбу, здесь или в Петербурге. Николай II желал бы венчаться немедленно, «пока еще дорогой папа под крышей дома», и Мария Федоровна готова с ним согласиться, но другие, особенно великий князь Владимир, решительно против. Каждый предлагает свое решение, и никто не умеет его отстоять. Это состязание предрассудков, упрямства и нерешительности длится целую неделю. Только два человека из находящихся в Ливадийском дворце могли бы сразу принять независимое решение и последовать ему, не обращая внимания на других. Но один из них — труп, а другая — принцесса Алиса,— не вмешиваясь ни во что, молчит.

Наконец, споры кончены: свадьба будет в Петербурге. Мертвого царя поднимают на броненосец и кладут под тентом из андреевского флага. В Севастополе гроб переносят в траурный поезд. Его пускают впереди того, в котором едет Николай II. Ложным царским поездом, который из предосторожности обыкновенно отправляют впереди настоящего, служит на этот раз настоящий царский... только с мертвым царем.

Петербург встречает гнилой оттепелью. На Невском, когда выносят гроб, молодой щеголеватый ротмистр командует своему эскадрону: «Смирно, смотреть веселей!» Один сановник спрашивает у другого: «Кто этот дурак?» Тот не знает, но время ответит за него. Это будущий диктатор, Трепов. Впоследствии

так же, кстати, лихо и непринужденно он скомандует на всю Россию: «Патронов не жалеть».

Войска стоят смирно и смотрят весело. За их ровными шпалерами, навалившись друг на друга, стоит серая бесчисленная толпа. Как она стоит, навытяжку или вольно, как смотрит, весело, грустно или враждебно, в мутном воздухе петербургского утра трудно разобрать. Сквозь серый туман, делающий одинаковыми все лица, кажется, что она смотрит равнодушно.

Ровно две недели спустя в той же малахитовой зале Зимнего дворца, где когда-то шестнадцатилетний цесаревич признался в любви своей кузине, принцессу Алису торжественно одевают к венцу. Царь ждет рядом в арабской комнате. Он надел свой любимый лейб-гусарский мундир. Он счастлив и радостно озабочен. Но вот что испытывает она:

«Я въехала в Россию за гробом государя. Длинное путешествие через всю страну и панихида за панихидой. Я холодела от робости, одиночества и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, только на меня надели белое платье».

После свадебной церемонии новобрачные в карете с форейторами и русской упряжью едут в Казанский собор. Царь, сияя, отвечает на приветствия. Красивое лицо новой государыни, которую с любопытством рассматривают все, кажется надменным и злым. И в народе то там, то здесь хмуро шепчут о ней то, что думает она сама:

— Пришла вслед за гробом...

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РАСПУТИНА

Появление Низьера-Вашоля Филиппа при русском дворе производит действие химического реактива, брошенного в бесцветную жидкость. Бледная ткань нового царствования от прикосновения не совсем чистых рук этого заезжего шарлатана сразу ярко

окрашивается таким характерным болезненным отблеском, который отныне будет все возрастать.

Роль этого предшественника Распутина одновременно ничтожная и роковая. Он видит не дальше генеральских эполет, которые рассчитывает получить за свои «услуги» самодержавию. Он их и получит. Какой ценой и кто за его эполеты заплатит, это Филиппа не касается, да он и не догадывается об этом.

Граф Муравьев-Амурский — русский военный агент во Франции — попадает однажды на сеанс некоего «отца Филиппа», спирита и гипнотизера, популярного в парижских роялистских кругах. Отец Филипп, сын лионского мясника и в молодости сам мясник, коротконогий человек с брюшком и косым разрезом черных глаз, лечит, вызывает духов и дает разорившимся аристократам советы, как поправить дела биржевой игрой. Советы его порой удачны, и ловкие магические опыты производят впечатление: кроме проворства рук, отец Филипп обладает и большой гипнотической силой.

Сеанс, на котором присутствует граф Муравьев-Амурский, происходит в день смерти Людовика XVI. Филипп обещает показать своим приглашенным последние минуты казни.

Старые герцогини и экзальтированные барышни из квартала Сен-Жермен рассаживаются в задрапированной черным комнате, где так накурено амброй, что трудно дышать. Бравый граф Муравьев про себя вздыхает: зачем он сюда пришел? Ему жарко, неудобно, стеганое будуарное кресло, на которое его усадили, слишком для него низко. Но сейчас он забудет и о скуке, и о неудобном кресле.

...Отрубленная голова Людовика XVI появляется в воздухе. Сперва как туманное светящееся пятно, потом во всех отталкивающих подробностях реальной картины. На потном лбу пульсирует черная жилка, лиловые закрытые веки подергиваются, и кровь несчастного короля тяжелыми каплями льется с обрубка шеи в предвечную ночь, откуда она появилась.

Когда сеанс кончен и свет зажжен, отец Филипп должен сейчас же вспомнить о своем искусстве врача: половина присутствующих близка к обмороку. Нервы графа Муравьева крепки, в горьковатых успокоительных каплях он не нуждается, но воображение его, очень склонное ко всему таинственному, потрясено. Вскоре, встретившись с гостящей во Франции великой княгиней Милицей Николаевной, одной из «черногорок», страстной спириткой, граф Муравьев в таких ярких красках опишет ей все виденное, что та в свою очередь пожелает познакомиться с Филиппом. Разговор, который они поведут, коснется, между прочим, больного для русской императорской четы вопроса о рождении наследника. «Я могу этому помочь»,— авторитетно заявил Филипп. С этого дня начинается его карьера в России.

И с Филиппом и после — всегда происходит одно и то же. Императрица Александра Федоровна сама не ищет встреч с проходимцами и юродивыми, которыми, начиная с 1899 года, она постоянно окружена. Ей услужливо подсовывают их другие, хорошо знающие природу государыни: холодная, властная, равнодушная к людям «трехмерным» независимо от их сердца, обаяния и ума — она неизменно попадает под влияние каждого, в ком ей чудится «мистика», «четвертое измерение».

Великая княгиня Милица, вернувшись в Петербург, вскоре выписывает туда и Филиппа. Филипп соглашается тем более охотно, что его за незаконную медицинскую практику преследует французская полиция и ему грозит тюрьма. Перед тем, как ехать в Россию, он наскоро запасается сведениями о великой северной стране, где ему предстоит действовать. (Как именно — он еще сам не знает, но такой пустяк не может его смутить.) Без особого труда Филипп составляет себе грубую схему «святой Руси», страны снегов, православия и неограниченной царской власти. За справками он обращается, между прочим, к филеру русской службы, с которым свел когда-то знакомство

в полицейском ресторанчике около Шатле. Филипп узнает от сыщика многое, что ему на первых порах очень пригодится, но его приятель, дружески распрощавшись с Филиппом и пожелав ему успеха, не забудет доложить об этом разговоре своему шефу. И раньше, чем Филипп переедет русскую границу, дело о нем, пополненное разными фактами его сомнительной биографии, заимствованными из справок Сюрте Женераль, будет лежать на столе Рачковского.

Рачковский занимает пост начальника секретной заграничной полиции еще со времен Александра III и считается знаменитым благодаря своим связям и опыту. Его, однако, уволят — и крайне грубо, — когда в ответ на запрос из Петербурга он отзовется о Филиппе как о шарлатане, мошеннике и искателе приключений.

Министр внутренних дел Сипягин, лучше знающий двор, прочтя его доклад, говорит: «Бросьте это в камин», — но Рачковский не слушается разумного совета. Он еще не понимает, как можно, имея о деятельности Филиппа точные агентурные справки, иначе о нем отзываться и как такая, основанная на непреложных фактах, аттестация может повредить карьере заслуженного полицейского чиновника. За свою нечуткость он и платится отставкой. Надо лучше вслушиваться в ритм нового царствования, чтобы преуспевать при нем, а ритм этот совсем особенный.

Но Рачковский не должен обижаться на судьбу: он еще сообразит, в чем дело, и выплывет на поверхность. Другие, почище его и понужней для России, будут ломать себе шею на том же препятствии поочередно, пока очередь, наконец, не доберется до своего логического конца — до двух гордо изогнутых орлиных шей герба русской державы.

Когда придворная карета с кучером в пурпуровой пелерине привозит Филиппа в Петергоф и сын мясника, которого на родине хотят посадить в тюрьму, входит в комнату, где его ждет русская императри-

ца,—спина его готова раболепно изогнуться и язык подобострастно залепетать. Но верный инстинкт подсказывает Филиппу, что здесь от него ждут другого.

Страстное религиозное чувство царицы с детства болезненно искривлено. Кровь прабабки, святой Елизаветы Венгерской, жжет ее вены лунным огнем мистицизма. Одиночество, гордость, истерия, страх захлестывают ее со всех сторон. Она хочет иметь наследника, хочет подчинить себе колеблющуюся между влиянием матери и жены неустойчивую волю мужа, хочет найти в потустороннем отсутствующую в жизни опору. От Филиппа требуется немного: только не разрушать иллюзий, которыми живет она.

Филипп входит, мягко ступая, кланяется императрице почтительно, но свободно, как человек, стоящий выше земной суеты, смотрит в ее прекрасное взволнованное лицо косо-разрезанными умными черными глазами, и глаза его говорят: «Я знаю твою печаль. Я ее утолю».

Ловкий импровизатор, он на ходу сочиняет пьесу и тут же начинает ее разыгрывать. При его умении обращаться с впечатлительными людьми это совсем не трудно.

Спустя пятнадцать лет Распутин открыто ездит в Царское село, хотя Александре Федоровне известно, какое негодование даже у самых преданных престолу людей вызывают эти визиты и какую тень бросают они на Царскосельский дворец. Но тогда царица уже сделала выбор между тем, что ей дорого и что ненавистно, важно или презренно, и уже не считается ни с чем другим. Совсем иначе она смотрит на вещи в начале той низводящей лестницы, где Филипп — одна из первых ступеней, а Распутин — предпоследняя. Она выказывает величайшую осторожность, прямо конспирацию, окружает отношения с Филиппом тайной и, несмотря на это, а может быть, и благодаря этому, достигает обратного результата. О Филиппе вскоре начинают шептаться при дворе, в Петербурге, потом и по всей России.

Все, что происходит при дворе, немедленно становится известно в императорском Яхт-клубе. Это вполне понятно. Большинство придворных состоят членами знаменитого аристократического сборища, основанного еще при Николае I. Удивительно другое: дворцовые новости, касающиеся императрицы, побывав в комфортабельных клубных покоях, неизменно выходят оттуда приправленные острым соусом клеветы.

Процедура этого несложна. Днем Филипп побывал у императрицы. Вечером любой кавалергардский ротмистр в бильярдной, за ужином или за картами слышит и обсуждает подробности этого свиданья, а на рассвете, когда господа уехали и лакеи распахивают окна, по Петербургу с дымом выкуренных сигар и дыханьем недопитого шампанского уже распространяется сплетня.

Великосветская оппозиция Александре Федоровне возникает сама собой, едва она становится женой императора Николая. Молодая государыня не предпринимает ничего, чтобы понравиться своему новому окружению. Она так же застенчива, как самолюбива, и голова ее сильно кружится от сознания неслыханной высоты, на которую она вознеслась. Это головокружение — оно останется навсегда — заставляет ее преувеличивать даже такие вещи, которые, казалось бы, в преувеличении не нуждаются,— например, понятие о престиже русского царя, о пределах его самодержавной власти.

«Дорогая моя девочка,— пишет ей королева Виктория, до которой дошли слухи, что отношения между ее внучкой и петербургским светом натянуты и холодны.— Воображаю, сколько ты испытываешь затруднений с тех пор, как стала царицей. Я царствую сорок лет в стране, которую знаю с детства, и все-таки каждый день задумываюсь над вопросом, как мне сохранить привязанность моих подданных. А тебе приходится завоевывать любовь и уважение совсем чужих людей. Но как это ни трудно — помни, это твой долг».

«Вы ошибаетесь, бабушка,— отвечает Александра Федоровна.— Россия не Англия. Царь не должен завоевывать любви народа — народ и так боготворит царей. Что же до петербургского света, это такая величина, которой вполне можно пренебречь. Мнение этих людей не имеет никакого значения. Их природная черта — зубоскальство, с которым так же тщетно бороться, как бессмысленно с ним считаться».

Голова кружится, однако, не у одной Александры Федоровны. Головокружением — врожденным или благоприобретенным — страдают и те, о которых она отзывается с таким холодным пренебрежением. «Эти люди» — все, кто по праву или по игре случая попал за золотую черту, отделяющую двор от остальной России, мужицкой или княжеской, верноподданной или революционной, очень капризны, очень избалованы и совсем не склонны рассматривать себя как зубоскалов, мнением которых кто-либо, хотя бы и императрица, может безнаказанно пренебречь.

Нельзя сказать, чтобы они особенно преувеличивали свой вес. В обстановке абсолютной монархии право запросто завтракать с самодержцем много важней права всеподданнейшего доклада. Витте очень трудно отстоять перед царем свое мнение, но нет ничего легче, как на охоте или за рюмкой ликера внушить благодушно настроенному монарху мысль, что Витте пора прогнать. Преувеличенное представление Александры Федоровны о том, что «царь все может», на которое она, как на скалу, опирается и которое изо всех сил старается внушить мужу,— курьезным образом обращается и против нее самой. «Царь все может»,— с этим согласны и ее враги. Царь может все, даже если ему заблагорассудится... губить монархию.

В Яхт-клубе и казармах конной гвардии, в великокняжеских дворцах и Аничковом идут недоброжелательные толки о молодой царице.

Вспоминают недавнюю обидную роль приезжавшей на смотрины и забракованной невесты. Разбирают каждое слово «немки», каждый ее жест. Смеются над ее красным бархатным платьем с неизящной

берлинской вышивкой. Рассказывают анекдот о горничной, которую княгине Белосельской пришлось прогнать: так дурно от нее пахло трехрублевой «Вербеной» — любимыми духами императрицы. Передают со слов барона Остен-Сакена, резидента при гессендармштадтском дворе, фразу старого гессенского гофмаршала: «Какое счастье, что вы ее берете от нас». Сравнивают, наконец, жесткую и надменную манеру новой государыни с простотой и ласковостью Марии Федоровны, которая с тех пор, как ей пришлось отодвинуться на второй план, стала еще приветливее и проще. Однако все это, давая пищу для «зубоскальства», еще слишком мелко, чтобы обосновать ту ненависть, о которой впоследствии в лицо царице заявит великая княгиня Мария Павловна, сказав ей: «la société vous déteste»[1]. Раздражение уязвленной в своем достоинстве камарильи надо еще подкормить чем-нибудь основательным. И вот появляется Филипп.

Тайна, окружающая сношения с Филиппом, приносит мало пользы и очень много вреда. Чем плотней шторы, опущенные на окнах комнаты, где Филипп встречается с императрицей, — тем фантастичнее силуэты, рисующиеся на них снаружи. Чем тише ведутся разговоры, тем сильней разыгрывается воображение тех, кто подслушивает у дверей.

Надо, однако, быть справедливым к сплетникам. Они только расцвечивают красками узор, который дан действительностью, и если они придерживаются игривых пошлых оттенков там, где на самом деле грозные тона нарастающего душевного исступления, — это потому, что они иначе не могут себе объяснить странные события, происходящие перед их глазами. События же в самом деле странные.

В имении великого князя Петра Николаевича, мужа Милицы, расположенном рядом с царским имением Александрия, происходят спиритические сеансы. Материализованная тень Александра III дает настав-

[1] «общество вас ненавидит» *(фр.)*.

ления, как управлять государством, и обещает царице, что у нее родится наследник, если она будет во всем слушаться «боговдохновенного пророка» Филиппа.

Протоколы этих сеансов тщательно прячутся и впоследствии будут уничтожены, но истории все-таки удастся бросить мимолетный взгляд в полутемную комнату дома, в котором они происходят. Мы увидим Филиппа, погруженного в транс, и вокруг него спиритическую цепь соединенных рук. Цепь держат государыня, Николай II, великие Милица и Анастасия, дочь Филиппа, некая мадам Лаланд, и уланский полковник Александр Орлов.

Сохранилось несколько записей по-французски, сделанных рукой Милицы Николаевны. Вперемежку с туманными политическими «предсказаниями»: «Англию ожидает война», «Витте сеет беспокойство», «духи настойчиво, на все лады повторяют», что «после неудавшейся попытки Христа спасти мир» на землю послан новый мессия. Указаний, какое отношение к этому «новому мессии» имеет сам Филипп, в дошедших до нас отрывках нет, зато есть такая красноречивая запись: «Рачковский. Небо определенно требует отставки».

Филипп очень быстро входит в исключительное доверие царицы. Сына лионского мясника величают в царской семье не иначе, как «учителем» или «нашим святым другом». Он дает советы в области внешней и внутренней политики, хлопочет о привлечении Италии к русско-французскому союзу и предлагает переженить студентов и курсисток, чтобы «семейные заботы отвлекли их от революции». По мере того, как влияние проходимца крепнет, аппетиты его растут. Он дарит царице икону с колокольчиком — колокольчик, по уверению Филиппа, начнет звонить, если к трону приблизится дурной человек,— и просит взамен пустяка... диплом французского врача.

По приказу из Петербурга посол князь Урусов возбуждает в Париже это странное ходатайство. Он поддерживает его так настойчиво, что французский кабинет собирается на экстренное заседание для

решения этого вопроса. Президент Лубе и министры искренно хотят удовлетворить каприз могущественного союзника Франции, но при всем желании сделать этого не могут: те же справки Сюрте, которыми пользовался Рачковский, лежат перед ними, красноречиво свидетельствуя, что такое Филипп. В Петербург отправляется пересыпанный любезностями и ссылками на законы и палату депутатов отказ.

Тогда, чтобы утешить Филиппа, уже видевшего себя помахивающим заветным дипломом перед носом уничтоженного и ошеломленного, причинившего ему столько неприятностей префекта французской полиции, Филиппу устраивают сюрприз. Тайком по мерке коротконогого и с брюшком «боговдохновенного пророка» заказывается форма русского военного врача. В боковой карман мундира кладут бумажник с документами на чин действительного статского советника и звание доктора медицины Петербургской военно-медицинской академии. Проснувшись однажды утром, Филипп не найдет своего мешковатого черного костюма, который он, ложась спать, с французской аккуратностью развесил на спинке стула. Вместо него сияют новенькие галуны, блестящие пуговицы, малиновые генеральские лампасы, жирное золото эполет. То, чего не могли в течение долгих месяцев сделать бестолковые республиканские министры, устроено в несколько дней в порядке высочайшего повеления. На собственном примере Филипп может убедиться, что императрица не преувеличивает, говоря: «L'empereur peut faire qu'il veut» — царь все может.

В марте 1902 года великий князь Владимир узнает от Александры Федоровны, что она в начале августа ждет родов. Некоторое время спустя великий князь, встретив лейб-акушера Отта, заговаривает с ним о беременности царицы. На лице Отта изумление.

...Государь по интригам двух черногорок (Милицы и Станы) попал в руки подозрительного авантюриста Филиппа, которому, не говоря о других его проделках, мы обязаны постыдным приключением императрицы-

ных лжеродов. Путем гипнотизирования Филипп уверил ее, что она беременна. Поддаваясь таким уверениям, она отказалась от свидания со своими врачами, а в середине августа призвала лейб-акушера лишь для того, чтобы спросить, почему она внезапно стала худеть. Тот сейчас же заявил ей, что она ничуть не беременна. Объявление об этом было сделано в «Правительственном вестнике» весьма бестолково, так, что во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как, например, что императрица родила «урода с рогами, которого пришлось придушить».

Это записывает в дневник родовитый барин, член государственного совета, председатель Императорского исторического общества, человек пожилой, сдержанный и настолько консервативно настроенный, что сомневается, «можно ли подать руку» князю Вяземскому, вся вина которого состоит в том, что во время избиения студентов на Казанской площади он обратился к полиции с протестом. Что ж тогда говорят в Яхт-клубе и казармах конной гвардии, в посольствах и при иностранных дворах, в Петербурге и Москве, и в каком виде доходят эти слухи до глубины России, «вековая тишина» которой уже потревожена первыми громами приближающейся революции?

Думают ли оба вообще? Вряд ли. Она отнеслась к случившемуся с каким-то сомнамбулическим равнодушием. Она не гневается на Филиппа и как будто не меняет своего отношения к нему. Но когда тот, сознавая дикость своего положения, хочет уехать во Францию, царица его не удерживает. Она щедро вознаграждает «святого друга», но он ей больше не нужен. Филипп сделал свое дело — указал царице дорогу, по которой она отныне пойдет, не останавливаясь и не рассуждая.

Это скользкий покатый путь, уводящий в сторону от широкой дороги веры. Мучительный инстинкт давно влечет царицу в его затуманенную ладаном даль. Там затейливые апокрифы и старинные раскольничьи тропари, трогательные березки благочестия над глубокими омутами соблазна, там Митя Козельский и Вася-

босоножка, старец Олег и отец Мартемиан, и надо всем, покрывая все, огромная черная тень Распутина.

Царица падает в пропасть, но ей кажется, что она летит в голубое, с детства снившееся православное небо.

КОРОНАЦИЯ НИКОЛАЯ II

Больше года тянутся приготовления к коронации. Наконец, все готово.

Выработан церемониал. После долгих придворных и междуведомственных интриг установлен список участников торжества. Окончательно утверждено, какой генерал будет держаться за который по счету шнур императорского балдахина и получит за это соответствующего Александра Невского, Владимира или Белого Орла при высочайшей грамоте. Отремонтированы бесчисленные помещения для свиты, посольств, иностранных принцев, делегаций со всей России и т. д. Приведены в порядок Петровский дворец и Успенский собор. Красное сукно, которое в таком огромном количестве понадобится для церемонии, обогатив своего поставщика, доставлено в Кремль, и в Грановитой палате вынуты из хранилищ и перетерты замшей чеканные блюда и кубки, служившие еще на пирах Грозного.

Все готово. Троны, на которые воссядут царь, царица и вдовствующая государыня, выбраны. Все высокие гости, от красавца герцога Коннаутского до уродливого сиамского принца, собрались и ждут. Кучера господ, прибывших на коронацию, получили от охраны особые ярлыки на шапку, которые они обязаны беречь не только пуще шапки, но и пуще самой головы. Не дай Бог потерять: злоумышленник с таким ярлыком может пробраться куда угодно. Даже меню обедов и ужинов составлено вперед гофмаршальской частью, и знаменитый клоун Владимир Дуров уже привез в Москву своих дрессированных ужей и ученых кошек, чтобы на Ходынском поле веселить народ.

Все готово. 9 мая коронационные торжества открываются высочайшим въездом в Москву. Царь, прибывший уже несколько дней назад, живет в пригородном Петровском дворце. Оттуда он, согласно традиции, должен проследовать через свою первопрестольную столицу в сердце старой Руси — Кремль.

Бесконечные толпы радостно возбужденного народа теснятся за несколькими цепями войск, протянутых во всю длину шествия. В окнах, на балконах и на деревянных трибунах разместились немногие счастливцы, тщательно просеянные сквозь ситечко чрезвычайной охраны. Их благонамеренность установлена, и они могут беспрепятственно любоваться зрелищем. Всего миллионного населения Москвы нельзя, разумеется, так тщательно профильтровать. Но нельзя и вовсе устранить его от участия в царственном въезде. Напротив, эта миллионная взволнованная толпа прямо необходима, как величественная рама для картины. Народ должен толпиться и бросать шапки вверх: без его громового отзыва официальное «ура», такое могучее в залах и манежах, на вольном открытом воздухе, пожалуй, покажется жидковатым.

В то же время никак нельзя поручиться, что среди сотен тысяч людей, переполненных в эти минуты скоропреходящим, но искренним порывом верноподданического восторга, не окажется один, охваченный более стойким восторгом цареубийства, и рука его вместо того, чтобы подбросить синий картуз в воздух, не метнет под ноги царской лошади бомбу.

Из-за этого фатального одного сотни тысяч оттиснуты трибунами, штыками и гладкими крупами конницы как можно дальше. Они если и видят шествие, то мельком: вот в щели между двумя драгунами показался силуэт царя или белое платье царицы, и сейчас же все стерто, как мел с доски, взмахом конского хвоста или движением всадника.

Некоторые в народе, чтобы лучше видеть, влезают друг другу на плечи. Другие взбираются на фонари и деревья, откуда их гонит полиция.

Месяцами чиновники коронационной комиссии составляют, меняют и оттачивают сложный порядок церемониала. Неделю занимает вопрос, пустят ли азиатских депутатов впереди казачьих или наоборот, и на определение позиции каждого гофкурьера, скорохода или придворного арапа тратится не меньше дня. И вот, наконец, эти труды закончены и машина пущена в ход. Торжественное шествие медленно движется из Петровского дворца в Кремль.

В нем участвуют царь, обе царицы, императорская фамилия, множество придворных чинов, военных, иностранцев, солдат, музыкантов, челяди, фаэтонов с церемониймейстерами, карет с придворными дамами... Но кто поставлен впереди всего этого? Кто возглавляет собой царский въезд в Москву?

Обер-полицмейстер и двенадцать жандармов.

Обер-полицмейстер Власовский с двенадцатью жандармами лихо гарцует впереди царского шествия на сытом скакуне. Если у него развита фантазия, он легко может вообразить себя в эту минуту самодержцем всероссийским, едущим венчаться на царство. За Власовским скачет царский конвой в папахах и красных черкесках, с ружьями, взятыми наизготовку. Эти смуглые, подобранные один к одному молодцы выражением лиц очень напоминают кавказских разбойников, и скорострельные винтовки кавалерийского образца в их руках недвусмысленно поблескивают. Менее угрожающе, но тоже достаточно серьезно выглядит следующая за конвоем сотня лейб-казаков. Только когда миновали казаки, шествие приобретает другой характер, и теперь видно, что это царь въезжает в Москву, а не полицмейстер с жандармами и казаками отправляется в карательную экспедицию.

Идут в своих экзотических одеяниях туркмены, текинцы, сарты, киргизы, казачьи депутаты, едут церемониймейстеры и гофмаршалы в открытых золотых фаэтонах с жезлами в руках, движется дворянство, музыканты, императорская охота, конные камергеры и камер-юнкеры. Наконец — эскадрон кавалергардов и за ними на белом коне — царь.

Царь, не отрывая, держит руку у надетой слегка набекрень каракулевой бескозырки. Он очень ловко сидит на лошади, и будь он пошире в плечах и повыше ростом, настоящее царское достоинство, с которым он держится, было бы заметно всякому. Но огромные раззолоченные кавалергарды впереди него и рослые великие князья и генералы свиты сзади невыгодно обрамляют его небольшую фигуру, к тому же кажущуюся очень скромно одетой в темном мундире преображенского полковника — среди всех этих перьев, лосин, лент, шлемов, генерал-адъютантских эполет и звезд.

Александра Федоровна отделена от мужа не только его бесконечной свитой, но еще и каретой императрицы-матери. Вдовствующая императрица едет впереди молодой. Ей и формально и, пожалуй, по существу принадлежит в окружающем блеске второе место. Та же, которая всюду желала бы главенствовать, должна покуда довольствоваться третьим.

Александра Федоровна едет в обитой атласом и расписанной розами и купидонами карете Екатерины Великой. Она сама выбрала ее. Маршалу коронации императрица объясняет свой выбор редким изяществом линий шедевра знаменитого лондонского каретника, но возможно, что ей смутно нравится следовать в экипаже «Северной Семирамиды», бывшей когда-то, как и она, захолустной немецкой принцессой, которой на первых порах солоно приходилось при негостеприимном русском дворе.

За каретой государыни тянутся четырнадцать золоченых карет с придворными дамами первых двух классов, то есть старых, то есть преданных Марии Федоровне и относящихся к молодой царице с холодом и скрытой враждой. Шествие замыкает эскадрон улан ее величества, подшефной ей части, где в день принятия шефства в полковом собрании во всеуслышанье говорится: «Все равно вдовствующая государыня останется для нас старшей». Так царица Александра едет венчаться на царство, окруженная людьми, которые ее не любят и которых не любит она.

У Новых Триумфальных ворот великий князь Сергей, генерал-губернатор Москвы, подает царю рапорт и присоединяется к свите. Еще одна остановка у Иверской. Царь и обе царицы приближаются к прославленной чудотворной иконе. Народ, которому здесь удалось ближе прихлынуть к царю, особенно шумно приветствует Марию Федоровну, которая в ответ улыбается и плачет, не вытирая слез. Только тридцать лет отделяют эту минуту от другой, когда по приказу московского совета сюда явится наряд рабочих, чтобы разрушить и увезти на свалку «мешающую уличному движению» святыню.

Шествие направляется в Успенский собор. Все колокола кремлевских церквей звонят, и чем ближе подходит царское шествие, тем громче и торжественней их голоса. Но когда царь совсем приблизился к распахнутым дверям храма, комендант Кремля дает знак, и ангельский трезвон по его команде умолкает. Православный царь переступает порог собора, где спустя пять дней его помажут на царство под оглушительную пальбу, как на артиллерийском полигоне. Делать нечего — таков церемониал. Там ясно сказано: «Колокольный звон прекращается. Салют в 85 выстрелов».

Коронация будет 14 мая. Пока происходят приемы иностранных послов и всевозможных делегаций, освящение государственного знамени и перенесение императорских регалий. Под сопровождение всей этой утомительной официальной суеты — царь с царицей говеют.

На 12-е назначен «церковный» парад прибывших на коронацию сводных войсковых частей. С утра льет проливной дождь. Войска, выстроенные под открытым небом, ждут государя. Назначенный час пришел, но царь, обычно такой аккуратный, не едет. Солдаты промокли, мундиры и головные уборы потеряли свой щегольской вид, сапоги набухли, ружейные стволы полны водой. Несколько раз едва слышится стук копыт, дается команда «смирно», и войска радостно настораживаются. Нет, это проехал извозчик или прогрохотал ломовик.

Солдаты мокнут и ждут, дождевые капли катятся по их напряженным, хмурым лицам, точно слезы обиды. Офицеры смущенно переглядываются. Наконец командующий парадом решается на не совсем обычный шаг: он идет произвести разведку. У лагерной церкви его встречает запыхавшийся дежурный флигель-адъютант. Парад отменяется. Царь велит передать войскам царское спасибо заочно.

Дождь льет целый день, не прекращается он и на следующий. С утра 13-го по городу разъезжают герольды, извещая о завтрашней коронации. Они одеты в ботфорты и камзолы, на их широкополых шляпах треплются мокрые страусовые перья. Герольды бьют в барабаны и трубят в длинные средневековые трубы, издающие тонкий, жалобный звук, непривычный для русского уха. Народ смотрит на них, как на ряженых.

Там, где они останавливаются, сейчас же происходит давка, нередко переходящая в драку: скупщики платят по тридцать копеек с листа за отпечатанные золотом и вязью афишки, которые раздают герольды.

Опасения, что дождь будет лить и во время коронации,— напрасны. Безоблачное голубое небо обещает чудный день. С шести часов утра все улицы, прилегающие к Кремлю, полны народом. С кремлевских колоколен начинается особый, как во время крестного хода, благовест «перебором». Вдоль расстеленного от Красного крыльца до Успенского собора сукна становятся шпалеры дворцовых гренадер и кавалергардов. На трибуне, сооруженной на площади, рассаживается придворный музыкантский хор в красных мундирах с причудливыми музыкальными инструментами в форме охотничьих рогов. На Софийской набережной фронтом к Москве-реке становится шесть гренадерских батарей.

Задолго до семи часов, когда первый салют дает знать, что торжество началось, царь и царица готовы. На царе преображенский мундир, андреевская цепь, шашка. Царица в сером парчовом платье. Она очень плохо спала и встала с тяжелой головой и с резкой ломотой в суставах ног, которой с детства при

малейшем волнении она страдает. Но волнение же делает розовыми ее обычно бледные щеки, глаза царицы блестят, и, если не знать, что она страдает и грустна, можно счесть ее бодрой и оживленной.

Маршал коронации граф Пален докладывает царю, что все готово. Трубы и литавры с двух дворцовых террас извещают о начале высочайшего выхода.

Первой в Успенский собор шествует по церемониалу Мария Федоровна. Уступая место той, которую она так долго третировала как неподходящую невесту, вдовствующая государыня должна проделать теперь как бы обратный путь — от власти к забвению. Какая ирония! Ей приготовлен тот же «алмазный трон», на котором она сидела тридцать лет назад, венчаясь на царство, и та же корона должна еще раз блеснуть на ее голове, отражая чужую славу... Если Мария Федоровна не отдавала себе до сих пор ясного отчета в происшедшей для нее перемене — коронационный церемониал пышно и бесстрастно подчеркивает это.

Когда Мария Федоровна входит в собор и занимает свой вдовий трон, начинается главное. Царь с царицей спускаются с Красного крыльца и становятся под разукрашенный черно-желтыми страусовыми перьями балдахин, который держат тридцать два генерал-адъютанта.

Начинается шествие. Золотых мундиров на площади так много, что, пока царский балдахин, покачиваясь, тихо движется к собору, кажется, будто расплавленное золото непрерывно течет по красному сукну. Оно вливается в собор и, не останавливаясь, льется дальше. В храме всего тысяча мест, и только немногие избранные остаются присутствовать при коронации. Остальные кружным путем возвращаются во дворец.

В дверях собора ждут три митрополита — московский, петербургский и киевский. В сопровождении их царь и царица подымаются на тронное место и садятся на царские престолы, сзади которых с палашом наголо становится командир кавалергардского полка.

Этот кавалергард с обнаженной саблей, комендант, заставляющий умолкать колокола, военная

форма, в которой коронуется Николай II, шашка, которую он снимает только у входа в алтарь уже после возложения короны,— все это придает церемонии характер смотра или парада, очень далекий от насквозь церковного, грустного и трогательного помазания на царство старых московских царей.

Московские цари шли в Успенский собор со «Славой», с пением молитв, ладаном и зажженными свечами. Государственные регалии несли на золотом блюде протопопы. Пушки не стреляли. Оружие на царе показалось бы тогда кощунством. Бармы и царский венец были украшены изображением ангелов и святых. Царь просил у митрополита благословения на царство и подтверждения церковью его царских прав, и митрополит, возлагая на него венец, почти грозно напоминал ему: «Сам ты имеешь Царя в небесах. Будь же праведен, если хочешь, чтобы милостив был к тебе Царь Небесный».

Это круто переиначивает Петр, одевает бутафорской мальтийской романтикой Павел, и потом старательно обезличивают несколько поколений петербургских чиновников.

К тронному месту по обитым малиновым плюшем ступеням поднимается митрополит. В коронации Николая II наступает патетический момент, непредусмотренный церемониалом.

Царь внятным, звучным голосом читает символ веры. Когда он кончил, приближаются еще два митрополита и надевают на него порфиру и цепь первого ордена империи. Сейчас царь возложит на себя корону, которую уже подает священнослужителю дряхлый граф Милютин, сподвижник Александра II. Царь делает шаг вперед и протягивает руку к короне. Но, когда он хочет взять ее, тяжелая бриллиантовая цепь Андрея Первозванного, символ могущества и непобедимости, только что на него возложенная, отрывается от горностаевой мантии и падает к ногам царя.

Николай II с протянутыми к короне руками замирает на месте. Он не берет короны и не опускает протянутых рук. Он неподвижен. Глаза его стали

светлыми и пустыми. Они уставлены куда-то в пространство, поверх всего окружающего.

Это странное выражение знают близкие к Николаю II люди. Под влиянием гнева или страха серо-голубые задумчивые глаза царя — выцветают, тускнеют, расширяются, вдруг становятся двумя неподвижными просветами в какую-то леденящую пустоту. Тогда кажется, что он ничего не видит, ничего не чувствует и не замечает.

Так на узкой, залитой солнцем улице Оцу он смотрит, откинувшись в рикше, в искаженное лицо фанатика-самурая, так глядит в окно вагона, подписывая акт отречения. Таков, должно быть, взгляд царя в ночь на 16—17 июля 1918 года, когда Юровский наглым срывающимся голосом кричит: «Николай Романов, Уральский совет постановил вас расстрелять!» — и вскидывает наган.

Один из шести камергеров, поддерживающих царскую мантию, наклоняется к сверкающей на полу регалии и подает ее министру двора. Тот прячет Андреевскую цепь... в карман... Николай II выходит из оцепенения. Руки его опускаются к красной подушке и медленно поднимают над головой переливающуюся при свете бесчисленных свечей корону.

Когда корона возложена царем на себя и на коленопреклоненную царицу, свершено миропомазание, царь причастился в алтаре, присутствующие принесли поздравления и отслужена литургия, начинается выход из собора. Первая — через южные двери — удаляется Мария Федоровна. Царь и царица, выждав, когда никого из свиты вдовствующей государыни в соборе не остается, встают и покидают храм через северные, противоположные двери. Таков церемониал. Хочет ли он этим подчеркнуть, что отныне пути сына и матери расходятся?

Возвратясь обратно, царь с царицей поднимаются на Красное крыльцо и троекратно кланяются народу. Это сохранилось от старого московского обычая, это трогательно и красиво. Но народ, теснящийся где-то за кремлевскими стенами, чтобы видеть этот царский

поклон, должен был глядеть в хорошие цейсовские бинокли. Невооруженным глазом он видит только много золота и красного сукна, много штыков и знамен, и единственное, что ему доступно,— это подхватывать «ура», которое начато не им.

Церемония, начавшаяся в семь утра, кончается в 12.55. Царь и царица удаляются отдохнуть. Но долго отдыхать нельзя. Через час с четвертью начнется торжественная трапеза в Грановитой палате.

Туда уже перенесены из Успенского собора царские троны, и митрополит, только что благословивший Николая II на царство, ждет, чтобы благословить с той же торжественной обрядностью приготовленное французскими поварами меню.

Царь в короне и порфире садится между двумя царицами за отдельный стол. Особы двух первых классов, стоя, ждут, пока царь отведает первого блюда и спросит пить. Тогда с глубоким придворным поклоном садятся за стол и они. Остальные, в том числе накормленные заранее члены дипломатического корпуса, «не оборачиваясь лицом к дверям», иначе говоря — пятясь, покидают Грановитую палату.

Трапеза длится очень долго и подчинена сложному этикету. Каждое блюдо, подаваемое на высочайший стол, конвоируется кавалергардским офицером с обнаженной саблей, точно это не жаркое или сладкое, а государственная регалия или денежный ящик. Право подавать блюда принадлежит отставным «штаб-офицерам из дворян Московской губернии» — именно им и никому другому.

Обер-шенки под гром труб и литавров провозглашают тосты, сопровождаемые пушечным салютом. За здравие государя пьют под стерлядь при салюте в 61 выстрел. Затем за Марию Федоровну (паровой барашек — 51 выстрел), молодую царицу (заливное из фазанов — тоже 51 выстрел), императорскую фамилию (31 выстрел — каплуны с салатом). Наконец обер-шенк провозглашает последний тост: «За всех верноподданных». Он сопровождается всего 21 выстрелом, и пьют его под спаржу.

После тостов бас, тенор, меццо-сопрано и хор исполняют торжественную кантату. Но времена, когда блестящий стиль и империя были синонимами, безвозвратно прошли. В роли Ломоносова или Державина фигурирует теперь Виктор Крылов, сочинитель бытовых пьес и бесталантливый стихотворец. И под древними сводами льются водянистые стишки «под Кольцова»:

Звездочки небесные
Искрятся, играют.
Горы, нивы, пажити
Убрались, украсились,
Чтобы честно праздновать
Праздник всей России...

Та, кого в эти дни каждый считает счастливейшей из женщин,— коченеет от физической и душевной усталости. Губы царицы, которые по церемониалу должны «милостиво улыбаться», все резче складываются в трагическую усмешку. Она одинока и несчастна.

Окружающие? Льстивая, раззолоченная свита? Но — «я чувствую, все они неискренни, никто не исполняет долга,— все служат из-за карьеры и личной выгоды». Церковь, только что венчавшая ее на царство? У царицы нет доверия к официальной церкви: «Когда я вижу митрополита, шуршащего шелковой рясой, я спрашиваю себя — какая разница между ним и нарядными великосветскими дамами?» Любовь мужа? Но как, любя ее, он мог утвердить список участников торжественного спектакля, где «только две петербургских балерины и одна из них... Кшесинская». Народный восторг? «Ура» толпы было в десять раз громче, когда проезжала императрица-мать,— все это заметили. Будущее? — царицу пугает будущее. Эта цепь, оборвавшаяся в миг коронации,— какая зловещая примета!..

«Я мучусь и плачу целыми днями»,— пишет Александра Федоровна своей немецкой подруге. Она плачет и мучается: ее «прежние иллюзии одна за другой тают», и новых у нее еще нет.

После пятнадцати часов непрерывного напряжения, когда опасность расплакаться так же сильна, как

страх упасть в обморок, Александра Федоровна, венчанная на царство императрица всероссийская, выходит на балкон, чтобы открыть иллюминацию.

Балкон обращен к набережной Москвы-реки. Бледная, тонкая, прямая царица становится у перил и смотрит на черную воду. Потом медленно протягивает руку к букету, который подносит ей церемониймейстер. Едва она берет букет — он весь загорается электрическим светом. Это сигнал. Разом вспыхивают вершины башен, колокольня Ивана Великого, древние кремлевские стены и вся Москва.

Но царица не видит этих синих, красных, зеленых засиявших без числа огней. Их в ту же минуту заслоняет бледное ушастое лицо Победоносцева, первым заметившего, что государыня лишается чувств, и бросившегося ее поддержать.

ХОДЫНКА

«У ласкового князя Владимира пированьице почестен-пир для всех званых, браных, приходящих...» Задолго до 18 мая «Особое установление по устройству коронационных зрелищ и праздника» распространяет в Москве афиши под таким заголовком. Это высокопарное приглашение зазывает гостей на то страшное «пированьице», с которого около двух тысяч человек отправятся прямо на Ваганьковское кладбище.

Дальше подробно перечислены развлечения и блага, ожидающие «званых, браных, приходящих» на Народном празднике. Развлечений обещано много. Тут театральные представления на открытых сценах: «Руслан и Людмила», «Конек-Горбунок», «Ермак Тимофеевич, или Завоевание Сибири» со «сражениями, плясками, пением и сновидением Ермака»; тут гармонисты, балалаечники, раешники, петрушки, силомеры и предсказатели судьбы. Особенно соблазнителен знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, собирающийся показать «электрический пароход, управляемый кры-

сами», «поездку козла на волке», «ежа, стреляющего из пушки», и, наконец, «новость»: «танец кошки на голове дога». Дразнят также воображение призы за гимнастику: 50 глухих серебряных часов «с портретами Их Величеств и цепочками белого металла» и сто гармоник. Призы эти предназначены за лазание на мачту, бег и хождение по бревну. Они, правда, «по независящим обстоятельствам» останутся неприсужденными, но ловким гимнастам, явившимся их добывать, жаловаться не приходится. Хорошие мускулы и гимнастическая сноровка очень пригодятся им, когда вместо того, чтобы любоваться «танцем кошки на голове дога», самим придется танцевать на человеческих головах и вместо хождения по бревну шагать, как по бревнам, по наваленным друг на друга покойникам и умирающим. Призом за эти, не предусмотренные в программе праздника, «гимнастические упражнения» будет зато нечто более ценное, чем серебряные часы, хотя бы и с портретами Их Величеств, призом будет спасенная жизнь.

Рассчитывать на получение отпущенных на толпу в пятьсот тысяч человек 50 часов и 100 гармоник могут, однако, немногие самонадеянные ловкачи. Остальные, более скромные, не мечтая о часах, хотят получить «царский подарок», который обещан всем. Содержание этого подарка тоже перечислено в афише. Это сайка, полфунта колбасы, три четверти фунта сластей и орехов, вяземский пряник и «коронационная» кружка — все завязанное в ситцевый платок с изображением Кремля. Колбаса в подарке, заготовленная чересчур загодя, окажется тухловатой, и жестяная бело-голубая кружка будет спустя неделю продаваться на Сухаревке по пятнадцати копеек. Но то, что будет через неделю, никак не может повлиять на то, что сейчас. Толки о подарках и развлечениях растут, вяземский пряник и платок с Кремлем сияют магической приманкой, тем более, что народное воображение дополняет явную скупость, с которой составлен «подарок», пущенным слухом, что в некоторые из кружек положены билеты выигрышного займа. От детей до

стариков все собираются на Ходынское поле за заветным узелком. Собираются не только москвичи и жители окраин, но и крестьяне из лежащих по соседству деревень: по одной Курской дороге в ночь с 17-го на 18-е мая приезжает в Москву, на праздник, двадцать пять тысяч человек.

Едва Ходынка стряслась, сейчас же вокруг нее начинается борьба сильных противодействующих страстей. Великий князь Сергей, враждующий с министром Воронцовым-Дашковым, яростно нападает на министерство двора. Граф Воронцов, не оставаясь в долгу, винит во всем полицию, «непосредственно подчиненную Его императорскому высочеству». Обер-полицмейстер Власовский сначала хочет отделаться обычной полицейской наглостью. Его первый рапорт гласит: «Убитых сто человек, порядок восстановлен». Потом он театрально стреляется в приемной генерал-губернатора: адъютант толкает поднесенную к виску руку с револьвером, и пуля летит мимо.

Действительный статский советник Бер, начальник «Особого установления», с чувством исполненного долга показывает следователю: «Я велел не засыпать оставшиеся от выставки 1832 года ямы нарочно, чтобы сдерживать народ». «Узелков было четыреста тысяч, а народу привалило миллион, каждая сайка была у нас на счету»,— оправдывает его помощник, архитектор Николин, особое устройство буфета в виде мышеловки, где в узких (на два человека) проходах погибло в давке множество людей. Столько скрытых пружин и невидимых тормозов — честолюбия, упрямства, боязни ответственности — пускается со всех сторон в ход, что в расследовании, составленном министром юстиции Муравьевым, отлично видно, как произошла Ходынка, и совсем не ясно, по чьей вине она произошла.

После Муравьева самостоятельное следствие ведет маршал коронации граф Пален. Его доклад более определенен. Он, хотя и в очень осторожной форме, прямо обвиняет в бездействии власти «августейшего генерал-губернатора Москвы». На докладе Палена,

представленном царю уже в Петербурге, «Его Величество соизволил положить самую лестную резолюцию», но через несколько дней «приехал из Москвы великий князь Сергей, и дело совершенно было перерешено».

В конце концов ничего толком не выясняется, никто не обелен вполне, никто не несет сколько-нибудь серьезного наказания. И над Ходынкой после всех расследований еще больше сгущается тот зловещий туман, который описал Толстой: «Народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над Ходынским полем стоял густой туман — от дыхания человеческого». О виновниках Ходынки и о ее жертвах забудут, но туман отработанного воздуха, которым нельзя дышать,— останется навсегда, расползется по всей России.

Для раздачи царских подарков на Ходынском поле строятся 150 бараков. Строятся они друг около друга — между каждым проход для двух человек. Эти бараки, или буфеты, образуют треугольник, острый угол которого обращен ко рву. Ров песчаный, изрыт глубокими ямами. От угла бараков до рва расстояние 25 аршин, ширина рва 80 аршин.

Раздача подарков назначена на 10 часов утра 18 мая. Наряд полиции и казаков для охраны порядка должен явиться «заблаговременно» — в девять. Полиция и казаки будут регулировать течение движущейся со всех сторон столицы толпы, направляя ее к буфетам за подарками, а оттуда в сторону павильонов и эстрад с развлечениями, где ее уже будут ждать дрессированные ежи и раешники, «Конек-Горбунок» и дивертисмент. Ямы и рвы, с одной стороны окружающие буфеты, помогут полиции сдерживать народ (одной полиции не справиться: ее не так уж много — 1800 городовых), а узкие проходы на два человека, т. е. на триста человек по всей линии буфетов, обеспечат получение каждым своего узелка и помешают недобросовестным схватить лишнюю сайку, которые «все на счету» у «ласкового князя Владимира».

Все заранее отлично взвешено, рассчитано и предусмотрено — упущена из виду только самая малость. Народ начинает собираться на Ходынку с вечера. В час ночи толпа так плотна, что над ней стоит туман «от дыхания человеческого» и то там, то здесь уже слышны первые стоны изнемогающих в давке и теряющих сознание.

Народ собирается с вечера. Так как никакого начальства нет и никто ничего не регулирует — люди идут со всех сторон и располагаются вокруг буфетов как кому заблагорассудится. Ночь жаркая и душная. Многие приходят налегке, босиком, в неподпоясанных рубахах и тут же укладываются спать. Другие зажигают костры, пекут на огне картошку и угощаются водкой. Некоторые принесли гармоники, слышна музыка, песни, кое-где пляшут. Это часов в двенадцать.

После двенадцати толпа угрожающе вырастает. Понаехали мужики из деревень, подошли рабочие с окраин. Греться у костров или плясать уже нельзя — каждый торопится занять место получше, и каждый теснит другого. Праздничное добродушное настроение сменяется сумрачным и нетерпеливым. Эта трех- или четырехсоттысячная толпа вполне предоставлена себе самой. Впрочем, не вполне. Ее стерегут назначенные в подмогу отсутствующей полиции волчьи ямы и восьмидесятиаршинный ров.

В час ночи из толпы выносят девушку в бесчувственном состоянии и нескольких подростков. В три утра в народе кричат: «Что же вы нас умирать заставляете в давке!» В четыре часа утра уже то и дело из толпы передают по головам людей без признаков жизни. Народ у буфетов волнуется и напирает, дощатые буфеты трещат. «Скоро ли будут раздавать?» — слышится со всех сторон. Перепуганные артельщики и заведующие буфетами собираются под предводительством поднятого с постели растерянного Бера на импровизированное совещание. «Если мы не начнем раздавать, толпа нас сотрет»,— говорит какой-то Лепешкин, и голос этого безвестного Лепешкина решает все. Еще минуту назад катастрофу можно было, пожалуй, пре-

дотвратить. Но вот решено раздавать. Первые узелки с подарками летят в толпу. И толпа, как на приступ, бросается к буфетам.

«...Через полчаса я взглянул из будки (показание одного из раздававших) и увидел в том месте, где ждала публика раздачи, люди на земле один на другом, и по ним идет народ к буфетам. Люди эти лежали как-то странно: точно их целым рядом повалило. Часто тело одного покрывало часть тела другого. Видел я такой ряд мертвых людей на протяжении аршин пятнадцати. Лежали они головами к будкам, ногами к шоссе.»

«Я видела (из другого показания), как из толпы, которой удалось пробраться вовнутрь площади, через проходы выбегали люди в растрепанном виде, в разорванном платье, с дикими глазами, мокрые, с непокрытыми всклокоченными волосами и со стонами прямо ложились, падали на землю. Многие были в крови, некоторые кричали, что у них сломаны ребра.»

«Я споткнулся на мертвого человека, когда толпа меня понесла. На меня упало несколько человек. Тут я чувствовал, как народ перебегает по тем, которые на мне лежали. Я лишился чувств, может быть, на полчаса, может быть, на час. Когда меня привели в сознание и подняли, то надо мной было трупов пятнадцать и подо мной десять трупов.»

«Около меня оказался мальчик, который сильно кричал. Я и еще кто-то приподняли его над толпой, и он пошел себе по головам.» «Мой локоть оказался на руке какой-то женщины. Я слышал, как у нее треснула рука, и она упала на землю.» «Покойники, которых я (унтер-офицер вызванных наконец-то войск) вытаскивал из толпы, стояли в толпе. Она старалась от них отодвинуться, но не могла.» «Мертвая девушка стояла в толпе, голова ее качалась в разные стороны, и толпа, двигаясь вперед, несла ее с собой.» «Больше всего трупов лежало на пресечении буфетов — на небольшом пространстве более трехсот.»

Таких показаний без числа и в «Следственном производстве судебного следователя по делу о беспоряд-

ках на Ходынском поле» и в «Записке министра юстиции» по этому делу. Из толпы кричат: «Уберите мертвецов!» Солдаты входят в толпу «аршина на три» и выхватывают кого могут, живых или мертвых, дальше они протиснуться не могут. Вообще спасают людей почти исключительно войска: полиция, явившаяся только в шесть утра, первым делом оцепляет императорский павильон и трибуны для высоких гостей, чтобы «народ чего не повредил». «Я обратился к городовому,— показывает свидетель,— с просьбой дать умирающему воды и вообще оказать какую-нибудь помощь. Он ответил: «Нам ничего не приказали».

Французский посланник граф де Монтебелло одним из первых узнает о Ходынской катастрофе. К чувству ужаса, которое он испытывает, слыша о тысячах задавленных и изувеченных, присоединяется огорчение личного свойства: назначенный на сегодня большой бал во французском посольстве, конечно, придется отменить: sole[1], прибывшие во льду из Парижа, и вагон средиземных роз пропадут. Быть может, однако, слухи преувеличены и несчастье не так велико? Граф Монтебелло звонит по телефону губернатору Москвы и министру двора, но сведения этих высокопоставленных лиц так же неясны и противоречивы, как рассказы повара и камердинера. Тогда граф отправляется на Ходынку сам.

Огромное поле оцеплено войсками, но французского посла, конечно, пропускают. Он еще застает неприбранным жуткий беспорядок только что совершившегося непоправимого несчастья. Земля истоптана и изрыта, кое-где видна кровь, то там, то здесь валяются шапка, кушак, пола оборванного платья. Он видит множество мертвых, которых молодцеватые городовые уже складывают рядами, как дрова, на телеги, чтобы развозить по участкам. В зависимости от того, где их застала смерть, мертвецы резко отличаются друг от друга. Погибшие в рвах, колодцах и узких

[1] «Морские языки», деликатесная рыба *(фр.)*.

проходах обезображены и окровавлены («Я узнала брата только по лбу»,— говорит сестра одного); задушенные в толпе — не имеют внешних повреждений, зато их глаза широко раскрыты, иногда совсем вытаращены, и в них застыло одинаковое дикое выражение ужаса. Многие из этих принаряженных мертвецов еще сжимают в скрюченных пальцах узелки с царскими подарками.

На Ходынку непрерывно прибывает разное начальство, сановники, высокопоставленные любопытные. Чрезвычайный китайский посол Ли Хун-Чжан, приехавший получать двухмиллионную взятку, равнодушно оглядывал поле — он привык к вещам и пострашней,— осведомлялся: «Неужели об этом доложат государю?» Узнав, что все уже доложили, он пожимает плечами: «Какие неопытные у вас министры — у нас бы никто не побеспокоил богдыхана, убрали бы мертвецов — и все». Это трезвое суждение встречает сочувствие у некоторых представителей высшего общества.

«От государя следовало бы все скрыть»,— горячится камергер Дурасов. «Какие пустяки. Это всегда бывает при коронации»,— заявляет конногвардеец Шипов. Витте, думающий после слов Ли Хун-Чжана: «Ну, все-таки мы ушли дальше Китая»,— пожалуй, немного преувеличивает.

Пробирались на Ходынку, хотя их и велено не пускать, и корреспонденты газет, русские и иностранные. Среди них находится и знаменитый Диллон, приват-доцент Харьковского университета и большой знаток России. Он, хотя и видит все своими глазами и получает все сведения из первых рук, впоследствии, вспоминая Ходынку, изобразит ее так: «Катастрофа произошла в тот самый момент, когда императорская чета заняла свои места и полмиллиона голосов криками приветствовали самодержца Святой Руси и его супругу». Далее он говорит: «Император показал себя совершенно безучастным к этому бедствию».

«Совершенное безучастие» Николая II к Ходынке — такой же явный вздор, как то, что она произошла в присутствии царя. Искажение это со стороны Дил-

лона нельзя, однако, объяснить ни недоброжелательством — он, определенно, друг старой России,— ни недобросовестностью — опытный и осторожный журналист, остальные факты он передает вполне точно. Не выражает ли бессознательно он, на старости лет перебирая события, вместо фактов впечатление от них, оказавшееся более ярким и долговечным? Разумеется, царь не был безучастен к народному горю, но им — по личному почину или по советам приближенных — действительно делается в день Ходынки все, чтобы такое впечатление создалось.

Потрясенный страшным зрелищем французский посол едет с Ходынского поля к обер-церемониймейстеру коронации графу Палену. Тот сообщает ему решение государя, в котором Монтебелло, и не зная его, заранее не сомневается: все празднества отменены, будет объявлен траур, царь с царицей удаляются на несколько дней в монастырь, чтобы засвидетельствовать и подчеркнуть свое глубокое горе. Пален только что видел Николая II: царь был в отчаянии, глаза его были полны слез. Плачет и сам Пален. Молча пожав старому придворному руку — что скажешь в таких обстоятельствах?— Монтебелло, вернувшись домой, отдает распоряжение прекратить все приготовления к балу. Когда, немного успокоившись от пережитого, он садится писать в Париж донесение о происшедшем, от великого князя Сергея приезжает адъютант с удивительными новостями. Государь передумал. Траура не будет. Все празднества, в том числе и сегодняшний бал у французского посла, должны состояться.

Говоря о «совершенном безучастии самодержца Святой Руси» к народному бедствию, тот же Диллон в доказательство своих слов указывает, что «оно не помешало целой серии обедов и балов при дворе и в иностранных посольствах». И на этот раз, к сожалению, его нельзя опровергнуть.

Ходынское поле приведено в порядок с той идеальной быстротой, с которой обычно действует полиция, заметая следы случившегося по ее вине. Поле

подметено, сломанные бараки починены, кровь посыпана песочком, мертвецы убраны. Часть их развезена по участкам, но всех увезти не удалось, и распорядительный обер-полицмейстер велел уложить на дне того самого рва, в котором они погибли. Аккуратно покрытые рогожами, охраняемые часовыми, они, никому не мешая, отлично могут полежать тут, пока на Ходынке происходит концерт в высочайшем присутствии. Потом, когда отбудут царь и высокие гости, уберут и их.

Трубы оркестра сияют на майском солнце, и воздух дрожит от грома патриотического концерта. Новая толпа, праздничная и оживленная, напирает на открытую сцену, где Ермак завоевывает Сибирь, и электрический пароход плывет в лоханке, управляемой вымуштрованными Дуровым крысами. Вдруг все представления прекращаются и по огромному полю перекатывается «урра»: на обитой красным сукном площадке императорского павильона в окружении великих князей и свиты появляются царь и царица.

Урра!.. Боже, царя храни!.. Ветер треплет белое страусовое боа Александры Федоровны, ярко блестят царские полковничьи погоны, кругом мундиры, ленты, кивера, золотые фалды придворных, сабли, лядунки, звезды. Боже, царя храни... Урра!.. Кивера, перья, мундиры — больше ничего нельзя разобрать.

Царь по дороге встречает на Тверской запоздавший воз с мертвецами. Он выходит из экипажа, велит отогнуть рогожу, долго всматривается в страшную окоченелую груду и, махнув рукой, бормоча что-то невнятное, понуро садится в коляску. Теперь на эту шумную, приветствующую его толпу он смотрит тем же измученным, потухшим взглядом. Императрица подавлена и бледна, она едва стоит на ногах. Но, чтобы видеть это, надо стоять близко, а народ стоит далеко. Он видит только ленты, перья и мундиры, только сиянье самодержавной власти, которую никакие тысячи погибших не должны омрачать хотя бы на единый миг. Действительный тайный советник Победоносцев, бледное и ушастое лицо которого и потре-

панный вицмундир тоже мелькают в свите, может быть доволен. «Ничто не должно умалять священного монархического принципа»,— наставительно твердил он сегодня утром, уговаривая царя не объявлять траура и не отменять празднеств. И вот священный принцип — не умален.

«Давно уже ходили слухи о том, что предстоящий бал во французском посольстве будет одним из самых замечательных и самых интересных. В половине десятого начался съезд. Вестибюль, превращенный в уголок тропического сада, залитого электричеством вместо солнца.»

И дальше:

«Бал удался вполне и закончился тончайшим ужином».

Так идиллически описывает бал у Монтебелло «Коронационный сборник», двухтомный веленевый увраж, изданный, чтобы увековечить коронационные торжества. Он и увековечивает их со всем усердием чиновничьей исполнительности. Не только отмечено, что бал «удался вполне», сообщено и меню «тончайшего ужина».

Бал проходит, впрочем, не столь «удачно», как, захлебываясь, расписывают казенные перья. «Я отчетливо помню напряженность атмосферы на этом празднестве,— вспоминает камергер Извольский, будущий министр иностранных дел,— усилия, которые делались императором и императрицей при появлении их в публике, ясно были видны на их лицах». Таких свидетельств о подавленном настроении царской четы, его «грустных глазах», «болезненном выражении», ее «бледности», «резкой складке у пытающегося улыбнуться рта» можно выписать много. Но они ничего не меняют. Это все оттенки и полутона в картине, которую будут судить с такого расстояния, где оттенки и полутона не видны. Только главное, основное, только свет и тень.

Окна французского посольства широко распахнуты в теплую майскую ночь. С улицы слышны голоса,

веселая громкая музыка, в ярко освещенных залах мелькают пары в затейливых турах «польского». Среди танцующих царь и царица Святой Руси. Подводы, покрытые рогожами, до поздней ночи дребезжат по Москве. На Ваганьковское кладбище в гробах и без гробов свозят в эту ночь для опознания 1282 трупа. Ночь теплая, и мертвецы начинают чернеть и раздуваться. Многие страшно обезображены — кого опознает сестра «по лбу», кого никто никогда не опознает.

Розы, доставленные из Ниццы, не пропали. Они сладко благоухают «под электрическим солнцем» в нарядных залах посольства. Sole тоже недаром мчалась в экстренном поезде — ее съедят за «тончайшим ужином». Но до ужина еще далеко — пока надо танцевать «польский». И оркестр гремит в распахнутые окна старинный, традиционный, торжественно-жеманный мотив:

«Славься сим, Екатерина, славься, нежная нам мать...»

ВЫСОЧАЙШИЕ БУДНИ

Трупы задавленных на Ходынке догнивают в дощатых гробах; регалии русской короны покоятся в своих футлярах. Кончились коронационные торжества, начались высочайшие будни.

Первые годы царствования петербургский двор живет очень парадно. Балы, театры, охоты, смотры, высочайшие выходы. Особенно роскошны балы в костюмах эпохи Алексея Михайловича. Николай II и императрица изображают царя Алексея и царицу Наталью; гости, разодетые в парчу и соболя, пляшут «русский» в растреллиевских залах. Стиль «тишайшего» царя вообще в большой моде. Так. министр внутренних дел Сипягин отделывает одно из помещений министерства под старые кремлевские хоромы. Николай II охотно навещает его. Царь и министр, обсуждая государственные дела, соблюдают затейливый москов-

ский этикет XVII века. Маскарад, начатый на балах, продолжается и в повседневной жизни.

При дворе танцуют в летниках и сарафанах. Почему бы и не танцевать? Все в порядке. Машина, налаженная в тринадцатилетнее царствование Александра III, действует исправно, крепко давит внутри, с достоинством избегает внешних осложнений. Россия спокойна. На казарменном, но мощном фронтоне этой России начертаны слова: «Самодержавие, православие, народность». И покуда кажется, что они незыблемы.

Беспокойство, неуверенность в себе, с которыми Николай II вступил на престол, постепенно исчезают. Царь уже не жалеет, как жалел в 1894 году, что приходится отказываться от приятного поста командира Л.-Г. Гусарского полка для тяжелой должности императора. «Хозяин земли русской»,— пишет он в графе о звании на листке всероссийской переписи и понемногу все больше входит в эту хозяйскую роль. «Только теперь я начинаю забирать власть»,— отмечает Николай II в дневнике за 1903 год. Менее чем через полгода начнется война с Японией.

«Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль. Неужели не видят, что он полупомешанный?» — спрашивает жена Безобразова, когда ее мужа, отставного кавалергардского ротмистра, вдруг производят в статс-секретари его величества — звание, равное генерал-адъютанту, и этот «полупомешанный Саша», доставлявший ей столько хлопот, поселяется в Зимнем дворце, свергает Витте, назначает Плеве и делается главным докладчиком в им же основанном «Особом комитете по делам Дальнего Востока», в котором председательствует царь и вся деятельность которого направлена так, что точнее всего было бы его назвать «Особым комитетом по подготовке японской войны».

Каким, в самом деле, образом? На этот недоуменный вопрос некоторые близкие сотрудники царя дают ответы, суть которых сводится к следующему: «полупомешанный Саша» входит в такой неожиданный, ни

с чем не сравнимый фавор по той причине, что его проект «мирного захвата Кореи» посредством учреждения «лесных концессий на Ялу» вполне соответствует тем «совершенно фантастическим мечтам», к которым, по утверждению этих близко знающих Николая II людей, было очень склонно воображение государя, казавшегося со стороны и обычно изображаемого столь скромным, нерешительным и нечестолюбивым.

«Государь мечтает не только о присоединении Маньчжурии и Кореи, но даже о захвате Афганистана, Персии и Тибета»,— свидетельствует генерал Куропаткин. «Это (безобразовский план концессий) совершенно фантастическое предприятие, один из тех фантастических проектов, которые всегда поражали воображение Николая II, всегда склонного к химерическим идеям»,— говорит министр иностранных дел Извольский, осведомленный не хуже Куропаткина: именно он тот русский представитель в Токио, который незадолго до разрыва дипломатических отношений подает в отставку, чтобы не участвовать в провоцировании войны, настойчиво предписываемом ему «Особым комитетом», посылающим послу приказания за подписью царя, помимо и без ведома министра иностранных дел. «Николай II предавался мечтам совершенно фантастическим, где мысль его выходила за пределы его огромного царства, получая нереальные очертания»,— пишет В. И. Гурко и видит в действиях царя «глубоко заложенную по наследству от пращура, императора Павла, склонность к произволу, абсолютную несговорчивость».

Этот властелин шестой части света жалуется на свою «крошечную волю» — «my tiny will» — и в то же время чаще, чем любой другой русский царь, безапелляционной фразой «Такова моя воля» покрывает и возводит в закон явное беззаконие, очевидный произвол. Перечень таких «превышений царской власти» Николаем II приводит тот же Гурко, и его можно почти до бесконечности продолжать. Поступки царя так двойственны, как будто он не знает сам, кто же он — двойник

«тишайшего» Алексея Михайловича, первый шаг которого на царском поприще — созыв Гаагской конференции для провозглашения вечного мира, или хищный присоединитель «не только Кореи, но и Персии», которого на английской карикатуре изобразили спрутом, стремящимся щупальцами охватить весь мир? Кто? — гвардейский полковник, добрый старший товарищ в полковом собрании, восклицающий: «Ничто так не подбадривает меня, как посещение воинской части»,— или жуткий «хозяин земли русской» — жуткий потому, что его «несговорчивая» мысль, как у полубезумного Павла, «выходит за пределы огромного царства» и вслед за собой увлекает в пропасть Россию? Добрый? Злой? Доверчивый? Коварный? Любящий свою родину или «постыдно-равнодушный» к ней? Кто он, царь Николай, в туманный, ускользающий облик которого как ни всматриваться, не видно ничего, кроме серо-голубых задумчивых глаз, русского открытого лица, застенчивой манеры трогать усы, нескольких противоречивых фраз, страшных бед, постигших Россию в его царствование, и трагического зарева его судьбы?

Странным образом самые злые и беспощадные отзывы о Николае II принадлежат не врагам престола, а его министрам, придворным, генералам, носящим на погонах его вензеля. Враги, отвлеченно ненавидящие царскую власть, конкретно относятся к Николаю II прямо любовно. «Бедный запуганный молодой человек»,— называет его Лев Толстой. «Знаю доброе сердце и благородные намерения вашего величества»,— пишет в предсмертном письме террорист Шаумян. «Царь горячо любит Россию»,— уверен Петр Струве, марксист, почти революционер. Керенский, приехавший допросить «арестованного полковника Романова», очарован им и не скрывает этого. «Я полюбил государя»,— вырывается у эмиссара Временного правительства Панкратова, приставленного стеречь царя. Таких примеров множество. Это — революционеры, преданные церковной анафеме писатели, террористы, кончающие с собой в тюрьме, члены свергнувшего царя Временного правительства. Но вот голоса

с противоположного берега — голоса министров, царедворцев, представителей лучших русских фамилий, даже членов императорского дома.

«Нечто вроде Павла Петровича, но в настоящей современности»,— определяет царя П. Н. Дурново. Витте, с удовольствием повторив эту фразу от себя, подчеркивает «все убожество мысли и болезненность души самодержавного императора», его «сознательное стремление сваливать свою личную ответственность на заведомо невинных людей». Даже свой переход на сторону конституционных взглядов Витте объясняет личными чертами царя: «Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только напоказ, так сказать, для царских выходов, а внутри души мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость», то уж лучше противная Витте конституция, чем самодержавие Николая II, по выражению Витте, «тупая пила в руках ничтожного, а потому бесчувственного императора».

«Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддающимся точному определению,— пишет Извольский.— Выросший в атмосфере самоунижения и пассивного повиновения, он обнаружил слабость и неосмотрительность». И, по Извольскому, эта «слабость и неосмотрительность» царя заходят так далеко, что «если покушение на его жизнь в Оцу и не причинило ему вреда, то, я уверен, это создало чувство антипатии, даже ненависти у Николая II-го к Японии и не осталось без влияния на направление дальневосточной политики, имевшей своим эпилогом японскую войну».

Витте и Извольскому вторит барон Врангель, отец крымского главнокомандующего, видавший виды восьмидесятилетний старец, помнящий еще Николая I: «Царь ни точно очерченных пороков, ни ясно определенных качеств не имел. Он был безличен. Он ничего и никого не любил, ничем не дорожил. Вежливый и любезный, он очаровывал при первой встрече и разочаровывал, когда к нему присматривались. Он был безволен и упрям, легко давал слово и столь

же легко брал его обратно. Довериться и положиться на него было бы легкомысленно. Уверяют, что он желал блага России. Но вред, который он ей причинил,— неисчислим».

«Медовый месяц доверия»,— пускает в оборот Куропаткин крылатую фразу, определяя его изменчивость и непрочность царского благоволения. «Никакой реальности не было в его благоволении, оно испарялось, как дым, и даже тем легче, чем при начале казалось горячей»,— подтверждает слова Куропаткина гофмейстер князь Волконский. И так — вплоть до записи великого князя Николая Михайловича, которая так неслыханно резка, что превосходит все остальное: «А он, что это за человек? Он мне противен, а я его все-таки люблю, так как он души недурной, сын своего отца и матери, может быть, люблю по рикошету, но что за... душонка».

Как раз великий князь Николай Михайлович, в 1916 году заносящий в дневник такой отзыв о государе, в 1897 г〈оду〉 через своего брата Александра знакомит царя с Клоповым. Именно знакомит. «Царь всея Руси» принимает статистика и мелкого землевладельца Анатолия Клопова совершенно запросто. Николай II предупрежден, что этот земский статистик — человек откровенный, простодушный, пожалуй, даже чересчур откровенный и простодушный. Он может легко пуститься с царем в спор или в пылу разговора прижать царя в угол и взять за пуговицу; если он сделает между царем и простым смертным разницу, то разве в том смысле, что царю он больше и откровенней скажет. И Николай II не только охотно соглашается на встречу с не знающим и не желающим знать никакого этикета статистиком, но, по-видимому, эта сторона встречи, простота и непосредственность ее, больше всего царя и привлекает. Клопов одушевлен одной идеей говорить с царем о народных нуждах, минуя разделяющее царя и народ «средостение». И ничем другим, как таким же точно стремлением царя, нельзя объяснить и его встречу с Клоповым и все дальнейшее.

Клопов — человек очень искренний, очень неглупый, принадлежащий к распространенному в России типу страстных, но неуравновешенных и неспособных к систематическому труду и логическому мышлению искателей и поборников правды. По словам знакомых Клопова, он «странная смесь духа произвола со стремлением к установлению абсолютной справедливости». Всякая неправда, всякая нанесенная кому-либо обида его глубоко волнуют и возмущают, и он «готов попрать все порядки и все законы для восстановления прав обиженного». То, что, нарушая закон для восстановления справедливости к отдельному человеку, он нарушает самый государственный строй,— об этом Клопов думать не хочет, это ему неинтересно. При всем том он большой мастер горячо и убежденно говорить о мужике, недороде, безземелье, административных притеснениях и с плебейско-детской простотой сразу же заявляет Николаю II: «Вы, ваше величество, ничего не знаете да и не можете знать».

Царя Клопов не только не отталкивает всем этим, но, наоборот, очаровывает вполне. Николай II и земский статистик встречаются не раз уже без всяких посредников, беседуя совершенно запросто. И беседы эти ведутся в такой тональности, что, когда Клопов передает содержание их Льву Толстому, Толстой говорит: «Если бы я верил в обряды, я бы государя и вас перекрестил».

«Тишайший царь» явственно проступает в Николае II и в истории с Клоповым. Побуждения, с которыми царь в ней действует, так же государственно важны, как человечески возвышенны и честны. Клопов рассказывает о чинимых Ивану и Петру, царским верноподданным, несправедливостях, и царь глубоко растроган. Он согласен с Клоповым, что несправедливости надо сейчас же исправить, и так же, как Клопов, готов принести в жертву закон и правовой порядок для немедленного утешения страдающих Ивана и Петра. Он поручает экзальтированному земскому статистику разузнать на местах «всю правду» обо всех вот так с глазу на глаз, минуя «средостение». Еще одна наи-

вная и трогательная подробность. Снабжая Клопова высочайшим именным повелением с почти неограниченными полномочиями, с которыми тот завтра же, например, может получить из государственного банка сундук денег и с экстренным поездом, подобострастно провожаемый всеми властями, укатить за границу, царь дает ему на расходы — триста рублей. «Хватит?» — спрашивает Николай II. «Ничего,— отвечает Клопов,— мне как раз получать жалованье. А если истрачусь, я вашему величеству черкну».

Спустя недолгое время в центральных губерниях появляется таинственный человек, разъезжающий по деревням, ведущий какие-то опросы, обещающий обиженным скорый и справедливый царский суд, «царскую, а не губернаторскую правду». Когда его задерживают и спрашивают, в силу чего он действует, он вынимает из кармана своего измятого люстринового пиджака «лист, перед которым у власти ноги преклонились». История, начавшаяся в духе «Принца и нищего», кончается водевилем. Телеграммы летят в Петербург от взволнованных и недоумевающих губернаторов. Министр юстиции Муравьев делает скандал министру внутренних дел Горемыкину, крича: «Или подайте в отставку, или прекратите это безобразие». Горемыкин мягко объясняет царю невозможность такого положения. Клопова вызывают в Петербург и отбирают у него полномочия. Он расстается с ними без всякого сожаления, бессилие предпринять что-нибудь путное становится ему очевидно уже раньше: на это он жалуется, прося советов в Ясной Поляне. Клопов исчезает с царского горизонта. «Средостение» опять смыкается вокруг царя. Но облюбованная царем давно и укрепленная встречей с Клоповым мысль найти человека, который бы «все ему говорил», не оставляет царя. Однако ждать от судьбы, чтобы и второй раз она подослала Николаю II кандидатом на такую роль бескорыстного и безвредного Клопова,— все равно, что, выиграв миллион, желать выиграть его вторично. И вот тот же Александр Михайлович приводит однажды в Петергофский дворец отставного ротмистра Безобразова.

ВОЙНА, КОТОРУЮ ПОДГОТОВИЛИ БЕЗОБРАЗОВ, АБАЗА И «САНДРО»

Думает ли Николай II о завоевании Персии и Тибета — неизвестно и гадательно, но то, что он задолго до встречи с Безобразовым очень интересуется Маньчжурией и Кореей — более чем достоверно. Большое путешествие, совершенное им еще наследником, поселяет в Николае II ложное представление о необъятности русской мощи на Дальнем Востоке. Он едет неделями на лошадях по бесконечной Сибири, живописной, богатой, сказочно плодородной. За пределами России его встречают чуть ли не с божескими почестями. После покушения на наследника в Киото, где он лежит раненый, вопреки всем тысячелетним обычаям, приезжает из Токио японский император. Тут на глазах будущего царя сопровождающий его генерал князь Барятинский «во имя престижа России» производит наглядную демонстрацию русского могущества и японского ничтожества. Императора Японии принимают только на другой день: наследник устал. Предложение гостеприимства в токийском дворце холодно отклоняется: на всех парах к японским берегам идет русская эскадра. На борту одного из ее кораблей сыну русского царя будет и удобнее и приятнее, чем в доме повелителя страны, где не сумели оберечь его от покушения. Японский император уезжает не солоно хлебавши, но взяв с наследника обещание, когда тот поправится, приехать все же в Токио «в знак великодушного прощения». В Токио готовятся к торжественной встрече, но вместо наследника приходит телеграмма: цесаревич уезжает — он торопится на свидание с отцом. Тогда — неслыханная вещь — император телеграфирует о своем желании вторично прибыть в Киото, чтобы на прощанье позавтракать с цесаревичем. Предложение принимается, но, когда император снова в Киото, оказывается, что наследник не может с ним встретиться: врачи запретили ему сходить на берег. И японский император пьет чашу унижения до дна: он поднимается на борт флагманского корабля «Память Азова».

Веселый и отлично себя чувствующий цесаревич угощает его шампанским.

В том же направлении, что генерал Барятинский, действует на воображение наследника и другой его спутник — князь Эспер Ухтомский. Недурный стихотворец, он переводит на русский язык бесчисленные оды прославляющих Россию туземных поэтов и читает их цесаревичу. «Яркий свет луны обнимает всю вселенную. Белого царя слава распространяется, как лунный свет.» И сам опьяненный этой восточной риторикой, Ухтомский патетически восклицает: «Да, Россия — предопределенный главарь и покровитель Азии!»

Все это западает в душу будущего царя, воспитанного если и не «в атмосфере самоунижения и пассивного повиновения», то, во всяком случае, в довольно бесцветной обстановке. «Белого царя обиталище Санкт-Петербург, говорят — в беломраморном дворце цари-государи пребывать изволят»,— льстиво поют в его честь на все лады туземные лиры, и контраст от этого преклонения и блеска тем сильней, что стоит только цесаревичу перелистать свой петербургский дневник, чтобы вспомнить свое времяпрепровождение в этом «беломраморном» дворце.

Несостоятельная жизнь и тяжелая рука отца, властно и не особенно ласково этой жизнью распоряжающегося. Здесь, на Дальнем Востоке, цесаревич впервые сознает, кто он такой, какая судьба ему предназначена. В его тихую, бесцветную жизнь впервые врываются сильные ощущения и яркие краски. И, может быть, расположенная к этому, но спавшая до сих пор фантазия впервые «выходит за пределы его огромного царства», когда он видит японского императора, чуть ли не ждущего в передней, и слышит звонкие патетические слова: «Россия — предопределенный главарь и покровитель Азии»,— говорящие о завоеваниях, о военной славе, о гордой, блистательной императорской судьбе.

Цесаревич становится Николаем II, его «крошечная воля» — волей величайшей в мире страны. Смутные планы, неоформленные мечты о распространении

«славы белого царя» куда-то в азиатскую глубь роятся в его голове. Обстоятельства складываются так, что все этим смутным планам содействует. После боксерского восстания по одному слову России Китай уступает ей целую область. «Это так хорошо, что даже не верится»,— кладет Николай II резолюцию на докладе об этой уступке.

Витте, который впоследствии назовет государя «главным, если не единственным виновником позорнейшей и глупейшей войны» и политику его в отношении Японии «кровавым мальчуганством»,— больше, чем кто-либо другой, первое время подталкивает Николая II если не к самой войне, то в направлении ее. Ему это удобно: занятый второстепенным, Востоком, Николай II не мешает ему распоряжаться главным — Россией. Когда Витте спохватывается, какую опасную забаву он поощрял, его песенка (до портсмутского мира) спета: «Особый комитет» с Безобразовым и Абазой вырос в страшную силу, и Плеве открыто призывает к «маленькой победоносной войне». За кулисами всего этого действует множество различно заинтересованных сил вплоть до Вильгельма II, который еще в 1897 году посылает царю знаменитую телеграмму, бьющую — без промаха — в ту же цель устремленного на восток царского честолюбия: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого».

Электричество накопилось — нужен только толчок, чтобы его разрядить. И вот появляется болтливый, ловкий, обаятельный Безобразов. Он развязно стучит папиросой о крышку предложенной царем папиросницы, поблескивает белыми великолепными зубами, смотрит на царя весело, ясно, с какой-то почтительной наглостью и картавым самоуверенным голосом твердит: «Одной мимикой, без слов, мы завоюем Корею, одной мимикой, ваше императорское величество».

Безобразова вводит к царю великий князь Александр Михайлович, «добрый Сандро», «милый Сандро», «очаровательный Сандро», муж сестры Ксении,

ближайший друг царя в первые годы царствования, потом ожесточенный враг, опубликовавший в эмиграции довольно бессмысленные воспоминания; главное зло царствования Николая II он видит в том, что покойный император давал слишком мало воли великим князьям. С этим забавным утверждением можно сопоставить фразу верховного маршала коронации графа Палена из доклада его о Ходынке: «Катастрофы, подобные происшедшей, будут до тех пор повторяться, пока ваше величество будет назначать на ответственные посты таких безответственных людей, как их высочества великие князья». Такое обобщение, конечно, несправедливо. Более ясно и точно обмолвился по этому поводу Витте: «Слава Богу, не все великие князья Александры Михайловичи». У Александра Михайловича есть друг и советник — контр-адмирал Абаза, двоюродный брат Безобразова.

Когда «полупомешанный Саша» явится из Женевы с готовым планом «лесных концессий» и начнет искать ход к государю, он, естественно, обратится к своему двоюродному брату, с которым он в отличных отношениях и который занимает пост помощника начальника торгового мореплавания. Ведомство это, по существу же лишнее, основано недавно по настоянию того же Александра Михайловича, и начальником его на правах министра состоит он сам. Случайное совпадение обстоятельств как нельзя лучше исполняет здесь роль рока. Пока неуравновешенный фантазер сочиняет за границей свой проект, в России точно по заказу создается маргариновое министерство, где он с его зятем будут встречены и оценены самым благоприятным образом.

Если Александр Михайлович под эффектной романовской внешностью скрывает довольно неопределенные нравственные черты, его друг Абаза — простонапросто темный интриган и делец. В недалеком будущем, после гибели эскадры адмирала Рожественского, он предложит купить аргентинский флот для усиления русского — и отправится за этим в Аргентину под чужой фамилией, сбрив для конспирации бороду и усы.

Флот приобретен не будет, но растрачены и украдены будут при этом миллионы. Абаза, должно быть, знает, что делает, уговаривая великого князя поддержать безобразовский проект и горячо приветствуя его сам.

Абаза представляет Александру Михайловичу своего двоюродного брата. Великий князь, благосклонно выслушав устные объяснения Безобразова, берет его щегольски переписанную и переплетенную в сафьян докладную записку и отправляется с ней к царю. Спустя несколько дней Безобразова принимает царь. Как и в истории с Клоповым, очень многое, если не все, зависит в эту минуту от того, какое впечатление произведет на монарха отставной кавалергардский ротмистр. Если отрицательное, кто знает — может быть, Николай II послушает не Безобразова и Абазу, а уговаривающих его оставить Японию в покое Дурново, Ламздорфа и Витте, склонится не на сторону легкомысленного Александра Михайловича, а умного и осторожного великого князя Владимира. Но Безобразов производит на государя самое лучшее впечатление — японская война решена.

В декабре 1903 года переговоры с Японией достигают предельного напряжения. Японский посланник Курино умоляет министра иностранных дел Ламздорфа ускорить ответ на его ноты, которые неделями остаются без ответа. Но Ламздорф бессилен: вся дипломатическая переписка с Японией изъята из его ведения — ее на свой страх и риск ведет «Особый комитет». Курино добивается личной встречи с царем, но Николай II для японского посла неизменно «занят». На новогоднем приеме дипломатического корпуса царь произносит речь, в которой напоминает о мощи России и советует не искушать ее миролюбия. Новый год открывается при петербургском дворе рядом балов, маскарадов и приемов еще более великолепных, чем всегда. «Государь в отличном настроении духа»,— отмечает в эти дни министр двора Фредерикс.

Японские миноносцы в ночь на 26 января атакуют у Порт-Артура «Цесаревича», «Победу», «Ретвизан» —

«без предупреждения, не выждав даже ответных предложений правительства», как гласит высочайший манифест. «Укус блохи» — передают из уст в уста брошенные государем по поводу этой атаки слова. Куропаткин, бывший начальник штаба Скобелева, становится в позу Белого генерала. Его торжественно провожают с бесчисленными иконами.

Эти иконы вместе с пианино и розовым шелковым одеялом Куропаткина скоро будут выставлены в военном музее в Токио.

Настроение приподнятое: шапками закидаем. Плеве радуется «маленькой и победоносной войне». Он счастлив, что «русский государь и ход истории двинули большое русское дело назло английским пройдохам и жидовскому капиталу». Витте в день объявления войны видит Николая II. У царя «выражение и осанка победоносная». По всей стране происходят патриотические манифестации — добрый русский народ от души радуется, что пришел случай свести счеты с ненавистными ему макаками. Шапками закидаем!

АНЯ ВЫРУБОВА

В девятнадцать лет Аня Танеева, высокая, полнокровная, с ярким румянцем, с тяжелыми формами, кажется тридцатилетней женщиной. По-своему она красива, но красота ее «слишком в русском вкусе», как иронизируют при дворе. В самом деле, эта дородность, тяжелость, эти румяные щеки и пышные пепельные волосы кажутся каким-то осколком московского боярства, по ошибке попавшим в чопорный и элегантный петербургский свет. «В ней нет ничего женственного,— говорит сама императрица Александра Федоровна.— Ее ноги колоссальны и крайне не аппетитны».

Аня Танеева, еще будучи подростком, всеми способами старается обратить на себя внимание государыни. Она бродит часами по царскосельскому парку, надеясь встретить царицу и поклониться ей. Через

своего отца, «главноуправляющего канцелярией Его Величества», имеющего у государыни личный доклад, она посылает Александре Федоровне свои рукоделья и рисунки. Тяжелая и неповоротливая, не умеющая танцевать и задыхающаяся в корсете, она не пропускает ни одного бала с высочайшим присутствием. Цели, поставленной себе, она в конце концов достигает. Правда, на балах, которые она так усердно посещает, высочайшего внимания ей не удается привлечь, зато, когда в конце сезона она тяжело заболеет, императрица будет осведомляться о ее здоровье и пришлет ей цветы.

Этому вниманию со стороны императрицы она обязана следующим. Лежа с отнявшимся языком в полузабытьи, почти приговоренная врачами к смерти, Аня Танеева кое-как объясняет домашним, что желает видеть о. Иоанна Кронштадтского. Батюшка к ней приезжает. Отслужив у постели больной молебен о здравии, он берет к ужасу докторов и родных кружку воды и окатывает Ане лицо.

Испуг окружающих напрасен: Иоанн Кронштадтский, оказывается, поступил совершенно правильно. Больную передергивает резкая истерическая судорога, и она открывает глаза. Увидев розовое властное лицо кронштадтского чудотворца, склоненное над собой, Аня, улыбнувшись счастливой улыбкой, впадает в глубокий сон. На следующий день жар спадает, слух и дар слова возвращаются. Танеева начинает поправляться.

О случае этом как о чуде заговорили в окружении императрицы, и она, неравнодушная ко всему загадочному, посылает Ане Танеевой привет и цветы. Этим дело и кончается, но и это уже крупный шаг вперед. Когда летом, «случайно» оказавшись в Неаполе с сестрой царицы вел⟨икой⟩ кн⟨ягиней⟩ Елизаветой Федоровной, Аня просит последнюю походатайствовать перед царицей о назначении ее фрейлиной,— вел⟨икой⟩ кн⟨ягине⟩ Елизавете Федоровне будет легко исполнить просьбу.

Царица помнит эту бедную девочку, которую спасла «вера», и охотно даст ей фрейлинский шарф. Тане-

ева получает доступ ко двору. Принимают ее там холодно. Новая фрейлина, неуклюжая и почти не говорящая по-французски, не нравится решительно никому. Сразу все замечают ее повышенное, восторженное отношение к государыне. «Аня Танеева, самая обыкновенная глупая петербургская барышня, влюбилась в императрицу и вечно смотрит на нее медовыми глазами со вздохами «ах, ах!».» Так рисуется Вырубова наблюдателю тех дней. Неумение говорить по-французски и делать реверансы с лихвой уже тогда искупается в ней врожденным даром притворства; внушить С. Ю. Витте, которому принадлежит фраза о «глупой барышне», столь далекое от правды мнение о себе — пример этого дара.

Двор встречает Танееву холодно. Царица говорит ей несколько приветливых слов, дарит ей медальон и перестает ею интересоваться. Ее фрейлинские обязанности сначала ограничиваются дежурствами на выходах и балах, потом ее назначают чем-то вроде сиделки к парализованной княжне Орбелиани. Все это очень далеко от того, к чему Танеева стремится, и ничто как будто не обещает ей перемен к лучшему. Так обстоит дело в феврале 1905 года. А в сентябре царица приглашает Танееву в морскую поездку в шхеры — честь, оказываемая только немногим избранным. После этой поездки, длящейся три недели, Александра Федоровна протягивает ей руки со словами: «Благодарю Бога, что он послал мне друга».

Уехав в шхеры незаметной городской фрейлиной, обыкновенной петербургской барышней, Аня Танеева сходит с «Полярной звезды» самым близким к государыне человеком. К этому внезапному сближению имеется ключ. Летом 1905 года Аня Танеева возобновляет знакомство с командиром Уланского ее величества полка генералом Орловым.

Александр Афиногенович Орлов несколько лет тому назад — частый гость в доме статс-секретаря Танеева, отца Ани. Орлов — офицер конной гвардии, делающий блестящую карьеру. В сорок лет он командир Уланского ее величества полка, в сорок

четыре — свитский генерал, командующий кавалерийской бригадой. Этот рослый, стройный красавец с обаятельной светской улыбкой и никогда не смеющимися ледяными глазами до 1905 года известен только в военной среде как лихой кавалерист, неизменно отличающийся на маневрах и царскосельских скачках. В 1905 году его имя пронеслось по всей России: во главе карательного отряда генерал Орлов «огнем и мечом» проходил по Прибалтийскому краю, наводя панику не только на население, но и на генерал-губернатора Сологуба, который по телеграфу умоляет государя не пускать Орлова в Ригу. Еще через три года Орлов умирает в Египте от чахотки, и смерть его вызывает множество слухов, толков, пересудов, связанных с именем императрицы.

Орлов — человек скромного происхождения и без средств. Он бывает в доме Танеева и до поры до времени даже дорожит этим знакомством. Танеевы не богаты и не особенно родовиты, но все же это открытый петербургский дом. Мать Ани, рожденная Толстая, имеет придворные связи, и сам Танеев занимает чисто декоративный, но высокий пост «〈главно〉управляющего канцелярией Его Величества». Весь этот второстепенный блеск блекнет и теряет для Орлова цену после его женитьбы на графине Стенбок-Фермор. Женитьба вводит его как равного в тот замкнутый круг высшей петербургской знати, где никто не завидует богатству, ибо все окружающие богаты и не заискивают перед чужим влиянием, ибо влиятельны сами. Здесь нет ничего удивительного быть на «ты» с государем, как Шереметев, или жениться на дочери великого князя, как Строганов или Юсупов, и статс-секретарь Танеев со всеми его чинами и положением здесь просто какой-то Танеев — «чиновник средней руки». Честолюбец и карьерист Орлов, поднявшись в высший общественный этаж, забывает о тех, кто остался в среднем, — они ему больше не интересны и не нужны. Меньше всего, конечно, он склонен вспоминать об Ане. Она всегда была для него неуклюжим большеглазым подростком с дурными манерами и без всякого приданого.

Летом 1905 года они случайно сталкиваются в Петергофском дворце. Много воды утекло. Жена Орлова умерла тридцати двух лет от рода скоротечной чахотки. В обществе помнят, что хрупкий организм прелестной Орловой не вынес излишеств, к которым приучил ее муж. Их короткая семейная жизнь была счастливой, но для полноты семейного счастья Орлову понадобились наркотики. После смерти жены Орлов начинает расшвыривать в безумных кутежах ее наследство, и дело доходит до того, что старая графиня Стенбок, охраняя внуков и двух сыновей, грозит ему опекой.

Теперь, когда Танеева и Орлов встречаются, Орлов уже успокоился, остепенился, и жизнь его, по крайней мере внешне, вошла в обычную колею блестящего гвардейца и светского человека. Он заметно постарел. Резкая складка легла у краев красивого рта, светлые ледяные глаза смотрят еще жестче, в редких волосах блестит ранняя седина. С внимательным любопытством он смотрит на ставшую взрослой Аню Танееву. Как женщина она ему ничуть не нравится, но что-то в ней интригует Орлова. Она скромна и застенчива, но у командира улан ее величества слишком опытный глаз: глупой петербургской барышней, «самой обыкновенной», ее он не сочтет.

Они вместе выходят из дворца, вместе идут по пустынному торжественному парку. Что-то в Ане Танеевой влечет Орлова. Он знает что. Может быть, и она знает. Их глаза — его «ледяные», ее «медовые» — понимающе встречаются. Они идут, вспоминая прошлое, болтая о светских пустяках. Но у обоих на губах имя императрицы — и неважно, кто первый его произнесет.

В доме статс-секретаря Танеева радостное смятение. Государыня прислала нарочного с просьбой отпустить Аню с ней в морскую поездку по шхерам. Старик Танеев сам укладывает чемодан дочери, заискивая, ухаживает за ней. Такая честь. Честь действительно исключительная. В эти поездки на императорской яхте приглашаются только немногие избранные,

и такое приглашение важнее всякой награды. Это путь к самому сердцу власти.

«Полярная звезда» снимается с якоря. Погода «лейб-гвардии петергофская», как шучивал император Николай Павлович. Море спокойно, солнце сияет, медь и красное дерево великолепной яхты нарядно блестят. «Вы теперь абонированы ездить с нами»,— улыбаясь, говорит Ане Танеевой государь, и дымок его душистой папироски тянется в воздух. У Танеевой «от волнения леденеют руки». Ничего — они скоро перестанут леденеть.

Общество, собравшееся на борту «Полярной звезды», немногочисленно. Царь, царица, морской министр Бирилев, несколько флигель-адъютантов и флаг-офицеров и, конечно, генерал Орлов. Этот последний вносит в непринужденную обстановку увеселительной поездки без чинов и придворного этикета легкий холодок байронизма. Это его обычная, давно наигранная, давно испытанная манера. Он величаво спокоен, любезно грустен. Фигура его резко выделяется среди окружающих. Государь кажется перед ним низкорослым, адмирал Бирилев комическим, флигель-адъютант Оболенский карикатурно-хлыщеватым. Единственный, кто здесь красотой и осанкой ему под пару,— это сама царица.

После ужина царь, откинувшись в шезлонге, весело хохочет над еврейскими анекдотами, которые с ужимками рассказывает ему адмирал, молодые офицеры курят и пьют ликеры. Аня Танеева, еще не освоившаяся с обстановкой, робко жмется к гофлектрисе Шнейдер. Царицы на палубе нет. В полутемной каюте, с не женской силой ударяя по клавишам, она играет Бетховена. Орлов сидит поодаль, и царица чувствует на своем лице его пристальный грустный взгляд. Она чувствует этот взгляд и тогда, когда Орлова нет рядом.

Впервые Александра Федоровна встречает Орлова в 1889 году. Ужасный год, о котором она хотела бы совсем забыть. Петергоф, душное лето с грозами и ливнями. После нескольких дней томительной неопреде-

ленности — признают или не признают подходящей невестой — страшный, давно предчувствуемый и все же кажущийся невероятным провал. День отъезда в Ильинское, оттуда в Англию — назначен, все кончено. Каменная улыбка матери-царицы, растерянное лицо наследника. И — как в бреду — гремит военная музыка, вьются трехцветные флаги, бьют фонтаны, сияют золоченые статуи, оттеняя ее унижение.

В светской толпе, еще недавно лебезившей перед будущей царицей и теперь, когда стало известно, что кандидатура ее провалилась, заметно к ней охладевшей, один человек удваивает к принцессе Алисе почтительность и внимание. Это Орлов. Сталкиваются они мало, и промежуток до отъезда короток, но что-то, что красноречивей слов, сквозит в лице этого двадцатисемилетнего офицера, когда он приветствует принцессу Алису в парке, подает ей стул или грустно смотрит в окно ее отъезжающего вагона, вытянувшись и приложив руку к красному околышу конногвардейской фуражки. Как ни мимолетно все это — принцесса Алиса запомнит Орлова навсегда. Спустя шесть лет, в дни коронации, она узнаёт его в конном строю сводного гвардейского эскадрона и, нарушая этикет, улыбается и кивает ему. В Петербурге по желанию молодой царицы Орлова переводят в ее собственный уланский полк, назначают флигель-адъютантом, и, когда царская чета появляется в полковом собрании, все обращают внимание, что царь и царица обращаются с молодым офицером как с близким знакомым. Начинается стремительное восхождение звезды Орлова при петербургском дворе.

Карьера Орлова блестяща, но он ею недоволен. С царской семьей его связывает исключительная, вызывающая зависть и сплетни близость, но Орлову этой близости мало. Чего же он добивается? Что-то во взгляде, улыбке, интонациях государыни как будто дает ему надежду — в то же время он твердо знает, что надежда эта никогда не осуществится. А ловко пущенная кем-то клевета уже делает свое дело. Эти толки сводят Орлова с ума. Кокаинист, неврастеник, он сам

не знает, оскорбляют или радуют его эти толки. Во всяком случае, они его возбуждают, заставляя терять остатки душевного равновесия.

Давая совет государыне пригласить Аню Танееву в поездку, всячески содействуя сближению их, генерал Орлов преследует вполне ясную цель. Он уже проводил во дворец деревенскую пророчицу Дарью Осипову, рассчитывая через нее повлиять на волю царицы. Теперь он из «обыкновенной русской барышни» создает будущую Вырубову, роковую для династии и России временщицу — «лучшего друга царицы». Всем при дворе известно, что путь к сердцу Александры Федоровны короче и верней всего — через всевозможных кликуш, юродивых, истеричек, одержимых, действующих на нее неотразимо, как желанный дурман. Орлов и избирает этот вернейший и кратчайший путь. Но он ошибается в расчете, думая, что Аня Танеева будет его сообщницей: использовав его влияние при дворе, она холодно от него отвернется. У нее собственный путь. Он гораздо сложней и туманней, цель, которая маячит перед ней, еще не ясна ей самой. Но положение ее много выигрышней, и шансов на успех у нее неизмеримо больше: Орловым движет слепая страсть, Аней Танеевой — инстинкт лживой, властной, бездушной истерички.

В Виндзоре, во время сватовства, наследник шутя спрашивает принцессу Алису, какой женой собирается она ему быть. Она отвечает строчкой английских стихов:

«Верной, любящей, преданной, чистой и сильной,
как смерть».

Это не пустые слова. Здесь все в точности соответствует душевному складу будущей русской царицы. В устах принцессы Алисы эти слова звучат не только программой будущей жизни, но и торжественной клятвой эту программу исполнить. Царица никогда от нее и не отступит. Но самая верная жена может быть не удовлетворена душевно, самая любящая может ску-

чать, не находя поддержки в муже, инстинктивно искать иной опоры. Царица грустна и одинока — ей нужна рука, на которую можно опереться, сердце, преданное до конца. «Вот это сердце, эта рука!» — твердит красноречивое молчание Орлова. «Вот она!» — шепчет, как эхо, как комар над ухом, вкрадчивый льстивый голос Ани Танеевой.

Все, о чем мечтала принцесса Алиса, как будто целиком сбылось. Она — императрица всероссийская. Внешне — блеск, преклонение, безграничная царская власть, безграничный простор самодержавной России; внутри, для себя,— тихий семейный очаг, уют, «полное счастье на земле», как отмечает в дневнике государь. Но среди этого внешнего блеска, среди этого семейного тепла: «Я плачу и мучусь целыми днями»,— жалуется царица своей немецкой подруге графине Ранцау. Она плачет и мучается, отношения ее с мужем неровные. «Когда я бываю усталой, я тебе резко отвечаю, прости мне, любимый, каждое резкое слово»,— признается она.

«Когда бываю усталой». Но усталой она бывает почти всегда: целыми днями лежит на кушетке, не выходит к обеду, постоянно жалуется на головную боль. Все ей не нравится, раздражает, не так, не вкусно. «У всех чай вкусней, чем у нас, и больше разнообразия»,— говорит она о том самом интимном пятичасовом чае, который для Николая II отдых, развлечение, «самое приятное время дня», о наступлении которого он мечтает во время утомительных государственных дел.

Александра Федоровна искренно любит государя, целиком предана ему. Но они разные, слишком разные люди. Она экзальтирована, восторженна, романтична. Она думает о любви патетическими фразами английских романов, исписав ими вдоль и поперек сухой, сдержанный дневник государя. «Я мечтаю о поцелуях, которые остаются навсегда.» «Бьют часы на крепостной башне и напоминают нам о смертном часе, но не смущайся,— любовь вечна, ее поцелуи горят на моем разгоряченном челе.» Этот приподнятый стиль

органически чужд натуре Николая II. Его представление о жизни, о семейном счастье самое естественное, самое простое. У каждого человека есть обязанности, служба, дела — скучная, но неизбежная сторона жизни. Обязанности царя тяжелы, порой несносны, но такова уж царская участь. Как ни утомительны доклады министров, их надо изо дня в день выслушивать, как ни скучно «расчищать письменный стол», до боли в суставах кладя резолюции и ставя пометки,— делать это необходимо.

Зато после трудового дня его ждет удобное кресло, вкусный чай, прогулка пешком или в санях и все это «с моей ненаглядной красавицей и душкой Аликс». «Принял Ванновского, Победоносцева, Витте. Много читал и успел все накопившееся окончить. Завтракал позже обыкновенного, т. к. опоздал из-за приема...» Нудный, полный неприятных хлопот день. «Зато провел чудный вечер с дорогой моей Аликс.»

По вечерам Николай II любит читать вслух. Иногда царь и царица играют в четыре руки. Очень нравится государю разбирать фотографии и наклеивать их в альбом. Он употребляет для этого особенный белый клей, выписываемый из Англии, и гордится, что никогда не сделал в альбоме ни пятнышка. Чем больше эти досуги отвлекают от государственных забот, заставляют их забыть, тем приятней царю, тем полней ощущение покоя и семейного счастья. Но время от времени, не удержавшись, царица заговаривает на политические темы. Тогда голубые сияющие глаза царя сразу тускнеют. «Чудный вечер» испорчен.

Александра Федоровна это знает. Она знает также, что из ее попыток вмешаться в политику получаются одни неудачи. Не таков характер государя, не такова обстановка. «Надо учиться трудному искусству ждать»,— часто повторяет царица. Эта фраза, прочитанная в детстве в английской нравоучительной книжке, помогла ей перенести многое, должна помочь и теперь.

Две страсти мучают Александру Федоровну: жажда власти и страх. С ненасытной жаждой власти она

родилась. С тех пор как она стала царицей, к этому прибавился страх. По настоянию царицы караулы вокруг дворца удвоены. По новой инструкции часовым вменено в обязанность ночью стрелять по посторонним без предупреждения. Николай II, еще недавно гулявший по Петербургу без всякой охраны, недоумевает — к чему это? Царица говорит, что боится революционеров. Но гораздо больше, чем революции, она страшится и ждет дворцового переворота.

«Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла»,— говорит ей принц Уэльский за свадебным завтраком. Эти случайные, неосторожно оброненные слова потрясают царицу. Блеснув, как луч прожектора, в ее разгоряченном воображении, они выхватывают из тьмы прошлого страшный призрак задушенного придворными самодержца и переносят его в будущее.

Он был сам виноват, этот бедный Павел, знавший, как она, что «Россия любит почувствовать хлыст», но не сумевший удержать хлыст в руках. Царь обязан подозревать каждого, а он был доверчив. Верил министрам, верил великим князьям, верил всей этой льстивой челяди, которая низко кланяется, подобострастно заглядывает в глаза, а потом бежит в Аничков дворец, к императрице-матери, интриговать, высмеивать, распространять отвратительные сплетни. Теперь сплетничают, потом подошлют убийц. Народ как-нибудь обманут.

Народ боготворит царя. Но между царем и народом — Витте, Аничков, Синод, масоны, жиды, придворные, революционеры. Стена. Самое главное — разрушить эту стену. Но сразу сделать ничего нельзя. Надо еще и еще учиться искусству ждать. Надо ждать многого. Ждать охлаждения между матерью и сыном. Николай II изо дня в день приближается к этому, но связь еще очень крепка. Если сейчас идти ва-банк, неизвестно еще, кто перетянет — властная мама, запретившая когда-то жениться, или жена, теперь обожаемая, но тогда так легко оставленная по первому слову матери. Ждать, чтобы любовь мужа, нежная, даже

пылкая, стала чем-то большим, надо подменить своей его неустойчивую, колеблющуюся волю. Нельзя оставаться так, как она живет теперь,— в одиночестве среди семейного счастья, в беззащитности среди поклонения и блеска. Надо искать друзей. Хоть одного, но верного друга. Хоть одну руку, на которую можно опереться, хоть одно сердце, преданное до конца.

Путешествие на «Полярной звезде» длится три недели. Оно приятно и успокоительно. Яхта плывет вдоль берегов Финского залива, останавливаясь, где заблагорассудится пассажирам. На берегу устраиваются привалы и пикники. Царица с детьми собирает чернику, царь ищет грибы и очень доволен, что набрал больше боровиков, чем нерасторопный адмирал. Император и императрица всероссийские на время как бы перестали существовать. Есть добродушный, благовоспитанный, очаровательный гвардейский полковник и его жена, красивая, грустная дама. Они отдыхают в обществе друзей на лоне природы и, словно навсегда, забыли, что где-то есть двор, империя, династия, интриги придворных, бомбы революционеров. Если бы не серые силуэты миноносцев, конвоирующих яхту, и не странное безлюдье на берегах, заранее оцепляемых полицией,— иллюзия была бы полной.

Императрица играет с Танеевой в четыре руки. Царь находит, что у нее сонный вид, и предлагает вставить в каждый глаз по спичке, чтобы не смыкались веки. Честолюбивая Аня пьянеет, как от вина, от этой такой неожиданной и такой полной близости к царской семье. Она ни на минуту не забывает, чьи пальцы бегают рядом с ее по клавишам рояля, кто, мягко улыбаясь в рыжеватые усы, протягивает ей спичечницу с бриллиантовой монограммой. Затаив дыхание, она прислушивается и приглядывается. Она знает — перед ней шахматная доска власти, и выигрыш почти обеспечен: царица правдива и простодушна, горда и одинока — против тонкой паутины лживого обожания, притворной преданности, которую плетет вокруг нее «лучший друг», ей не устоять.

Теперь — царская яхта и Орлов, потом белый домик в Царском Селе и Распутин. Царица, царь, Россия,

война... Надо всем маячит магически-влекущая, самой Вырубовой неясная цель. К ней стремится все ее истерическое существо, к ней влечет безошибочный кошачий инстинкт,— но цель скрыта в тумане. Она станет ясней позже... спустя тринадцать лет.

Схваченная во время бегства в Финляндию, измученная, растерзанная Вырубова, лежа в кишащем вшами трюме, всю ночь слышит споры пьяных матросов — кому и как прикончить «царскую наперсницу» и придется ли рубить труп пополам, чтобы протиснуть в люк. По дикой насмешке судьбы — это трюм той самой «Полярной звезды», где началась ее близость с царицей. Понимает ли Вырубова хоть теперь, к какой страшной именно цели она стремилась, увлекая за собой царицу, царя и Россию?

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Книги Г. Иванова

В-1 — «Вереск». Вторая книга стихов. М.—Пг., «Альциона», 1916.
В-2 — «Вереск». Вторая книга стихов. Изд. 2. Берлин — Петербург — Москва, Изд-во З. И. Гржебина, 1923.
ООЦ-2 — «Отплытие на остров Цитеру». Избр. стихи 1916—1936. Берлин, «Петрополис», 1937.
ПЗ — «Петербургские зимы». Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952.
Р — «Розы». Париж, «Родник», 1931.
РА — «Распад атома». Париж, 1938.
Ст-58 — «1943—1958. Стихи». Нью-Йорк, Изд-во «Нового журнала», 1958.

Периодические издания

Арг — журнал «Аргус» (Петербург — Петроград).
Возр — журнал «Возрождение» (Париж).
Д — газета «Дни», Париж.
Зв — газета и журнал «Звено» (Париж).
ИР — журнал «Иллюстрированная Россия» (Париж).
Лук — журнал «Лукоморье» (Петроград).
Ог — журнал «Огонек» (СПб.— Пг.).
ПН — газета «Последние новости» (Париж).
Сег — газета «Сегодня» (Рига).
СЗ — журнал «Современные записки» (Париж).
Ч — журнал «Числа» (Париж).

РАСПАД АТОМА

Впервые *РА* (который один из рецензентов — В. Ходасевич — не без оснований назвал «поэмой в прозе») был опубликован отдельной книгой в Париже в 1938 г. Печатается по этому изданию. *РА* имел весьма скандальный успех и вызвал ряд недоброжелательных отзывов. Исключением в этом отношении был отзыв Д. Мережковского, а также статья В. Злобина в сборнике «Литературный смотр» (Париж, 1939), вышедшем под редакцией З. Гиппиус. Роман Гуль в письме от 14 мая 1955 г., обсуждая с Г. Ивановым свою будущую статью о его творчестве, упоминает и *РА*: «...беда в том, что у меня нет материалов. Есть только «Распад атома». Причем Вы не правы, сейчас меня не стошнило, меня стошнило гораздо раньше, когда «Распад» только что вышел. Ты опоздал на двадцать лет... и все-таки тебе я рада. Нет, без шуток, хоть и тошнит, но «Распад» — очень ценю». Однако легенду о «заговоре молчания», якобы созданном вокруг *РА* в русской зарубежной прессе, можно считать неосновательной. Это произведение Г. Иванова было переиздано на Западе в 1988 г. и переведено на несколько языков.

Композиция *РА* своеобразна и достаточно сложна. Монолог лирического героя строится по принципу музыкального произведения — фуги: несколько повторяющихся и переплетающихся между собой тем развиваются в строгом соответствии с «контрапунктом» и с неизбежностью приводят к финалу — самоубийству героя. Само название *РА* имеет двойной смысл: наряду с физическим атомом распадается и атом человеческой души. «Распад атома» у Г. Иванова становится как бы двойным синонимом смерти — и мгновенной телесной и медленной духовной. Распад души, таким образом, из абстрактного символа превращается в трагическую реальность развязки.

Одной из причин этого духовного омертвения, по Г. Иванову, является вопиющее «безобразие мира», «мировое уродство», образы которого возникают в *РА* постоянно (история «министра, подписавшего Версальский договор», и др.). Следствием «мирового уродства» становится невозможность существования искусства: «не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним». Распадается мироздание, искусство исчезает в «умиротворяющей ласке реальности» и почти уравнивается с «мусором» бытия. Идея невозможности искусства как бы подтверждается скрытыми цитатами из Бёме, Ницше, Чаадаева.

В век «распада атома» духовные ценности «прежнего мира» обесцениваются и вульгаризируются. Размышления лирического

героя о любви воспринимаются как предельно огрубленное преломление в «современном» сознании библейской Песни песней. Повторяются парафразы темы «утраченной любви» и бессмысленных суррогатных замен ее (на разных уровнях — физиологическом, метафизическом и т. д.). Отметим характерную в этой связи деталь: мысли о Боге у героя *РА* соседствуют с эротикой на крайней грани физиологии.

В *РА* Г. Иванов остался верен некоторым принципам построения *ПЗ* и «Третьего Рима»: реальные лица живут в одном мире с вымышленными персонажами, сон граничит с явью. Эти два состояния вообще находятся в *РА* в постоянной связи, обусловленной их взаимопроникновением. Явь и сон, память и забвение неразличимы для героя *РА* (кстати, отметим его «сниженность» по отношению к автору, подчеркиваемую грубо искаженными хрестоматийными цитатами). Контрастное мироощущение (Бог и Эрос, сон и явь, свет и тьма и т. д.) чрезвычайно характерно для безымянного персонажа Г. Иванова.

С этим связана одна из важнейших тем *РА* — тема всеразрушающего времени. Воплощением этого «времени распада атома» является «скорость тьмы», данная. видимо, не как антитеза эйнштейновской скорости света (хотя возможно и такое толкование), но как символ рухнувшего мироздания, неумолимо приближающейся смерти героя, кончающего «праздновать свои именины» вполне в духе экзистенциализма Сартра и Камю.

Стр. 6. *...в моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна.* — Может быть, наиболее ясно сформулированное творческое кредо Георгия Иванова (правда, от лица вымышленного лирического героя).

Одно из свойств мирового уродства — оно представительно. — Ср. «представительность» вождя русских фашистов в Берлине Бермонта-Авалова в очерке «По Европе на автомобиле».

Стр. 7. *Сладковатый тлен... преследует меня, как страх.* — Ср. со сценой вдыхания эфира в романе «Третий Рим».

Но что они понимали в жалком и страшном — они, верившие в слова и смысл, мечтатели, дети, незаслуженные баловни судьбы! — Имеется в виду трагическая участь русской эмиграции. Г. Иванов неоднократно пытался осмыслить ее и позднее. Его ст-ние «Как вы когда-то разборчивы были...» (*Ст-58*, см. т. 1 наст. изд.) — наиболее яркий пример дальнейшего развития этой темы.

Стр. 8. *...в каждое, особенно русское сознание.* — Мысли автора *РА* навеяны первым «философическим письмом» П. Я. Чаадаева (ср. рассуждения последнего о добродетели), что особенно проявлено В. Злобиным в указанной выше рецензии: «И все же сорвать покров с человеческой души в иных случаях надо, поступившись всеми ее священными правами... хотя бы для того, чтобы стала наконец явной та «неземная» добродетель, которую не прошибешь ничем и на которой, как на благодатной почве, всходит пышным цветом «мировое уродство». Мир погибает не только от злодеев, но и от праведников».

Стр. 9. *«Горе победителям».*— Г. Иванов «переворачивает» латинское изречение «Vae victis» — «Горе побежденным».

...чувствую, как тепло или свет, умиротворяющую ласку банальности.— Ср. со ст-нием «Я люблю безнадежный покой...» (*Ст-58*).

Стр. 10. *По синим волнам океана...*— цитата из баллады И.-Х. фон Цедлица (1790—1862) «Воздушный корабль» в вольном переводе М. Ю. Лермонтова.

Часть, ставшая больше целого...— Ср. одно из основных утверждений средневекового философа-мистика Мейстера Экхарта (1260—1327/28): «Я был сам своей первопричиной и первопричиной всех вещей». «Проповеди» Экхарта неоднократно издавались в России (см., напр., «Проповеди и рассуждения». М., 1912).

Догадка, что книги, искусство — все равно что описания подвигов и путешествий, предназначенные для тех, кто никогда никуда не поедет и никаких подвигов не совершит.— Ср. рассказ К. Случевского «На вокзале». Возможен также намек на романтическую поэзию Н. Гумилева, в частности на ст-ние «Мои читатели» (сб. «Огненный столп»).

...под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнивших эпох.— Неожиданная перекличка с Б. Пастернаком, в ст-нии которого «Марине Цветаевой» (〈1929〉) мысль о взаимосвязи человека и эпохи выражена с помощью удивительно похожей метафоры: «Потомки скажут, как про торф: // Горит такого-то эпоха».

Стр. 12. *«О ты, последняя любовь...»* — из ст-ния Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1853?).

Стр. 16. *Блаженны спящие, блаженны мертвые* — перефразировка слов Христа из Нагорной проповеди (*Матф.*, 5). Мрачная ирония этой фразы заставляет вспомнить сходные выражения Ницше в книге «Так говорил Заратустра» (1885).

Стр. 17. *«В руках его мертвый младенец лежал»* — цитата из баллады И.-В. Гёте «Лесной царь» (1782) в переводе В. А. Жуковского, но также и отсылка к упомянутому выше «спирту-младенцовке».

Стр. 18. *Я хотел бы начать издалека — с синего платья...*— Это «синее платье» упоминается и в «Третьем Риме» (синее платье Золотовой). Синий цвет для Г. Иванова становится знаком льда, «равнодушной природы», того прекрасного, но гибельного «сияния», о котором так часто говорит он в своей поэзии эмигрантского периода.

«На холмы Грузии легла ночная мгла...» — О намеренно неточном цитировании в *РА* не только Пушкина, но и (ниже) Крученых см. предисловие к наст. изд. (т. 1).

Стр. 20. *...средь шумного бала...*— начало ст-ния А. К. Толстого (1851).

Отомстить благополучному миру — повод безразличен.— Ср. мысли Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», гл. «Бунт») и одновременно — рассказ безымянного русского «наци» из очерка «По Европе на автомобиле» (гл. VI).

Даже зверьки волновались...— Рассказ о «зверьках» (см. комм. к «Посмертному дневнику», ст-ние X) возникает в *РА* как бы из ничего и отчасти в виде антитезы всему сюжету «поэмы в прозе».

Стр. 21. *...их по пятницам приходит мыть и стричь белая лошадь.*— Редкий для Г. Иванова пример символизации. Как правило, его символы лишены образной патетики: ими оказываются обыденные предметы, фантастические («размахайчик») или реальные живые существа. Так, белая лошадь из «Распада атома» позднее становится знаком бессмысленной судьбы в ст-нии «Белая лошадь бредет без упряжки...» *(Ст-58)*.

Стр. 22. *«Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой»* — цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Город пышный, город бедный...» (1828).

Стр. 24. *Линдберг* Чарльз (1902—1974)—американский летчик, первым в 1927 г. совершивший перелет через Атлантический океан.

Монтерлан Анри де (1896—1972)—французский писатель и драматург.

Стр. 26. *«Человек начинается с горя»*—цитата из ст-ния А. В. Эйснера (1905—1984) «Надвигается осень. Желтеют кусты...» (*СЗ*, 1932, № 49).

«Жизнь начинается завтра»—название одного из произведений итальянской писательницы Матильды Серао (1856—1927), широко известной в России в начале XX в.

Стр. 28. *Тампль*—парижский квартал.

«Он был титулярный советник, она—генеральская дочь...»— начальные строки ст-ния П. И. Вейнберга (1831—1908). Со второй половины XIX в.— популярный романс.

Стр. 29. *Генеральская дочка, Психея...*— Этот эпизод с «генеральской дочкой», приходящей в присутствие к отцу, восходит не к «Шинели», как вся «гоголевская» линия *РА*, а к «Запискам сумасшедшего».

Стр. 30. *«Красуйся, град Петров, и стой»*—цитата из «Медного всадника» А. С. Пушкина (1833).

Петра выпотрошат из гроба...— См. сходную сцену в очерке «По Европе на автомобиле», где Иванов описывает подобное же издевательство солдат над останками герцога Бирона.

...ничего, не провалится Петропавловский собор...— как бы скрытая ссылка на строки Н. Гумилева из ст-ния «Мужик» (1917): «Как не погнулись—о горе!—// Как не покинули мест // Крест на Казанском соборе // И на Исакии крест?»

Стр. 32. *Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя?*— Возможно, здесь невольная перекличка с эпизодом из романа Германа Гессе «Степной волк» (1927). Герой романа Гессе—Гарри Галлер—убивает свою возлюбленную Гермину, имя которой анаграмматически связано с латинским anima—душа—и одновременно представляет собой «женский» вариант имени автора романа— Герман.

Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?—Ср. со ст-нием «Пушкина, двадцатые годы...» (раздел «Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники»)—см. т. 1 наст. изд.

Стр. 34. *«...это вашего высокоподбородия не кусается».*— В письме Роману Гулю от 29 июля 1955 г. Г. Иванов писал: «Атом должен был кончаться иначе: «Хайль Гитлер, да здравствует отец народов Великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!» Выбросил и жалею».

ТРЕТИЙ РИМ

Первая часть романа впервые опубликована в *СЗ*, 1929, № 39, 40. Отрывки из второй, неоконченной части помещены в *Ч*, 1931, № 2/3. Печатается по этим публикациям.

Действие романа происходит в 1916 г. (первая часть), весной 1917 г. (вторая часть) в Петрограде. «Отравленная» атмосфера жизни «высшего света» и «полусвета» осмыслена Г. Ивановым и иронически и глубоко трагически. Видимо, «Третий Рим» для Г. Иванова служит некоей антитезой *ПЗ:* работа над этим романом шла или параллельно подготовке первого издания *ПЗ*, или, что более вероятно, воспоследовала прямо за нею. Антитеза усилена еще и тем, что «ирреальная поэзия» псевдомемуаров противостоит «мертвой реальности» судеб вымышленных героев, которые во второй части один за другим исчезают из романа. В этом смысле интересно присутствие среди персонажей «Третьего Рима» лиц вполне исторических, хотя и не названных по именам (Кузмин, Клюев, Распутин). Название романа — символ могущества России — восходит к православным (особенно славянофильским) истокам — правда, под «третьим Римом» обычно подразумевалась Москва,— действие же романа происходит накануне крушения «Третьего Рима».

Эпиграф к роману взят из второго стихотворения И. Анненского в цикле «Июль» («Тихие песни», СПб., 1904). Многие его мотивы получают развитие в «Третьем Риме»: «Не страшно ль иногда становится на свете?..» соотносится с постоянным страхом, который испытывают герои романа; «луч отвесный» — с «неземным» светом в сцене вдыхания эфира; «чадное смешенье // Всклокоченных бород и рваных картузов» напоминает заведение, куда попадает во второй части Штейер; наконец, «каких-то диких сил последнее решенье» связано у Г. Иванова с темой распутинщины и гибели России.

Стр. 36. *Звали его Юрьев, Борис Николаевич...*— Фамилия героя, видимо, произведена от имени автора, хотя сам он с Георгием Ивановым имеет мало общего. Имя и отчество героя тоже «литературны»: Борис Николаевич — подлинное имя Андрея Белого (Б. Н. Бугаев); фамилию Юрьев носил также известный актер Александринского театра и посетитель «Бродячей собаки» (Ю. М. Юрьев, 1872—1948). Сам Г. Иванов нередко печатался под псевдонимами Юрий Владимиров и Георгий Владимиров.

...русский, т. е. не совсем то, что настоящий европеец...— Общее место «западнического» сознания; возможно, здесь

вульгаризованная перефразировка первого «философического письма» П. Я. Чаадаева: «...мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода».

Стр. 37. *Прожить до двадцати шести лет...*— Юрьев является почти ровесником Г. Иванова, которому в 1916 г. было 22 года. Ср. также возраст и «образ жизни» Евгения Онегина: «Дожив без цели, без трудов // До двадцати шести годов...» («Евгений Онегин», гл. 8, XII).

«Когда я был в Правоведении...»— Училище Правоведения считалось весьма престижным учебным заведением. Может быть, «правоведческое» образование Юрьева, по Г. Иванову,— повод напомнить «Петербургские строфы» О. Мандельштама (1913), где «правовед опять садится в сани, // Широким жестом запахнув шинель». (Недаром в третьей строфе этого ст-ния упомянута «Онегина старинная тоска».)

Стр. 38. *Особняк принадлежал Ванечке Савельеву...*— Описания особняка Савельева и дома на Каменноостровском в эссе «Петербургское» во многом сходны (см. т. 3 наст. изд.).

Стр. 39. *Если бы она и не приехала, застряв в «Аквариуме» или в «Вилле Родэ»...*— Упоминаются известные в то время петербургские рестораны.

Стр. 41. *...могущественной газеты, веленевый экземпляр которой разворачивает утром сам Император...*— Вероятно, имеется в виду газета «Русская воля» (1916—1917), прогерманская по направленности (за что ее критиковали справа и слева) и провокационная по своему характеру: к участию в ней пытались привлечь крупнейших оппозиционных литераторов, в то время как инициатором ее издания был министр внутренних дел царского правительства А. Д. Протопопов (1866—1918) и издавалась она с ведома Распутина.

Стр. 43. *...светлейший князь Вельский.*— Со второй половины XIX в. титул «светлейший князь» присваивался «за заслуги», обладатели его не относились к старинному дворянству. Об этом говорит и как бы «усеченная» фамилия Вельского — такие давались незаконным детям. Сочетание «князь Вельский» иронически перекликается с «принц Уэльский», однако сам Вельский настроен прогермански. Фамилию Вельский носил также сотрудник рижской газеты «Сегодня», в которой Иванов в 1929—1930 гг. печатался.

Стр. 45. *...ее узкого, голубого, напоминающего лед платья.*— Ср. «голубое» (чаще «синее») платье в *РА*.

Со второго этажа слышался рояль и томные вопли модного мелодекламатора.— Возможно, подразумевается М. Кузмин, «приметами» которого («эстет, поэт, композитор, носящий жилетку и пенсне») Г. Иванов наградил также и Ванечку Савельева.

Стр. 47. *«Господи, я и не знал, что она так некрасива...»* — из ст-ния И. Анненского «Прерывистые строки» (1909).

Стр. 48. *Было только ледяное, сияющее пространство...*— Ср. многочисленные упоминания мистической соотнесенности света

и холода в книге Я. Бёме «Аврора, или Утренняя Заря в восхождении» (рус. пер.— 1913).

Стр. 49. *...никакого вкуса — ни сладости, ни горечи, ни холода, ни тепла.*— У Я. Бёме, соотносившего свойства тел с теплом и холодом, встречаются такие выражения, как «холодная горечь», «теплая сладость» и т. д.

Стр. 51. *И в «Петербургской» и в «Листке»...*— «Петербургская газета» (1901—1916) и «Петербургский листок» (1901—1916) — ежедневные газеты.

Стр. 54. *«Новое время»* — крайне левая газета, издававшаяся в 1912—1917 гг. М. А. Сувориным (1860—1936). Правительство пыталось возложить на нее провокационные задачи, которые в дальнейшем стала выполнять «Русская воля».

«Речь» — либеральная газета, издавалась в 1906—1918 гг.

Стр. 55. *...«джетаторе»...* (искаженное *итал.* giettatore) — человек с «дурным глазом»; во времена Распутина при дворе Николая II процветали суеверия (особенно хлыстовские).

Стр. 56. *...к сорока пяти годам своей жизни...*— А. Д. Протопопову, вероятному прототипу Вельского, в 1916 г. было 50 лет.

Стр. 58. *Меттерних* (Меттерних-Виннебург) Клеменс (1773—1859) — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер Австрийской империи в 1821—1848 гг. Во время Венского конгресса в январе 1815 г. подписал секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии.

Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис (1754—1838) — министр иностранных дел Франции при Директории (1797—1799), в период Консульства и Наполеона I (1799—1807), при Людовике XVIII (1814—1815). Глава французской делегации на Венском конгрессе 1814—1815 гг. Один из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги.

Отенский епископ — Талейран.

Стр. 59. *...пононшалантней...*— понебрежней (от *фр.* nonchalant).

Вельский, высоко неся голову и как-то особенно держа плечи (он перенял эту понравившуюся ему манеру у одной царствующей особы)...— намек на кайзера Вильгельма II.

Стр. 61. *Лицеист Курдюмов...*— Г. Иванов использует фамилию реального лица, поэта В. Курдюмова (о нем подробно в комм. к ст-нию «Мы скучали зимой, влюблялись весною...» из *В-2* — см. т. 1 наст. изд.).

Стр. 64. *«Самофракийская победа»* — древнегреческая статуя из Лувра.

Стр. 68. *«Дней Александровых прекрасное начало...»* — из ст-ния А. С. Пушкина «Послание цензору» (1822).

Стр. 73. *...выпить цианистого калия...*— Ср. со ст-нием Г. Адамовича, вынесенным в эпиграф к ст-нию Г. Иванова «Как вы когда-то разборчивы были...» *(Ст-58)*,— см. комм., т. 1 наст. изд.

...Юрьев взял со стола серую тетрадь «Аполлона». Книжка была сентябрьская.— В этом номере (август-сентябрь, 1916) была

напечатана статья Г. Иванова «О новых стихах» (см. т. 3 наст. изд.). Намекалось и на то, что именно в сентябре 1916 г. А. Д. Протопопов (один из прототипов Вельского) стал министром внутренних дел царского правительства.

Стр. 82. *Вежеталь* — ароматическое вещество из трав.

Стр. 85. *...в здании Армии и Флота...* — Речь идет о здании бывшего Офицерского собрания армии и флота.

Н. Герлен — название известной парфюмерной фабрики.

Стр. 86. *«Ключи счастья»* — роман А. А. Вербицкой (1861—1928), в котором писательница призывала к «освобождению плоти» (1909).

Стр. 87. *...Карамзин: «о щастливые, щастливые швейцары...»* — измененная цитата из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина (письмо 49).

Стр. 88. *«...так что я пока в безопасности».* — В словах Штальберга — отзвук рассуждений героини Ф. М. Достоевского Лизы Хохлаковой («Братья Карамазовы», гл. «Бесенок»).

Марья Львовна Палицына — отчасти прототипом этого персонажа послужила Анна Александровна Вырубова (1884/85 — после 1929) — «сестра во Христе» императрицы, в 1905 г. ставшая фрейлиной свиты. Однако героиня Г. Иванова, несомненно, старше Вырубовой.

Стр. 93. *...ее отцу, знаменитому царедворцу...* — Отец А. А. Вырубовой — потомственный царедворец А. С. Танеев, статс-секретарь, обер-гофмаршал двора, член Государственного совета, главноуправляющий царской канцелярией. См. «Дневник Вырубовой» («Минувшие дни», 1928, № 1—4). Эта публикация была литературной мистификацией, о чем, видимо, знал Г. Иванов.

Стр. 95. *...либеральный великий князь...* — видимо, вел. кн. Николай Николаевич (1856—1929), репутация которого была двойственной: по словам С. Ю. Витте, он свел царя с «Союзом Русского Народа» и он же содействовал изданию манифеста 17 октября 1905 г. См. предисловие к «Дневнику императора Николая II» (Берлин, 1923).

...один «мистический анархист»... — может быть, поэт Г. Чулков, создавший теорию «мистического анархизма» (ок. 1905), но, возможно, речь идет о поэте С. Городецком (о них см. подробно комм. к *ПЗ* — т. 3 наст. изд.). В 1907 г. в альманахе «Факелы» (кн. 2) была напечатана статья С. Городецкого «На светлом пути», в которой Городецкий заявлял: «Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе?»

Стр. 97. *«Хам в поддевке»* — несомненно, поэт Н. Клюев (о нем см. в гл. VII *ПЗ* — т. 3 наст. изд.).

Стр. 101. *...какая была бы гаффа...* — т. е. непростительная ошибка, конфуз (от *фр.* gaffe).

Стр. 104. *...очень много сластей и вино, тоже все сладкое и крепкое...* — «Сладкое вино» — возможно, мадера, любимое вино Распутина, который, очевидно, был ставленником многомиллионной секты хлыстов, добивавшейся превращения хлыстовства едва ли не в государственную религию России. (Об исступленной любви

хлыстов к сладкому см.: Буткевич Т. И. Обзор русских сект и их толков. СПб., 1915.)

Стр. 105. *И лакей, и шапка, и лысая морда лошади значили одно — гибель России.*— Человек в шубе и боярской шапке — Григорий Распутин, становящийся в «Третьем Риме» живым символом погибающей России. Характерно, что Распутин появляется в романе незадолго до своей собственной реальной гибели (17 декабря 1916 г.) — и становится очевидна бессмысленность всех деяний, заговоров и «умышлений» героев «Третьего Рима».

Стр. 108. *...нового демократического министра...*— Имеется в виду военный министр первого состава Временного правительства А. И. Гучков (1862—1936).

Стр. 110. *«Вот тут, ваша светлость, как раз нашли Григория Ефимовича...»* — Речь идет о Г. Е. Распутине.

Стр. 111. *Идут мужики и несут топоры...*— цитата из первой главы «Бесов» Ф. М. Достоевского. Характерно, что Вельский имени Достоевского вспомнить не может: любимый прием Г. Иванова (см. предисловие — т. 1 наст. изд.).

Стр. 112. *«Ла донна мобиле»* — начало песенки Герцога из оперы Верди «Риголетто» («Сердце красавицы...»).

«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...» — из ст-ния А. С. Пушкина «Нереида» (1820).

Стр. 116. *...за роялем известный поэт...* — почти без сомнения, имеется в виду М. Кузмин.

Стр. 132. *Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил...*— цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 8, II).

Георгий Мосешвили

РАССКАЗЫ

При жизни Георгия Иванова не было издано ни одного сборника его рассказов. Однако еще весной 1914 г., выпуская в свет сборник стихотворений, Г. Иванов сообщал о подготовке к печати книги рассказов. Названия рассказов перечислялись: «Теребливое дитя», «Приключение по дороге в Бомбей», «Петербургская осень», «Разговор попугаев». Но книга света не увидела, хотя в объявлении, приложенном к вышедшему в 1916 г. *В-1* и было сказано, что первая книга рассказов Г. Иванова *печатается*. Там же сообщалось, что в печати находится его повесть «Венера с признаком», которая также не была издана и о которой в данный момент ничего не известно.

Однако к настоящему времени в периодической печати 1914—1917 гг. *(Арг, Лук, Ог)* разыскано более десятка ранних рассказов Г. Иванова: восемь из них присутствуют в нашем издании, остальные, значительно более слабые — «Приключение по дороге в Бомбей», «Холодильники в Оттоне», «Белая лошадь», «Князь Карабах»,

«Перстень красной меди», «Хромой антиквар»,— оставлены «в архиве». О рассказе «Князь Карабах», впрочем, см. подробней в комм. к рассказу «Настенька». Таким образом, первый период писания рассказов в жизни Г. Иванова длился только четыре года. Второй оказался длинней и плодотворней. Он открылся рассказом «Жизель» в начале 1929 г. и закончился публикацией рассказа «Карменсита» в 1934 г. В эти годы Г. Иванов печатал рассказы в *ИР* и *Сег*; все семь рассказов этого периода воспроизведены в настоящем издании — кроме очередных версий рассказа «Князь Карабах». Последний раз Георгий Иванов обратился к жанру рассказа в 1950 г., когда стал постоянным сотрудником издававшегося в Париже журнала «Возрождение», для которого и был тогда написан последний рассказ «Настенька», представляющий в новом виде версию все того же «Князя Карабаха». Нами не воспроизводятся ранние варианты текстов; кроме того, нет уверенности, что составителям известны *все* сохранившиеся рассказы Г. Иванова. Наконец, многие воспоминания Г. Иванова по жанру вполне могли бы рассматриваться как беллетристика — именно в жанре рассказа,— но с этими произведениями читатель познакомится в т. 3 наст. изд.: рассказы Г. Иванова, как и его художественная проза в целом, свободны от выдумки — ему, как писателю, всегда нужны были реальные прототипы.

Наиболее полным до настоящего времени собранием рассказов Г. Иванова было издание: Иванов Георгий. Мемуары и рассказы. М., «Прогресс»; Париж — Нью-Йорк, «Третья волна», 1992; сост. В. Крейд. Издание это, вместившее тринадцать рассказов, непоправимо испорчено тем, что в нем целиком опущен справочный и библиографический аппарат.

Хотя сам Г. Иванов не датировал своих рассказов, составители посчитали уместным в данном издании в угловых скобках проставить под рассказами даты их первых публикаций. Сделано это для того, чтобы читатель, еще не заглянув в комментарий, мог сразу сориентироваться, где перед ним образцы раннего творчества Г. Иванова и где произведения Г. Иванова — зрелого мастера.

Губительные покойники (стр. 136).— Впервые — *Арг*, 1914, № 18, с илл. А. Гранди. *Арг* был изданием явно коммерческим, без определенного направления, однако издатель-редактор Василий Регинин сумел привлечь к сотрудничеству видных писателей и художников. В *Арг* печатались А. Аверченко, Л. Андреев, А. Ахматова, С. Городецкий, А. Грин, Н. Гумилев, М. Кузмин, О. Мандельштам, В. Нарбут, А. Ремизов, Ф. Сологуб, К. Чуковский и др. Ведущим жанром в журнале был именно рассказ, хотя печатались и стихи, в том числе стихи Г. Иванова.

Монастырская липа (стр. 142).— Впервые — *Лук*, 1915, № 42. О *Лук* см. т. 3 наст. изд., очерк «Эртелев переулок» и комм. к нему. Имя Г. Иванова появлялось на страницах журнала особенно часто — за это, по словам жены писателя И. Одоевцевой, его даже прозвали «маститый лукоморец». Многие ст-ния Г. Иванова, увидевшие свет на страницах *Лук*, не вошли поздней ни в один из

авторских сборников поэта. Некоторые ст-ния Г. Иванова подписаны в *Лук* псевдонимом Г. Владимиров.

Заметные в рассказе элементы стилизации, особенно в письмах главного героя своему другу Борису, появились у восемнадцатилетнего Г. Иванова под влиянием рассказов Бориса Садовского и личного знакомства с этим писателем. От Садовского же — интерес к эпохе Николая I. В предреволюционные годы Г. Иванов неоднократно посвящал его произведениям свои рецензии, а позднее часто возвращался к Садовскому в мемуарных очерках. Садовскому было посвящено одно из ст-ний Г. Иванова в сб. «Памятник славы» (1915).

Дальняя дорога (стр. 154).— Впервые — *Арг*, 1916, № 6.

Черная карета (стр. 164).— Впервые — *Арг*, 1916, № 7, с илл. А. Гранди.

Трость Бирона (стр. 173).— Впервые — *Ог*, 1916, № 34, с илл. В. Сварога. Публикация крайне небрежна, изобилует опечатками и несогласованностями; к примеру, датой находки трости названа ночь с 27 на 28 сентября, а датой смерти Брайтса — когда он гибнет «по уговору» — 27 октября. Предпоследняя фраза рассказа восстановлена по догадке, т. к. в публикации, очевидно в связи с пропуском строки, была лишена смысла. «Трость Бирона» — рассказ в «готическом жанре», восходящем к традициям XVIII в., недаром эпитет «странный» встречается в нем более десятка раз, порой дважды в одном предложении.

Стр. 174. *...где, по словам поэта, «окна сторожит глухая старина»...* — цитата из ст-ния Г. Иванова «Тучкова набережная» (см. т. 1 наст. изд., раздел «Стихотворения, исключенные из авторских сборников»). Многие мотивы этого ст-ния перешли в рассказ.

...дворец Бирона... — О личности герцога Бирона см. подробно в комм. к циклу очерков «По Европе на автомобиле».

Стр. 175. *Домье* Оноре (1808—1879) — французский график и живописец.

Карачаевский особняк (стр. 183).— Впервые — *Арг*, 1916, № 9, с илл. П. Бучкина.

Акробаты (стр. 190).— Впервые — *Арг*, 1917, № 9/10, с илл. Б. Антоновского. Эпиграф взят из ст-ния Анны Ахматовой «Меня покинул в новолунье...» (1913).

Остров надежды (стр. 200).— Впервые — *Лук*, 1917, 14 янв.

Жизель (стр. 212).— Впервые — *ИР*, 1929, № 2. В слегка измененном виде под названием «Эллис» рассказ появился в печати еще раз в 1933 г. в *Сег*. В «Эллис» в самое начало добавлен короткий абзац: «В странном и жутком рассказе Тургенева женщина-призрак, отнимающая у своего возлюбленного капля по капле кровь и жизнь, на вопрос, как ее зовут,— отвечает: я — Эллис».

Стр. 213. *...в «ясном, беспощадном свете дня»...* — искаженная цитата из ст-ния А. Блока «Перед судом» (1915). У Блока: «В резком, неподкупном свете дня».

Стр. 215. *В знаменитой атаке под Танненбергом погиб цвет русской гвардии.* — Танненберг — ныне г. Стембарк в Северной

Польше — место проведения неудачной для русской армии под командованием генерала А. В. Самсонова Восточно-Прусской операции (авг.-сент. 1914 г.). Позже эту операцию, в которой действительно понесли большие потери гвардейские части, нередко называли «самсоновским котлом».

«...Зеленая звезда,— воды и неба брат...» — неточно цитируется ст-ние О. Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918). У Мандельштама:

О, если ты, звезда,— воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Стр. 216. *...тонкая смесь, где и египетский табак, и дух контрразведки, и Ориган, и Герлен, и кровь...*— Ср. с предложением в романе «Третий Рим»: «Это была тонкая смесь, где было всего понемногу: Н. Герлен, и дух контрразведок, и египетский табак, и кровь...» Видимо, рассказ «Жизель» явился ответвлением романа «Третий Рим», фрагментом, переработанным в отдельный рассказ.

Стр. 217. *Падеревский* Игнаций Ян (1860—1941) — польский пианист, композитор и политический деятель, в восемнадцатилетнем возрасте ставший профессором Варшавской консерватории, в 1919 г.— первым главой польского правительства.

Стр. 218. *В 1923 году, зимой, я... оказался в Германии.*— В большинстве рассказов Г. Иванова просматриваются факты его собственной биографии. С осени 1922 г. до осени 1923 г. он жил в Германии.

...нахт-локалям...— ночным ресторанам (от *нем.* Nachtlokal).

Стр. 219. *...за табльдотом.*— За общим столом (от *фр.* table d'hôte).

«Не знаю, долог ли был сон...» — цитата из ст-ния Ф. И. Тютчева «Еще шумел веселый день...» (〈1829〉, 1851).

Четвертое измерение (стр. 221).— Впервые — *ИР*, 1929, № 214. В 1934 г. Г. Иванов вновь опубликовал этот же рассказ в *Сег* под заглавием «Необъяснимое» с подзаголовком «Пережитые таинственные случаи» — т. е. рассказ лишь по прошествии нескольких лет был опубликован как очерк — лишнее доказательство того, что для Г. Иванова между его мемуарами и беллетристикой четкой границы не существовало.

Стр. 221. *...посетители Дома литераторов...*— Дом литераторов в Петрограде открылся 1 декабря 1918 г. Председателем Дома был академик Н. А. Котляревский, членами руководящего комитета — А. Блок, Ф. Сологуб, Н. Гумилев, В. Ходасевич, Б. Эйхенбаум, А. Ремизов, А. Амфитеатров, А. Ахматова и др. Сотни литераторов, журналистов и членов их семей приходили сюда получить по государственной цене жидкую пшенную кашу, согреться в отапливаемых помещениях, увидеться со знакомыми. В ноябре 1921 г. в парижских «Последних новостях» было опубликовано письмо из России, рассказывающее о буднях этого Дома: «Люди, приходящие в «Дом» кормиться, производят тяжелое впечатление: жадные, грязные, опустившиеся внешне, с потухшими глазами. Для публики, для

внешнего декорума «Дом» устраивает лекции...» Зимой 1919 г.— время действия рассказа — положение Дома литераторов усугублялось отсутствием топлива; как говорилось в письме администрации, направленном в исполком Петросовета, «многие литераторы, имеющие литературные заказы от Государственного издательства и других учреждений, лишены возможности работать».

Стр. 227. *Осенью 1923 года, перед самым моим отъездом из Берлина во Францию, поэт О. позвал меня на новоселье.*— Прожив в Берлине один год, Г. Иванов осенью 1923 г. переехал в Париж. Поэт О.— видимо, Николай Оцуп, с которым Иванов часто встречался, живя в Берлине.

Невеста из тумана (стр. 231).— Впервые — *Сег*, 1933, № 229 и 231.

Стр. 234. *«Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастна по-своему».*— Г. Иванов неточно цитирует начало романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Любовь бессмертна (стр. 245).— Впервые — *Сег*, 1933, № 285 и 287. Образ героя рассказа, князя М., очевидно, списан с реального прототипа: его дом на Французской набережной в Петрограде посещают в 1914—1915 гг. М. Кузмин, Вяч. Иванов, А. Ахматова, Н. Врангель. Автобиографическая подробность в этом рассказе — поездка в «глухой городок Псковской губернии»; зимой 1920 г.— время действия рассказа — Г. Иванов действительно ездил в г. Новоржев Псковской губернии к Г. Адамовичу, который поселился там в начале 1919 г. и работал преподавателем в местной школе.

Стр. 249. *...замороженный Редерер...*— сорт шампанского.

...что думал Оскар Уайльд о манере Барбэ д'Оревильи повязывать галстук.— Уайльд Оскар (1854—1900) — английский писатель. Оревильи Жюль Амеде де (1808 — 1889) — французский писатель, принадлежавший к поздним романтикам, автор получившей широкую известность книги «О дендизме и Джордже Бреммеле» (1845, рус. пер.— 1912).

Стр. 250. *Камоэнс* Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт.

Стр. 251. *Клевер* Юлий Юльевич (1850—1924) — художник. В начале века его живопись пользовалась популярностью и в то же время нередко воспринималась как чуть ли не эталон дурного вкуса.

Стр. 252. *...«все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».*— Цитата из ст-ния М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840).

Веселый бал (стр. 255).— Впервые — *Сег*, 1934, № 6—7. Бал, о котором говорится в рассказе, действительно был дан в начале января 1921 г. в Доме искусств на Мойке. На нем присутствовали, в частности, Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Лозинский, Вс. Рождественский, Г. Иванов, И. Одоевцева. Об этом бале писали многие мемуаристы, например И. Одоевцева в книге «На берегах Невы», Вс. Рождественский («Нева», 1969, № 1) и Н. Павлович («Блоковский сборник», Тарту, 1964). В воспоминаниях Н. Павлович этот бал датируется 11 января.

Стр. 257. *...Василий Князев, бывший сатириконец.*— Князев Василий Васильевич (1887—1938) — поэт-сатирик. С 1908 г. публиковался в «Сатириконе», позднее — в «Новом Сатириконе». С начала 1918 г.— активный сотрудник большевистской прессы. Автор «Красного Евангелия» и др. антирелигиозных произведений. Репрессирован.

Стр. 259. *«Держи, если можешь, она улетает...»* — слегка измененная автоцитата из ст-ния «Как лед, наше бедное счастье растает...» (сб. *Р*).

Стр. 260. *«Вы не знаете по-русски...»* — цитата из ст-ния А. Блока «Сквозь винный хрусталь» (1907, цикл «Снежная маска»).

Стр. 263. *Я мысленно выругал Вл. Пяста...*— Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт.

Аврора (стр. 265).— *Сег*, 1934, № 91. «Аврора» представляет собой переделку, причем незначительную, ранее печатавшегося рассказа «Василиса» (см.: *ИР*, 1929, № 225). В рассказе использован ряд реалий, объяснение каковым можно найти в мемуарах Г. Иванова, например в одном из очерков цикла «Китайские тени» (*Зв*, 1926, № 164), помещенном в т. 3 наст. изд.

Стр. 266. *...«прекрасна, как ангел небесный»... «как демон, коварна и зла»...*— цитата из ст-ния М. Ю. Лермонтова «Тамара» (1841).

Стр. 268. *«Пупсик»* — популярная песенка начала века.

Стр. 272. *«Цыпленок», «Кирпичики», «Бублики»* — популярные песенки.

Карменсита (стр. 276).— *Сег*, 1934, № 179. В раннем варианте рассказ назывался «Дама с бельведера» и был опубликован в *ИР*, 1929, № 33. Название рассказа основано на следующем отрывке из «Дамы с бельведера»: «Какая-то не то Зарема, не то Кармен,— мелькнуло у меня в голове, и, точно отвечая на мою мысль, она поднесла к губам стебель астры, которую держала в руке, и сжала его кончиками белых мелких зубов,— совсем как *Карменсита* розу» (выделено мной.— *В. К.*). О времени, описываемом в начале рассказа, Г. Иванов рассказал в одном из очерков цикла «Китайские тени» (*Зв*, 1926, № 164) — см. т. 3 наст. изд.; соответствующая глава в этом очерке начинается словами: «Осенью 1920 года я жил в «доме отдыха» в Петергофе».

Стр. 276. *...с знаменитым тридцать третьим купоном на гроб...*— О тридцать третьем купоне на гроб и его «изобретателе» см. мемуарный очерк Г. Иванова «Анатолий Серебряный» — т. 3 наст. изд.

Стр. 278. *...за кажущимся черным скалистым островом Кронштадт...*— Остров называется Котлин.

...на золотом куполе Исаакия.— Речь об Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.

...бронзовые кони и всадники Клодта...— Клодт Петр Карлович (1805—1867) — скульптор. Наиболее известны его четыре конные группы, установленные на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Стр. 280. *...в нескольких милях от страшного Кронштадта и немногим дальше от не менее страшной Гороховой...*— Имеются

в виду Кронштадтский мятеж (1920) и известная тюрьма на Гороховой улице в Петрограде. О ней см. подробней в очерке Г. Иванова «С балетным меценатом в ЧК» — т. 3 наст. изд.

Настенька (стр. 285).— *Возр*, 1950, № 12. Сюжет рассказа варьирован Г. Ивановым по меньшей мере четыре раза: впервые в рассказе «Князь Карабах» (*Лук*, 1916, № 41), затем в его варианте под названием «Генеральша Лизанька» (*ИР*, 1931, № 446), позднее — снова под названием «Князь Карабах» в *Сег* (1933, № 229) и, наконец, под названием «Настенька» — в *Возр*. «Настенька» текстуально ближе к «Князю Карабаху», чем к «Генеральше Лизаньке». Героине возвращено имя Анастасия (в «Князе Карабахе» — Анет). Место действия перенесено в «Р-й» уезд Ковенской губернии, т. е. на родину автора. О реальных прототипах этой истории можно найти некоторые сведения в книге И. Одоевцевой «На берегах Сены» (М., 1989). Одоевцева пишет о «двоюродной бабушке Юры (т. е. Г. Иванова, мужа Одоевцевой.— *В. К.*), очаровательной тоненькой старушке, голубоглазой и беленькой, похожей на фарфоровую статуэтку». «Кстати,— продолжает Одоевцева,— история этой его бабушки, как, впрочем, и всех почти членов его семьи, была необычайна и любопытна. Ее Георгий Иванов рассказал в одной из тетрадей «Возрождения»...» (с. 176).

Стр. 285. *...имя некоей Б. фон Б....* — По матери Г. Иванов принадлежал к древнему дворянскому роду Бир ван Бренштейнов — выходцев из Голландии. Очевидно сходство инициалов.

Стр. 288. *Боровиковский* Владимир Лукич (1757—1825) — художник-портретист.

Вадим Крейд

ОЧЕРКИ

Московский Форштадт (стр. 306).— Впервые — *ПН*, 1934, № 4674 (8 янв.), № 4726 (2 марта), № 4894 (17 авг.). Г. Иванов не раз бывал в Риге, где жил его тесть, коммерсант Г. Т. Гейнике. Возможно, истории купчихи Пелагеи Петровны и ростовщика Ивана Севериновича записаны именно со слов Г. Т. Гейнике. В журнале «Даугава» (1987, № 2) «Московский Форштадт» частично перепечатан (опущена вторая часть, т. е. рассказ о Пелагее Петровне).

Стр. 306. *«Но и такой, моя Россия...»* — неточная цитата из ст-ния А. Блока «Грешить бесстыдно, непробудно...» (1914).

Стр. 307. *Паскевич-Эриванский* Иван Федорович (1782—1856) — русский военачальник, с 1829 г. генерал-фельдмаршал. В 1827—1830 гг.— наместник на Кавказе. В 1828 г. получил титул графа Эриванского. Был также наместником Царства Польского. В 1830—1831 гг. подавил Польское освободительное восстание.

Иоанн Кронштадтский (в миру И. И. Сергеев, 1828—1908) — иерей Кронштадтского Морского собора, популярный церковный деятель.

...коронационные кружки — те самые, из-за которых произошла Ходынка. — Народное гулянье на Ходынском поле (на окраине Москвы) 18 мая 1896 г., в дни торжественной коронации Николая II, закончилось давкой во время раздачи царских подарков; в результате погибло около двух тысяч человек. Подробнее об этом см. в «Книге о последнем царствовании».

Стр. 309. *«Русский директуар»* — русский вариант архитектурного стиля «директуар» (т. е. «директория», по названию послеякобинского правительства Франции 1795—1799 гг.).

Стр. 310. *«Все по-старому»* — из одноименного ст-ния И. Северянина (1909).

Стр. 311. *Вяльцева* Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — артистка оперетты и эстрадная певица, пользовавшаяся в начале века огромной популярностью (сохранилось более ста ее записей).

«Наш уголок я убрала цветами...» — строки из романса на стихи В. Мазуркевича (1891—1942) «Письмо», в песенниках и «чтецах-декламаторах» начала века печатавшегося под названием «Уголок».

По Европе на автомобиле (стр. 324).— Цикл очерков под этим заглавием был опубликован в *ПН* в 1933—1934 гг.: 1933 — № 4608 (3 нояб.), № 4625 (20 нояб.), № 4639 (4 дек.), № 4644 (9 дек.), № 4664 (29 дек.); 1934 — № 4699 (2 февр.), № 4740 (16 марта). Между четвертой (№ 4644) и шестой (№ 4664) частями цикла в № 4651 (16 дек.) был опубликован очерк «От Пельхау до Скоропадского» с подзаголовком «История Ронда» — за подписью «А. И.». Текстология позволяет утверждать, что эта статья принадлежит Г. Иванову и является пятой частью цикла «По Европе на автомобиле» — очевидно, Г. Иванов подписал «От Пельхау до Скоропадского» псевдонимом, так как опасался, что после опубликования этого антинацистского памфлета под настоящим именем ему не только может быть запрещен въезд в Германию (где у него оставались связи среди русских эмигрантов), но и берлинский «Петрополис» будет вынужден отказаться от публикаций уже планировавшейся в то время его книги стихотворений (*ООЦ-2* датировано самым началом 1937 г.).

Стр. 324. *Эрнст Иоганн фон Бюрен* — см. комм. к ст-нию «Тучкова набережная» (т. 1 наст. изд., раздел «Стихотворения, исключенные из авторских сборников»). Сведения о Бироне, приводимые Г. Ивановым, исторически достоверны.

Стр. 325. *...граф Боржилижес Растрелли...* — т. е. Франческо Бартоломео Растрелли (1700—1771); сведения о нем также достоверны.

Стр. 326. *Бермонт-Авалов* Павел Рафалович (правильней Бермондт-Авалов, 1877 — после 1934) — в 1919 г. командующий «русско-немецкой Западной армией в Прибалтике». Эта армия (по другим источникам — «Особый русский корпус»), сформированная из русских военнопленных и добровольцев, с июня 1919 г. воевала в Латвии против войск «красных», а затем и против войск Юденича и правительств Латвии и Эстонии. Пытаясь создать «Балтийское герцогство», Бермонт-Авалов в октябре 1919 г. занял предместья Риги, однако захватить город ему не удалось. Позже бежал в Герма-

нию. Есть сведения, что он происходил из уссурийских казаков и стал генерал-майором в 1918 г.; однако М. Самсонов в рецензии на его книгу «В борьбе с большевизмом» (1925; рецензия — *Д*, 1926, 23 мая) утверждал, что Авалов «был произведен в генералы несколькими подчиненными ему офицерами во время отступления его разбитой латышами армии в Германию». М. Самсонов также отмечает, что Авалов, в первые дни после Февральской революции участвовавший в каком-то заговоре адмирала Колчака против Временного правительства, всегда был настроен прогермански и пользовался покровительством немецких реваншистов, а также русских монархистов («претендента на русский престол» великого князя Кирилла Владимировича). По тому же сообщению, Западную армию Авалова организовал ротмистр фон Розенберг — в дальнейшем один из вождей нацистской Германии и покровитель Бермонта-Авалова как руководителя организации русских фашистов.

Стр. 329. *«Особенный еврейско-русский воздух».* — Цитата из ст-ния Д. Кнута «Я помню тусклый кишиневский вечер...» (сб. «Парижские ночи», Париж, 1932), позднее печатавшегося под заглавием «Кишиневские похороны».

Стр. 330. *У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский.* — Имеется в виду документ, выдававшийся Лигой наций по инициативе Фритьофа Нансена лицам без гражданства.

Стр. 332. *Эверс* Ганс-Гейнс (1871—1943) — немецкий писатель; его произведения пользовались широкой популярностью (в том числе и в России) еще в начале века — прежде всего знаменитый роман «Альрауне».

Стр. 337. *«Ронд»* (РОНД) — «Российское освободительное национальное движение» (или РНСД — «Русское национал-социалистическое движение»). Г. Иванов употребляет это слово не как аббревиатуру, а как имя собственное (или даже нарицательное), отчего для привыкшего к французскому языку слуха парижских эмигрантов слово приобретает созвучие с французским rond — круг. Отвращение Г. Иванова к фашизму очевидно, причем особенную неприязнь вызывают у него «русские наци».

Хинчук Лев Михайлович (1868—1944) — в 1930—1934 гг. полпред СССР в Германии.

Стр. 338. *Сао-Паоло* — т. е. Сан-Паулу (São Paulo), крупнейший город Бразилии. Ни ординарец Авалова, ни сам Авалов, очевидно, не знают правильного произношения.

Стр. 339. *...Союзники, которых мы спасли на Марне...* — Победе англо-французских войск в битве на Марне в сентябре 1914 г. способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии.

Стр. 340. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — французский командующий войсками Антанты в первую мировую войну.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — в 1913—1920 гг. президент Франции.

Ллойд-Джордж Дэвид (1863—1945) — в 1916 [illegible] гг. премьер-министр Великобритании; как и Р. Пуанкаре, один из авторов Версальского договора.

Стр. 341. *Гучков Александр Иванович* (1862—1936) — военный и морской министр во Временном правительстве; в марте 1917 г. убедил Николая II отречься от престола. Был деятелем партии октябристов, но отнюдь не «революционером» и «бомбистом».

Стр. 342. *РНСД* — «Русское национал-социалистическое движение».

Стр. 343. *Вонсяцкий* Анастасий Андреевич (1898—1970) — деятель русского фашистского движения, журналист. Весной 1921 г. в Париже женился на американской миллионерше и переехал в США. С начала 1930-х годов занялся организацией «русского фашизма» в США, редактировал журнал «Фашист», выражавший интересы «Всероссийской фашистской организации», пытался сблизиться с фашистами русского дальневосточного зарубежья, прежде всего с К. В. Родзаевским, однако их «альянс» был краток. В июне 1942 г. по обвинению в связях с японским посольством в США Вонсяцкий был приговорен к пяти годам тюремного заключения, освобожден «условно» на 16 месяцев раньше срока — ему было предложено помочь Америке «в борьбе с коммунизмом». Вонсяцкий наотрез отказался и в дальнейшем от политической жизни отошел. Итоговая книга публицистических работ Вонсяцкого «Расплата» и его мемуарная книга «Сухая гильотина» (обе — Сан-Паулу, 1963, на рус. яз.) представляют интерес как для истории «русского фашизма», так и для русской литературы — как единственное в своем роде документальное повествование о «рузвельтовской тюрьме».

Стр. 345. *...фатеров...* — предводителей (от *нем.* Vater — отец).

Стр. 347. *«Дикость, подлость и невежество...»* — из статьи А. С. Пушкина «Опровержение критики» (фрагмент, опубликованный в 1884 г.).

Стр. 349. *«Вампука»* («Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера») — опера-пародия В. Г. Эренберга (либретто М. Н. Волконского); впервые поставлена в 1909 г. Название ее стало нарицательным, синонимом шаблонной и несуразной оперной постановки.

Стр. 351. *РОВС* — «Российский общевоинский союз», объединявший эмигрантов из числа военных. Организатором и председателем РОВС в 1924—1928 гг. был барон П. Н. Врангель (1878—1928).

...проф. И. А. Ильин. — Ильин Иван Александрович (1882—1954), русский религиозный философ. В 1922 г. был выслан из России. Жил и преподавал в Берлине, в 1934 г. уволен нацистами с запретом преподавания и публикаций. В 1938 г. переехал в Швейцарию, где и жил до самой своей смерти.

«Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка, сфабрикованная в департаменте полиции в качестве документа, якобы подтверждающего существование «всемирного еврейского заговора».

Стр. 354. *Скоропадский* Павел Петрович (1873—1945) — генерал царской армии, глава украинских националистов.

Стр. 357. ...*«вюрстхены»*...— сосиски (от *нем.* Würstchen).

Стр. 361. ...*памятник 1871 года.*— Памятник в честь победы во франко-прусской войне 1870—1871 гг. и создания Германской империи.

Стр. 363. *Роденбах* Жорж (1855—1898)—бельгийский франкоязычный писатель; мировую известность принес ему роман «Мертвый Брюгге» (1897).

...*в биргалле*...— в пивном зале (от *нем.* Bierhalle).

Стр. 366. ...*цитаты из Шпенглера*...— Вульгарно истолкованные идеи немецкого философа О. Шпенглера (1880—1936) были отчасти использованы немецким фашизмом.

...*аншлусс*...— присоединение (от *нем.* Anschluβ).

«Аксидан»...— дорожный инцидент, авария (от *фр.* accident).

Стр. 368. ...*хершафтенам*...— господам (от *нем.* Herrschaft).

...*вейнбрандта*...— коньяка (от *нем.* Weinbrand).

...*«гемютлих».*— Уютно (от *нем.* gemütlich).

«...поэт Владимир Ленский...»—здесь и ниже цитаты из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 2, VI).

Стр. 371. ...*«макабрного»*...— мрачного (от *фр.* macabre).

Стр. 372. ...*король Альберт*...— бельгийский король (с 1909 г.) Альберт I (1875—1934). Погиб в результате несчастного случая.

...*кафе-крем.*— Кофе со сливками (от *фр.* café-crème).

Георгий Мосешвили

КНИГА О ПОСЛЕДНЕМ ЦАРСТВОВАНИИ

Воспроизводится по тексту, опубликованному в виде отдельных очерков в *Сег* в 1933 г. Глава «За гробом Александра III» с подзаголовком «Отрывок из готовящейся к печати книги о последнем царствовании» была опубликована в № 126. Глава «Предшественник Распутина» с тем же подзаголовком — в № 140, 142. «Коронация Николая II» с подзаголовком «Отрывок из готовящейся книги» — в № 154. «Ходынка» с тем же подзаголовком — в № 173, 174. «Высочайшие будни» с добавлением редакционного подзаголовка, как это часто практиковалось в *Сег*, напечатана в № 208. Подзаголовок, опущенный в тексте в настоящем издании, читался: «По образцу «тишайшего царя».— «Полупомешанный Саша».— Крошечная воля, покрывающая произвол.— Николай II в отзывах революционеров и своего окружения.— Самодержавный царь и земский статистик». С новой строки в скобках следовал еще один подзаголовок: «Отрывок из готовящейся к печати книги». В № 209 помещена последняя глава — «Война, которую подготовляли Безобразов, Абаза и «Сандро». К этому названию, как и к предыдущему, редакцией был

добавлен подзаголовок: «Наследник и японский император.— «Крошечная воля» правит величайшей страной.— «Добрый Сандро».— «Шапками закидаем». Ниже стоял второй — «Отрывок из готовящейся книги». И затем третий — «Окончание».

Просмотр русских зарубежных газет, в которых печатался Г. Иванов, с целью найти другие «отрывки» успехом не увенчался. Во всей известной нам литературе о Г. Иванове не встречается ни одного указания на его работу над «Книгой о последнем царствовании». Эта публикация оказалась полностью забытой. Не лишним будет упомянуть, что отдельным изданием «Книга о последнем царствовании» вышла в 1990 г. в США в издательстве «Антиквариат», Коннектикут, редактор, автор предисловия и комментариев Вадим Крейд. Шесть глав приводятся в той последовательности, как они появлялись в *Сег*; однако глава «Аня Вырубова», в качестве заключительной, основываясь на логике повествования, помещена в конце. Отметим, что глава «Предшественник Распутина», если действие разворачивалось бы хронологически, вероятней всего, должна была бы располагаться после глав о коронации и Ходынке; логически же она является прямым вводом в тему временщиков, т. е. Вырубовой, Распутина; глава, посвященная последнему, скорей всего, никогда не была написана — вспомним окончание первой части романа «Третий Рим»; видимо, Г. Иванов не чувствовал себя вправе создавать художественный образ Распутина, как Марк Алданов не хотел писать в беллетристическом жанре об Азефе.

«Книга о последнем царствовании» логически выросла из «Третьего Рима», явилась своего рода опосредствованным продолжением романа. Это был новый своеобразный виток развития Г. Иванова — художника, свидетеля, мыслителя, личности. «Книга о последнем царствовании» была задумана как роман-биография последней российской императрицы: в газетной публикации глава «Аня Вырубова» имела подзаголовок «Из романа-биографии «Царица Александра».

Присутствовал в замысле этого романа и автобиографический интерес: вся жизнь Г. Иванова до революции совпала с правлением Николая II. В октябре 1894 г.— восшествие царя на престол; в октябре 1894 г. родился Г. Иванов.

Как почти все начинания Георгия Иванова в «длинном» жанре, книга не окончена и представляет собою скорее ряд очерков, чем единое целое. Это произведение не свободно от неточностей, но в целом оно хорошо документировано. Г. Иванов в работе над ним пользовался такими источниками, как письма Александры Федоровны, «Воспоминания» С. Ю. Витте, «Записки» великой княгини Милицы Николаевны, мемуары великого князя Александра Михайловича, дневник великого князя Николая Михайловича, монография В. И. Гурко «Царь и царица», «Дневник» А. С. Суворина, использованы также свидетельства Л. Н. Толстого, А. Ф. Керенского, П. Б. Струве и т. д., в том числе ряда периодических изданий, включая «Правительственный вестник».

Стр. 374. *...по совету отца Иоанна Кронштадтского.*— См. комм. к очерку «Московский Форштадт».

Его презрение к медицине непреодолимо: за него он и расплачивается преждевременной смертью.— Ср. с воспоминаниями С. Ю. Витте: «Но сам государь болезнь свою не признавал. Вообще в царской семье есть какой-то странный — не то обычай, не то чувство — не признаваться в своей болезни и по возможности не лечиться, и вот это-то чувство, эта привычка у императора Александра III были особенно развиты» (Витте С. Ю. Воспоминания: В 3-х т. М., 1960, т. 1, с. 448).

...чуть не плачущего преданного Захарьина...— Захарьин Григорий Антонович (1829/1830—1897), профессор Московского университета, выдающийся врач-терапевт.

...берлинского профессора Лейдена...— Лейден Эрнст, врач, профессор Страсбургского, Кенигсбергского и Берлинского университетов.

...второй сын его — Георгий...— Георгий Александрович (1871—1899), великий князь, умер от туберкулеза в Абастумане.

Стр. 375. *...телеграфируют принцессе Алисе Гессенской...*— т. е. будущей императрице Александре Федоровне (1872—1918), урожденной Алисе-Виктории-Елене-Луизе-Беатрисе, принцессе Гессен-Дармштадтской.

Стр. 376. *...ни особенно Марии Федоровне...*— Мария Федоровна, собств. Мария-София-Фредерика-Дагмара, принцесса Датская (1847—1928) — императрица, жена Александра III и мать Николая II.

Стр. 377. *...сошелся с балериной Кшесинской...*— Кшесинская Матильда-Мария Феликсовна (1872—1971), выдающаяся русская балерина. Об этой связи императора писал в своем дневнике 8 февраля 1893 г. А. С. Суворин: «Наследник посещает Кшесинскую и 〈...〉 ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиры и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5—6 часов, так что очень скучает и жалуется на скуку» (Дневник А. С. Суворина. М.— Пг., изд-во Л. Д. Френкель, 1923, с. 24).

При посредничестве великого князя Михаила Николаевича...— Михаил Николаевич (1832—1909), великий князь, генерал-фельдмаршал.

Стр. 378. *...старшая сестра, великая княгиня Елизавета Федоровна...*— Елизавета Федоровна, принцесса Гессенская (1864—1918), великая княгиня, старшая сестра императрицы Александры; расстреляна в Алапаевске в ночь с 17 на 18 июля 1918 г.

...у бабушки, королевы Виктории.— Виктория, английская королева (1837—1901).

Стр. 379. *Эта черта — истерия.*— Истерические припадки царицы вполне соответствовали стилю этого правления, вовлекшего

Россию в две большие войны и уничтожившего страну и ее древние институты. Александра Федоровна использовала истерические припадки как средство достижения своих весьма прагматических целей. В. И. Гурко, знавший в подробностях историю последнего царствования, писал об Александре Федоровне: «Она умела настоять на исполнении другими ее пожеланий, которые она высказывала в императивной форме, но собою она владела далеко не всегда и, случалось, весьма бурно выражала овладевшие ею в данную минугу чувства, впадая даже порою в истерические припадки. К ним она, по-видимому, прибегала в крайних случаях и сознательно для получения согласия Государя на то, в чем он упорно не соглашался. Устоять перед истерикой страстно любимой им женщины Николай II был не в состоянии, в чем будто бы в отдельных случаях и сознавался» (Гурко В. И. Царь и царица. Париж, изд-во «Возрождение», 1927, с. 29).

Стр. 382. *...особенно великий князь Владимир...*— Владимир Александрович (1847—1909), великий князь, занимал должность командующего гвардией и войсками Петербургского округа.

...будущий диктатор Трепов.— Трепов Дмитрий Федорович (1862—1928)—обер-полицмейстер в Москве в 1896—1904 гг., позднее генерал-майор, с 1905 г. петербургский генерал-губернатор, с апреля того же года был назначен товарищем министра внутренних дел. По словам Витте, Трепов своей политикой революционизировал Москву, превратив ее в центр восстания. Случай с Треповым заимствован Г. Ивановым из воспоминаний Витте: «На Невском проспекте вдруг я слышу голос: «Смирно».— Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба скомандовал своему эскадрону: «Смирно».— Но вслед за этой командой «смирно» он скомандовал еще следующее: «Голову направо, смотри веселей».

Последние слова мне показались такими странными, что я спросил у своего соседа:

— Кто этот дурак?

На что мой сосед мне ответил, что это ротмистр Трепов, тот самый Трепов, который впоследствии сыграл такую удивительную роль...» (Воспоминания, т. 2, с. 4—5).

Стр. 383. *После свадебной церемонии новобрачные... едут в Казанский собор.*— Императорское бракосочетание состоялось 14 ноября, т. е. через три недели после смерти Александра III. Свадебная церемония явилась фактически первым событием нового царствования. На 22-летнюю императрицу первое время общество возлагало некоторые надежды, предполагая, что «она внесет в русскую жизнь те начала, среди которых была воспитана» (см. Ольденбург С. Царствование императора Николая II. Белград, 1939, с. 48).

Предшественник Распутина

Стр. 384. *Граф Муравьев-Амурский...*— Имеется в виду граф Валериан Валерианович Муравьев-Амурский (1861—после 1911), полковник Генерального штаба, с 1901 г.—генерал-майор в отставке.

Муравьев-Амурский, пишет Витте, «был человек положительно ненормальный, он все хотел нас втащить в историю с ненавистным ему республиканским правительством 〈...〉 граф Муравьев-Амурский и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае они уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и так же уйдет обратно» (Воспоминания, т. 2, с. 263).

...отец Филипп обладает и большой гипнотической силой.— Первым в череде мистических увлечений царствующей супружеской четы был известный автор оккультных сочинений француз Папюс. По-видимому, вторым в этом ряду был Филипп — человек, не лишенный мистических способностей и одаренный живым и гибким умом — отличным подспорьем в карьере авантюриста. Во Франции он преследовался полицией за шарлатанство и мечтал переселиться в какую-нибудь другую страну. Мечта показалась осуществимой, когда Филипп познакомился с российским военным агентом во Франции В. В. Муравьевым-Амурским. Через последнего Филипп познакомился с дочерьми Николая, князя Черногорского (Негоша). Так называемые «черногорки», сестры Милица Николаевна (1866—1951), жена великого князя Петра Николаевича (1864—1931), и Анастасия Николаевна («Стана») (1867—1935), жена великого князя Николая Николаевича «младшего» (1856—1929), были близки к императрице Александре Федоровне. Филипп не то чтобы переселился в Россию, однако подолгу проживал при дворе в Царском Селе и Петергофе. Военный министр А. Н. Куропаткин ходатайствовал, чтобы Филиппу был вручен диплом Петербургской военно-медицинской академии. Пожалован он был и чином действительного статского советника, равным генеральскому. О степени влияния Филиппа на императрицу говорят ее письма. В одном из них, адресованном Николаю II, где речь идет о невозможности введения в России конституционного строя, в качестве особенно веского довода сказано: «Ты помнишь, мосье Филипп говорил то же самое». В другом письме Александры Федоровны к Николаю проглядывает даже более фанатичная вера: «Бог и наш дорогой Друг помогут нам. Я знаю это». Под «дорогим Другом», располагавшим божественными силами, имеется в виду тот же Филипп.

...в день смерти Людовика XVI.— Французский король Людовик XVI (1754—1793) был низложен в 1792 г. и казнен в 1793 г. по приговору Конвента,— иначе говоря, Филипп демонстрирует на своем «сеансе» событие более чем столетней давности.

Стр. 385. *...с гостящей во Франции великой княгиней Милицей Николаевной...*— См. выше в комм. к данной главе.

Стр. 386. *...из справок Сюрте Женераль...*— Сюрте Женераль — главное управление французской полиции.

...будет лежать на столе Рачковского.— Рачковский П. И., главный агент департамента полиции в Париже в 1885—1902 гг.; заведующий заграничной цензурой. Его характеризует Витте: «Рачковский, несомненно, был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Несомненно, как полицейский агент Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских, с которыми мне приходилось встречаться» (Воспоми-

нания, т. 2, с. 167). Рачковский, по воспоминаниям современников, оказал влияние на процесс сближения России с Францией. Рачковский был близок к И. Л. Горемыкину, министру внутренних дел, который считал Рачковского своим лучшим иностранным агентом.

Министр внутренних дел Сипягин...— Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902), министр внутренних дел и шеф жандармов в 1899—1902 гг. Убит эсером С. Балмашевым.

...Рачковский не слушается разумного совета.— Рачковский пользовался покровительством Д. С. Сипягина, оно окончилось только со смертью последнего, и при В. К. Плеве Рачковскому припомнили его негативные характеристики Филиппа. Фраза «Бросьте это в камин» заимствована из «Воспоминаний» Витте (т. 2, с. 273—274). При Плеве на место Рачковского в качестве резидента в Париже был назначен журналист Манасевич-Мануйлов. Впрочем, при диктаторе Трепове карьера Рачковского снова пошла в гору. Вместе со знаменитым С. В. Зубатовым Рачковский стал приближенным Трепова.

Стр. 388. *...становится известно в императорском Яхт-клубе.*— Ср. с аналогичным абзацем в кн. В. И. Гурко «Царь и царица»: «Досужая болтовня великосветского, посещавшегося всеми великими князьями Яхт-клуба, этого центра столичных политических и светских сплетен, где перемывали косточки всех и каждого и где не щадили императрицы, действительно не заслуживала со стороны императрицы иного отношения. Распространению по городу неблагоприятных для государыни рассказов впоследствии способствовали... кн. В. Н. Орлов и С. И. Тютчев» (с. 70). О том же читаем в воспоминаниях одного из членов царской свиты В. И. Мамантова: «Русское общество даже в высших слоях всегда было склонно к распространению самых невероятных слухов и сплетен про царскую фамилию» (М а м а н т о в В. И. На государевой службе. Таллин, 1926, с. 79).

Она так же застенчива, как самолюбива...— Тот же верноподданный Мамантов писал о своем первом впечатлении от императрицы: «Государыня показалась мне выдающейся красавицей с величественною, царственною осанкой и удивила меня сохранившеюся у нее способностью часто смущаться и краснеть» (с. 50). И в другом месте: «Крайне застенчивая с посторонними, стеснявшаяся еще в то время недостаточного знания русского языка...» (с. 136).

...пишет ей королева Виктория...— Очевидно, эти выбранные места из переписки королевы Виктории с внучкой-императрицей Г. Иванов заимствовал из книги В. И. Гурко «Царь и царица». У Гурко эти цитаты приведены в следующем переводе: «Английская королева, узнав, что молодая царица не завоевала симпатий петербургского общества, писала ей п р и б л и з и т е л ь н о (разрядка здесь и ниже моя.— *В. К.*) следующее: «Нет более трудного ремесла, нежели наше царское ремесло. Я царствую более сорока лет, царствую в моей родной стране, которую знаю с детства, и тем не менее каждый день я раздумываю над тем, что мне надо сделать, чтобы сохранить и укрепить любовь ко мне моих соотечественников. Како-

во же твое положение, и сколь оно безмерно труднее: ты находишься в чужой стране, в стране, тебе совершенно незнакомой, где быт, умственное настроение и сами люди тебе совершенно чужды, и все же твоя первейшая обязанность — завоевать любовь и уважение».

На это письмо Александра Федоровна будто бы отвечала: «Вы ошибаетесь, дорогая бабушка, Россия не Англия. Здесь нам нет надобности прилагать какие-либо старания для завоевания любви народа. Русский народ почитает своих царей за божество, от которого исходят все милости и все блага. Что же касается петербургского общества, то это величина, которой можно вполне пренебречь. Мнение лиц, составляющих это общество, и их зубоскальство не имеют никакого значения. Зубоскальство — их природная особенность, и с ней так же тщетно бороться, как напрасно придавать ей какое-либо значение».

Я, конечно,— добавляет Гурко,— не ручаюсь за достоверность приведенных писем, но, во всяком случае, они ходили в Петербурге по рукам и, разумеется, не способствовали установлению добрых отношений между молодой царицей и тем единственным внешним миром, с которым она входила в непосредственное соприкосновение» (с. 69—70).

Стр. 389. *Царь может все, даже если ему заблагорассудится ...губить монархию.*— Однажды обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев получил царское приглашение к завтраку. Победоносцев был удивлен, так как некоторое время чувствовал, что более не пользуется былым расположением Николая II. После завтрака царь сказал Победоносцеву, что хотел бы, чтобы последний издал указ о провозглашении Серафима Саровского святым. Победоносцев возразил, что провозгласить святым имеет право не обер-прокурор, а святейший Синод в целом. На что присутствовавшая во время разговора императрица заметила: «Государь все может». Витте писал, что эти слова он слышал от императрицы по самым разнообразным поводам.

Стр. 390. *...которую княгине Белосельской...*— видимо, княгиня Белосельская-Белозерская, сестра М. Д. Скобелева.

...со слов барона Остен-Сакена...— Остен-Сакен Николай Дмитриевич (1831—1912), граф, русский посол в Берлине в 1895—1912 гг.

«Какое счастье, что вы берете ее от нас».— Этот же анекдот встречается в книге: Poliakoff V. (Augur). The Tragic Bride. D. Appleton and Company, 1926. «Имеются записи о том,— пишет Поляков,— что русский дипломат, осторожно выспрашивавший маршала при дворе великого герцога относительно характера принцессы Алисы, был удивлен, когда старый джентльмен поднялся, закрыл дверь и затем прошептал дипломату, что все были бы рады, если бы ее величество покинула Дармштадт» (с. 21).

...великая княгиня Мария Павловна...— По всей видимости, великая княгиня Мария Павловна (1854—1920), урожд. графиня Мекленбург-Шверинская, супруга великого князя Владимира Александровича (1847—1909), младшего брата императора Александра III; их сын Кирилл Владимирович (1876—1938) в 1920-е годы оказался

во Франции старшим из уцелевших потомков рода царствовавших Романовых и весьма условно именовался «главой русского императорского дома».

В имении великого князя Петра Николаевича...— О великом князе Петре Николаевиче см. комм. к гл. «Предшественник Распутина». Он был генерал-инспектором по инженерной части. На даче Петра Николаевича была устроена встреча Филиппа с Иоанном Кронштадтским. Петр Николаевич был одним из главных посредников в знакомстве Филиппа с императорской четой.

Стр. 391. *...и уланский полковник Александр Орлов.*— Об Орлове см. ниже в комм. к главе «Аня Вырубова». Он действительно участвовал в спиритических сеансах, устраиваемых при дворе.

Он дарит царице икону с колокольчиком...— Имеются свидетельства, что и после смерти Филиппа, последовавшей в июле 1905 г. в Лионе, куда он поехал для проверки своих финансовых дел, императрица все еще дорожила подаренной ей Филиппом иконой с серебряным колокольчиком, указывающим приближение неприятеля или недоброжелателя ее лично и Николая II. В Петербурге распространялись также слухи, что император ходит на прогулку с тростью, некогда принадлежавшей Филиппу и подаренной последним «на счастье».

...посол князь Урусов...— Князь А. П. Урусов был русским послом во Франции в 1898—1903 гг. По словам Витте, человек «совершенно бесцветный». Именно Урусов менее чем за год до начала войны с Японией уверял и, кажется, уверил французского министра иностранных дел, что слухи о возможной русско-японской войне — совершенный вздор.

Коронация Николая II

Стр. 394. *...знаменитый клоун Владимир Дуров...*— Дуров Владимир Леонидович (1863—1934), вместе со своим братом А. Л. Дуровым создатель новой русской школы дрессировки.

Стр. 395. *9 мая коронационные торжества открываются высочайшим въездом в Москву.*— Краткое описание в «Дневнике» А. С. Суворина от 9 мая 1896 г.: «Погода хорошая. Есть облачка. Выезд царя. ⟨...⟩ Народ стал собираться в 5 часов утра. Все заметили, что государь был чрезвычайно бледен, сосредоточен. Он все время держал руку под козырек во время выезда и смотрел внутрь себя. Императрицу-мать народ особенно горячо приветствовал. Она почти разрыдалась перед Иверской, когда государь, сойдя с коня, подошел к ней высадить из кареты» (с. 100).

Далее говорится с чужих слов о том, что некто видел и слышал «смех американцев над этой помпой. Они делали ядовитые замечания и говорили, что это сказочно» (с. 101).

Царь приехал в Москву 5 мая, в день своего рождения, и остановился в подмосковном Петровском дворце. Торжественный въезд 9 мая был первым со дня окончания траура по Александру III «явлением» нового царя во всем блеске и пышности, которые подобали церемонии. 13 мая Николай II и Александра переехали в дру-

гую резиденцию — в Кремль. «Новое время» сообщало, что на коронационные торжества прибыли греческая королева, два владетельных князя, три правящих герцога, двенадцать наследных принцев и принцесс. Еще две существенные подробности относительно коронационных торжеств: во-первых, в их сценарии Николай II не пожелал ничего менять и приказал следовать каждой детали, тому порядку и программе, которые были установлены в дни Александра III, отца Николая; во-вторых, следует отметить слухи, уже тогда проползшие по Москве: «Немка (т. е. Александра Федоровна),— говорили в толпе,— принесет династии несчастье».

Стр. 396. *Обер-полицмейстер Власовский...*— Полковник А. А. Власовский был назначен на должность московского обер-полицмейстера, которую он потом исполнял и в дни Ходынки, великим князем Сергеем Александровичем. Очень резкую характеристику дал ему в своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте: «Власовский же (как я с ним познакомился) действительно принадлежит к числу таких людей, которых достаточно видеть и поговорить с ними минут 10, чтобы усмотреть, что он представляет собой такого рода тип, который на русском языке называется «хамом» (т. 2, с. 70). Впрочем, именно Власовский оказался тем «стрелочником», которого сочли едва ли не единственным виновником ходынской трагедии.

Стр. 398. *...великий князь Сергей...*— великий князь Сергей Александрович (1857—1905), московский генерал-губернатор, убитый в начале 1905 г. террористом Каляевым. Ранее командовал Преображенским полком. Был женат на Елизавете Федоровне, сестре последней царицы.

Стр. 399. *...отпечатанные золотом и вязью афишки, которые раздают герольды.*— Возможно, этот абзац основан на записи от 14 мая 1896 г. в «Дневнике» А. С. Суворина: «Раздача объявлений о коронации привела к беспорядкам,— кого-то избили, опрокинули карету... Оказалось, что это устроили скупщики, которые наняли по 30 коп. всякий сброд, который толкался гурьбой и выхватывал листы. Скупщики платили еще и с листа. Объявления эти продаются по 5 руб. Нажива, стало быть, знатная» (с. 103—104).

Стр. 400. *Маршал коронации граф Пален...*— Пален Константин Иванович (1833—1912), граф, министр юстиции в 1867—1978 гг., затем член Государственного совета. Был обер-церемониймейстером коронации Николая II.

Ей приготовлен тот же «алмазный трон», на котором она сидела тридцать лет назад, венчаясь на царство...— Старшим сыном императора Александра II, наследником престола, первоначально был цесаревич Николай Александрович (1843—1865), «Никс», скончавшийся от туберкулеза в Ницце. Новым наследником стал Александр, будущий император Александр III, следующий по возрасту среди сыновей Александра II. Именно бракосочетание будущего Александра III и Марии Федоровны, имевшее место 28 октября 1866 г., называет Г. Иванов «венчанием на царство»; в действительности это было только бракосочетание с наследником престола.

...военная форма, в которой коронуется Николай II...— Военный мундир, в котором короновался Николай II,— менее всего случайная деталь коронационного церемониала. Сам Николай II считал себя «военным» и неоднократно подчеркивал свое отличие от «штатских». В. И. Мамантов, сопровождавший царя в его поездке в Дармштадт, через несколько месяцев после коронации рассказал анекдот о том, как Николай II, не имевший привычки «носить штатское платье», обратился к Мамантову с «каким-то вопросом по поводу своего костюма, а затем вдруг сказал: «Вы, впрочем, с презрением смотрите на то, как мы, в о е н н ы е, носим штатское платье, и посмеиваетесь над н а ш и м неумением». Я, конечно, постарался уверить его величество в противном.

«Но,— прибавил я,— цилиндр вашего величества действительно приводит меня в некоторое недоумение и смущение...» Мое замечание, смелости которого я и сам испугался, по-видимому, задело Государя за живое. Он быстро снял свою шляпу и начал ее рассматривать. «Не понимаю,— сказал он,— что вы находите нехорошего в моем цилиндре, прекрасная шляпа... Ваше замечание не больше, как простая придирка штатского к военному» (М а м а н т о в В. И. На государевой службе, с. 118).

Стр. 401. *...дряхлый граф Милютин...*— Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), генерал-фельдмаршал, военный министр в 1861—1881 гг.

Стр. 402. *...когда Юровский... вскидывает наган.*— Юровский Яков Михайлович (1880?—1938)—член ВКП(б) с 1905 г. Подпольщик. Один из лидеров большевиков Урала. Комендант Дома особого назначения в Екатеринбурге, где, по его приказу и при его участии, была расстреляна царская семья. Автор мемуаров. Подробнее о нем см.: Р е з н и к Я. Л. Чекист. Свердловск, 1972.

Стр. 404. *...фигурирует теперь Виктор Крылов...*— Крылов Виктор Александрович (1838—1906), один из самых «репертуарных» драматургов второй половины XIX в.

Стр. 405. *...ушастое лицо Победоносцева...*— Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), государственный деятель и ученый, в 1880—1905 гг. обер-прокурор Синода.

Ходынка

Стр. 407. *...по одной Курской дороге... приезжает в Москву, на праздник, двадцать пять тысяч человек.*— План Николая II о проведении коронационного праздника основывался на подражании коронации его отца Александра III. Но во время коронации Александра III на народное гулянье вышло до двухсот тысяч человек, тогда как толпа в ночь на 18 мая (дата ходынской катастрофы) насчитывала, по-видимому, не менее полумиллиона. Сведения о прибытии в Москву иногородних заимствованы Г. Ивановым из «Дневника» А. С. Суворина, в котором в записи от 18 мая 1896 г. сказано: «...в Москву в эту ночь по одной Московско-Курской дороге приехало более 25 000. Что это была за толпа и что за ужас!» (с. 105).

...с министром Воронцовым-Дашковым...— Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916), граф, генерал, министр императорского двора и уделов в 1881—1897 гг.

«...непосредственно подчиненную Его императорскому высочеству».— Об этом разделении среди высших сановников на две партии: одна — за Воронцова-Дашкова, другая — за великого князя Сергея Александровича, Витте в своих «Воспоминаниях» писал: «...одна партия утверждала, что здесь министерство двора ни при чем, что виновата исключительно в катастрофе московская полиция, а другие почли более для себя выгодным пристать к партии великого князя Сергея Александровича и потому утверждали, что великий князь и его полиция тут ни при чем, а вся вина падает исключительно на чинов министерства двора» (т. 2, с. 71).

Обер-полицмейстер Власовский... театрально стреляется...— Ср. с записью А. С. Суворина от 19 мая 1896 г.: «...вчера говорили, что он стрелялся, но адъютант подтолкнул руку и он выстрелил в картину — ничего этого не было...» (Дневник, с. 108).

...министром юстиции Муравьевым...— Муравьев Николай Валерианович (1850—1908), министр юстиции в 1894—1905 гг., посол в Риме в 1905—1908 гг., брат В. В. Муравьева-Амурского, о котором см. главу «Предшественник Распутина».

Стр. 409. *...из толпы передают по головам людей без признаков жизни.*— Эти сведения взяты целиком из «Дневника» А. С. Суворина, в котором говорится: «Около 3-х часов дня народ говорил: «Что же вы нас умирать заставляете в давке». Около 4-х часов передавали людей над головами без признаков жизни» (с. 116).

Стр. 410. *«...Через полчаса я взглянул... ногами к шоссе.»*— Неточная цитата из «Дневника» А. С. Суворина (там же).

Стр. 411. *«Я обратился к городовому... «Нам ничего не приказали».*— Также из «Дневника» А. С. Суворина (с. 117).

Граф де Монтебелло...— Монтебелло Густав (1838—1907), граф, французский дипломат, с 1891 по 1903 г. посол Франции в России.

Стр. 412. *...китайский посол Ли Хун-Чжан...*— точней, Ли Хунчжан (1823—1901), китайский государственный деятель, фактический руководитель внешней политики Китая в конце XIX в.

...находится и знаменитый Диллон...— английский журналист Диллон Эмилий Михайлович, корреспондент газеты «Дейли телеграф».

Стр. 413. *Все празднества ...должны состояться.*— «В течение дня мы не знали,— пишет Витте,— будет ли отменен по случаю происшедшей катастрофы этот бал или нет; оказалось, что бал не отменен» (Воспоминания, т. 2, с. 74). «Императрица Мария Федоровна,— сказано в «Дневнике» А. С. Суворина,— говорила государю, что он может ехать на французский бал, но чтобы не оставался там более получаса» (с 111). Несколько иначе интерпретирует этот случай С. С. Ольденбург в своей книге «Царствование императора Николая II»: «В тот день несчастия был назначен прием у французского посла, и государь по представлению министра иностранных дел кн. Лобанова-Ростовского не отменил

своего посещения, чтобы не вызвать политических кривотолков» (с. 51).

Стр. 414. *Царь... понуро садится в коляску.*— Ср. с записью в «Дневнике» А. С. Суворина: «Государь встретил один из возов на Тверской, вылез из экипажа, подошел, что-то сказал и, понурив голову, сел в коляску» (с. 108).

Стр. 415. *...вспоминает камергер Извольский...*— Извольский Александр Петрович (1856—1919)—дипломат, посланник в Копенгагене в 1903—1906 гг., министр иностранных дел в 1906—1910 гг., посол в Париже в 1910—1917 гг., член Государственного совета.

Высочайшие будни

Стр. 416. *...изображают царя Алексея и царицу Наталью...*— Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь с 1645 г., и царица Наталья Кирилловна (1651—1694), вторая жена Алексея Михайловича, урожд. Нарышкина, с которой царь обвенчался в 1671 г., единственным сыном от этого брака был царь Петр I.

Стр. 417. *...спрашивает жена Безобразова...*— Безобразов Александр Михайлович, глава группы сторонников агрессивной политики на Дальнем Востоке. С мая 1903 по 1905 г.—статс-секретарь. Эта цитата заимствована Г. Ивановым из «Воспоминаний» Витте, где говорится: «Когда перед Японской войной его величество сделал Безобразова статс-секретарем и он начал играть такую выдающуюся роль в судьбах России, то он привез сюда свою жену, для того чтобы представить ее при дворе. ⟨...⟩ Безобразова, эта честная, очень милая и образованная женщина, была чрезвычайно смущена и говорила: «Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный?» (т. 2, с. 182).

...назначает Плеве...— Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), директор департамента полиции (1881—1884), товарищ министра внутренних дел (1884—1894), министр внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов (1902—1904). 15 июля 1904 г. убит эсером Е. Сазоновым.

Стр. 418. *...свидетельствует генерал Куропаткин.*— Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), генерал от инфантерии, в 1898—1904 гг. военный министр, главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке в период русско-японской войны. После поражения в битве у Мукдена в марте 1905 г. смещен с поста главнокомандующего.

Этот властелин шестой части света жалуется на свою «крошечную волю»...— См. книгу В. И. Гурко «Царь и царица» (с. 22). Гурко также пишет, что Николай II «не умел властно настоять на исполнении другими лицами выраженных им желаний, иначе говоря, не обладал даром повелевать» (там же).

Стр. 419. *...уверен Петр Струве...*— Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, историк, публицист.

Стр. 420. *...определяет царя П. Н. Дурново.*— Дурново Петр Николаевич (1845—1915), член Государственного совета, товарищ министра внутренних дел в 1900—1905 гг., с октября 1905 по апрель 1906 г. министр внутренних дел.

Стр. 421. *...до записи великого князя Николая Михайловича...*— Великий князь Николай Михайлович (1859—1919), историк; расстрелян 28 января 1919 г. во дворе Петропавловской крепости.

...через своего брата Александра...— Имеется в виду великий князь Александр Михайлович (1866—1933).

Стр. 422. *...«странная смесь духа произвола со стремлением к установлению абсолютной справедливости».*— Цитируется В. И. Гурко (Царь и царица, с. 16). Гурко также пишет о Клопове: «Всякая несправедливость, нанесенная кому-либо обида его глубоко волновали и возмущали, и он готов был попрать все порядки и законы для восстановления прав обиженного, не соображая, что, нарушая закон для восстановления справедливости по отношению к отдельному лицу, он тем самым разрушает весь государственный строй и гражданский порядок. Словом, он принадлежал к числу тех фантазеров, которые мечтают путем личного усмотрения исправить все те людские настроения, которые закон в его формальных проявлениях ни уловить, ни тем более упразднить не в состоянии» (там же).

Стр. 423. *...в центральных губерниях появляется таинственный человек...*— Сначала Клопов приехал в Тулу и показал местному начальству царскую грамоту, о чем губернатор сразу же доложил И. Л. Горемыкину, министру внутренних дел.

...скандал министру внутренних дел Горемыкину...— Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917), член Государственного совета, в 1895—1899 гг. министр внутренних дел.

Клопов исчезает с царского горизонта.— Напротив, Клопов не сразу исчез с царского горизонта; он долго еще оставался негласным императорским советником.

Война, которую подготовили Безобразов, Абаза и «Сандро»

Стр. 424. *...генерал князь Барятинский...*— Барятинский В. А., князь, генерал-адъютант. «Сам наследник и вся эта экспедиция,— пишет Витте,— была вверена генералу свиты его величества князю Барятинскому. ⟨...⟩ Это не дурной, но вполне ничтожный человек, потому он не мог нравственно руководить молодыми великими князьями» (Воспоминания, т. 1, с. 437). О «великих князьях» говорится потому, что Николай был отправлен в это путешествие Александром III не один, а со своим братом Георгием Александровичем.

Стр. 425. *...князь Эспер Ухтомский...*— Ухтомский Эспер Эсперович (1861—?), князь, председатель правления Русско-Китайского банка, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», впоследствии написал книгу о путешествии с наследником на Дальний Восток.

Стр. 426. *После боксерского восстания...*— народное восстание в Северном Китае в 1899—1901 гг. В его подавлении, наряду

с войсками Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, Италии, Австро-Венгрии, приняли участие и войска России.

...до портсмутского мира...— Мирный договор, положивший конец войне между Россией и Японией, был заключен в 1905 г. в Портсмуте на Восточном побережье США; Витте возглавлял на переговорах делегацию России, добился для России сравнительно безболезненных условий — уступки южной половины Сахалина; за успех переговоров Витте получил титул графа, хотя после этого придворные насмешливо и стали его называть «графом Полу-Сахалинским».

...вплоть до Вильгельма II...— Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), германский император и прусский король в 1888—1918 гг. Свергнут в 1918 г., позднее жил в Нидерландах.

«Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого».— Видимо, заимствовано из «Воспоминаний» Витте, в которых говорится: «Летом 1902 г. государь император ездил в Ревель на морские маневры. В июне на маневры приезжал германский император, причем после маневров совершилось следующее интересное событие, показывавшее настроение германского императора: когда его яхта начала отходить, то началось обыкновенное сигнальное прощание, причем германский император дал следующий сигнал: адмирал Атлантического океана шлет привет адмиралу Тихого океана. Государь очень был стеснен, что ему на этот привет ответить» (т. 2, с. 224—225).

...сестры Ксении...— Великая княгиня Ксения Александровна (1875—1960), старшая из родных сестер Николая II.

Стр. 427. *...контр-адмирал Абаза...*— Абаза Алексей Михайлович, контр-адмирал, управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока в 1903—1905 гг. Ср. с «Воспоминаниями» С. Ю. Витте: «Александр Михайлович начал с того, что взял себе в товарищи адмирала Абазу, двоюродного брата Безобразова, одного из главных виновников японской авантюры» (т. 2, с. 235).

...гибели эскадры адмирала Рожественского...— Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909), вице-адмирал, командир Второй Тихоокеанской эскадры, загубленной в морском сражении при Цусиме.

Стр. 428. *Ламздорф* Владимир Николаевич (1844—1907) — граф, директор канцелярии министерства иностранных дел в 1880—1897 гг., товарищ министра в 1897—1900 гг., министр иностранных дел в 1900—1906 гг.

Японский посланник Курино...— Курино Синитиро, виконт, японский дипломат, посланник в Петербурге в 1901—1904 гг.

...министр двора Фредерикс...— Фредерикс Владимир Борисович (1838—1927), барон, генерал-адъютант, в 1893—1897 гг. помощник министра, затем до 1917 г. министр императорского двора.

Стр. 429. *...бывший начальник штаба Скобелева...*— Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), генерал от инфантерии, виднейший полководец русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Стр. 429. *Через своего отца, «главноуправляющего канцелярией Его Величества»...*— Об А. С. Танееве и его дочери А. А. Вырубовой см. комм. к роману «Третий Рим». Александр Сергеевич Танеев в 1896 г. заменил на должности управляющего императорской канцелярией К. К. Ренненкампфа. До Ренненкампфа на этой должности с 1866 по 1889 г. служил его отец — С. А. Танеев. Витте писал: «Говорят, что он был очень умный, дельный человек, чего нельзя сказать про его сына, у которого единственное достоинство, что он — ничто» (Воспоминания, т. 1, с. 311). А. С. Танеев был также обер-гофмейстером и членом Государственного совета.

Стр. 430. *...оказавшись в Неаполе с сестрой царицы вел⟨икой⟩ кн⟨ягиней⟩ Елизаветой Федоровной, Аня просит последнюю походатайствовать перед царицей о назначении ее фрейлиной...*— Благодаря великой княгине Елизавете Федоровне Вырубова в 1904 г. стала фрейлиной императрицы.

Стр. 431. *Так рисуется Вырубова наблюдателю тех дней.*— Витте пишет в «Воспоминаниях» об Анне Танеевой как о «самой обыкновенной, глупой петербургской барышне, влюбившейся в императрицу и вечно смотрящей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами: «ах, ах!». Сама Аня Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста. ⟨...⟩ Аню Танееву императрица выдала замуж за лейтенанта Вырубова» (т. 3, с. 159).

...к парализованной княжне Орбелиани.— Княжна С. И. Орбелиани, фрейлина императрицы, была близка императрице до того, как ее разбил паралич. «Молодая, жизнерадостная девушка,— писал о ней В. И. Мамантов,— чудно ездила верхом и великолепно играла в теннис. Это был настоящий живчик, веселый, вечно в движении, всегда готовый на все, где можно было показать свою ловкость и лихость. Придворного в ней было очень мало, может быть, даже слишком мало в некоторых случаях. Эта прелестная девушка, которую императрица очень любила, кончила печально. Не достигши тридцати лет, она была разбита нервным параличом... Будучи уже совершенно не в состоянии исполнять свои придворные обязанности, она тем не менее продолжала оставаться при ее величестве, которая матерински о ней заботилась, делая все, что возможно, чтобы облегчить ее тяжелое и грустное положение» (На государевой службе, с. 147).

...возобновляет знакомство с командиром Уланского ее величества полка генералом Орловым.— Орлов Александр Анфиногенович (? — 1908), генерал от кавалерии; Г. Иванов упоминает его также в главе «Предшественник Распутина» как участника спиритических сеансов при дворе.

Стр. 432. *...но и на генерал-губернатора Сологуба...*— В. У. Сологуб, в 1905—1906 гг. прибалтийский губернатор, предпринял все, что от него зависело, чтобы не допустить Орлова с его карательными войсками в Ригу; был отстранен от должности генерал-

губернатора, возможно, в связи со своим противостоянием бесчинствующему в Прибалтике Орлову.

...Орлов умирает... и смерть его вызывает множество слухов, толков, пересудов, связанных с именем императрицы.— В частности, стало известно, что императрица вместе с Вырубовой ездила на могилу Орлова, возложила цветы и плакала у надгробия.

Стр. 434. *...морской министр Бирилев...*— Бирилев Алексей Алексеевич (1844—1915), адмирал, морской министр в 1905—1907 гг., член Государственного совета.

...несколько флигель-адъютантов...— Флигель-адъютантами в свите Николая II были барон А. Е. Мейендорф, граф А. Ф. Гейден и князь Н. Д. Оболенский. *Оболенский* Николай Дмитриевич (1860—1912)—флигель-адъютант Александра III и Николая II, был также управляющим императорским кабинетом и фактически заместителем товарища министра двора. Н. Д. Оболенский пользовался особым расположением императора и императрицы. Когда будущая императрица в 1889 г. приехала на смотрины, Николай Дмитриевич Оболенский, в отличие от подавляющего большинства придворных, проявил к ней особое внимание, и этого Александра Федоровна не забыла и проявляла к Оболенскому особенное благоволение.

...Аня Танеева... робко жмется к гофлектрисе Шнейдер.— О гофлектрисе Е. А. Шнейдер имеется несколько строк в книге В. И. Мамантова «На государевой службе»: «Бывшая учительница императрицы—русского языка—была скромною, тихою и уже немолодою девушкой, обожавшей государыню и ее семью, что она и доказала своим отношением к их величествам после революции и своею геройскою смертью» (с. 148).

Стр. 437. *...жалуется царица своей немецкой подруге графине Ранцау.*— Своей конфидентке, немецкой графине Ранцау, императрица, в частности, жаловалась на то, что Николай Александрович молод и «его окружают тесной толпой родичи—великие князья и великие княгини», от влияния которых Александра Федоровна хотела бы своего мужа уберечь.

...постоянно жалуется на головную боль.— Ср. с этим утверждением о постоянной усталости, очевидно нервного происхождения, свидетельство мемуариста: «Я был принят императрицей, которую не видел вблизи лет семь или восемь. Ее величество поразила меня своим болезненным, нежизнерадостным, усталым видом» (Мамантов В. И. На государевой службе, с. 193).

...во время утомительных государственных дел.— Это описание совпадает с характеристикой, которую дает В. И. Гурко: «Освободившись от докладов своих министров, был рад в домашней обстановке забыть о своих государственных заботах и всецело предавался в кругу семьи тем мелким домашним интересам, к которым он вообще питал природную склонность» (Царь и царица, с. 75).

Стр. 438. *«Принял Ванновского»...*— Ванновский Петр Семенович (1822—1904), генерал от инфантерии, в 1881—1898 гг. военный министр, член Государственного совета. С марта 1901 до апреля 1902 г. министр народного просвещения.

Стр. 440. *Императрица играет с Танеевой в четыре руки.*— Александра Федоровна и Вырубова обладали некоторыми музыкальными данными, имели голос и любили петь дуэтом, что привело в начале карьеры Вырубовой к практически ежедневным ее встречам с императрицей. Эти встречи хитрая, но прикидывавшаяся простушкой Вырубова использовала в своих интересах. В скором времени Вырубова стала связующим звеном между императрицей и Распутиным. Свидания царицы с Распутиным имели место не в царской резиденции, а в доме Вырубовой. Таким образом, писал В. И. Гурко, Вырубова становится понемногу тем центром, где сосредоточиваются усилия всех, добивающихся достигнуть той или иной цели непосредственно через царскую семью. Вообще нельзя даже определить границы той огромной роли, которую играла А. А. Вырубова в последний период царствования императора Николая II.

Вадим Крейд

СОДЕРЖАНИЕ

РАСПАД АТОМА 5

ТРЕТИЙ РИМ 35

РАССКАЗЫ

Губительные покойники 136
Монастырская липа 142
Дальняя дорога 154
Черная карета 164
Трость Бирона 173
Карачаевский особняк 183
Акробаты 190
Остров надежды 200
Жизель 212
Четвертое измерение 221
Невеста из тумана 231
Любовь бессмертна 245
Веселый бал 255
Аврора 265
Карменсита 276
Настенька 285

ОЧЕРКИ

Московский Форштадт 306
По Европе на автомобиле 324

КНИГА О ПОСЛЕДНЕМ ЦАРСТВОВАНИИ 373

КОММЕНТАРИИ 442

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ
Собрание сочинений в трех томах

Том второй
Проза

Художественный редактор Т. Руденко
Технический редактор Е. Волкова
Корректоры Г. Заславская, Л. Кочетова
Ответственный выпускающий Н. Кутузова

Сдано в набор 12.04.93. Подписано в печать 19.07.93. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 24,56. Тираж 15000 экз. Заказ № 790.

АО «Согласие».
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Пленки изготовлены на государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации.
113054, Москва, ул. Валовая, 28.

Печать и переплетные работы произведены в типографии «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Иванов Г. В.

И 20 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Проза.— М.: «Согласие», 1993.— 480 с.

ISBN 5-86884-024-0 (Т. 2)
ISBN 5-86884-022-4

Творчество Георгия Иванова (1894—1958), на протяжении трех десятилетий «первого поэта русской эмиграции»,— одно из крупнейших литературных явлений XX века. Многие произведения, представленные в настоящем трехтомнике, публикуются впервые или перепечатаны со страниц периодических изданий, практически недоступных современному читателю. Во второй том вошла проза поэта: «Распад атома», роман «Третий Рим», «Книга о последнем царствовании», рассказы, очерки.

И $\frac{\textbf{4702010106—003}}{\textbf{8Д1 (03)—93}}$

ББК 83. 3Р7